ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2 (12)

МАРТ — АПРЕЛЬ

23

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Главлит, Москва. Гиз. ... 11.000 экз.

„Мосполиграф", 16-я типография, ...рехпрудный, 9.

Автобиографические рассказы.

Мои университеты.

М. Горький.

(Продолжение).

Итак—я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его мы познакомились и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

— Вы созданы природой для служения науке,—говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены—он так и говорил: «кое-какие»—в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Все—очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала.

— Ты—не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал. Это—от деда у тебя, а что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты—одно помни: не бог людей судит, это—чорту лестно. Прощай, ну...

И отирая с бурых, дряблых щек скупые слезы, она сказала.

— Уж не увидимся больше; заедешь ты, непоседа, далеко, а я—помру.

За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукой, а другой,—концом старенькой шали отирает лицо свое, темные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы; одна из его стен выходила на пустырь пожарища; на пустыре густо разраслись сорные травы; в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины, возвышались развалины кирпичного здания; под развалинами—обширный подвал, в нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы—мать и два сына—жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из маленьких кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая себя самое?

Была она молчалива; в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои;—тащит лошадка воз в гору, и знает—не вывезу,—а все-таки везет.

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

— Вы зачем приехали?

— Учиться, в университет.

Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба. Она порезала ножом палец себе, высасывая кровь опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

— О, чорт...

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

— Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

— Вы думаете—этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

— Ах, Николай, Николай...

А он в эту минуту вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый.

— Мама, хорошо бы пельмени сделать.

— Да, хорошо,—согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо—плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали

расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, об'яснил ее поведение словами:

— Не в духе.

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще—нервнее мужчин, таково свойство их природы,—это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется—швейцарцем. Джон-Стюарт Милль, англичанин, или кто-то другой, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Ларош-Фуко и Ларош-Жаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье—Дюмурье, или—наоборот? Славный юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но—у него не было времени и всех остальных условий для того, чтобы серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство; еще менее чувствовал это его брат, тяжелый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить—неизвестно за что—приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне,—я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду—отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет—фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна об'емом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не мне только одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много,—я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство,—и чем труднее слагались условия жизни, тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать—двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов,—я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли,—каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно-жадные, люди грубых инстинктов,—мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в

их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов еще более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик Учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

— Что ты, как девушка, ежишься, али честь потерять боязно? Девке честь—все ее достояние, а тебе—только хомут. Честен бык, так он—сеном сыт.

Рыженький, бритый точно актер, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо»:

— В этой книге есть и цель и сердце,—говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.—Баба, баба!—выпевал он, и желтая кожа его лица разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением.—Ради бабы я—на все пойду. Для нее, как для черта—нет греха! Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано.

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви,—его песни распевались во всех городах Волги, и—между прочим—ему принадлежит широко распространенная песня:

> Не красива я, бедна,
> Плохо я одета,
> Никто замуж не берет
> Девушку за это...

Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

— Ты, Максим, к воровским шалостям не приучайся!—говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза.—Я вижу: у тебя иной путь, ты человек духовный.

— Что значит—духовный?

— А—в котором зависти нет ни к чему, только любопытство...

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом, с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

— Мутноокой ночью сижу я—как сыч в дупле—в номерах, в нищем городе Свияжске, а—осень, октябрь, лениренько дождь идет, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет—без конца песня: о-о-о-у-у-у...

...И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах—обманная чистота души. Милый,—говорит честным голосом,—не виновата я против тебя. Знаю—врет, а верю—правда. Умом—твердо знаю, сердцем—не верю, никак.

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто, мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова—яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову,—этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев и однажды таинственно сказал о царе Александре III:

— Этот царь в своем деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа—неожиданно для читателя—становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще—о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, а особенно много—о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда—трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две—три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья жилы—это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колес пароходов; надсадно, волками, воют матросы на караване барж; где-то бьет молот по железу; заунывно тянется песня,—тихонько тлеет чья-то душа,—от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей,—люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка—не жадно—пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

— А вот со мной был случай,—говорит кто-то придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

— Бывает и так,—все бывает...

«Было», «бывает», «бывало»—слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни—все уже было, больше ничего не будет.

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но все-таки—нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться—тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне

свернуть с дороги, итти по которой я был обречен. Кроме туманного Брет-Гарта и бульварных романов я уже прочитал немало серьезных книг,—они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них—Гурий Плетнев.—Смуглый, синеволосый как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порохом, неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе,—он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам,—очень отвечали измятая, рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы—все в жизни было для него ново, приятно, все возбуждало в нем шумное веселье—он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, веселой трущобе—«Марусовке»,—вероятно знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна—стол, стул и это—все. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей—чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем,—сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, об'едая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но из-за жалости подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:

— Хлеба!

В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикры-

вали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика.

— А я говорю—тюрьма! Геометрия—клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

— К чорту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку,—математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

— Эвклид—дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека...

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет, исходя от математики, доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнев работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы,—нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо, узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно-гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места,—по возрасту.

Плетнев и я спали на одной и той же койке,—я—ночами, он—днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром; я тотчас бежал в тракт р за кипятком,—самовара у нас, конечно, не было; потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика фельетониста «Красное домино» и удивлял меня шутливым отношением к жизни,—мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил веселыми шутками, игрою на гармонике и трогательными песнями,—когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые, сизые щеки пьяницы и обжоры, обильно катились мелкие слезинки; она сгоняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

— Ах, Гурочка,—вздыхая, говорила она,—артист вы! И будь вы чуточку покрасивше—устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношей пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни.

Один из таких «юношей» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего скорняка, парень среднего роста, широкогрудый с уродливо узкими

бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен,—ступни ног студента были маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, вопреки воле отца, голодный, как бездомная собака, он исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока,—сын у нее был уже студент на третьем курсе, дочь кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие, серые глаза, скрытые в темных ямах, одета она в черное платье, в шелковую старомодную головку, в ее ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зеленого цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я с Плетневым не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо ее казалось нам страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты и обреченно, тоскливо смотрят вперед, но—кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее ее, как бы растягивая ее тело и до боли сжимая лицо.

— Смотри,—сказал Плетнев,—точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от нее, а она преследовала его точно безжалостный кредитор или шпион.

— Сконфуженный человек я,—каялся он, выпивши.—И—зачем надо мне петь? Ведь с такой рожей и фигурой—не пустят меня на сцену, не пустят!

— Прекрати эту канитель!—советовал Плетнев.

— Да. Но жалко мне ее! Не выношу, а—жалко! Если бы вы знали, как она—эх...

Мы—знали, потому что слышали как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:

— Христа ради... голубчик, ну—Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень тесно набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи, и всюду по углам, прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел,—непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко деклами-

ровал спившийся, полубезумный актер, истерически орали похмелевшие проститутки, и—возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

— Зачем все это?

Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади,—за эти зубы прозвали его «Рыжий конь». Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами и заявлял всем и каждому:

— Жив быть не хочу, а—разорю их в дребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить,—после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу:—что, черти? То-то!

— Это—цель твоей жизни, Конь?—спрашивали его.

— Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу.

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом шумные пиры, приглашая студентов, швеек,—всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам «Рыжий конь» пил только ром,—напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темнорыжие пятна;—выпив, он завывал:

— Милые вы мои птицы! Люблю вас—честный вы народ! А я—злой подлец и кр-рокодил,—желаю погубить родственников и—погублю. Ей богу! Жив быть не хочу, а...

Глаза «Коня» жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям,—шаровары его всегда были в масляных пятнах.

— Как вы живете?—кричал он.—Голод, холод, одежа плохая,—разве это—закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете...

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

— Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

— Да, это не вам! Это—студентам.

Но студенты денег не брали.

— К чорту деньги!—сердито кричал сын скорняка.

Он сам, однажды, пьяный, принес Плетневу пачку десятирублевок, смятых в твердый ком и сказал, бросив их на стол:

— Вот—надо? Мне—не надо...

Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал так, что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно: они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтобы отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате с окнами в каменную стену соседнего дома—тесно и душно, шумно и кошмарно. «Конь» орет всех громче. Я спрашиваю его:

— Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?

— Милый—для души! Тепло душе с вами...

Сын скорняка подтверждает:

— Верно, Конь! и я—тоже. В другом месте я бы пропал...

Конь просит Плетнева:

— Сыграй! Спой...

Положив гусли на колени себе, Гурий поет:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное...

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

— Хорошо, чорт!—ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой—веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше—любили его, похуже—боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки»—«проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной; на последней, недалеко от ворот нашего жилища приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это—старший городовой в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него—умное, улыбка—любезная, глаза—хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей, несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя Зоологического сада в клетки зверей. Зимою, в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их,—а также Зобкина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то за попытку устроить тайную типографию. А однажды ночью был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал «Блуждающей колокольней». Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне:

— Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее...

Об'яснив, куда нужно бежать, он добавил:

— Смотри—осторожнее! Может быть, там сыщики...

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами; он лудил кастрюлю, но—был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

— Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

— У нас—есть, а для тебя—нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу,—он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но, увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

— Ступай, ступай...

Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу:

— Вы—Тихон?

— Ну, да!

— Петра арестовали.

Он нахмурился, сердито щупая меня глазами.

— Какого это Петра?

— Длинный, похож на дьякона.

— Ну?

— Больше ничего.

— А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего?—спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах конспиративных.

Гурий Плетнев был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел, говорил:

— Тебе, брат, рано! Ты—поучись...

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую, серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

— Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: я приезжий...

Таинственное всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный яркий день, в поле серою былинкой качается одинокий человечек,—вот и все. Догнав его у ворот кладбища, я увидал пред собою юношу с ма-

ленъким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нем было что-то преждевременно ощипанное,—как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им; я согласился, и мы расстались,—он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Дж.-Ст. Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика Учительского института Миловского,—впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством;—как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой «для равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Дж.-Ст. Милля не увлекало меня,—скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне; я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне казалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высиживал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал притти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя, едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул ее наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не оказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня.—Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные ласковые люди; они говорят смешно искаженным русским языком, по вечерам, с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов,—мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, не знакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего

дня приятно охмеляет сердце мое,—мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром,—артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны; ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях,—артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

— Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в черную кучу и заворчали как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

— Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом—начинай!

И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они точно в бой бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи,—с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью—делать, слаще которой только об'ятия женщины.

Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий—должно быть хозяин груза или доверенный его—вдруг заорал возбужденно:

— Молодчики, ведерко ставлю!—Разбойнички, два идет! Делай!

Несколько голосов сразу, со всех сторон тьмы густо рявкнули:

— Три ведра!

— Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы еще усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я, и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди мо-

гут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя—месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места, куда захотят.

Я жил эту ночь в радости не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер,—в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А, тут еще, ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес, сверкнул розоватый луч солнца—его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею.

Казалось, что такому напряжению радостно раз'яренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень.

— Шабаш!—крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

— Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

— Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно:

— Дурак. И—хуже того—идиёт!

Посвистывая, виляя телом как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов,—за ними шумно пировали грузчики; в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню.

Эх, было это дельно ночною порой,—
Вышла прогуляться в садик барыня—эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит,
Видит—барыня лежит...

Хохот, свист, и гремят слова, которым—по отчаянному цинизму—вероятно, нет равных на земле.

Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой, бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной, узенькой улицы, над оврагом, заваленным мусором.

Деренков, сухорукий человечек, с добрым лицом в светлой бородке и умными глазами обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг,—ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди.

Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца-менялы; дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор; за этой комнатой — продолжая ее—помещалась тесная кухня; за кухней в темных сенях, между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради,—таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-голод», «Хитрая механика»,—все эти рукописи были очень зачитаны, измяты.

Когда я впервые пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату; я вошел туда и вижу: в сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка.

О Деренкове мне говорили, как о «народнике»; в моем представлении народник—революционер, а революционер не должен веровать в бога,—богомольный старичок показался мне лишним в этом доме.

Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал:

— Отец Андрея. А вы кто будете? Вот как? А я думал—переодетый студент.

— Зачем же студенту переодеваться?—спросил я.

— Ну, да,—тихо отозвался старик,—ведь как ни переоденься—бог узнает!

Он ушел в кухню, а я, сидя у окна, задумался и вдруг услыхал возглас:

— Вот он какой!

У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая в белое; ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном, пухлом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела, как их изображают дешевые олеографии.

— Отчего вы испугались? Разве я такая страшная?—говорила она тонким, вздрагивающим голосом и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену, точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детски пухлые руки. И пальцы рук были странно неподвижны.

Я стоял пред нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости. Все необычно в этой темной комнате.

Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти три месяца лежала в постели— у нее отнялись руки и ноги.

— Это—нервная болезнь такая,—сказала она улыбаясь.

Помню, мне хотелось, чтобы ее состояние было об'яснено как-то иначе: нервная болезнь—это слишком просто для такой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались к стенам, а в углу, пред иконами слишком ярко горит огонек лампады и по белой скатерти большого, обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей.

— Мне много говорили о вас,—вот я и захотела посмотреть какой вы,—слышал я детски тонкий голос.

Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом, что-то проницательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог—не умел—говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди.

Из лавки выскочил подросток одних лет со мною, белобрысый, с наглыми глазами, он исчез в кухне, крикнув ломким голосом:

— Ты зачем вылезла, Марья?

— Это мой младший брат,—Алексей,—сказала девушка.—А я—учусь на акушерских курсах, да вот, захворала. Почему вы молчите? Вы—застенчивый?

Пришел Андрей Деренков, сунув за пазуху свою сухую руку, молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать—какую работу я ищу?

Потом явилась рыжекудрая, стройная девица с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав:

— Довольно, Марья!

Имя не шло девушке, было грубо для нее.

Я тоже ушел, странно взволнованный, а через день, вечером, снова сидел в этой комнате, пытаясь понять—как и чем живут в ней? Жили— странно.

Милый, кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил:

— Не трогайте меня!

В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастия,—что было ясно мне.

Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей — ленивый, грубый парень. Третий брат,—Иван, учился в Учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам,—это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человечек, похожий на старого чиновника. Больная Ма-

рия жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз, а когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами.

Хозяйство Деренковых вела сожительница домохозяина-скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя,—когда она смотрела зелеными глазами на мужчин—ноздри ее острого носа вздрагивали.

Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты Университета, Духовной академии, Ветеринарного института,—шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шопота по углам. Приносили с собою толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась.

Разумеется, я плохо понимал эти споры, истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые студенты напоминали мне стариков начетчиков сектантского Поволжья, но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но—не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу.

Они смотрели на меня точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

— Самородок!—рекомендовали они меня друг другу с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне почему-то не нравилось, когда меня именовали—«самородком» и «сыном народа», — я чувствовал себя пасынком жизни и, порою, очень испытывал тяжесть силы, руководившей развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами «Афоризмы и максимы», я воспылал желанием прочитать ее и попросил студента Духовной академии дать мне эту книгу.

— Здравствуйте!—иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра,—курчавый, толстогубый, зубастый.—Это, брат, ерунда. Ты читай, что дают, а в область, тебе не подобающую,—не лезь!

Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною, она до сей поры сохранилась у меня.

Вообще—со мною обращались довольно строго: когда я прочитал «Азбуку социальных наук», мне показалось, что роль пастушеских племен в организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги, охотники—обижены им. Я сообщил мои сомнения одному фило-

логу,—а он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное целый час говорил мне о «праве критики».

— Чтоб иметь право критиковать, надо верить в какую-то истину,—во что верите вы?—спросил он меня.

Он читал книги даже на улице,—идет по панели, закрыв лицо книгой и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке в голодном тифе, он кричал:

— Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения,—гармонически, гар-гар-гарм...

Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг, и когда ему казалось, что он примирил противоречия двух сильных умов, его милые, темные глаза детски счастливо улыбались. Лет через десять после жизни в Казани, я снова встретил его в Харькове; он отбыл пять лет ссылки в Кемь и снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей,—погибая от туберкулеза, он старался примирить Ницше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами —

— Без синтеза—невозможно жить!

Он умер на пути в университет в вагоне трамвая.

Немало видел я таких великомучеников разума ради, — память о них священна для меня.

Десятка два подобных людей собиралось в квартире Деренкова; среди них был даже японец, студент Духовной академии Пантелеймон Сато. Порою являлся большой, широкогрудый человек, с густою окладистой бородищей и по-татарски бритой головою. Он казался туго зашитым в серый казакин, глухо застегнутый на крючки до подбородка. Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня, и, почему-то, опасался его. Его молчаливость удивляла меня, все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне,—я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь?

Его звали «Хохол» и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил десять лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушило мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а, напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жаждой все знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно заняться чем-либо одним.

Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего

прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел—плотников, грузчиков, каменщиков; знал—Якова, Осипа, Григория; а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия.

Именно человеколюбия не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры, а здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде.

Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтоб найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям.

Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят: «счастье народа—прежде всего». Он вертелся среди них, точно искренно верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книгочеев; счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другою рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня:

— Хорошо? То-то же!

И когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров,—обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся,—Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал:

— Какой смутьян!

Его отношение к народникам было сродно моему, но отношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто, проводив гостей, он оставлял меня ночевать; мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шопотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампады. С тихой радостью верующего он говорил мне:

— Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь.

Он был лет на десять старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему, он старался не смотреть в ее задорные глаза, при людях говорил с нею суховато, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а говоря наедине с нею, смущенно и робко улыбался, дергая бородку.

Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка; детское лицо ее смешно надувалось напряжением внимания, глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова,—она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом раска-

живал рыжеватый медик, он говорил с нею таинственным полушопотом и внушительно хмурил брови. Все это было удивительно интересно.

Но—наступила осень, жизнь без постоянной работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал все меньше и питался чужим хлебом, а он всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму «место», и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова.

Этот период жизни очерчен мною в рассказах: «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна». Тяжелое время! Однако—поучительное.

Тяжело было физически, еще тяжелее—морально.

Когда я опустился в подвал мастерской, между мною и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, выросла «стена забвения». Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я, работая четырнадцать часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни, в праздничные же дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня как на забавного шута, некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Чорт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне, и, видя как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом,—я чувствовал себя праздничн и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его.

Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быт. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя э забвение в кабаках, да в холодных об'ятиях проституток.

Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в де... получки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его—долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них брезгливо отплевываясь.

Но—странно!—за всем этим я слышал—мне чудилось—печаль и сты Я видел, что в «домах утешения», где за рубль можно было купить же щину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато,—это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротою. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в приятную позицию: надо мною зло издевались и женщины, и товари Скоро меня перестали приглашать в «дома утешения», заявив откровенно:

— Ты, брат, с нами не ходи.

— Почему?

— Так, уж! Не хорошо с тобой.

Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил об'яснения более толкового.

— Экой, ты! Сказано тебе—не ходи. Скушно с тобой...

И только Артем сказал, усмехаясь:

— Вроде, как при попе, али при отце.

Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой:

— Брезгуешь?

Сорокалетняя «девушка» пышная и красивая полька Тереза Борута «экономка», глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала:

— Оставимте ж его, подруги,—у него обязательно невеста есть—да? Такой силач обязательно невестой держится, больше ничем.

Алкоголичка, она пила запоем и пьяная была неописуемо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях.

— Самый же непонятный народ—это обязательно студенты Академии, да!—рассказывала она моим товарищам.—Они такое делают с девушками: велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками—ногами на тарелки и толкают ее в зад—далеко ли уедет по полу? Так—одну, так и другую. Вот. Зачем это?

— Ты врешь!—сказал я.

— Ой, нет!—воскликнула Тереза не обижаясь, спокойно, и в спокойствии этом было что-то подавляющее.

— Ты выдумала это.

— Как же такое можно выдумать девушке? Разве я—сумасшедшая?—спросила она, вытаращив глаза.

Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза все рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно: понять—зачем это?

Слушатели с отвращением отплевывались, дико ругали студентов, а я,—видя, что Тереза возбуждает вражду к людям уже излюбленным мною,—говорил, что студенты любят народ, желают ему добра.

— Так то студенты с Воскресенской улицы, штатские, с университета, я ж говорю о духовных, с Арского поля! Они, духовные, — сироты все, а сирота растет обязательно вором или озорником, плохим человеком растет, он же ни к чему не привязан, сирота!

Спокойные рассказы «экономки» и злые жалобы девушек на студентов, чиновников, и вообще на «чистую публику», вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость, она выражалась словами:

— Значит, образованные-то хуже нас!

Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные, маленькие комнаты стекается, точно в ямы, грязь города, вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви.

как возникают уродливые легенды о жизни «образованных людей», зарождается насмешливое и враждебное отношение к непонятному,—и видел, что «дома утешения» являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера.

Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая ногами, «девушки для радости», как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоники, или под раздражающий треск струн разбитого пианино, смотрел—и у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекала скука, отравляя душу бессильным желанием куда-то уйти, где-то спрятаться.

Когда в мастерской я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа, — мне возражали:

— А, вот, девки не то говорят про них!

И нещадно, с цинической злостью высмеивали меня, а я был задорным кутёнком, чувствовал себя не глупее и смелее взрослых собак,—я тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни—не менее тяжелы, чем сама жизнь, я, порою, ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина.

И—как нарочно—именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но все-таки очень смутившей меня.

В одну из тех вьюжных ночей, когда кажется, что злобно воющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья и они сыплются на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше,—в такую ночь, на Масленой неделе я возвращался в мастерскую от Деренковых. Шагал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса и вдруг—упал, наскочив на человека, лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я—по-русски, он—на французском языке:

— О, дьявол...

Это возбудило мое любопытство, я поднял его, поставил на ноги,—он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал:

— Моя шапка, чорт вас возьми! Отдайте шапку! Я—замерзну!

Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая ею на меня, ругался на двух языках, гнал меня:

— Прочь!

Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашице. Идя дальше, я снова увидал его—он стоял, обняв руками деревянный столб погашенного фонаря, и убедительно говорил:

— Лена, я погибаю... о, Лена...

Видимо, он был пьян и, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет.

— Какая это улица?—закричал он со слезами в голосе.—Я не знаю, куда итти.

Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет.

— На Булаке,—бормотал он, вздрагивая.—На Булаке... там—бани,—дом...

Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне итти; я слышал, как стучали его зубы:

— Си тю савэ,—бормотал он, толкая меня.

— Что вы говорите?

Он остановился, поднял руку и сказал внятно,—с гордостью, как показалось мне:

— Си тю савэ у же те мен...

И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес, а он, упираясь подбородком в череп мой, ворчал:

— Си тю савэ у... Но я замерзаю, о, боже...

На Балаке я с трудом добился у него—в каком доме он бивет; наконец, мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора и вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел:

— Шш! Тише...

Дверь открыла женщина в красном капоте, с зажженой свечей в руке; уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала рассматривать меня.

Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки и его необходимо раздеть, уложить в постель.

— Да?—спросила она звучно и молодо.

— Руки нужно опустить в холодную воду...

Она молча указала лорнетом в угол, там, на мольберте стояла картина,—река, деревья. Я удивленно взглянул в лицо женщины странно неподвижное, а она отошла в угол комнаты, к столу, на котором горела лампа под розовым абажуром, села там и, взяв со стола валета червей, стала рассматривать его.

— У вас нет водки?—громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко наклонив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя как во сне. Стена предо мною, над диваном была сплошь покрыта фотографиями, среди них тускло светился золотой венок в белых бантах ленты, на конце ее золотыми буквами было напечатано:

«Несравненной Джильде».

— Чорт побери—тише! — застонал человек, когда я начал растирать его руки.

Женщина озабоченно и молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие, неподвижные глаза. Вот она руками

девочки-подростка взбила седые свои волосы, пышные, точно парик, и спросила тихо, но звучно:

— Ты видел Мишу, Жорж?

Жорж оттолкнул меня, быстро сел и торопливо сказал:

— Но, ведь, он уехал в Киев...

— Да, в Киев,—повторила женщина, не отводя глаз от карт, и я заметил, что голос ее звучит однотонно, не выразительно.

— Он скоро приедет...

— Да?

— О, да! Скоро.

— Да?—повторила женщина.

Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колени у ног женщины, говоря ей что-то по-французски.

— Я спокойна,—по-русски ответила она.

— Я—заплутался, знаешь? Метель, страшный ветер, я думал замерзну. Мы немного пили,—торопливо рассказывал Жорж, гладя ее руку, лежавшую на колене. Ему было лет сорок, красное толстогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным, он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил все более трезво.

— Мы завтра едем в Киев,—сказала женщина, не то—спрашивая, не то—утверждая.

— Да, завтра! И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уже очень поздно...

— Он не приедет сегодня—Миша?

— О, нет! Такая метель... Идем, лят...

Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий, сиповатый голос. Мохнатые лапы шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами, теплый странный запах наполнял ее, усыпляя мысль.

Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучал о стекло.

— Легла.

Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня:

— Ну, что же? Без тебя, вероятно, я бы погиб... Спасибо! Ты кто?

Он склонил голову на-бок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая.

— Это ваша жена?—тихонько спросил я.

— Жена. Все. Вся жизнь!—раздельно, не громко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями.

— Чаю выпить,—а?

Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга об'елась рыбой и ее отправили в больницу.

Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил:

— Без тебя я бы замерз,—спасибо!

И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами.

— Что же было бы с нею тогда? О, господи...

Быстро, шопотом, глядя в темную дыру двери, он сказал:

— Ты видишь,—она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она все ждет его, вот уже два года, почти...

Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, не обычными словами рассказал, что женщина—помещица, он—учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа-немца, барона,—пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь.

Рассказывал он, как будто читая неясно написанное, прищурив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни, с прогнившим у печки полом. Обжигался, прихлебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали.

— Ты—кто?—еще раз спросил он.—Да,—крендельщик, рабочий.— Странно, не похоже. Что это значит?

Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного.

Я кратко рассказал о себе.

— Вот как?—тихо воскликнул он.—Да, вот как...

И вдруг оживился, спрашивая:

— Ты знаешь сказку о «Гадком утенке»? Читал?

Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными—до визга—повышениями сиповатого голоса.

— Эта сказка—соблазняет! В твои годы я тоже подумал—не лебедь ли я? И—вот... Должен был итти в академию—пошел в университет. Отец—священник—отказался от меня. Изучал—в Париже—историю несчастий человечества, историю прогресса. Писал, да. О, как все это...

Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне:

— Прогресс—это выдумано для самоутешения! Жизнь—неразумна, лишена смысла. Без рабства—нет прогресса, без подчинения большинства меньшинству—человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтобы делать еще и еще машины, это—глупо. Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб—это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку—тем более он счастлив, чем больше желаний—тем меньше свободы.

Быть может—не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув

от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью.

— Пойми,—каждому нужно немного: кусок хлеба и женщину...

Заговорив о женщине таинственным шопотом, словами, которых я не знал, стихами, которых не читал,—он вдруг стал похож на вора Башкина.

— Беатриче, Фиаметта, Лаура, Нинон,—шептал он имена незнакомые мне и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою.

— Любовь и голод правят миром, — слышал я горячий шопот и вспомнил, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь-голод»,—это придавало им в моих мыслях—особенно веское значение.

— Люди ищут забвения, утешения, а не—знания!

Эта мысль окончательно поразила меня.

Я ушел из кухни утром,—маленькие часы на стене показывали шесть с минутами. Шагал в серой мгле по сугробам, слушая вой метели и вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека; чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось итти в мастерскую видеть людей,—и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города.

Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда,—их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, «толстовцы» и высоко-культурные люди. Говорил об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог,—неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними.

И только, вот, года два тому назад—спустя более тридцати лет после первой беседы на эту тему—я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего.

Однажды у меня с ним завязалась беседа «по душе» и этот человек, невесело усмехаясь, сказал мне с тою бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди.

— А. М.,—милый,—ничего не надо, никуда все это: академии, науки, аэропланы,—лишнее! Надобно только угол тихий и—бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно—душой и телом—отвечала,—вот! Вы—по интеллигентски рассуждаете, вы—уж не наш, а—отравленный человек, для вас идея выше людишек, вы по-еврейски думаете: человек—для субботы?

— Евреи не думают так...

Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное.

— Вы с нами, а—не наш, вот что я говорю,—продолжал он вдумчиво, тихо.—Интеллигентам приятно беспокоиться, они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных

целей, так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует—идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь, и все—со зла: видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстает для революции,—ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно,—думаете, согласится он на государство? Ни за что. Все разойдутся, и каждый, за свой страх, устроит себе спокойный уголок... Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному—немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучей живут, там—и водопроводы, и канализация, и электричество. А попробуйте без этого жить,—как легко будет! Нет, много лишнего у нас, и все это—от интеллигенции. Потому я и говорю: интеллигенция—вредная категория.

Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обессмысливать жизнь, как это делаем мы, русские.

— Самый свободный народ по духу, — усмехнулся мой собеседник. — Только, — вы не сердитесь, я правильно рассуждаю, так миллионы наши думают, да—сказать не умеют... Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям...

Человек этот никогда не был «толстовцем», не обнаруживал склонности к анархизму,—я хорошо знаю историю его духовного развития.

После беседы с ним я невольно подумал: а что, если, действительно, миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда,—максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия [1]).

И мне вспомнились стихи Генрика Ибсена:

Я консерватор? О, нет!
Я все тот же, кем был всю жизнь, —
Не люблю перемещать фигуры,
Но хотел бы смешать всю игру.
Помню только одну революцию, —
Она была умнее последующих
И могла бы все разрушить —
Разумею, конечно, Всемирный потоп.
Но — и тогда дьявола надули!
Вы знаете — Ной стал диктатором.
О, если это можно сделать честнее,
Я не откажусь помочь Вам,—
Вы хлопочете о Всемирном потопе,
Я же, с радостью, суну торпеду под ковчег.

---

[1]) От редакции. Редакция ни в какой мере не разделяет этих пессимистических раздумий А. М. Неверные вообще они опровергаются в особенности художественным творчеством тов. Горького, в частности его автобиографическими рассказами, где так много странствующих, путешествующих, неугомонных, беспокойных протестантов, как и в других вещах А. М.

Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и «делишек», нуждавшихся в материальной помощи,—все возрастало.

— Надо придумать что-нибудь, — озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжко вздыхал.

Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям и, хотя примирился с наказанием, но все-таки порою оно тяготит его.

Не однажды, разными словами, я спрашивал:

— Почему вы делаете это?

Он, видимо не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос—для чего?—говорил книжно и невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания.

— А—хотят, ищут люди знания?

— Ну, как же! Конечно! Ведь вы—хотите?

Да, я—хотел. Но—я помнил слова учителя истории:

«Люди ищут забвения, утешения, а не—знания».

Для таких острых идей — вредна встреча с людьми семнадцати лет от роду; идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают.

Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же: людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше «выдумки» в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой «выдумки». Кратко говоря—я плавал в чадном тумане.

Деренков придумал открыть булочную. Помню,—было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее тридцати пяти процентов на каждый оборот рубля. Я должен был работать «подручным» пекаря и, как «свой человек», следить, чтоб оный пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар.

И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький, почище,—забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в сорок человек предо мною был один,—у него седые виски, острая бородка, сухое, копченое лицо, темные, задумчивые глаза и странный рот: маленький—точно у окуня, губы пухлые, толстые и сложены так, как будто он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз.

Он, конечно, воровал,—в первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла.

— Это—куда пойдет?

— А это пойдет одной девченочке,—дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил:—Ха-арошая девченка!

Я попробовал убедить его, что воровство считается преступлением. Но—или у меня не хватило красноречия, или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать,—речь моя не имела успеха.

Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал:

— Он меня—учит! Первый раз видит и—готово!—учит. А сам втрое моложе меня. Смешно...

Осмотрел звезды и спросил:

— Будто видел я тебя где-то, — ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел...

Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом положении, даже стоя, опершись на лопату. Засыпая, он приподнимал брови и лицо его странно изменялось, принимая иронически удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладах и снах. Он убежденно говорил:

— Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена: котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз бывало: вижу во сне знакомое место, скажем, баню, — под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть, аршина полтора вырыл,—гляжу—угли и собачий череп. Вот оно,—нашел!.. Вдруг—трах!—окно вдребезги, и баба какая-то орет неистово:—Караул, воры! Конечно—убежал, а то бы—избили. Смешно.

Я часто слышу это слово: смешно!—но Иван Лутонин не смеется, а только, улыбчиво прищурив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри.

Сны его—не затейливы, они так же скучны и нелепы, как действительность, и я не понимаю: почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг него—не любит говорить?

Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам в подвал доносятся возбужденные голоса, резкие слова.

— Косы ей драли мало, девице этой, — говорит Лутонин, и вслед за этим сообщает: — Ловлю, будто, я карасей в пруде, вдруг—полицейский: стой, как ты смеешь? Бежать некуда, нырнул я в воду и—проснулся.

Но, хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания,—он скоро почувствовал, что в булочной есть что-то необычайное: в магазине торгуют девицы, неспособные к этому делу, читающие книжки—сестра хозяина и подруга ее, большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином, и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, а я—«подручный» — являюсь, как будто, управляющим булочной.

— Родственник ты хозяину?—спрашивает Лутонин.—А, может, он тебя в зятья прочит? Нет. Смешно. А—зачем студенты шляются? Для барышень... Н-да. Ну, это может быть... Хотя барышни незначительно вкусно-красивы... Студентишки-то, наверно, больше—едят булки, чем для барышень стараются...

Почти ежедневно в пять, шесть часов утра, на улице, у окна пекарни является коротконогая девушка; сложенная из полушарий различных разме-

ров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет:

— Ваня!

На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые, светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мячами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно—о чем можно говорить с такой девицей. Я бужу пекаря, он спрашивает ее:

— Пришла?

— Видишь.

— Спала?

— Ну, а как же?

— Что видела во сне?

— Не помню...

Тихо в городе. Впрочем — где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.

— Пешков, вынимай сдобное, пора.

Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоек, саек, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит.

Любуясь ею, пекарь говорит:

— Опусти подол, бесстыдница...

А когда она уходит, он хвастается предо мною:

— Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я, брат, чистоплотный: с бабами не живу, только с девицами. Это у меня—тринадцатая. Никифорычу—крестная дочь.

Слушая его восторги, я думаю:

— И мне—так жить?

Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску десять, двенадцать короваев, и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобными, и бегу в Духовную академию, чтоб поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками «на книжку» и «за наличный расчет»,—стою и слушаю их споры о Толстом;—один из профессоров академии—Гусев—яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки, я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента, иногда—студенты прячут книги и записки в корзину мне.

Раз в неделю я бегаю еще дальше—в «Сумасшедший дом», где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного манией величия: когда в дверях аудитории явился этот

длинный человек, в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановясь на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил,—как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду, почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, как будто обожженное горячей пылью.

Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами, мне казалось, что все его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукою он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и властно блестел из темных ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие — улыбаясь, большинство — сосредоточенно и печально, их глаза подчеркнуто обыкновенны, в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем,—есть.

В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора, каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса, он исходит как будто из-под пола, из мертвых, белых стен, движения тела больного архиерейски медленны и важны.

Ночью я писал стихи о маниаке, называя его «владыкой всех владык, другом и советником бога», и долго образ его жил со мною, мешая мне жить.

Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал, и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того, как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все меньше, он меня «учил», говоря с ласковым удивлением:

— Ты—способный к работе,—через год, два—будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут...

К моему увлечению книгами он относился неодобрительно:

— Ты бы не читал, а спал, — заботливо советовал он, но никогда не *спрашивал, какие книги читаю я.*

Сны, мечты о кладах и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки, или—если было холодно—говорил мне, сморщив переносье:

— Выдь на полчасика.

— Я уходил, думая: как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах...

В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался возможно реже видеть ее—неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня все тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах, в глубине этих глаз я подозревал улыбку и мне казалось, что это насмешливая улыбка.

От избытка сил я был очень неуклюж, пекарь, наблюдая как я ворочаю и таскаю пятипудовые мешки, говорил, сожалея:

— Силы у тебя—на троих, а ловкости нет. И, хоша ты длинный, а все-таки—бык...

Несмотря на то, что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их,—говорил я «своими словами». Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня.

Один из учителей моих, студент математик, упрекал меня:

— Чорт вас знает, как говорите вы. Не словами, а—гирями! Вообще—я не нравился себе, как это часто бывает у подростков; видел себя смешным, грубым. Лицо у меня—скуластое, калмыцкое, голос—не послушен мне.

А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе и мне казалось, что легкость ее движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтоб я забыл о том, какою я видел ее первый раз. А я не хотел забыть об этом, мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно возможно, существует.

Иногда она спрашивала меня:

— Что вы читаете?

Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее:

— А вам зачем знать это?

Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:

— Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты...

Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина:

— Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и—вроде сумасшедшего живет...

В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор; там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари—горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочной открыты окна; в комнатах, не ярко освещенных, поют:

Сам Варламий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается...

Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову лежащей на коленях у меня,—как лежит на коленях пекаря его девица—и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно.

И всю ночь, напролет,
Он и пьет, и поет,
И еще-о!.. кое-чем
Занимается...

Задорно выделяется из хора густое, басовое—о. Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно; сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром, перед нею, лицом к окну, сидит девушка и пишет. Вот—подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем,—меньше моего мизинца. Но—снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку—плечи у нее круглые, как пышки—берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою,—он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе.

А когда к ней приходил рыжеватый студент и пониженным голосом, почти шопотом, говорил ей что-то, она вся сжималась, становясь еще меньше, смотрела на него, робко улыбаясь, и прятала руки за спину или под стол. Не нравился мне этот рыжий. Очень не нравился.

Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит:

— Иди в пекарню...

Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительна и неутомима его возлюбленная, а я—соображаю:

— Что же будет со мною дальше?

И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастие.

Дела булочной идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это—хорошо, у меня слишком много работы, я устаю до отупения.

— В новой пекарне ты будешь старшим подручным,—обещает мне пекарь.—Скажу, чтоб положили тебе десять рублей в месяц. Да.

Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим, он—не любит работать, а я работаю охотно, усталость полезна мне, она гасит тревоги души, сдерживает настойчивые требования инстинкта пола. Но — не позволяет читать.

— Хорошо, что ты бросил книжки,—крысы бы с'ели их!—говорит пекарь.—А—неужто ты снов не видишь? Наверно—видишь, только—скрытен ты. Смешно. Ведь сны рассказывать—самое безвредное дело, тут опасаться нечего...

Он очень ласков со мною, кажется,—даже уважает меня. Или—боится, как хозяйского ставленника, хотя это не мешает ему аккуратно воровать товар.

(Продолжение следует).

Аэлита.

Роман.

Алексей Толстой.

(Окончание).

Поворот событий.

Войска повстанцев заняли все важнейшие пункты города, указанные Гором. Ночь была прохладная. Марсиане мерзли на постах. Гусев распорядился зажечь костры. Это показалось неслыханным:—вот уже тысячу лет в городе не зажигалось огня,—о пляшущем пламени пелось лишь в древней песне.

Перед Домом Совета Гусев сам зажег первый костер из обломков мебели. «Улла, улла»,—тихими голосами завыли марсиане, окружив огонь. И вот, костры запылали на всех площадях. Красноватый свет оживил колеблющимися тенями покатые стены домов, мерцал в окнах.

За окнами появились голубоватые лица,—тревожно, в тоске, всматривались они в невиданные огни, в мрачные, оборванные фигуры повстанцев. Многие из домов опустели этой ночью.

Было тихо в городе. Только потрескивали костры, звенело оружие,—словно возвратились на пути свои тысячелетия, снова начался томительный их полет. Даже мохнатые звезды над улицами, над кострами казались иными, — невольно сидящий у огня поднимал голову и всматривался в забытый, словно оживший их рисунок.

Гусев облетал на крылатом седле расположения войск. Он падал из звездной темноты на площадь и ходил по ней, бросая гигантскую тень. Он казался истинным сыном неба, истуканом, сошедшим с каменного цоколя. «Магацитл, Магацитл»,—в суеверном ужасе шептали марсиане. Многие впервые видели его и подползали, чтобы коснуться. Иные плакали детскими голосами:—«Теперь мы не умрем... Мы станем счастливы... Сын неба принес нам жизнь».

Худые тела, прикрытые пыльной, однообразной для всех, одеждой, морщинистые, востроносенькие, дряблые лица, печальные глаза, веками приученные к мельканию колес, к сумраку шахт, тощие руки, неумелые в движениях радости и смелости,—руки, лица, глаза с искрами костров—тянулись к сыну неба.

— Не робей, не робей, ребята. Гляди веселей,—говорил им Гусев,—нет такого закону, чтобы страдать безвинно до скончания века, — не робей. Одолеем—заживем не плохо.

Поздно ночью Гусев вернулся в Дом Совета, — продрог и был голоден. В сводчатом зальце, под низкими золотыми арками, спали на полу, посапывая, десятка два марсиан, увешанные оружием. Зеркальный пол был заплеван жеваной хаврой. Посреди зальца на патронных жестянках сидел Гор и писал при свете электрического фонарика. На столе валялись открытые банки консервов, фляжки, корки хлеба.

Гусев присел на угол стола и стал есть—жадно, вытер руку о штаны, хлебнул из фляжки, крякнул,—сказал простуженным басом:

— Положение скверное.

Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную тряпку, обмотанную вокруг головы Гусева, его крепко жующее, скуластое лицо,—усы торчком, раздутые ноздри.

— Не могу добиться,—куда, к дьяволу, девались правительственные войска,—сказал Гусев,—валяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше пятнадцати тысяч. Провалились. Попрятаться не могли,—не иголка. Если бы прорвались,—я бы знал. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу очутиться.

— Тускуб, правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магр под город,—сказал Гор.

Гусев соскочил со стола:

— Почему же вы молчите?

— Преследовать Тускуба бесполезно. Сядьте и ешьте, сын неба.—Гор, морщась, достал из-под одежды красноватую, как перец, пачку сухой хавры, засунул ее за щеку, и медленно жевал. Глаза его покрылись влагой, потемнели, морщины разошлись.—Несколько тысячелетий тому назад мы не строили больших домов, мы не могли их отапливать,—электричество было нам неизвестно. В зимние стужи население уходило под поверхность марса, на большую глубину. Огромные залы, приспособленные из прорытых водою пещер, колоннады, тоннели, коридоры—согревались внутренним жаром планеты. В жерлах вулканов жар был настолько велик, что мы воспользовались им для добывания пара. До сих пор на некоторых островах еще работают неуклюжие, паровые машины тех времен. Тоннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти подо всей планетой. Искать Тускуба в этом лабиринте бессмысленно. Он один знает планы и тайники Лабиринта царицы Магр,—«Повелительницы двух Миров», владевшей некогда всем марсом. Из-под Соацеры сеть тоннелей ведет к пятистам живым городам и к более тысячи мертвым, вымершим. Там, повсюду, склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены. У Тускуба—армия, на его стороне—владельцы сельских поместий, плантаторы хавры, и все те, кто тридцать лет тому назад, после опустошительной войны, стали собственниками городских домов. Тускуб умен и вероломен. Он нарочно вызвал все эти собы-

тия,—чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления... Ах, золотой век!.. Золотой век!..

Гор замотал одурманенной головой. На щеках его выступили лиловые пятна. Хавра сильно начинала действовать на него.

— Тускуб мечтает о золотом веке:—открыть последнюю эпоху Марса—золотой век. Избранные войдут в него, только достойные блаженства. Равенство недостижимо, равенства нет. Всеобщее счастье—бред сумасшедших, пьяных хаврой. Тускуб сказал:—жажда равенства и всеобщая справедливость—разрушают высшие достижения цивилизации.—На губах у Гора показалась красноватая пена.—Итти назад, к неравенству, к совершенной несправедливости! Пусть на нас кинутся, как ихи,—минувшие века. Заковать рабов, приковать к машинам, к станкам, в шахтах... Пусть—полнота скорби. И у блаженных—полнота счастья... Вот—золотой век. Скрежет зубов и мрак. И высшее наслаждение, упоение. Будь прокляты отец мой и мать! Родиться на свет! Будь прокляты!

Гусев глядел на него, шибко жевал папироску:

— Ну, я вам скажу,—вы дожили здесь...

Гор долго молчал, согнувшись на патронных жестянках, как древний, древний старик.

— Да, сын неба. Мы, населяющие древнюю Туму, не разрешили загадки Сегодня я видел вас в бою. В вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но мы—стары. В нас пепел. Мы упустили свой час.

Гусев подтянул кушак:

— Ну, хорошо. Завтра предполагаете что делать?

— На утро нужно отыскать по зеркальному телефону Тускуба и войти с ним в переговоры о взаимных уступках...

— Вы, товарищ, целый час чепуху несете,—перебил Гусев,—вот вам диспозиция на завтра: вы об'явите всему Марсу, что власть перешла к нам. Требуйте безусловного подчинения. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы, захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать земле, в Москву, чтобы слали нам подкрепление как можно скорее. В полгода они аппараты построят, а лететь всего...

...Гусев пошатнулся и тяжело сел на стол. Весь дом дрожал. Из темноты сводов посыпались лепные украшения. Спавшие на полу марсиане вскочили озираясь. Новая, еще более сильная, дрожь потрясла дом. Зазвенели разбитые стекла. Распахнулись двери. Низкий, усиливающийся раскатами, грохот наполнил зал. Раздались крики на площади, выстрелы.

Марсиане, кинувшиеся к дверям,—попятились, раздались. Вошел сын неба, Лось. Трудно было узнать его лицо:—огромные глаза ввалились,—были темны, странный свет шел из его глаз. Марсиане пятились от него, садились на корточки. Белые волосы его стояли дыбом.

— Город окружен,—сказал Лось громко и твердо,—небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.

Контр-атака.

Лось и Гор выходили в эту минуту на лестницу дома, под колоннаду: раздался второй взрыв. Синеватым веером взлетело пламя в северной стороне города. Отчетливо стали видны вздымающиеся клубы дыма и пепла. Вслед грохоту—пронесся вихрь. Багровое зарево поползло на полнеба.

Теперь ни одного крика не раздалось на звездообразной площади, полной войск. Марсиане молча глядели на зарево. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.

Гусев, после короткого совещания с Лосем и Гором, распорядился приготовить воздушный флот к бою. Все корабли были в арсенале. Лишь пять этих огромных стрекоз лежало на площади. Гусев послал их в разведку. Корабли взвились,—блеснули огнем их крылья.

Из арсенала ответили, что приказание получено и посадка войск на корабли началась. Прошло неопределенно много времени. Дымное зарево разгоралось. Было зловеще и тихо в городе. Гусев поминутно посылал марсиан к зеркальному телефону торопить посадку. Сам он огромной тенью мотался по площади, хрипло кричал, строя беспорядочные скопления войск в колонны. Подходя к лестнице, ощеривался,—усы вставали дыбом:

— Да скажите вы им в арсенале,—следовало непонятное Гору выражение,—скорее, скорее...

Гор ушел к телефону. Наконец, была получена телефонограмма, что посадка окончена, корабли снимаются. Действительно, невысоко над городом, в густом зареве, появились парящие стрекозы.—Гусев, расставив ноги, задрав голову, с удовольствием глядел на эти журавлиные линии. В это время раздался третий, наиболее сильный, взрыв.

Мечи синеватого пламени пронизали путь кораблям,—они взлетели, закружились и исчезли. На месте их поднялись снопы праха, клубы дыма.

Между колонн появился Гор. Голова его ушла в плечи. Лицо дрожало, рот растянулся. Когда утих грохот взрыва, Гор сказал:

— Взорван арсенал. Флот погиб.

Гусев сухо крякнул,—стал грызть усы. Лось стоял, прижавшись затылком к колонне, глядел на зарево. Гор поднялся на цыпочках к его остекленевшим глазам:

— Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых. Но мы, мы—виноваты? Сын неба,—мы виноваты?

Лось не ответил. Гусев упрямо мотнул головой и сбежал на площадь. Раздалась его команда. И вот, колонна за колонной пошли марсиане в глубину улиц, на баррикады. Крылатая тень Гусева пролетела в седле над площадью, крича сверху:

— Живей, живей поворачивайся, черти дохлые!

Площадь опустела. Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз: они взлетали волна за волной из-за горизонта и плыли над городом. Это были корабли Тускуба.

Гор сказал:

— Бегите, сын неба, вы еще можете спастись.

Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Навстречу им из темноты улиц взвился огненный шар,—второй, третий. Это стреляли круглыми молниями машины повстанцев. Вереницы крылатых галер описывали круг над площадью и, разделяясь, плыли над улицами, над крышами. Непреставаемые вспышки выстрелов озаряли их борта. Одна галера перевернулась и, падая, застряла изломанными крыльями между крыш. Иные садились на углах площади, высаживали солдат в серебристых куртках. Солдаты бежали в улицы. Началась стрельба из окон, из-за углов. Летели камни. Кораблей налетало все больше, непереставая скользили багровые тени по площади.

Лось увидел,—невдалеке, на уступчатой террасе дома, поднялась плечистая фигура Гусева. Пять-шесть кораблей сейчас же повернули в его сторону. Он поднял над головой огромный камень и швырнул его в ближайшую из галер. Сейчас же сверкающие крылья закрыли его со всех сторон.

Тогда Лось побежал туда через площадь,—почти летел, как во сне. Над ним, сердито ревя винтами, треща, озаряясь вспышками, закружились корабли. Он стиснул зубы, глаза пронзительно, зорко отмечали каждую мелочь.

Несколькими прыжками Лось миновал площадь, и снова увидал на террасе углового дома—Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами,—ворочался, как медведь, под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул в воздух, и пошел по террасе, волоча их всех за собой. И упал.

Лось закричал громким голосом. Цепляясь за выступы домов, поднялся на террасу. Снова из кучи визжащих тел появилась выпученная, с разбитым ртом, голова Гусева. Несколько солдат вцепились в Лося. С омерзением он отшвырнул их, кинулся к ворочающейся куче и стал раскидывать солдат,—они летели через балюстраду, как щенки. Терраса опустела. Гусев силился подняться,—голова его моталась. Лось взял его на руки,—он был не тяжелее годовалого ребенка,—вскочил в раскрытую дверь,—и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.

Гусев хрипел. Лось вернулся к двери. Мимо террасы проплывали корабли, проплывали высматривающие востроносые лица. Надо было ожидать нападения.

— Мстислав Сергеевич,—позвал Гусев; он теперь сидел, трогая голову, и плюнул кровью,—всех наших побили... Мстислав Сергеевич, что же это такое?.. Как налетели, налетели, начали косить... Кто убитый, кто попрятался. Один я остался... Ах, жалость!..

Он поднялся, дуром ткнулся по комнате, шатаясь остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина. — Ну, погоди!—схватил статую и кинулся к двери.

— Алексей Иванович, зачем?

— Не могу. Пусти.

Он появился на террасе. Из-за крыльев проплывавшего мимо корабля

блеснули выстрелы. Затем, раздался удар, треск.—Ага!—закричал Гусев. Лось втащил его в комнату, захлопнул дверь.

— Алексей Иванович, поймите—мы разбиты, все кончено. Нужно спасать Аэлиту.

— Да что вы ко мне с бабой вашей лезете!..

Он быстро присел, схватился за лицо, засопел, топнул ногой, и точно доску внутри его стали разрывать:

— Ну и пусть кожу с меня дерут. Неправильно все на свете. Неправильная эта планета, будь она проклята! «Спаси, говорят, спаси нас»... Цепляются... «Нам говорят, хоть бы как-нибудь да пожить. Пожить!..» Что же я могу... Вот—кровь свою пролил. Задавили. Мстислав Сергеевич, ну ведь сукин же я сын,—не могу я этого видеть... Зубами мучителей разорву...

Он опять засопел и пошел к двери. Лось взял его за плечи, встряхнул, твердо взглянул в глаза:

— То, что произошло — кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся. Домой, на землю.

Гусев мазнул кровь и грязь по лицу:

— Идем!

Они вышли из комнаты на кольцеобразную площадку, висящую над широким колодцем. Винтовая лесенка спиралью уходила вниз по внутреннему его краю. Тусклый свет зарева проникал сквозь стеклянную крышу в эту головокружительную глубину.

Лось и Гусев стали опускаться по узкой лесенке,—там внизу было тихо. Но наверху все сильнее трещали выстрелы, скрипели, задевая о крышу, днища кораблей. Видимо, началась атака на последнее прибежище сынов неба.

Лось и Гусев бежали по бесконечным спиралям. Свет тускнел. И вот они различили внизу маленькую фигурку. Она едва ползла навстречу. Остановилась, слабо крикнула:

— Они сейчас ворвутся. Спешите. Внизу—ход в лабиринт.

Это был Гор, раненый в голову. Облизывая губы, он сказал:

— Идите большими тоннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на землю—расскажите о нас. Быть может, вы на земле будете счастливы. А нам—ледяные пустыни, смерть, тоска... Ах, мы упустили час... Нужно было свирепо и властно, властно и милосердно любить жизнь...

Внизу послышался шум. Гусев побежал вниз. Лось хотел было увлечь за собой Гора, но марсианин стиснул зубы, вцепился в перила:

— Идите. Я хочу умереть.

Лось догнал Гусева. Они миновали последнюю кольцеобразную площадку. От нее лесенка круто опускалась на дно колодца. Здесь они увидели большую, каменную плиту с ввернутым кольцом,—с трудом приподняли ее:—из темного отверстия подул сухой ветер.

Гусев соскользнул вниз первым. Лось, задвигая за собой плиту, увидел, как на кольцеобразной площадке появились едва различаемые в красном сумраке фигуры солдат. Они побежали вверх по винтовой лестнице. Гор протянул им руки, и упал под ударами.

Лабиринт царицы Магр.

Лось и Гусев, протянув руки, осторожно двигались в затхлой и душной темноте.

— Заворачиваем.

— Узко?

— Широко, руки не достают.

— Опять какие-то колонны.

Не менее трех часов прошло с тех пор, когда они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы. Фонарик Гусев обронил еще во время драки. Они двигались в непроглядной немой тьме.

Тоннели бесконечно разветвлялись, скрещивались, уходили в глубину. Слышался иногда четкий, однообразный шум падающих капель. Расширенные глаза различали неясные, сероватые очертания,—но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты.

— Стой.

— Что?

— Дна нет.

Они стали, прислушиваясь. В лицо им тянул слабый, сухой ветерок. Издалека, словно из глубины доносились какие-то вздохи,—вдыхание и выдыхание. Неясной тревогой они чувствовали, что перед ними—пустая глубина. Гусев пошарил под ногами камень и бросил его в темноту. Спустя много секунд донесся слабый звук падения.

— Провал.

— А что это дышит?

— Не знаю.

Они повернули и встретили стену. Шарили направо, налево,—ладони скользили по обсыпающимся трещинам, по выступам сводов. Край невидимой пропасти был совсем близко от стены,—то справа, то слева, то опять справа. Они поняли, что закружились и не найти прохода, по которому вышли на этот узкий карниз.

Они прислонились рядом, плечо к плечу, к шершавой стене. Стояли, слушая усыпительные вздохи из глубины.

— Конец, Алексей Иванович?

— Да, Мстислав Сергеевич, видимо—конец.

После молчания Лось спросил странным голосом, негромко:

— Сейчас—ничего не видите?

— Нет.

— Налево, далеко.

— Нет, нет.

Лось прошептал что-то про себя, переступил с ноги на ногу.

— Все потому, что уперлись лбом в смерть,—сказал он,—ни уйти от нее, ни понять ее, ни преодолеть.

— Вы про кого это?

— Про них. Да и про нас.

Гусев тоже переступил, вздохнул.

— Вон она, слышите, дышит.

— Кто,—смерть?

— Чорт ее знает кто. Конечно—смерть,—Гусев заговорил словно в раздумьи.—Я об ней много думал, Мстислав Сергеевич. Лежишь в поле с винтовкой, дождик, темно, почти что, как здесь. О чем ни думай—все к смерти вернешься. И видишь себя,— валяешься ты оскаленный, окоченелый, как обозная лошадь с боку дороги. Не знаю я, что будет после смерти,—этого не знаю. Это—особенное. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать: падаль я лошадиная, или я человек? Или это все равно? Или это не все равно? Когда буду умирать—глаза закачу, зубы стисну, судорогой сломает,—кончился... в эту минуту—весь свет, все, что я моими глазами видел—перевернется или не перевернется? Вот что страшно,—валяюсь я мертвый, оскаленный,—это я-то, ведь я себя с трех лет помню, и меня—нет, а все на свете продолжает итти своим порядком? Это непонятно. Неправильно. Должно все перевернуться, если я умер. С 914 людей убиваем и мы привыкли,—что такое человек? приложился в него из винтовки, вот тебе и человек. Нет, Мстислав Сергеевич, это не так просто. За семь лет свет разве не перевернулся? Как шубу—кверху мехом—его вывернули. Это мы когда-нибудь заметим. Так-то. Я знаю—в смертный час мой,—небо затрещит, разорвется. Убить меня—свет пополам разодрать. Нет, я не падаль. Я ночью, раз, на возу лежал, раненый, кверху носом,—поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вошь, думаю, да я,—не все ли равно. Вше пить-есть хочется, и мне. Вше умирать трудно, и мне. Один конец. В это время гляжу—звезды высыпали, как просо,—осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, будто все звезды—это все—я. Все—внутри меня. Не тот я—не вошь. Нет. Как зальюсь я слезами. Что это такое? Да, смерть—дело важное. Надо по-новому жизнь переделать. Человек—не вошь. Расколоть мой череп—ужасное дело, великое покушение. А то—ядовитые газы выдумали. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой... Что мы стоим, в самом деле?..

— Она здесь,—сказал Лось тем же странным голосом.

В это время, издалека, по бесчисленным тоннелям пошел грохот. Задрожал карниз под ногами, дрогнула стена. Посыпались в тьму камни. Волны грохота прокатились и, уходя, затихли. Это был седьмой взрыв. Тускуб держал свое слово. По отдаленности взрыва можно было определить, что Соацера осталась далеко на западе.

Некоторое время шуршали падающие камешки. Стало тихо, еще тише. Гусев первый заметил, что прекратились вздохи в глубине. Теперь оттуда шли странные звуки,—шорох, шипение, казалось—там закипала какая-то мягкая жидкость. Гусев теперь точно обезумел,—раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни.

— Карниз кругом идет. Слышите? Должен быть выход. Чорт, голову расшиб!—Некоторое время он двигался молча, затем проговорил взволно-

ванию, откуда-то—впереди Лося, продолжавшего неподвижно стоять у стены:—Мстислав Сергеевич... ручка... включатель.

Раздался визжащий, ржавый скрип. Ослепительный желтоватый свет вспыхнул под низким, кирпичным куполом. Ребра плоских его сводов упирались в узкое кольцо карниза, висящего над круглой, метров десять в поперечнике, шахтой.

Гусев все еще держался за рукоятку электрического включателя. По ту сторону шахты, под аркой купола, привалился к стене Лось. Он ладонью закрыл глаза от режущего света. Затем, Гусев увидел, как Лось отнял руку и взглянул вниз, в шахту. Он низко нагнулся, вглядываясь. Рука его затрепетала, точно пальцы что-то стали встряхивать. Он поднял голову, белые его волосы стояли сиянием, глаза расширились, как от смертельного ужаса.

Гусев крикнул ему,—что?—и только тогда взглянул вглубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. От нее шло это шипение, шуршание, усиливающийся, зловещий шорох. Шкура поднималась, вспучивалась. Вся она была покрыта обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами...

— Смерть!—закричал Лось.

Это было огромное скопление пауков. Они видимо, плодились в теплой глубине шахты, поднимаясь и опускаясь всею массой. Теперь, потревоженные упавшими с купола кирпичами,—сердились и вспучивались, поднимались на поверхность. Вот, один из них на задранных углами лапах побежал по карнизу.

Вход на карниз был неподалеку от Лося. Гусев закричал:—Беги!—и сильным прыжком перелетел через шахту, царапнув черепом по купольному своду,—упал на корточки около Лося, схватил его за руку и потащил в проход, в тоннель. Побежали, что было силы.

Редко один от другого горели под сводами тоннеля пыльные фонари. Густая пыль лежала на полу, в щелях стен, на порогах узких дверей, ведущих в иные переходы. Гусев и Лось долго шли по этому коридору. Он окончился залой, с плоскими сводами, с низкими колоннами. Посреди стояла полуразрушенная статуя женщины с жирным и свирепым лицом. В глубине чернели отверстия жилищ. Здесь тоже лежала пыль,—на статуе царицы Магр, на ступенях, на обломках утвари.

Лось остановился, глаза его были остекляневшие, расширенные:

— Их там миллионы,—сказал он, оглянувшись,—они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс...

Гусев увлек его в наиболее широкий, выходящий из залы, тоннель. Фонари горели редко и тускло. Шли долго. Миновали крутой мост, переброшенный через широкую щель, — на дне ее лежали мертвые суставы гигантских машин. Далее—опять потянулись пыльные, серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости. Лось несколько раз повторил тихим голосом:

— Пустите меня, я лягу.

Сердце его переставало биться. Ужасная тоска овладевала им,—он брел,

спотыкаясь, по следам Гусева, в пыли. Капли холодного пота текли по лицу. Лось заглянул туда, откуда не может быть возврата. И, все же, еще более мощная сила отвела его от той черты, и он тащился, полуживой, в пустынных, бесконечных коридорах.

Тоннель круто завернул. Гусев вскрикнул. В полукруглой рамке входа открылось их глазам кубово-синее, ослепительное небо и сияющая льдами и снегами вершина горы,—столь памятная Лосю. Они вышли из лабиринта близ тускубовой усадьбы.

Х а о.

— Сын неба, сын неба,—позвал тоненький голос. Гусев и Лось подходили к усадьбе со стороны рощи. Из лазурных зарослей высунулось востроносое личико. Это был механик Аэлиты, мальчик в серой шубке. Он всплеснул руками и стал приплясывать, личико у него морщилось, как у тапира. Раздвинув ветви, он показал спрятанную среди развалин цирка крылатую лодку.

Он рассказал:—ночь прошла спокойно, перед рассветом раздался отдаленный грохот и появилось зарево. Он подумал, что сыны неба погибли, вскочил в лодку и полетел в убежище Аэлиты. Она также слышала взрыв, и с высоты скалы глядела на пожарище. Она сказала мальчику,—вернись в усадьбу и жди сына неба, если тебя схватят слуги Тускуба,—умри молча; если сын неба убит, проберись к его трупу, найди на нем каменный флакончик, привези мне.

Лось, стиснув зубы, выслушал рассказ мальчика. Затем Лось и Гусев пошли к озеру, смыли с себя кровь и пыль. Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу.

Сели в лодку, взвились в сияющую синеву.

Гусев и механик завели лодку в пещеру, легли у входа и развернули карту. В это время, сверху, со скал, скатилась Иха. Глядя на Гусева, взялась за щеки. Слезы ручьем лились у нее из влюбленных глаз. Гусев радостно засмеялся.

Лось один спустился в пропасть к Священному Порогу. Будто крыло ветра несло его по крутым лесенкам, через узкие переходы и мостики. Что будет с Аэлитой, с ним, спасутся ли они, погибнут? — он не соображал: начинал думать и бросал. Главное, потрясающее будет то, что сейчас он снова увидит «рожденную из света звезд». Лишь заглядеться на худенькое, голубоватое лицо,—забыть себя в волнах радости, в находящих волнах радости.

Стремительно перебежав в облаках пара горбатый мост над пещерным озером, Лось, как и в прошлый раз, увидел по ту сторону низких колонн лунную перспективу гор. Он осторожно вышел на площадку, висящую над пропастью. Поблескивал тусклым золотом Священный Порог. Было знойно и тихо. Лосю хотелось с умилением, с нежностью поцеловать рыжий мох, прах, следы ног на этом последнем прибежище любви.

Глубоко внизу поднимались бесплодные острия гор. В густой синеве блестели льды. Пронзительная тоска сжало сердце. Вот—пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню уллы. Хребтатая ящерица, зашипев, побежала по камням, и застыла, обернув головку.

Лось подошел к скале, к треугольной дверце,—приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру.

Освещенная с потолка светильней, спала среди белых подушечек, под белым покрывалом—Аэлита. Она лежала навзничь, закинув голый локоть за голову. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали,—должно быть, она видела сон.

Лось опустился у ее изголовья и глядел, умиленный и взволнованный, на подругу счастья и скорби. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо, чтобы остановить гибель прелести, юности, невинного дыхания,—она дышала, и прядка волос, лежавшая на щеке, поднималась и опускалась.

Лось подумал о тех, кто в темноте лабиринта дышит, шуршит и шипит в глубоком колодце, ожидая часа. Он застонал от страха и тоски. Аэлита вздохнула, просыпаясь. Ее глаза, на минуту еще бессмысленные, глядели на Лося. Брови удивленно поднялись. Обеими руками она оперлась о подушки и села.

— Сын неба,—сказала она нежно и тихо,—сын мой, любовь моя...

Она не прикрыла наготы, лишь краска смущения взошла ей на щеки. Ее голубоватые плечи, едва развитая грудь, узкие бедра казались Лосю рожденными из света звезд. Лось продолжал стоять на коленях у постели,—молчал, потому что слишком велико было страдание—глядеть на возлюбленную. Горьковато-сладкий запах шел на него грозовой темнотой.

— Я видела тебя во сне,—сказала Аэлита,—ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше. Я слышала стук твоего сердца. Кровь била в него и сотрясала. Томление охватило меня. Я ждала,—когда же ты остановишься, когда кончится томление? Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления... Ты разбудил меня, — она замолчала, брови поднялись выше.—Ты глядишь так странно. Ты же не чужой? Ты не враг?

Она стремительно отодвинулась в дальний край постели. Блеснули ее зубы. Лось тяжело проговорил:

— Иди ко мне.

Она затрясла головой. Глаза ее становились дикими.

— Ты похож на страшного ча.

Он сейчас же закрыл лицо рукой, весь сотрясся, пронизанный усилием воли, и оттого невидимое пламя охватило его, как огонь, пожирающий сухой куст. Густая и мутная тяжесть отлегла,—в нем все теперь стало огнем. Он отнял руку. Аэлита тихо спросила:

— Что?

— Не бойся, любовь моя.

Она придвинулась и опять прошептала:

— Я боюсь Хао. Я умру.

— Нет, нет. Смерть—иное. Я бродил ночью по лабиринту, я видел ее. Но я зову тебя—любовь. Стать одной жизнью, одним круговоротом, одним пламенем. Иначе—смерть, тьма. Мы исчезнем. Но это—живой огонь, жизнь. Не бойся Хао, сойди...

Он протянул к ней руки. Аэлита мелко, мелко дрожала, ресницы ее опускались, внимательное личико осунулось. Вдруг, так же стремительно, она поднялась на постели и дунула на светильник.

Ее пальцы запутались в снежных волосах Лося.

— Аэлита, Аэлита,—видишь—черный огонь!

За дверью пещеры раздался шум, будто жужжание множества пчел. Ни Лось, ни Аэлита не слышали его. Воющий шум усиливался. И вот, из пропасти медленно поднялся военный корабль, царапая носом о скалы.

Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцырях, в бронзовых шапках.

Солдаты стали полукругом перед пещерой. Тускуб подошел к треугольной дверце и ударил в нее золотым набалдашником трости.

Лось и Аэлита спали глубоким сном. Тускуб обернулся к солдатам и приказал, указывая тростью на пещеру:

— Возьмите их.

Бегство.

Военный корабль кружился некоторое время над скалами Священного Порога, затем—ушел в сторону Азоры, и где-то сел. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели Лося,—он лежал у входа в пещерку, лицом в мох, в луже крови.

Гусев поднял его на руки,—Лось был без дыхания, глаза и рот—плотно сжаты, на груди, на голове—запекшаяся кровь. Аэлиты нигде не было. Иха выла, подбирая в пещерке ее вещи. Она не нашла лишь плаща с капюшоном,—должно быть Аэлиту, мертвую или живую, завернули в плащ, увезли на корабле. Иха завязала в узелочек то, что осталось от «рожденной из света звезд», Гусев перекинул Лося через плечо,—и они пошли обратно через мосты над кипящим в тьме озером, по лесенкам, повисшим над туманной пропастью,—этим путем возвращался, некогда, Магацитл, неся привязанный к прялке полосатый передник девушки Аолов,—весть мира и жизни.

Наверху Гусев вывел из пещеры лодку, посадил в нее Лося, завернутого в простыню,—подтянул кушак, надвинул глубже шлем и сказал сурово:

— Живым в руки не дамся. Ну уж если доберусь до земли,—мы вернемся.—Он влез в лодку, разобрал рули.—А вы, ребята, идите домой, или еще куда. Лихом не поминайте.—Он перегнулся через борт и за руку попрощался с механиком и Ихой.—Тебя с собой не зову, Ихошка, лечу на верную смерть. Спасибо, милая, за любовь, этого мы, сыны неба, не забываем, так-то. Прощай.

Он прищурился на солнце, кивнул в остатний раз, и взвился в синеву. Долго глядели Иха и мальчик в серой шубке на улетавшего сына неба. Они не заметили, что с юга, из-за лунных скал, поднялась, перерезая ему путь, крылатая точка. Когда он утонул в потоках солнца, Иха ударилась о мшистые камни в таком отчаянии, что мальчик испугался,—уж не покинула ли так же и она печальную Туму.

— Иха, Иха,—жалобно повторял он,—хо туа мурра, туа мурра...

Гусев не сразу заметил пересекавший ему путь военный корабль. Сверяясь с картой, поглядывая на уплывающие внизу скалы Лизиазиры, держал он курс на восток, к кактусовым полям, где был оставлен аппарат.

Позади него, в лодке, откинувшись, сидело тело Лося, покрытое бьющей по ветру, липнущей простыней. Оно было неподвижно и казалось спящим,— в нем не было уродливой бессмысленности трупа. Гусев только сейчас почувствовал, как дорог ему товарищ, ближе родного брата.

Несчастье случилось так: Гусев, Ихошка и механик сидели тогда в пещере, около лодки,—смеялись. Вдруг, внизу раздались выстрелы. Затем,— дикий вопль. И через минуту из пропасти взлетел, как коршун, военный корабль, бросив на площадке бесчувственное тело Лося,—и пошел кружить, высматривать.

Гусев плюнул через борт,—до того опаршивел ему марс. «Только бы добраться до аппарата, влить Лосю глоток спирту». Он потрогал тело,—было оно чуть теплое:—с тех пор, как Гусев поднял его на площадке,—в нем не было заметно окоченения. «Бог даст—отдышится,—Гусев по себе знал слабое действие марсианских пуль. — Не слишком уж долго длится обморок». В тревоге он обернулся к солнцу, клонящемуся на закат и в это время увидел падающий с высоты корабль.

Гусев сейчас же повернул к северу, уклоняясь от встречи. Повернул и корабль, пошел по пятам. Время от времени на нем появлялись желтоватые дымки выстрелов. Тогда Гусев стал набирать высоту, рассчитывая при спуске удвоить скорость и уйти от преследователя.

Свистал в ушах ледяной ветер, слезы застилали глаза, замерзали на ресницах. Стая неряшливо махающих крыльями, омерзительных ихи кинулась было на лодку, но промахнулась и отстала. Гусев давно уже потерял направление. Кровь била в виски, разреженный воздух хлестал ледяными бичами. Тогда полным ходом мотора Гусев пошел вниз. Корабль отстал и скрылся за горизонтом.

Теперь внизу расстилалась, куда только хватит глаз, медно-красная пустыня. Ни деревца, ни жизни кругом. Одна только тень от лодки летела по плоским холмам, по волнам песка, по трещинам поблескивающей, как стекло, каменистой почвы. Кое-где на холмах бросали унылую тень развалины жилищ. Повсюду бороздили эту пустыню высохшие русла каналов.

Солнце клонилось ниже к ровному краю песков, разливалось медное, тоскливое сияние заката, а Гусев все видел внизу волны песка, холмы, развалины засыпаемой прахом умирающей Тумы.

Быстро настала ночь. Гусев опустился и сел на песчаной равнине. Вылез из лодки, отогнул на лице Лося простыню, приподнял его веки, прижался ухом к сердцу,—Лось сидел не живой и не мертвый. У него на мизинце Гусев заметил колечко и висящий на цепочке открытый флакончик.

— Эх, пустыня,—сказал Гусев отходя от лодки. Ледяные звезды загорались в необ'ятно-высоком, черном небе. Пески казались серыми от их света. Было так тихо, что слышался шорох песка, осыпающегося в глубоком следу ноги. Мучила жажда. Находила тоска.—Эх, пустыня!—Гусев вернулся к лодке, сел к рулям. Куда лететь? Рисунок звезд—дикий и незнакомый.

Гусев включил мотор, но винт, лениво покрутившись, остановился. Мотор не работал,—коробка со взрывчатым порошком была пуста.

— Ну, ладно,—негромко проговорил Гусев. Опять вылез из лодки, засунул дубину сзади, за пояс, вытащил Лося,—идем, Мстислав Сергеевич,—положил его на плечо и пошел, увязая по щиколотку. Шел долго. Дошел до холма, положил Лося на занесенные песком ступени какой-то лестницы, оглянулся на одинокую, в звездном свету, колонну на верху холма, и лег ничком. Смертельная усталость, как отлив, зашумела в крови.

Он не знал,—долго ли так пролежал без движения. Песок холодел, стыла кровь. Тогда Гусев сел,—в тоске поднял голову. Невысоко над пустыней стояла красноватая, мрачная звезда. Она была, как глаза большой птицы. Гусев глядел на нее, разинув рот?—Земля!—Схватил в охапку Лося и побежал в сторону звезды. Он знал теперь, в какой стороне лежит аппарат.

Со свистом дыша, обливаясь потом, Гусев переносился огромными прыжками через канавы, вскрикивал от ярости, спотыкаясь о камни, бежал, бежал,—и плыл за ним близкий, темный горизонт пустыни. Несколько раз Гусев ложился, зарываясь лицом в холодный песок, чтобы освежить хоть парами влаги запекшийся рот. Подхватывал товарища и шел, поглядывая на красноватые лучи земли.—Огромная его тень одиноко моталась среди мирового кладбища.

Взошла острым серпом ущербая Олла. В середине ночи взошла круглая Литха,—свет ее был кроток и серебрист, двойные тени легли от волн песка. Две эти странные луны поплыли,—одна ввысь, другая на ущерб. В свету их померк Талцетл. Вдали поднялись ледяные вершины Лизиазиры.

Пустыня кончалась. Было близко к рассвету. Гусев вошел в кактусовые поля. Повалил ударом ноги одно из растений и жадно насытился шевелящимся, водянистым его мясом. Звезды гасли. В лиловом небе проступали розоватые края облаков. И вот, Гусев стал слышать будто удары железных вальков,—однообразный металлический стук, отчетливый в тишине утра.

Гусев скоро понял его значение:—над зарослями кактуса торчали три решетчатые мачты военного корабля, вчерашнего преследователя. Удары неслись оттуда,—это марсиане разрушали аппарат.

Гусев побежал под прикрытием кактусов и одновременно увидел и корабль и рядом с ним заржавелый, огромный горб аппарата. Десятка два марсиан колотили по клепаной его обшивке большими молотками. Видимо, ра-

бота только что началась. Гусев положил Лося на песок, вытащил из-за пояса дубину:

— Я вас, сукины дети!—не своим голосом завизжал Гусев, выскакивая из-за кактусов,—подбежал к кораблю и ударом дубины раздробил металлическое крыло, сбил мачту, ударил в борт, как в бочку. Из внутренности корабля выскочили солдаты. Бросая оружие, горохом посыпались с палубы, побежали врассыпную. Солдаты, разбивавшие аппарат, с тихим воем поползли по бороздам, скрылись в зарослях. Все поле в минуту опустело,—так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти сыном неба.

Гусев отвинтил люк, подтащил Лося, и оба сына неба скрылись внутри яйца. Крышка захлопнулась. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище:

Огромное, ржавое яйцо, величиною в дом, загрохотало, поднялись из-под него коричневые облака пыли и дыма. Под страшными ударами задрожала тума. С ревом и громовым грохотом гигантское яйцо запрыгало по кактусовому полю. Повисло в облаках пыли, и, как метеор,—метнулось в небо, унося свирепых Магацитлов на их родину.

Небытие.

— Ну, что, Мстислав Сергеевич,—живы?

Обожгло рот. Жидкий огонь пошел по телу, по жилам, по костям. Лось раскрыл глаза. Пыльная звездочка горела над ним совсем низко. Небо было странное,—желтое, стеганое, как сундук. Что-то стучало, стучало мерными ударами, дрожала, дрожала пыльная звездочка.

— Который час?

— Часы-то остановились, вот горе,—ответил радостный голос.

— Мы давно летим?

— Давно, Мстислав Сергеевич.

— А куда?

— А к чорту на рога,—ничего не могу разобрать, куда мы залетели.

Лось опять закрыл глаза, силясь проникнуть в темную пустоту памяти, но пустота поднялась вокруг него чашей, и он снова погрузился в непроглядный сон.

Гусев укрыл его потеплее и вернулся к наблюдательным трубкам. Марс казался теперь меньше чайного блюдечка. Лунными пятнами выделялись на нем днища высохших морей, мертвые пустыни. Диск тумы, засыпаемой песками, все уменьшался, все дальше улетал от него аппарат куда-то в кромешную тьму. Изредка кололо глаз лучиком звезды. Но сколько Гусев ни всматривался—нигде не было видно красной звезды.

Гусев зевнул, щелкнул зубами,—такая одолевала его скука от пустого пространства вселенной. Осмотрел запасы воды, пищи, кислорода, завернулся в одеяло и лег на дрожащий пол рядом с Лосем.

Прошло неопределенно много времени. Гусев проснулся от голода. Лось

лежал с открытыми глазами,—лицо у него было в морщинах, старое, щеки ввалились. Он спросил тихо:

— Где мы сейчас?

— Все там же, Мстислав Сергеевич,—впереди пусто, кругом—пустыня.

— Алексей Иванович, мы были на марсе?

— Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть совсем память отшибло.

— Да, у меня провал в памяти. Я вспоминаю, воспоминания обрываются как-то неопределенно. Не могу понять,—что было, а что—мои сны... Странные сны, Алексей Иванович... Дайте пить...

Лось закрыл глаза, и долго спустя спросил дрогнувшим голосом:

— Она—тоже сон?

— Кто?

Лось не ответил, видимо—опять заснул.

Гусев поглядел через все глазки в небо,—тьма, тьма. Натянул на плечи одеяло и сел, скорчившись. Не было охоты ни думать, ни вспоминать, ни ожидать. К чему? Усыпительно постукивало, подрагивало железное яйцо, несущееся с головокружительной скоростью в бездонной пустоте.

Проходило какое-то непомерно долгое, неземное время. Гусев сидел, скорчившись, в оцепенелой дремоте. Лось спал. Холодок вечности осаждался невидимой пылью на сердце, на сознание.

Страшный вопль разодрал уши. Гусев вскочил, тараща глаза. Кричал Лось,—стоял среди раскиданных одеял,—марлевый бинт сполз ему на лицо:

— Она жива!

Он поднял костлявые руки и кинулся на кожаную стену, колотя в нее, царапая:

— Она жива! Выпустите меня... Задыхаюсь... Не могу, не могу!..

Он долго бился и кричал, и повис, обессиленный, на руках у Гусева. И снова—затих, задремал.

Гусев опять скорчился под одеялом. Угасали, как пепел, желания, коченели чувства. Слух привык к железному пульсу яйца и не улавливал более звуков. Лось бормотал во сне, стонал, иногда лицо его озарялось счастьем. Гусев глядел на спящего и думал:

«Хорошо тебе во сне, милый человек. И не надо, не просыпайся, спи, спи!.. Хоть во сне поживешь. А проснешься — сядешь, вот так-то, на корточки, под одеялом,—дрожи, как ворон на мерзлом сучке. Ах, ночь, ночь, конец последний... Ничего-то человеку, оказывается, не надо»...

Ему не хотелось даже закрывать глаз,—так он и сидел, глядел на какой-то поблескивающий гвоздик... Наступало великое безразличие, надвигалось небытие.

Так, пронеслось непомерное пространство времени.

Послышались странные шорохи, постукивания, прикосновения каких-то тел снаружи о железную обшивку яйца.

Гусев открыл глаза. Сознание возвращалось, он стал слушать,—каза-

лось—аппарат продвигается среди скоплений камней и щебня. Что-то навалилось, и поползло по стене. Шумело, шуршало. Вот, ударило в другой бок,—аппарат затрясся. Гусев разбудил Лося. Они поползли к наблюдательным трубкам, и сейчас же оба вскрикнули.

Кругом, в тьме, расстилались поля сверкающих, как алмазы, осколков. Камни, глыбы, кристаллические грани сияли острыми лучами. За огромной далью этих алмазных полей в черной ночи висело косматое солнце.

— Должно быть мы проходим голову кометы,—шопотом сказал Лось.—Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей, иначе комета увлечет нас к солнцу.

Гусев полез к верхнему глазку, Лось стал к реостатам. Удары в обшивку яйца участились, усилились. Гусев покрикивал сверху: — «Легче — глыба справа... Давайте полный... Гора, гора летит... Проехали... Ходу, ходу, Мстислав Сергеевич».

Земля.

Алмазные поля были следами прохождения блуждавшей в пространствах кометы. Долгое время аппарат, втянутый в ее тяготение, пробирался среди небесных камней. Скорость его непрестанно увеличивалась, действовали абсолютные законы математики,—понемногу направление полета яйца и метеоритов изменилось: образовался все расширяющийся угол. Золотистая туманность,—голова неведомой кометы и ее след — потоки метеоритов—уносились по гиперболе —, безнадежной кривой, чтобы, обогнув солнце, снова исчезнуть в пространствах. Кривая полета аппарата все более приближалась к эллипсису.

Почти неосуществимая надежда возврата на землю пробудила к жизни Лося и Гусева. Теперь, не отрываясь от глазков, они наблюдали за небом. Аппарат сильно нагревался с одной стороны солнцем,—пришлось снять всю одежду.

Алмазные поля остались далеко внизу:—казались искорками,—стали беловатой туманностью и исчезли. И вот, в огромной дали был найден Сатурн, переливающийся радужными кольцами, окруженный спутниками. Яйцо притянутое кометой, возвращалось в солнечную систему, откуда было вышвырнуто центробежной силой марса.

Одно время тьму прорезывала светящаяся линия. Скоро и она побледнела, погасла:—это были астероиды, таинственные маленькие планеты, бесчисленным роем вьющиеся вокруг солнца. Сила их тяготения еще сильнее изогнула кривую полета яйца. Наконец, в одно из верхних глазков Лось увидел странный, ослепительный, узкий серп,—это был Люцифер. Почти в то же время, Гусев, наблюдавший в другой глазок, страшно засопел и обернулся,—потный, красный.

— Она, ей-богу, она...

В черной тьме тепло сиял серебристо-синеватый шар. В стороне от него и ярче его светился шарик, величиной с ягоду смородины. Аппарат мчался немного в сторону от них. Тогда Лось решился применить опасное приспо-

собление—поворот горла аппарата, чтобы отклонить ось взрывов от траектории полета. Поворот удался. Направление стало изменяться. Теплый шарик понемногу перешел в зенит.

Летело, летело пространство времени. Лось и Гусев то прилипали к наблюдательным трубкам, то валились среди раскиданных шкур и одеял. Уходили последние силы. Мучила жажда, но вода вся была выпита.

И вот, в полузабытьи, Лось увидел, как шкуры, одеяла и мешки поползли по стенам. Повисло в воздухе голое тело Гусева. Все это было похоже на бред. Гусев оказался лежащим ничком у глазка. Вот он приподнялся, бормоча схватился за грудь, замотал вихрастой головой,—лицо его залилось слезами, усы обвисли:

— Родная, родная, родная...

Сквозь муть сознания Лось все же понял, что аппарат повернулся и летит горлом вперед, увлекаемый тягой земли. Он пополз к реостатам и повернул их,—яйцо задрожало, загрохотало. Он нагнулся к глазку.

Во тьме висел огромный, водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны воды, зеленоватыми — очертания островов. Облачные поля застилали какой-то материк. Влажный шар медленно поворачивался. Слезы мешали глядеть. Душа, плача от любви, летела, летела навстречу голубовато-влажному столбу света. Родина человечества. Плоть жизни. Сердце мира.

Шар земли закрывал полнеба. Лось до отказа повернул реостаты. Все же полет был стремителен, — оболочка накалилась, закипел резиновый кожух, дымилась кожаная обивка. Последним усилием Гусев повернул крышку люка. В щель с воем ворвался ледяной ветер. Земля раскрывала об'ятия, принимая блудных сынов.

Удар был силен. Обшивка лопнула. Яйцо глубоко вошло горлом в травянистый пригорок.

Был полдень, воскресенье третьего июня. На большом расстоянии от места падения,—на берегу озера Мичиган,—катающиеся на лодках, сидящие на открытых террасах ресторанов и кофеен, играющие в теннис, гольф, футбол, запускающие бумажные змеи в теплое небо, все это множество людей, выехавших в день воскресного отдыха,—насладиться прелестью зеленых берегов, шумом июньской листвы,—слышали в продолжение пяти минут странный, воющий звук.

Люди, помнившие времена мировой войны, говорили, оглядывая небо, что так, обычно, ревели снаряды тяжелых орудий. Затем многим удалось видеть быстро скользнувшую на землю круглую тень.

Не прошло и часа, как большая толпа собралась у места падения аппарата. Любопытствующие бежали со всех сторон, перелезали через изгороди, мчались на автомобилях, на лодках по синему озеру. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись, на пригорке. Было высказано множество предположений, одно другого нелепее. В особенности же в толпе началось волнение, когда была прочитана, вырубленная зубилом на

полуоткрытой крышке люка, надпись: «Вылетели из Петербурга 18 августа 21 года». Это было тем более удивительно, что сегодня было третьего июня 25 года.

Когда, затем, из внутренности таинственного аппарата послышались слабые стоны,—толпа в ужасе отодвинулась и затихла. Появился отряд полиции, врач и двенадцать корреспондентов с фотографическими аппаратами. Открыли люк и с величайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца двух полуголых людей:—один, худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознания, другой, с разбитым лицом и сломанными руками,—жалобно стонал. В толпе раздались крики сострадания, женский плач. Небесных путешественников положили в автомобиль и повезли в больницу.

Хрустальным от счастья голосом пела птица за открытым окном. Пела о солнечном луче, о медовых кашках, о синем небе. Лось, неподвижно лежа на подушках,—слушал. Слезы текли по морщинистому лицу. Он где-то уже слышал этот хрустальный голос любви. Но—где, когда?

За окном, с полуоткинутой, слегка надутой утренним ветром шторой, сверкала сизая роса на траве. Влажные листья двигались тенями на шторе. Пела птица. Вдали из-за леса поднималось облако клубами белого дыма.

Чье-то сердце тосковало по этой земле, по облакам, по шумным ливням и сверкающим росам, по великанам, бродящим среди зеленых холмов... Он вспомнил,—птица пела об этом: Аэлита, Аэлита... Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет. Птица бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая, как сумерки, с печальным, худеньким личиком, сидя ночью у костра, глядя на огонь,—пела песню любви.

Вот отчего текли слезы по морщинистым щекам Лося. Птица пела о той, кто осталась в небе, за звездами, и о той, кто лежит под холмиком, под крестом, и о седом и морщинистом старом мечтателе, облетевшем небеса и разбившемся,—вот он снова—один, одинок.

Ветер сильнее надул штору, нижний край ее мягко плеснул,—в комнату вошел запах меда, земли, влаги.

В одно такое утро в больнице появился Арчибальд Скайльс. Он крепко пожал руку Лося,—«Поздравляю, дорогой друг»,—и сел на табурет около постели, сдвинул канотье на затылок:

— Вас сильно подвело за это путешествие, старина, — сказал он,— только что был у Гусева, вот тот молодцом, руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется,—очень доволен, что вернулся. Я послал в Петербург его жене телеграмму, пятьсот фунтов. По поводу вас—телеграфировал в газету,—получите огромную сумму за «Путевые наброски». Но вам придется усовершенствовать аппарат,—вы плохо опустились. Чорт возьми — подумать,—прошло почти четыре года с этого сумасшедшего вечера в Петер-

бурге. Кстати—когда вернетесь в Петербург—разинéте рот, — теперь это один из шикарнейших городов в Европе. Ба, вы же ничего не знаете... Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку, это вернет вас к жизни,—он вытащил из желтого портфельчика бутылку, — ба, этого вы тоже не знаете:—мы же опять «мокры», как утопленники...

Скайльс болтал, весело и заботливо поглядывая на собеседника,—лицо у него было загорелое, беспечное, на подбородке—ямочка. Лось негромко засмеялся и протянул ему руку:

— Я рад, что вы пришли, вы славный человек, Скайльс.

Голос любви.

Облака снега летели вдоль Ждановской набережной, ползли покровами по тротуарам, сумасшедшие хлопья крутились у качающихся фонарей, засыпало под'езды и окна, за рекой метель бушевала в воющем во тьме парке.

По набережной шел Лось, подняв воротник и согнувшись навстречу ветру. Темный шарф вился за его спиной, ноги скользили, лицо секло снегом. В обычный час он возвращался с завода домой, в одинокую квартиру. Жители набережной привыкли к его широкополой, глубоко надвинутой шляпе, к шарфу, закрывающему низ лица, к сутулым плечам, и даже, когда он кланялся и ветер взвивал его поредевшие, белые волосы,—никого уже более не удивлял странный взгляд его глаз, видевших однажды то, что нельзя видеть земнородному.

В иные времена какой-нибудь юный поэт непременно бы вдохновился его сутулой фигурой с развевающимся шарфом, бредущей среди снежных облаков. Но времена теперь были иные: поэтов восхищали не вьюжные бури, не звезды, не заоблачные страны,—но—стук молотков по всей стране, шипенье пил, шорох серпов, свист кос,—веселые, земные песни. В стране в этот год начаты были постройкою небывалые, так называемые «голубые города».

Прошло полгода со дня возвращения Лося на землю. Улеглось неистовое любопытство, охватившее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с марса двух людей. Лось и Гусев с'ели положенное число блюд на ста пятидесяти банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев продал камушки и золотые безделушки, привезенные с марса, — нарядил жену-Машу, как куклу, дал несколько сот интервью, завел себе собаку, огромный сундук для одежи и мотоциклет, стал носить круглые очки, проигрался на скачках, одно время раз'езжал с импрессарио по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы, про то, как они с Лосем едва не улетели на большую медведицу,—изолгался вконец, заскучал, и, вернувшись в Россию, основал «Ограниченное Капиталом Акционерное Общество для Переброски Воинской Части на Планету марс в Целях Спасения Остатков его Трудового Населения».

Лось работал в Петербурге на механическом заводе, где строил универсальный двигатель марсианского типа. Предполагалось, что его двигатель перевернет все устои механики, все несовершенства мировой экономики.

Лось работал не щадя сил, хотя мало верил в то, что какая бы то ни было комбинация машин способна разрешить трагедию всеобщего счастья.

К шести часам вечера он, обычно, возвращался домой. Ужинал в одиночестве. Перед сном раскрывал книгу,—детским лепетом казались ему строки поэта, детской болтовней—измышления романиста. Погасив свет, он долго лежал, глядел в темноту,—текли, текли одинокие мысли.

В положенный час Лось проходил сегодня по набережной. Облака снега взвивались в высоту, в бушующую вьюгу. Курились карнизы, крыши. Качались фонари. Спирало дыхание.

Лось остановился и поднял голову. Ледяной ветер разорвал вьюжные облака. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее безумным взором,—алмазный луч ее вошел в сердце... «Тума, тума, звезда печали»... Летящие края облаков снова задернули бездну, скрыли звезду. В это короткое мгновение в памяти Лося с ужасающей ясностью пронеслось видение, всегда до этого ускользавшее от него...

. . . .

Сквозь сон послышался шум, будто сердитое жужжание пчел. Раздались резкие удары,—стук. Спящее тело Аэлиты вздрогнуло, она вздохнула, пробуждаясь, и затрепетала. Он не видел ее в темноте пещерки, лишь чувствовал, как стремительно бьется ее сердце. Стук в дверь повторился. Раздался снаружи голос Тускуба:—«Возьмите их». Лось схватил Аэлиту за плечи. Она едва слышно сказала:

— Муж мой, сын неба, прощай.

Ее пальцы быстро скользнули по его платью. Тогда Лось ощупью стал искать ее руку и отнял у нее флакончик с ядом. Она быстро, быстро,—одним дыханием,—забормотала ему в ухо:

— На мне запрещение, я посвящена царице Магр... По древнему обычаю, страшному закону Магр—девственницу, преступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт, в колодезь... Ты видел его... Но я не могла противиться любви, сын неба. Я счастлива. Благодарю тебя за жизнь. Ты сжег мой разум. Ты вернул меня из тысячелетия хао, во влагу жизни. Благодарю тебя за смерть, муж мой...

Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги,—ее было много во флакончике: Аэлита едва успела коснуться его. Удары в дверь заставили Лося подняться, но сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он вернулся к постели, упал на тело Аэлиты, обхватил ее.

Он не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием он рванулся за краем ее черного плаща, но вспышки выстрелов, тупые удары отшвырнули его назад к золотой дверце пещеры...

. . . .

Преодолевая ветер, Лось побежал по набережной. И снова остановился, закрутился в снежных облаках, и так же, как тогда, — в тьме небесной,— крикнул исступленно:

— Жива, жива!.. Немыслимо!.. Нет, невозможно!.. Аэлита, Аэлита!..

Ветер бешеным порывом подхватил это, впервые произнесенное на земле имя, развеял его среди летящих снегов. Лось сунул подбородок в шарф, засунул руки глубоко в карманы, побрел, шатаясь, к дому.

У под'езда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару.

— Я за вами, Мстислав Сергеевич,—крикнул он весело,—пожалуйте в машину, едем.

Это был Гусев. Он наскоро об'яснил: сегодня, в семь часов вечера радиотелефонная станция Марсова поля ожидает,—как и всю эту неделю, подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Целую неделю газеты всех частей света заняты догадками по поводу этих сигналов,—есть предположение, что они идут с марса. Заведующий радиостанцией Марсова поля приглашает Лося сегодня вечером принять таинственные волны.

Лось молча прыгнул в автомобиль. Бешено заплясали белые хлопья в конусах света. Рванулся вьюжный ветер в лицо. Миновали мост, Васильевский остров, пролетели Николаевским мостом над снежной пустыней Невы,—отсюда было видно лиловое зарево города, сияние фонарей на мрачной набережной, направо—огни заводов. Вдали исступленно выла сирена ледокола, где-то ломающего льды. Миновали многолюдный Невский, залитый светом тысячи окон, огненных букв, стрел, крутящихся колес над крышами. Лось, сжав руки в рукавах пальто, опустив голову, постукивал зубами.

Под свистящими деревьями Марсова поля, у домика с круглой крышей автомобиль стал. Пустынно выли решетчатые башни и проволочные сети, утонувшие в снежных облаках. Лось распахнул заметенную сугробом дверцу, вошел в теплый домик, сбросил шарф и шляпу. Румяный, толстенький человек стал что-то об'яснять ему, держа его ледяную руку в пухлых ладонях. Лось отметил только—запах сигары и большую бородавку сбоку носа у начальника радио. Стрелка часов подходила к семи.

Лось сел у приемного аппарата, надел слуховой шлем. Стрелка часов ползла. О время,—таинственные сроки, удары сердца, ледяное пространство вселенной, где летят эти развернутые времена!

И вот, медленный шопот раздался под шлемом в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова—повторился отдаленный тревожный, медленный шопот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух. Словно тихая молния пронзил его неистовое сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке:

— Где ты, где ты, где ты?

Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами... Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича,—где ты, где ты, любовь?..

Перемена.

Мариэтта Шагинян.

(Продолжение).

ГЛАВА VIII.

Праздничная.

За Нахичеванью, в армянской деревне, расположился штаб Сиверса и принимал делегации. Сиверс был вежлив, просил, кто приходит, садиться и каждого слушал. С большевиками в войсках были военнопленные немцы.

Тихо и празднично в городе. Ходят, постукивая по подмерзшей февральской дорожке, патрули, перекликаются. На базарах стоит запустенье,— ни мяса, ни рыбы, ни хлеба. Крестьяне попрятались и не подвозят продуктов.

То-и-дело к ревкому, на полном ходу огибая в воздухе ногу дутою, подлетают велосипедисты, прыгают на-земь и оправляют тужурку. За столиком в канцелярии девушка в шапке ушастой, с каштановым локоном за ухом и карандашом меж обрубками пальцев: двух пальцев у ней не хватает на правой руке. Но эти обрубки умеют и курок надавить, и молниеносно свернуть папироску, не просыпав табак, и пристукнуть карандашом по столу в продолжение чьей-нибудь речи.

Из заплеванной канцелярии, где наштукатуренные стоят у правой и левой стены с согнутой в коленке ногой, проступившей из складок, безносые кариатиды,—прошел товарищ Васильев к себе в кабинет. Он осунулся, потемнел, на шее намотан зеленый гарусный шарфик и не приказывает, а шепчет,—схватил ларингит, ночуя в степях под шинелькой.

Фронт вытягивает, как огонь языки, свои острые щупальцы то туда, то сюда, пробует, прядает. Там отступит, здесь вклинится слишком далеко. У пришедших с ним вместе—заботы по горло: напоить, накормить, разместить свою армию, наладить транспорт и связи. А в городе обезоружить и истребить притаившихся белых. И после затишья и праздника начались обыски, профильтровали тюрьму.

Вышел тогда из тюрьмы и на солнце взглянул Яков Львович. Было ему, словно под сердцем ворочался голубь и гулькал. Ничего не хотелось, а тумбы и камни, разбитые стекла зеркальных витрин, водосточные трубы, сосульки,

подтаивавшие на решетке соборного сквера, проходившие люди—все казалось милым и собственным.

Как хозяину, думалось: вот бы тут гололедицу посыпать песочком, чтоб дети не падали, а у булочной вставить окно! И когда у себя на квартире он нашел трех красногвардейцев, ломавших комод на дрова и с красными лицами пёкших на печке оладьи, на сковороду наливая из чайника постное масло, он этому не удивился. Поздоровался, снял пальто, об'яснил, что пришел из тюрьмы.

— Вы из наших, товарищ?—спросили, черпая жидкое тесто из глиняной миски и бросая на сковороду, где оно, зашипев, подрумянивалось и укреплялось пахучею пышкой:

— Так пойдите в ревком, зарегистрируйтесь. Соль у вас где?

Яков Львович снял с полки жестянку, где хранилась сероватая соль, и подал товарищам. Те очистили стол, пригласили садиться и дружно, вместе с Яковом Львовичем, ели румяные пышки из пресного теста, посыпая их солью. Потом закурили махорку.

В ревкоме на Якова Львовича подозрительно глянула девушка в шапке ушастой. Она уже собирала бумаги и прятала их в клеенчатый самодельный портфель, а карандаш, перо и чернила, выдвинув ящик стола, размещала внутри и готовилась запереть. На стене остановившиеся часы показывали без четверти девять. Но на руке у нее намигали швейцарские часики без минуты четыре. Красногвардейцы в дверях, звякая об пол, уже забирали винтовки.

— Позвольте, товарищ, но где же документы?

Яков Львович, торопясь об'яснить, повторил:

— Я же сказал, что отдал их товарищу, чтоб облегчить ему бегство.

— Нам этого мало. Возьмите бумажку в домовом комитете или в милиции.

— Домовый комитет и не подозревал, что я отдал документы. Он только и может, что засвидетельствовать, кто я такой.

— Вот и доставьте мне это свидетельство. Выходите, товарищ. Вы видите, я кончаю работу.

Яков Львович, повернувшись, направился к выходу.

Девушка молниеносно скрутила себе папироску и, нащелкав обрубком раз пять зажигалку, закурила и крикнула вслед:

— Послушайте, стойте ка! Вы не сказали, какому товарищу ссудили документы.

— Я ссудил их товарищу Васильеву, — ответил Яков Львович, грустя об ее недоверии.

Усмешка сверкнула в стальных глазах девушки. Она поглядела на двух красноармейцев, и те усмехнулись ответно.

— Что ж, если вы утверждаете, это можно проверить. Задержите товарища,—весело и уже посрамив в своих мыслях неведомого самозванца, крикнула она к дверям. Красноармейцы сомкнулись у входа.

А из кабинета, в шинельке, с завязанным шарфом и в низко надвинутой кожаной кэпке, с портфелем под мышкой уже выходил товарищ Васильев.

— Товарищ Васильев!—окликнула девушка.

Но уже Яков Львович и горбун увидали друг друга.

Тов. Васильев рукой с протабаченным пальцем схватился за теплую руку Якова Львовича и—что бывало с ним редко—светло улыбнулся.

— Я без голоса, ларингит,—он показал себе пальцем на горло:—спасибо! К вам с документом дважды ходили, но не могли разыскать. Идемте со мной на часок. Вы же, товарищ Маруся, напишите ему все, что нужно.

— Я печать заперла,—проворчала тов. Маруся, сожалея в душе, что не выпал ей подвиг обнаружить белогвардейца. Но стол тем не менее отперла ключиком и из ящика вынула листик белой бумаги, перо и чернила. Яков Львович продиктовал ей ответ на вопросы, печать она грела дыханьем с минуту и, наконец, надавила на угол бумажки. Все было в порядке.

Втроем они вместе пошли к дому с колонками, где на втором этаже в чьей-то спальне с персидским ковром, наследив на пороге снежком и засыпав окурками мраморный умывальник, помещался товарищ Васильев. Внизу, в том же доме, жила и тов. Маруся. Им подали на круглый без скатерти столик с китайской мозаикой три полных тарелки армянского вкусного супа с ушками, посыпанного сухим чебрецом вместо перца и называемого по татарски «хашик-берéк».

Яков Львович рассказал обо всем, что слышал в тюрьме, о последних днях перед переворотом. Тов. Васильев ел и изредка, шопотом, с хриплым дыханьем, расспрашивал. Подшутил над тетрадкой: «все ли записываете кустарные наблюденья?».

Был он прежний—и все-таки переменился. Впали глаза, сухим и острым блеском блестевшие в щелку. Грудь опустилась, и плечи стали острее и выше. И за плечами лопатки как будто еще приподнялись от горба. В шопоте слышалась властная нота, и глаза уходили внезапно от собеседников глубоко к себе, а на тонкие губы тогда набежит торопливость: так выглядят губы, когда человек отвечает другому: «мне некогда».

— Будет ли мир?—не сдержавшись, спросил Яков Львович: — мира ждут люди и камни, товарищ Васильев! Довольно уж крови. Взгляните, как сумерки голубеют за окнами, а по карнизу вьют лапками голуби. Взгляните на огонечки на улице, на шар золотистый с кислотами, что засиял там, в аптечном окне. Тесен мир и единственна жизнь, дорогая для каждого. Дайте людям порадоваться, завоевали—и баста!

— Завоевали? Неужто? Не в вашем ли сердце, где все так прекрасно устроено? — шепчет с усмешкой тов. Васильев: — почитайте-ка завтра газету!

— А я люблю военное дело,—вмешалась тов. Маруся,—все равно без войны не обойдешься. Пасифизм—чепуха.

Тов. Васильев рыжим ногтем на протабаченном пальце провел по прозрачной бумажке. Отрывая по сгибу, отделил он бумажный квадратик, на

сыпал табак, свертел папироску и, послюнявив губами, заклеил. Яков Львович дал закурить, и горбун затянулся.

ГЛАВА IX.
Сметано...

Века навалили суглинок на туф, туф на гранит, а гранит на залежи гнейса; и вышли пласты геологические.

Года навели улыбку на губы лакея, сутулость на спину раба и холёный зобок под кашнэ у бездельника,—и возник обывательский навык.

Стали видеть вещи устойчивыми по Эвклиду: кратчайшая линия меж двумя точками—это прямая. Дом Степаниды Орловой—это есть ее собственность. И кто умер—того отпевают.

Но в учительской комнате третьей гимназии, где учились Куся и Лиля, давно уж дразнили коллеги Пузатикова, математика, что Эвклид провалился. А в городе вышли «Извесгия» со стихами и прозой, шрифтом прежней газеты, размером ее и на той же бумаге, с приказами о домах, в том числе и о доме Орловой: он, как и прочие, муниципализовался и квартирантам вносить надлежало квартирную плату не Степаниде Орловой, а городу. И, наконец, по Садовой и по Соборной прошли, чередуя усталые плечи под злыми углами гробов, люди в красноармейских шинелях; они хоронили покойника, не отпевая.

И пошли по городу слухи: все теперь будет по-новому. Опись людей для начала, кто, откуда, какого занятья, имеет ли капитал и семейство; потом опись женщин, замужних и незамужних; первых оставить на месте впредь до распоряженья, а незамужних приписать к одиноким мужчинам с гражданскою целью: издан приказ о введении гражданского брака! Холостяки ужасались.

Появились мальчишки с ведрами и кистями, а под мышкой с пачками об'явлений. Красными от мороза руками они макали кисти в вёдра, мазали стены, заборы, высокие круглые тумбы, перепрыгивали с ноги на ногу и сдували с кончика носа холодную каплю, за неимением носового платка и обременённостью пальцев; и на стены, заборы, высокие круглые тумбы наклеивали постановленья. Каждое было за номером, с двумя подписями. Постановлений в день выходило по нескольку.

С сумерек и до утра, не потухая, горела зелёная лампа во втором этаже дома с колонками, где помещался тов. Васильев. Сам он вечером и среди ночи принимал по делам, но говорил только шопотом. указывая на горло: простуда. Когда не было посетителей, шагал взад и вперед, временами ссыпая табак из жестянки на смятую бумажонку и сворачивая папироску. Шагая, диктовал сиплым шопотом, часто дышал; продиктованное—перечитывал.

Фронт передвигался. Войска уходили. Людей не хватало. Постановления не исполнялись.

В «Известьях»,—так думали обыватели,—сидел упразднитель. Хватался за все: нынче одно упразднит, а завтра другое. Добрались до орфографии, до

средней школы, до университета, из банка забрали наличность, богачей обл жили большими налогами. Какие-то люди убили профессора Колли.

А упразднитель хватался опять за одно, за другое. Упразднена уже со ственность, право иметь больше столька-то денег наличными, сословный су прокуроры, сословье присяжных поверенных. Один за другим взрыхляли лопатой пласты и выбрасывались. Людей не хватало. Упразднитель писал і бумажках с печатями: вызвать икса такого-то, вызвать игрека-иксовича, вы звать граждан таких-то. Именитые адвокаты, член суда и нотариус, пофы кивая, пришли по бумажке. Упразднитель просил их взять на себя рефор гражданского суда по новым советским законам. Именитые граждане, пофы кивая, отказались.

В газетах уж реяли ястребы,—темные слухи и телеграммы о близост падали, новой войны: немцы давили на русских. Был подписан мир в Брест а немцы, под предлогом очистки и определения границ, наступали,—уже по ходили к Одессе. С Украйны шли гайдамаки, под Новочеркасском зашевел лись казаки.

Нежданно-негаданно вдр разразилась пальба. Анархисты-коммунист восстали. Обстреляли штаб, у или и ранили многих, завладели двумя домам а после были разбиты. Пото., успокоившись, отпечатали номер газеты «Че ное Знамя» со стихами Дмитрия Цензора и об'явленьем курсивом на перво странице о том, что труд со рудников будет *непременно* оплачиваться...

— Наша беда не в том, что мы имеем военные задачи; наступать всяки может. Беда наша в том, что мы наступаем, реорганизуя. Мы должны пере страивать на скорую руку, без людей, с мошенниками и саботажниками, н заюеванном месте, на клочке, который, может быть, завтра от нас буде вырван!

Так признался усталый асильев Якову Львовичу поздно вечером, когд тот забрел на зеленую лампу.

Суета перестройки вершилась при тайном злорадстве одних и при явно поживе других.

Ветер февральский рвет, посыпая снежком, постановленье на круглом столбе: *Реформа нотариата.* В домике с ундервудами и ремингтонами, гд жила переписчица, шумно. Нотариат упразднен, вместо него нотариальны камеры, где будут записывать браки, рождения и смерти. Старый нотариус покачав бородой на машины и вешалки, вышел; его уже не пустят обратн Машины и вешалки взяты по описи в камеры младшими клерками. Младши помощник нотариуса, с кожурой от подсолнухов между гнилыми зубами, по фамилии Пальчик, стал товарищем Пальчиком. С'ездил в ревком, утвердился и занят реформой. Товарищу Пальчику много работы: составить подробную смету. Товарищем Пальчиком разграфлена уж бумага на столбцы и колонки, и обозначено, кто какой получает оклад от правительства,—первым долгом он сам, как заведующий; вторым долгом он лично, как стряпчий, третьим долгом он же сверхштатно, как представитель от камеры, на раз'езды и про чие нужды. Дальше идут, понижаясь, по порядку все клерки, вдова-пере-

писчица и сторожиха. Товарищу Пальчику понадобился кабинет, и вдове-переписчице велено в двадцать четыре часа переселиться, куда пожелает.

Вздыхая, связала вдова три узла и на казенной подводе перевезла их в подвальчик, снятый в трех'этажном дворце Степаниды Орловой.

В Ростове при чем-то совсем постороннем двумя-тремя юношами сорганизован комитет по охране искусства. Бумажки с печатями на осмотр, на ревизию, на реквизицию посыпались из канцелярии. Опустевшие особняки снова ожили. В них захаживают, поворачивая книги, вазы, картины, собрания фарфора, заглядывая им сбоку, сзади и наизнанку, определяют, классифицируют, вспоминая уроки истории по древней Греции и каталоги Третьяковки. Собрано все на подводы, подводы поехали, но по дороге исчезло не мало. Ругался военный начальник, требовал об'яснения, ему об'ясняли, показывая ордера. Ордера были в порядке с печатью за отношением. Были они внесены под номерами и в получении их расписались. Но вещи исчезли.

— Все это мелочи и чепуха!—горячилась фигурка в коричневом платье с коротенькими волосами. Бледное личико с веснушками возле носа сияло. Это Кусе рассказывал Яков Львович, что в городе бестолочь, что так нельзя, что это выходит не большевизм, а юмористика, и Куся ему возражала с горячностью:

— Все это мелочи и чепуха! Надо ведь с чего-нибудь начать, а они откудова знают, с чего? Пускай себе хоть кверху ногами. Эка беда, две-три чашки покрали с подводы. Вы лучше подумайте, ведь они помогают сдвинуть с места весь мир, может сами не знают, а помогают!

Куся пришла к Якову Львовичу не для бесед, а по делу. Она принесла приглашение от комиссара финансов и наробраза, товарища Дунаевского, на заседание. Приглашены представители музыки, живописи и литературы. Куся—от комитета учащихся. Надо организовываться, и наконец-то для Якова Львовича будет работа.

Тихи улицы в сумерках, покуда пешечком пробираются Куся и Яков Львович из Нахичевани в Ростов. Последние дни марта, а ударил мороз. Так скрепил, так стянул, что дыхание виснет на маленьких усиках Куси сосульками, а у Якова Львовича застревает в ноздрях колючею льдинкой.

Одинокий фонарь от мороза—в тумане. От прохожих летят облачка, словно все закурили. И клубисто дышит трамвай, как животное, стоящий на запасном пути с печуркой внутри для кондукторов и метельщиков, чтоб отогревались до смены.

А по дороге в Ростов, подняв голову, смотрит Яков Львович на окошко с зеленою лампой. Там, сжав зубами потухшую папиросу и обмотав гарусным шарфиком больное горло, все ходит и ходит товарищ Васильев. Он не диктует. Между бровями тяжелая складка. Доктор сказал ему утром, что у него не простуда, и не ларингит, а горловая чахотка в последней стадии. Но товарищ Васильев думает не о том. Он думает о наступлении немцев и о восстании казаков под Новочеркасском.

ГЛАВА X.

... Да не сшито.

В особняке, на Пушкинской улице, жил-был некогда Петр Петрович, пока не бежал на Кубань.

В особняке, на Пушкинской улице, столовая красного дерева, стены выложены изразцом цвета вымытых фикусов, и такого же цвета, глазурованной зелени, нюрнбергская печка с сиденьем.

В особняке, на Пушкинской улице, Дунаевский, комиссар наробраза и наркомфина, созвал совещание.

Перед входом два рослых красноармейца с винтовками просмотрели внимательно повестки Куси и Якова Львовича и, посторонившись, пустили их. Внутри уже было полно.

Не сразу в накуренной комнате можно людей разглядеть. Столовая в изразцах цвета вымытых фикусов гудела от голосов и от кашля. Посереди, у стола, опершись подбородком на руку и коленкой упершись на стул, не сидел, а стоял, утомившийся днем от сиденья, комиссар Дунаевский.

Это был небольшой человек, женски пышный в плечах и у бедер, но со впалою грудью, с лицом, словно снятым с камеи: тяжелый, орлиный нос, умный лоб, небольшие глаза под пенснэ, выдающиеся, очень острые губы по птичьи. Вид значительный и якобинский, как шепнула горячая Куся... Где Дунаевский теперь? Где другие, работавшие в суматохе и хаосе, в первые дни революции, когда не видать было шагу вперед и шли наугад и на смерть горячие, лучшие люди? Дунаевский расстрелян. Расстреляны и другие. И ты, никогда не видавший ни личного счастья, ни сытости, ни удовольствий, ни отдыха, маленький, бледный горбун, под шинелькою в снежной степи потерявший последнее,—скудную кроху здоровья!

Вокруг Дунаевского, ближе к столу разместился отряд меньшевичек, готовых к сражению. Меньшевичку опытный глаз тотчас отличит от большевички. Меньшевичка—куда фанатичней. Одета со вкусом, возраста среднего, непременно в пенснэ, с черепаховым гребнем в прическе, держит себя солидно, культурная,—и придерется, так не отстанет, словно инструмент «кусачка», вцепившийся в гвоздик. Меньшевичка еще не услышит, уже критикует; рот раскрыть не успеет сосед, а она уже резким фальцетиком, словно пилою по жилке, взад-вперед перепиливает себе слабое место противника,—ничего не оставит, утешится, разомкнёт ридикюльчик, вынет платок и взмахнет над припудренным носом.

Дальше, за ними, сидели поддевки, шинели, пиджачишки, студенческий китель. Помалкивали. Когда приходилось вступать в разговор, предварительно сильно прокашливали запершившее горло. Среди них размещались заведенные говоруны, партизански выскакивавшие на меньшевичек, но тщетно. Темой служила инструкция наркома Ермиловая, приводимая ниже:

«Ввиду огромной важности воспитания и обучения детей для подготовки будущих граждан—строителей социалистической советской рес-

публики, и ввиду того, что учащие всех типов школ неоднократно организованным путем (учительские союзы, собрания) определенно враждебно относились к Советской власти, почему является крайне необходимым самым решительным образом сломить этот особого вида саботаж интеллигенции, для чего создать на самых широких демократических началах орган, который бы следил и направлял деятельность учащих, а именно: при каждом учебном заведении создается школьный совет с таким расчетом, чтобы учащих в совете было не более одной трети всего состава его. В школьный совет кроме учащих входят: три представителя от родителей и три члена от левых социалистов или лиц по рекомендации местной или ближайшей к поселению из указанных выше партий, а в крайнем случае по назначению местного Совета Казачьих, Крестьянских и Рабочих Депутатов из среды граждан».

Орфография (новая) колола глаза с непривычки, казалась неграмотной смесью болгарского с канцелярским. На инструкцию все нападали. Но меньшевички напали отдельно: не на нее, а на принцип. «Зачем приставлять к учительскому совету лишь левых социалистов, а не социалистов вообще?» И дружно разжав свои челюсти, все вместе (а было их девять) вцепились в несчастную фразу, словно инструмент «кусачка» в шляпку гвоздя.

Встал Яков Львович, неожиданно для себя. Он искал и не находил подходящее слово,—в воздухе было другое.

— Товарищи, вы только что завоевали область, еще не учли и не проверили отношение учительства, а сразу вооружаете его против себя. Такая инструкция вызовет ненависть в самом доброжелательном. Зачем это? Ведь работать-то с ними придется. Людей и так мало. Заставьте их служить себе, а не вредить. Кто, выводя верхового коня из конюшни и седлая для дальней поездки, в зубы ему кладет не мундштук, а раскаленные прутья?

— Замолчите,—одернул его за полу расползающегося пальто молодой чернокудрый художник, сидевший на полукруглом сиденьи нюрнбергской печки и грызший орехи,—сейчас не время, им не до этого!

И, действительно, было не время. На Якова Львовича и не взглянули, лишь Дунаевский блеснул в него умным и знающим взглядом из-под тяжеловатых век, но не об'яснил ничего. Заговорили опять и вконец осудили инструкцию, порешив на местах руководствоваться другой, еще более резкой. Избрали комиссию для ее составления.

Художник все продолжал грызть орехи, разжевывая их, как ребенок. И поглядев на него опечалился Яков Львович: ему показалось, что в молодом и красивом лице нарочно, для безопасности, было разлито больше наивности, чем полагалось по возрасту.

Вот они, люди. Не нравится, а не вмешаются. Всяк убежден, что все равно ничего не добьется. А когда выйдет дело готовым, из рук вон плохим, ни на что не пригодным, у всякого голос появится со стороны, как из зрительной залы. Всякий тотчас осудит!

Так говорил, возвращаясь домой и тщетно обмерзшие пальцы в рукава забирая, Яков Львович закутанной Кусе. У той из-под шали блестели лукаво два глаза, а рот она замотала, оставив лишь нос для дыхания. Но не удержалась, спустила размокший от ротика теплый платок под согревшийся подбородок и возразила:

— Какой вы! Теперь разве строится? Это потом будет строиться, а сейчас революция. Что с того, что учительство еще не высказывается? В Москве было против и тут будет против. Лучше сразу сказать—«мы враги», чем возиться и время потратить.

— Молодчага вы, Куся,—сказал Яков Львович серьезно,—вам шестнадцатый год, а логике учите лучше профессора. Только разные мы. Я не знаю, мой друг, может быть новый мир из таких, как вы, народится, но мы разные и мне грустно. Всем сердцем желаю удачи большевикам, но многого не понимаю. Да и вам непонятно, о чем я.

— Очень даже понятно, если б захотела понять. Только сама не хочу. Если сидеть-понимать как вы, так ничего и не сделаешь.

— А разве лучше делать в слепую?

— Не в слепую! Партия скажет, куда.

Куся уже свила себе гнездышко в революции. Она ходила на митинги, слушала разных ораторов,—Коллонтай, матроса Баткина, студента Сырцова; товарища Жука... В доме Орловой происходили партийные заседания. Молодой член партии, первокурсник Десницын, был с ней знаком и ссужал ее книжками.

Пуще сдавливало дыханье от мартовского мороза. Трещали на перекрестках костры, раздуваемые милиционерами. Огонь забирал заиндевевшие сучья, плакали сучья, оттаивая, и шипели, как шпаримые тараканы; дым не хотел подниматься, побитый морозом.

Они добрались до трех'этажного дома купчихи Орловой и, зайдя за ворота, спустились по ступенькам в подвальный этаж. На стук отворила Лиля, тринадцатилетняя, в вязаной кофточке и торопливо сказала:

— Куся, мама больна. Бок простудила, температура. А отопление так и не действует.

В доме купчихи Орловой—центральное отопление. Только странно,—общественные учрежденья, что в левом корпусе, согреваются, а где жильцы, в правом корпусе, туда не доходит тепло. Повыше, у Фроловых, замерзла вода в умывальнике. У них примерзают от стужи пальцы к железному крану. День и ночь горит керосинка,—смрадно и деньги без счету уходит на керосин, а все не теплее.

Яков Львович вошел в остудевшую комнату, где на лавке, под шубами, шалями и суконной кавказскою скатертью тряслась от озноба вдова-переписчица.

— Голубчик, похлопочите,—произнесла она навстречу гостю:—Девочки мои бедные с ног сбились. Сходите завтра к хозяйке!

Яков Львович узнал, где квартирует хозяйка и обещал. Куся сняла для него кипяток с керосинки и налила ему чаю.

Степанида Георгиевна Орлова была богатой купчихой. Отец, когда-то лабазный мальчишка, позднее лабазник, а потом фабрикант, умер, оставив ей лавку, дом и мыльную фабрику. Степанида Георгиевна замуж не вышла. В спальне под образами держала приходо-расходную книжку и счеты. Лицо имела широкое, ноздреватое после оспы, распаренное, как у прачки, и руку подавала не прямо, а горсточкой. Платье пахнуло демикотоном. После переворота Степанида Георгиевна поселилась у себя в дворницкой, выселив дворника в летнюю кухню, и жаловалась на разоренье. Там и застал ее утром Яков Львович, но не одну, а с товарищем Пальчиком, что-то укладывавшем в портфель. Он впрочем уже уходил, озирался, где шапка, и левой рукой полез в рукавицу.

— Ну с, всего!—обнажил он гнилые зубы с кожурой от подсолнухов:— бумагу припрячьте подальше!

Степанида Орлова, когда он ушел, взяла со стола гербовую бумагу и сложила ее пополам.

— Одно разоренье,—присядьте, пожалуйста,—эти самые купчие. Кабы не большевики, стала бы я еще недвижимую покупать! Мало переплатила крючкам этим!

Яков Львович слушал, недоумевая. Степанида Орлова знавала его покойную мать, Василису Игнатьевну, и смотрела на Якова Львовича, как на знакомого.

— Какая купчая?

— Ну да, нешто не слышали? Дом я купила у аптекаря Палкина, тот, что фасадом на двадцать девятую линию. Староват, а ничего, доходный. Деньги-то ведь теперь не продержишь, опасно. И зарывать их расчету нет. А дома подешевели, как помидоры, ей Богу!

И засмеялась купчиха Орлова девичьим смешком без натуги, без хитрости. Вытаращил на нее Яков Львович глаза:

— Позвольте! Да как же! Муниципализованный дом?

— Ну, какой ни на есть. Дешовому товару в зубы не смотрят. Чего удивились?

— И нотариат упразднен! Какая же купчая?

— Самая настоящая, на гербовой, по оплате. Нет уж вы в деле немного смыслите, Яков Львович, так не интересуйтесь. И языком лишнего не говорите между чужими. Я ведь с вами, как с сыном покойницы Василисы Игнатьевны, откровенна.

Руки развел Яков Львович и на минуту забыл, зачем пришел. Но, вспомнив, заторопился.

— Да, вот что, Степанида Георгиевна. Я пришел насчет жильцов правого корпуса. Не знаете, не испорчено ли у вас отопленье? К ним не доходит тепло. Там вода в ведрах замерзла. Пожалуйста, Степанида Георгиевна, распорядитесь.

— Да что вы, голубчик. Дом-то не мой теперь, а городского хозяйства. Вы бы к городу и обратились. Я-то при чем? Сама, видите, в дворницкой.

— Как же не ваш, если покупаете новый?—не удержался Яков Львович.

Улыбнулась купчиха. Видно в добрый час он попал к ней! Улыбка купчихи Орловой важная штука,—девическая, без хитрости, без натуги, только оспинки сморщились, набежав друг на друга на упругих, как у японской бульдоги, щеках. Улыбнулась, ударила звонко по ляжкам всплеснувшими ручками:

— А и хитрый же вы, даром что тише воды, ниже травы. Ну если жильцам добра желаете, так передайте: плату пускай за нонешний месяц вносют не городу, поняли? Ведь не внесли еще?

— Кажется, не внесли.

— Пусть занесут мне сюды на недельке, я дам расписку. Кто еще там уследит за их платой. А я, как хозяйка, за все отвечаю. Сами ко мне по каждому пустяку забегаете. Нынче одно, завтра другое. Конечно, сама понимаю, морозы—сладко ли? Тепло я пущу, а вы насчет платы не позабудьте.

— Не позабуду,—ответил Яков Львович и вышел.

Дворнику Степанида Орлова, зазвав к себе, слово-другое сказала:

Дворник, в ведерко воды накачав, неспешной походкой пошел в отделенье, где топка. Сколько возился и что он там делал, не знаю. Выйдя, опять не спеша, запер он топку на ключ и ключ отдал купчихе Орловой, а та его положила под образа, за ширинку, рядом с приходо-расходной книжкой и Новым Заветом.

А по трубе, повинуясь физическому закону, потекло, прогоняя зашедшую стужу, победительное тепло, равнодушное к людям и всем делам их. Оно дотекло до подвала, и Лиля, пощупав трубу, закричала, как сумасшедшая:

— Мама, Куся, хозяйка тепло пустила!

Шел Яков Львович по улице, мимо тумбы, заборов и стен, где еще красовалось постановление за номером и подписями *Реформа нотариата,* шел и думал:

— Смётано, да не сшито!

ГЛАВА XI.

Ликвидационная.

Контора газеты была и останется только конторой газеты. Корректорша Поликсена, сидевшая при царе за ночной корректурой, при Керенском, при казаках,—сидит и при большевиках. Забрав типографию, помещенье, запасы бумаги, большевики вместе с ними забрали контору и корректоршу Поликсену. Только там, где был раньше «Приазовский Край», теперь поместились «Известия». Но корректорша Поликсена с платочком на плечиках и булочками на ужин, завернутыми в корректуру и лежащими в муфте,—пожимает плечами: подумаешь! мы и сами без новой орфографии постоянно писали не «Пріазовскій Край», а «Приазовскій Край», бывало спрашивают, почему, а мы себе пишем и только.

Действительно, со дня основанья газеты, лет эдак за тридцать, писалося вещим издателем не «Пріазовскій», а «Приазовскій». В конторе, уплачивая Якову Львовичу по тарифу за столько-то строк, шепнули:

— Вы не подписывайтесь под статьями. Слухи ходят... Положенье непрочно.

А уж что скажут в конторе, за выплатой по тарифу, тому доверяйте.

Фронт распластался на разные стороны, фронт вытягивает, как огонь языки, свои острые щупальцы то туда, то сюда, пробует, прядает. Там отступит, здесь вклинится слишком далеко. Но обрубают могучие щупальцы фронта. Немцы подходят все ближе, взяли Харьков, идут на Ростов. С ними на русскую землю, насилуя русскую волю и разрушая советы, идут офицеры. не немцы, а русские. Те самые, что в немцев стреляли и не хотели брататься. Теперь побратались.

С Украйны идут гайдамаки, итти не идут, а приплясывают,—усы отпустили такой закорюкой, что совсем иллюстрация к Гоголю, и треплются по весенней степной мокроте шаровары, как юбки, на бойких плясучих лошадках. А мрачные, приучёные к смерти корниловцы, молодец к молодцу, чистят где-то в степи, совсем недалёко, винтовки, тяготясь итти с немцами, и настреливаясь из-под боку.

В Баку же татары, восстав, режут армян днем и ночью. Пылают армянские села. А сами армяне, где могут, днем и ночью режут татар. Поезда не пускаются дальше Петровска.

Заметался осколочек фронта, оторвавшись в Ростове. Уж он обескровлен. Занят тов. Васильев. Голосу нет,—часто и тяжко дыша, закашливается. обматывая зеленым гарусным шарфиком горло. Уже не шепчет, а пишет. Поманит к себе, протабаченным пальцем нажмет карандашик, вырвет листочек блок-нота, и уже побежала бумажка, разнося приказанье. Даже к рассвету не гаснет зеленая лампа во втором этаже белого дома с колонками.

Обнадеженные прежде времени под Новочеркасском, восстали казаки. Так летит воронье к еще неумершему воину, кружится, падает, снова взлетит, высматривая хищным оком, откуда бы вырвать кусочек. Но воин не умер. Собрав распыленные части, большевики отогнали казаков, устроив жестокую бойню. Резали в Новочеркасске, холодным штыком добивали, шпарили жаркими пульками, как посыпая горохом, пульверизировали дымом. картечью и кровью. Жарко и мокро дышалось на улицах Новочеркасска.

А на Дону не спеша завозился Апрель, выколачивая, вместе с кучами снега, морозы. Снег осел, а морозы упали. Солнышко припекало по улицам. раззадоривая воробьев. И зеленою шерсткой озимков, как кошечка шерсткой, потягиваясь, проснулась весна.

По новому стилю готовились к празднику первого мая. Но праздник сорвался. Первого мая, как ястреб, над Темерником закружился немецкий аэроплан и сбросил бомбу.

Уже гайдамаки с колоннами немцев и русскими офицерами надвинулись к городу. Уже мрачные, приучёные к смерти корниловцы, тяготясь итти с немцами, застреляли откуда-то сбоку, в город ворвались, ринулись на штыки. думая, что гайдамаки подходят. Но большевики окружили ворвавшихся. Один за другим, корниловцы были обезоружены и перебиты.

Вновь зазюкали в городе, разносясь со змеиным шипеньем, пульки. Страх сковал челюсти. Старики молодели от страха. К ночи в саду или тёмном подвале прокапывали дыру и зарывали длинные тюбики рубликов, скатанных вместе, обручальные кольца, столовое серебро или, кто побогаче,— червонцы. Когда-нибудь внуки искать будут клады—много кладов сейчас позакапано на Руси!

Ночью спали одетыми, вздрагивали, чуть сосед шевельнется, ждали обысков и при стуке крестились, словно в поле на молонью. А в Ростове неведомым юношей, именовавшим себя «старым литератором», как ни в чем не бывало собран, проредактирован, прорекламирован, отпечатан и пущен в продажу журнальчик «Искусство».

Товарищ Васильев ругался, бессильно стуча кулаком по канцелярскому столику. Он ругался беззвучно и выплевывал посиневшей губой на платок темно-красные сгустки. Шопотом, от одного к другому, из дому в дом, переходило, что немцы уже в Таганроге.

В апрельское утро для населенья был напечатан декрет о понижении цен на продукты,—продовольственные в два раза, а прочие в пять. Купцы прочитали и крякнули, а крякнув перемигнулись. И в ответ на декрет взвыли в хвостах перед лавками обыватели,—товар-то ведь поднялся вдвое!

— Покупайте, покудова есть. А не то—подохнете с голоду!—говорили купцы, утешая. И запуганные, одурелые люди платили.

Там и сям проскакали, стегая лошадку, милиционеры с винтовкой. Там и сям пристрелили купца для острастки. Но купец не смутился. Он, что метеоролог, по воздуху чует погоду.

А темные, порождаемые вечерами в больших городах, порождаемые междувластием, одурелостью, бурей и суматохой бывалые люди тем временем, с револьвером у пояса и декретом в руках, на подводах в'езжали к купчинам.

— Читал? А это видал? — и с декретом показывается револьверное дуло.—Ну-тка за добросовестную расплату в пять раз дешевле тысячу двести аршин того шёлка, а теперь двести фунтиков гарусу, да шестьсот пар чулочков. Что еще? Дамский зонтик? Клади-тка и сто пятьдесят дамских зонтиков для родных и знакомых!

Так был вывезен и разграблен магазин Удалова-Ипатова...

Двадцать пятого старого стиля истекал ультиматум, поставленный немцами и гайдамаками большевикам. Большевики отказались очистить Ростов. И тотчас же с утра задымился огонь дальнобойных.

Взрыв, как от страшного выстрела, раздался на площади. С шумом обрушился, рассыпаясь, как веер, на радиусы осиновых досок, базарный ларек. Затопали, шлепая в лужу, случайные люди, мечась в подворотню. Бум-бум, уж стояло над городом сплошным грохотаньем орудий. Шел дождь. С окраин ринулись беженцы, толкая друг друга, роняя детей и ругаясь неистовой бранью. Подвалы, свои и чужие, в одно мгновенье забиты людьми. А по воздуху стоном бегут, догоняя друг друга, снаряды и разрываются возле самого уха, близёхонько. Окна трясутся, танцуя стеклянные трели. Их не заставили

ставнями в спешке, и окна, трясясь, звонко лопаются, рассыпаются, словно смехом, осколками. Тррах—торопится где-то ядро. Бумм,—вслед за ним поспевает граната. Трах, городу крах, кррах, тррах! Немцы не скупятся, артиллеристы играют.

А по подвалам сидят, обезумевши, беженцы, затыкают уши руками, держат детей на коленях, бледнеют от тошного страха, кто за себя, кто за близких, а кто за имущество.

Но часам к четырем вдруг сразу утихло, как после землятресенья. В ворота степенно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока, и спокойно сказала жильцам, подошедшим из кухонь:

— Большаков-то выкурили. Чисто.

А на Батайск отступали остатки гибнущих красных. Стойко дрались за каждую пядь. Трупами покрывали весеннюю степь и валились с десятками ран друг на друга, живыми курганами. В воздух текли от них струйки дыханья и пара: то в холод апрельского вечера теплая кровь испарялась.

ГЛАВА XII.

Немцы.

Ты продаёшь сейчас, Библию, напечатанную Гуттенбергом, немецкий народ!

Увезли твои древности богатые иностранцы. Скупили дома твои за бесценок богатые иностранцы. Хлеб твой едят и пьют твое пиво, глядят на актеров твоих, и отели твои наводняют богатые иностранцы. В Руре на горло твое наступил французский каблук, и хряснуло горло. Обезлюдели, парализованы, остановились заводы. Руки, честнейшие в мире, бездействуют. Где твоя слава?

Но униженному руку протянут с Востока. Там, над кремлевской твердыней вьется красное знамя Советов. Коммуна—друг униженных. И она говорит им: вы потеряли, но не всё потеряли. Вы сохранили себя. Лучшее в свете сокровище—самосознанье. Лучшая в мире действительность—правда. Правдиво сознаться себе в том, что есть, в том, что было, и в том, что должно быть по совести—вот великое наше богатство. С ним вступает народ в неподвластные хищникам дали, в крепкостенную, высокобашенную, золотую страну—в грядущую эру.

И правдивой да будет рука, что опишет тебя и полки твои, зарубавшие большевиков по наёму за хлеб гайдамачий в угольном Донецком бассейне. Ты шел туда в мае—апреле девятьсот восемнадцатого, богатого бедами, года, как ныне французы идут в твой угольный Рурский бассейн.

Выползли из подвалов оторопелые люди; не евши, не пивши с утра, поспешили к калиткам, ловят прохожих, спрашивают,—те кивают на площадь.

А на площади людно. Стройно идут, молодец к молодцу, подошвой стуча по неровным булыжникам улиц, в серых касках, в мундирах хоть пыльных, да новых, подтянуты как на картинке,—немцы.

— Немцы! Вот тебе раз!—вздохнула на улице прачка. И не понимала, а все же вздохнулось. Сердечная вспомнила, как отпевала солдатика-мужа, погибшего на Мазурских болотах; а сын был в красноармейцах.

За стройной колонной солдат, припадая к улице задом, как скачущие кенгуру, прогромыхали и скрылися пушки.

За пушками, в кучке солдат, удивляя невиданным блеском, алюминиевыми кастрюлями, кружками, чайниками и прочей посудой, проехала ровным аллюром походная кухня.

Офицеры и унтеры в темно-зеленых перчатках, в мундирах защитного цвета и в гетрах,—«баварской и вюртембергской ландверских дивизий», шли сбоку, по тротуарам, сверяя ряды проходящих. Были они белокуры, с красноватыми лицами, с алыми ртами из-под светлых усов, а за ушами на розовой шее, где вены,—с зачатком склероза.

Остановившись перед собором, часть сделала под козырек и по знаку стоящего офицера промаршировала в соседнюю улицу. Часть стала, перебирая ногами, как ученые, и готовясь куда-то свернуть. А часть, сразу сбросивши строгую выправку и симметрию наруша, принялась укреплять пулемет, задом к церкви, а носом на улицу, и, разобравши походную кухню, расположилась стоянкой.

Живо хворост собрали, штыки завязали и вздули огонь рядовые. Живо ссыпали кофе в кофейники с закипевшей водой и из банок достали сухарики, сахар, консервы, шоколад и сгущенные сливки. Пили немцы из кружек, прикусывая и не глядя по сторонам. Казались они дагомейцами, привезенными целой деревней в зоологический сад, для того, чтоб кухарить и кушать на глазах любопытных.

А вокруг-то! Все повысыпали поглазеть на диковинных немцев. Бабы, старые и молодые, в платочках, платках и косынках, парни бойкие и трусоватые, старики, мужики, гимназисты, учителя семинарии, математик Пузатиков с дочкой, поп Артем с попадьей, Степанида Орлова, купчиха; Пальчик, ставший опять просто Пальчиком, но повышенный в чине нотариусом, за то, что тихонько отдал ему вешалки (ремингтон же припрятал); Людмила Борисовна—в черной шелковой шляпе, щегольских башмаках из шевро и в весеннем костюме, фрэнчи, смокинги, венские деми-сезоны с отвороченными над суконным штиблетом заграничными брюками...—видно не заяц один по Дарвину шкуру меняет, белый зимой и при первой траве—буроватый!

Стали и смотрят. На лицах тупое вниманье. Смотрят пристально, неотступно, в сотню глаз, и смущённые немцы торопясь допивают свой кофе.

А вечер на редкость весенний. Пахнут липы пахучими почками; стрельчатые, как ресницы, листочки акаций развертываются, сирень зацвела. Солнце село, но небо еще голубое, прозрачное, с реющей птицей и редкими белыми тучками.

Взволнованы барышни—много им будет занятий! Взволнованы матери—можно списаться с родными, узнать, где Анна Ивановна, Анна Петровна и Марья Семеновна, где доктор Геллер с женой, увезли ль бриллианты и повидались ли с Кокочкой, ад'ютантом у генерала Безвойского. Взволнован па-

паша—ведь дума-то будет, как раньше, и будет управа! Все будет—и думские гласные, и члены управы, и письмоводители, и казначеи, и заседанья,—демократический строй принесли нам стройные немцы!

— Вы же, папаша, припомните, немцев ругали тупыми милитаристами, грубыми хамами, варварами, разрушающими цивилизацию? — некстати напомнил отцу безмятежный сынок с напробореиной птичьей головкой, проводивший жизнь в городском клубном саду, где ухаживал за гимназистками. Голос был у него очень тонкий, а хохот, как выстрел из пушки.

Но папаша ответил: «замолчи!» и пригрозил не выдать карманных.

Немецкие унтеры и офицеры в зеленых перчатках, в мундирах защитного цвета, шаркали и улыбались, знакомясь с девицами. В Нахичевани армянки, в Ростове еврейки и русские цветником разукрасили улицы, с оживленными щечками, брошками, с нежной сиренью за поясом, переходящей потом, подчиняясь закону тяготенья, в петлички офицеров. Приглашали немецкими фразами, заученными в гимназии у херр-Вейденбах, выкушать чашечку чаю. Офицеры, благодаря, улыбались, но с чувством достоинства переходили в открытые настежь парадные.

Буржуазия ждала их.

— Какая?—спросит наивный.

Та самая. Та, что в начале войны, брызгая пеной, кричала о подлости, низости, тупости немцев. Та самая, что помешана на патриотизме, на русском стиле, альбомчиках «Солнца России», новгородских церквах и Московском Художественном театре. Та, что требовала войны до победного окончания. Та, что изменниками называла издавших указ о братаньи. Та, что упорно, с документами и доказательствами уверяла, будто Ленин и Троцкий придуманы на немецкие деньги. Та, наконец, что видела в Бресте конец государства Российского.

Особняки запылали свечами и лампочками. Белоснежные скатерти вынуты из сундуков и расстелены. Электрический чайник кипит и кипит самовар, а в буфетной из банок, повязанных собственноручно, с хитрыми узелками, чтоб девки не крали, достается варенье. В гранёные вазочки накладываются абрикосы, кизил и айва, и клубника Виктория, пахнущая ванилью. С Пасхой совпало, вот счастье-то! На улице бились и резались, а в особняках все сделано к Пасхе, что нужно: раздобренные куличи, пожелтевшие от шафрана, с изюмом и миндалями; творожная белая пасха с цукатом; ветчинный огромнейший окорок, выбранный у колбасника прямо с веревки по давнему и священному праву, и собственноручно в печи запеченный; индейка,—пушисты, как пухлая вата, молочные ломти индейки, нарезанные у грудинки! И много другого. Графинчики тоже не будут отсутствовать, все в свое время.

Много бежало ее из особняков,—буржуазии. Много осталось ее в особняках,—буржуазии. Упразднитель в «Известиях» бился месяц и два, упразднял то одно, то другое,—орфографию, школу, сословие присяжных поверенных, собственность, право иметь больше столька-то денег наличными, но упраздняемое, как журавли по весне, возвращалось.

Офицеры входили, расстегивая перчатки. Ослепленные светом и белоснежною скатертью с яствами, улыбались. Самодовольно одни, а другие насмешливо. За столом лёгким звоном звенели чайные ложки о блюдечки и о стаканы, передавались тарелки, просили попробовать то одного, то другого. Офицеры расселись не по указанному, а по-немецки, меж дамами, чередуясь,—мужчина и женщина. И это понравилось очень хозяйке, стянувшей корсетом грудо-брюшную полость, повесившей в уши два солитера и говорившей сквозь губы, их едва разжимая, чтоб не выдать искусственной челюсти.

Хозяин заговорил об ужасах большевизма и благодарил с теплотой и сердечностью германскую армию. Гинденбург у себя никогда не стерпел бы того, что наша военная власть не смела тотчас силой оружия! Мы некультурны. Мы позволяем какой-то шайке бандитов, невежественной и столько же смыслящей в Марксе, сколько свинья в математике, захватить власть и полгода дурачить Европу. Посмотрели бы вы, что у нас тут творилось! Я сам знаю Маркса, я читал Менгера...

Но разговор о марксизме офицеры не поддержали, они пожали плечами. И сдержанно говорили, что идут добровольцами (с улыбкой, подмигивая: добровольцами, император не вмешивается!), с целью лишь очищенья и определенья границ по Брестскому миру. И кроме того гайдамаки, угнетённая нация. Гайдамаки за очищенье Донской области обещали им 75% всего урожая.

— Своего?

— Нет, донского. Очистим область—и получаем.

Но есть могучее средство развязать языки, это средство найдено Ноем, оно во всех смыслах патриархально. Графинчики пущены в ход, в свое время. Пьет хозяин, с приятной улыбкой культурного человека. Пьет хозяйка, потягивая сквозь губы, чтоб не выдать искусственной челюсти, пьют дамы и офицеры. Порозовели, повеселели. Младший, фон-Фукен, стеснявшийся при ротмистре, уж выдал на ухо даме:

— Наш путь через Кавказ, Закавказье и Малую Азию в Индию. Мы завоюем Кавказ, Закавказье и Малую Азию только попутно, задача же в Индии. Индию надо отбить в отмщенье разбойникам-англичанам!

— Индию,—подхватили другие.

— Индию,—протянул и хозяин почтительно, в глубине души страстно желая, чтоб немцы остались навеки в Ростове и жили бы и наводили порядок,—чинно и мирно.

А был он не кто иной, как наш старый знакомец, Иван Иванович, не успевший бежать на Кубань. Да, Иван Иваныч пережил большевистские страсти и гордился: он не какой-нибудь эмигрант, Петр Петрович, он все видел, все знает и все пережил самолично. Он готов написать мемуары, разумеется не в России, а летом, в Висбадене где-нибудь. Но Иван Иванович уж не тот, он разочаровался в парламентаризме. Мы некультурны, нам нужно твердую власть, хотя бы немецкую...

В кухне же, у кухарки Агаши, собралось свое общество: столяр Осип Шкапчик, военнопленный из чехо-словак, обжившийся дворником и столя-

ром в этом доме; два немецких баварских солдата; Аксюта и Люба, крестьянские девушки на услуженьи.

Осип Шкатчик служил переводчиком. Солдат утощали. Те ели и нехотя говорили: хлеб нужен им. Из-за хлеба и наступают. Теперь, говорят, будут брать Ставропольскую губернию, тоже хлебную. Сахару вот привезли из Украйны. Не купите ль? Продают по дешевой цене, 100 рублей за мешок. Воевать—надоело.

ГЛАВА XIII.

Очищение области.

Кольцом окружили большевиков под Батайском. С каждым днем, словно от взмаха косы над степною травою, ложатся ряды их. Но теснее сжимаются те, что остались, и теснее зубы сжимают: такие не дешево стоят! Душу за душу, смерть за смерть,—обессиленными руками сыплют порох, забивают патроны, наводят могучую пушку. Трах—отстреливаются большевики.

В Ростове гранатой уничтожены Парамонова верфь, мореходное училище и пострадали дома. Их измором берут, смыкают железною цепью, но голодные, истощенные, из-за груды убитых, как за стеной баррикады, отстреливаются большевики. Там, под Батайском, лягут они до последнего. Там, под Батайском, трупов будет лежать на степи, как птиц перед отлётом. И в городе говорят: если трупы не уберут до разлива, надо ждать небывалых еще на Дону эпидемий,—ведь разлившийся Дон их неминуемо смоет.

Так полегло под Батайском красное войско. И рапсоды о нём, если только не вымрут рапсоды, когда-нибудь сложат счастливым потомкам былину.

Между тем обыватели по Ростову разгуливают, утешаясь порядком. Два коменданта у них, полковник Фром для Ростова, а для Нахичевани стройный и рыжеусый, в краснооколышевой фуражке господин лейтенант фон-Валькер.

Фром и фон-Валькер вывесили об'явленье: чтоб немедленно, в тот же час, торговки подсолнухами ликвидировали свои предприятья. Чтоб отныне они на углах с корзинками свеже поджаренных подсолнухов, также и семячек тыквенных и арбузных, стаканчиками продаваемых,—не сидели. И чтоб обыватели подсолнухами между зубами не щелкали, их не выплевывали и по улицам не сорили. А кто насорит—оштрафуют.

Вслед за этим Фром и фон-Валькер опять об'явили, что по улицам можно ходить лишь до одиннадцать и три четверти, но ни на секунду не позже. А по одиннадцать и три четверти ходи, сколько хочешь.

В тот год, восемнадцатый, был урожай на родильниц. Бывало, по улице идя, встречаешь беременных чаще, чем прежде. И про указ номер два разузнавши, всполошились родильницы, перепугались. Природа-то ведь своевольна! Что, если захочешь родить среди ночи, как проехать в больницу иль в клинику? Хорошо, коль в одиннадцать тридцать, а если попозже? И с тяжкой заботой, не сговорясь, но сплошной вереницей потянулись родильницы в комендантуру.

Был полковник Фром по фамилии и по характеру благочестивым. Много видел он очередей, наблюдал и явленья природы,—метеоры, затменья, полёт саранчи, сбор какао, частью в натуре, а частью в кинематографе, но такого не видел. И бесстрашный на поприще брани, полковник душою смутился.

— Was wollen die Damen?—спросил он, склонясь к своему ад'ютанту. Тот вызвал Осипа Шкапчика, переводчика. Был Осип Шкапчик, столяр, за знакомство с русскою речью и понимание местного быта, определен переводчиком в комендантуру.

Осип Шкапчик, не мысля дурного, поглядел на толпу из родильниц. Потом деловито у крайней осведомился:

— Сто волюсте у комендантен?

Так и так, говорят ему дамы, на предмет родов без препятствий разрешенье ночного хожденья, ибо часто приходится ночью ездить в клинику или в родилку.

— Понималь,—им сказал Осип Шкапчик, и ответил полковнику Фрому, что для нужды родов очень часто по ночам им приходится ездить.

— Gut!—тотчас же промолвил полковник:—напишите им каждой, что надо!

И родильница каждая вышла, унося в ридикюле документ:

Würt. Landwer. regiment № 216 Bataillon II

Der Ynhaber ds hat als Arzt das Recht auch nach 11. Nachts auf der Strasse zu sein*).

А в частной беседе полковник фон-Валькеру молвил задумчиво: «Странные люди. Вот например у них в городе все акушерки сами беременны и представьте себе,—в одно время рожают».

Полковник Фром уважаем управой и думой. Он в присутственные часы присутствует и принимает. А лейтенанта фон-Валькера полюбили дамы и барышни,—он в неприсутственные часы знакомится и гуляет. Часто красноокольшевую фуражку над свежим лицом с рыжеватыми усиками можно увидеть на улицах, в скверах и в клубном саду. Лейтенант фон-Валькер, любитель прогулок, доступен.

Вышла в Ростове газета «Рабочее Слово». Меньшевики, поредевшие очень сильно (из блока ушел Иван Иваныч и прочие), повели себя не зазорно: они твердою речью стыдили русских за то, что вместе с немцами пришли подавлять свою революцию. В этот день Владикавказские железнодорожные мастерские, депо, Темерник прочитали «Рабочее Слово».

На другое же утро,—жив курилка!—вышел и «Приазовский». Корректорша Поликсена над ночной корректурой пожимала плечами: шуму-то, шуму! И чего они? Все равно ведь «и» с точкой не ставят, а по-прежнему пишут не «Пріазовскій», а «Приазовский». Уж помолчали бы!

Шуму же вышло не мало. Рычала передовица, свистел маленький фельетон, кусались известия с мест (сфабрикованные тут же на месте), стонал большой фельетон, тромбонила хроника и оглушительно били трещотками

*) Пред'явитель сего имеет право, как врач, быть на улице и позднее 11-ти ч. ночи.

телеграммы: «победоносно... центростремительно... церковная благовесть... твердый порядок... святые традиции...». А в передовице проклятье осквернителям русской земли, извергам и душегубцам, большевикам. Кто-то из доброхотцев, на радостях стиль перепутав, взвился соловьем: победоносным германским войскам, защитникам правого дела, он желал от души горячей победы и войны до конца над варварами большевиками.

Транспорт налаживался. Уходили вагоны.

По дворам, по колам с карандашиком, по волостным управленьям с бумажками, а по пажитям с морскими биноклями ходили люди в мундирах. Предписывали—сеять. Винтовка-надсмотрщик в спину дулом смотрела тому, кто не сеял.

По закромам и по ссыпкам гуляли толковые люди, им пальца в рот не клади. Чистых 75% со всего урожая принадлежит им по праву, но когда-то он будет. Выколачивались казачьи задворки. Казались задворками, а чихали мукой. Выкачивались казачьи колодцы,—смотрели колодцами, а плескали зерном. И транспорт налаживался. Уходили вагоны. Туда, куда следует, по назначенью.

— Между нами,—шипел богатейший казак, думский гласный, пайщик газеты:—немцы здорово нас выколачивают. Присосались, как пьявки.

— Но они очистили область!—наставительно молвил другой, чье имущество было в кредитках далекого верного банка и в бриллиантах недалёкой, но верной супруги.

— Даже слишком!—буркнул казак. Он прослыл с тех пор либералом.

Обыски, аресты шли тихенько и незаметно. Плакали жены рабочих—опять вздорожала мука. С ума сойдешь! Жалованья не платят, а хлеб, что ни день, то дороже. Хоть соси свою руку.

Плакали даже в станицах—так обесхлебить и раньше не приходилось.

Волком смотрели и обыватели, кто победнее. В городе, на базарах, стоит запустенье: ни хлеба, ни рыбы, ни мяса. Крестьяне попрятались и не подвозят продуктов.

ГЛАВА XIV.

О русском патриотизме и брюках господ подпоручиков.

Управа в Ростове опять управляла. Все было честь честью: думские гласные, члены управы, письмоводители, сторожа, заседанья.

Даже казалось иной раз по чинности членов управы, что немцы приснились. Что если и были где-нибудь немцы, так в Петербурге, в совете министров, а здесь был Попов, городской голова, и полицмейстер Дьяченко.

Но как-то однажды в управу явились два офицера. Были они в мундирах защитного цвета, в зеленых перчатках, белокурые, с красными лицами с алыми ртами из-под светлых усов, а за ушами, где вены, с зачатком склероза.

Офицеры явились в самую залу, прервав заседанье. Один из них резким движеньем показал свои брюки, суконные брюки защитного цвета. Были брюки совсем не в порядке, они лопнули, совершенно как лопает по толстому шву бобовый стрючок у акации.

— Что ему надобно?—спросили члены управы друг дружку.

Офицер об'яснился:

— Ему надобно возмещенья убытков от муниципалитета, за брюки.

— Но скажите, при чем же тут муниципалитет?

Выяснилось: офицеры вдвоем подрядили извозчика, сели и поехали к месту службы. Извозчик на повороте накренил (с пьяну, решили члены управы, знавшие свой народ; из патриотизма, подумали немцы, знавшие свой народ). Но как бы то ни было, извозчик накренил, и от толчка офицер повалился на землю. Будучи офицером, он не упал, а, подскочив, стал на ножки (офицеру упасть неприлично), но брюки однакоже лопнули. Муниципалитет теперь должен возместить офицеру убыток.

Возмутились члены управы. Много лет, по три года, за хорошее жалованье, получаемое аккуратно, сидели они в этой зале, как члены управы, но такого ни разу не слышали. Чтоб городское управленье, чтоб муниципалитет отвечал за какие-то там офицерские брюки! Быть не может. Рассматриваемая претензия есть бесчестье, наносимое членам управы.

Офицеры пожали плечами:

— Тем не менее, муниципалитет отвечает за ущерб, причиняемый городом офицеру германской императорской армии.

— Но на каком основании?

— Есть закон,—не горячась, но сурово ответили офицеры. И при помощи Осипа Шкапчика, переводчика, раз'яснили членам управы, что действительно есть параграф в германском своде законов, по которому муниципалитет возмещает убытки, причиненные городом воинскому снаряженью господ офицеров.

— Но требуйте не с нас, а с извозчика? Ведь виноваты не мы, а извозчик.

— Помилуйте, извозчик есть муниципальное учрежденье.

Сильно озлобил членов управы означенный случай. Эдак ведь, если у каждого брюки порвутся, брючный ремонт обойдется городу в десять раз больше, чем ремонт канализации и водопровода! Но нечего делать. Поахали, пожестикулировали, покачали многодумными головами с востока на запад, в такт вращенью земли,—и возместили убыток. А милиции дали понять в устной форме, чтоб разыскать патриота-извозчика и всыпать ему, смотря по его состоянию, или по уху крепкой рукой, если пьян он, или в ухо крепкою речью, если он трезвый. Так лойяльные члены управы при помощи меры воздействий русский дух изгоняли.

И не напрасны были усилия членов управы!

Вечером поздним, пригнавши в конюшню свою коренную с пристяжкой, сел извозчик пить чай с мушмалою и потчевал чаем соседа.

Тот хвалил, а извозчик рассказывал: умные, черти! Не с нашего брата, с рабочего, в поте лица, а знают, с кого и просить. Нам, говорят, нужна аму-

ниция, так по этому делу амуниципитет и ответствен. Вот как по заграничному, не по нашему, рассудительно вышло.

Пил извозчик, в поте лица обливаясь, и сосед, мушмалой закусив, похвалил заграничный порядок.

ГЛАВА XV.

Лихолетье.

В эти дни ворон каркал
о погибели русских.

На Украйне разогнана Рада, декреты ее аннулированы, выбран гетманом Скоропадский, помещик. Выбирал же его император Вильгельм.

Стала Украйна державой с германской ориентировкой. И Скоропадский ездил к Вильгельму в Берлин на прием.

Кавказ отделился, распался на государства. Каждое стало управляться по своему, каждое слало гонцов то в Англию, то во Францию, то к Вильгельму, с просьбой принять всепокорнейше ориентацию.

На Мурмане высадились французы и англичане. С севера вышли, совсем не по правилу, чехо-словаки и дрались.

В Великороссии, сердце Советской России, восстали эс-эры. Из-под угла убивали. Снимали с поста тех, кто крепкой рукой держал еще ключ государства.

Было же это, когда на Мурмане хозяйничали французы и англичане. Кавказ отделился, Украйна отпала, а с севера чехо-словаки с оружием шли на Россию.

В эти дни ворон каркал
о погибели русских.

Были раздавлены на Дону лучшие силы рабочих. Если и не потухла надежда на помощь советского центра, то ушла так глубоко, что люди не видели этой надежды в голодных зрачках пролетария.

Урожай поднялся, налился, был собран и вывезен. Фельдфебеля, приезжая на юг из Берлина, оттуда чулки привозили знакомым девицам, духи и перчатки. Открылась в Ростове и книготорговля. Давно мы не видели книгу, а тут продавалась немецкая книга. Три четверти о войне, об армии, о гегемонии над миром, но четверть—и за нее забывались другие три четверти,—четверть была о науке, о праве, о мысли. Был Гёте, и было о Гёте. Был Вагнер, и было о Вагнере, был Рихтер, и было о Рихтере. Песней глядела с прилавка книжечка Жан-Поля-Рихтера «Зибенкейз, адвокат неимущих».

Подняли голову монархисты.

Родзянко и Савинков где-то стряпали соус из русского зайца.

Союз Михаила Архангела стал перушки чистить в ангельских крыльях, готовясь к погрому.

Толстые няни Володимирской, Тульской, Калужской губерний,—одна говорила на о, другая тулячила, третья калужила,—сидя в клубном саду, где в песочке пасомые ими ребята резвились, беседовали шепоточком:

— Слышали, милые?

— Нет, а чего такò?

— В Сибири-то, где наш царь-батюшка... Слышь, один из охранщиков был с ним лютее всех, гонял милостивца, как скотину, да. Только гонит он это государя прикладом-то в спину, ко всенощной в церкву под воскресенье ну и видит. Из церкви-то, милые вы мои, в белой перевязи на руке со святыми Дарами идет сам Христос, провалиться мне, завтра чаю не пить. Подошел к государю и тàконько ласково, да уветливо, «терпи», говорит, «до конца, мой мученик», и дал ему святых тайн приобщиться. Вот ей Бо! Что ж вы, милые, думаете? Охранщик-то красногвардеец как побежит, да как побежит, и ну всем рассказывать. Его в сумасшедший дом, а он сбег, его на фронт, а он и оттеда сбег, и всё-то рассказывает, все рассказывает. Сейчас, милые вы мои, по Расеи ходит и все рассказывает, верно я вам говорю...

— Охо-тко!

Няни шепчутся, вздыхают. Няни привыкли в чистенькой детской под образами в прикуску пить чай. С няней не всякий поспорит! Она барыне на барина, барину на барыню. А выгонишь, няньки-то свой профсоюз, как масоны имеют, наскажут такого, что после—убейте—ни одна не пойдет к вам на службу...

В Нахичевани перед собором, лицо приподняв и растопыривши руки, как на кадрили, стоял памятник Екатерины. Монумент был из бронзы. Год назад рабочие, дружной толпой собравшись вокруг монумента, снесли его на-земь подставки, а после убрали. Подставка осталась пустою. Промолчали художники,—пусть ломают из рук вон плохую безвкусную бронзу!

Но год прошел, и —

на утро в окно увидали жильцы Степаниды Орловой, как шли, под начальством немецких солдат, рабочие, шли и на веревках что-то тащили. Рабочие были безмолвны.

Командовали солдаты:—mehr Rechts!

Переводил Осип Шкапчик:—правейте!

Но рабочие праветь не хотели и слева, погнув о решетку нос и два пальчика Екатерины, растопыренные, как на кадрили, без возгласов, в мертвом молчаньи подняли тяжкую ношу, и на гранитной подставке был бронзовый идол поставлен.

— So!—одобрили немцы.

Мальчишки газетчики, отовсюду сбежавшись на площадь, гоготали.

— Не ори, дурачье,—сказал им суровый рабочий...

Шумен Ростов. Продают—покупают. Город живет хмельною и гнусною жизнью. Ходят по улице, с папироской у краешка рта, спекулянты, краешком глаза посматривают. Каждая будка печет пирожки с мясом, с рисом, с капустой, с вареньем, каждый угол занят девицею с вафлями, каждой вафле есть покупатель. Мальчишки свистят, торгуя ирисом, во рту побывавшим для блеска. Открылись пивные—продают двухпроцентное пиво.

Ликуют гробокопатели,—много могильщикам дела! Русская смерть утомилась, русская смерть переела за бранными брашнами под Батайском и Новочеркасском. Ей на смену пришла испанская мирная смерть.

Через границы и таможни, легкими пальчиками приподняв бахрому болеро, протанцовала она по средней Европе и села над Доном.

Гибли люди по новому: по-испански.

Чихали сначала. Кашель на них нападал. Растирали грудь скипидаром. Дышалось с присвистом,—грипп, дело пустое; аспирин, вот и все. Но на утро лежал человек, скованный мрачной тоской.

— Отчаянье, меланхолия!—говорили домашние доктору; плакал больной, кашляя сухо:

— Я умру, я предчувствую!

Врач отвечал:

— Испанка, берегите его от простуды.

Здоровые выздоравливали.

Хилые умирали.

И мерли без счету: торгаш, не желавший в постели терять драгоценное время; детишки, беременные, роженицы и кормившие грудью.

В эти дни ворон каркал о погибели русских.

(Продолжение следует).

Вокзалы.

Повесть.

А. Малышкин.

Пролог.

...Депо с лопнувшими стеклами крыш, настороженные бронепоезда, ковылем проросшие пустыри рельс, конский скок в поле—будто татарвой опять из-за ногайского вала, из-за фабричных выморочных корпусов...

«Яблочком» грохает из теплушек. Сквозь вокзальные обожженные бреши бездонно светит земля—новая, сладкая.

В туманах—воля, корниловские пулеметы, деревянные глаголи за Ростовом...

Яблочком катятся в смертную сладкую степь, глаза—пляской, дымные, сатинетовые...

...У Балашова холмы в полях, как тихие невздымающиеся груди, над ветляными речками сумерки розовы, теплы; чудятся им избы, пахотная тишь... У Балашова лютые ползут пшеницей; свистит, воет воздухом на пустых платформах, клюет насквозь стены, цистерны, головы...

Смёртно...

Новохоперск горит...

Это оттуда—от Новочеркасска, Батума, Симферополя... там звенят еще золотые ночи, там кочевьем классных международных на десятки верст гудит у городов, до рассвета хмарой вьюит—крики, веселье, пьяный дым...—оттуда обложило силой, казачьими гривами, хмарой; под Новохоперском бьется горсть, нижет, задыхаясь, пулеметами с крыш, из вагонов, кричит, тает, валится головой за камни...

...Там на голубятне, в паутинных потемках доползут, падут хрипящими грудями на товарища Калабу, выволокут из-за пулемета, доколют. Последние, обезумев, пробегут на пики, на оскаленные морды. Там кровь мою, брата моего Алексея, пулей в горло...

За вокзалами земля новая, сладкая... Щемит...

Лиски!

На кресте путей, на кресте степей распятые—

Лиски!

Сколько раз туда—лбами, стиснутыми челюстями упрямых—ползком—и вот россыпью горящего ура—в под'езды, клозеты, будки, вокзальные фойе, депо, в упор ощеренно-ахающим раскаленным зевам, в растаптываемые залпы отступающих—вот видеть, как, огрызаясь, уходят деникинские батареи, краем светит степь...

И в сумерках—под грохотом, под обрушенными лавами исступленных отходить назад, рыча, истекая кровью...

И вот опять злобные, веселые бегут —

Кричат на телеграфах, в штабах:

Лиски!

Взяты!

...там отползают в крови...

И еще...

И еще...

И—который раз—еще...

Нет, больше не дрогнут, не уйдут!

Вот так—зубами, измозоленными от курка пальцами вцепиться в обгорелые кирпичи, чтоб не отдать ни-ког-да... Так глянет в века страшный пустырь, угли —

Лиски!..

...после боя, на рассвете, товарищ Анатолий выйдет за курящееся пепелище. Видно за курганами—догасает, уходит навсегда мутная, седая чара. В обугленных просонках, из туманов, неизведанно, щемяще огромная светит земля...

И близкие—из туманов; там Калаба, там—кудрявая, нежная глазами—на сучке в константиноградском лесу...

А теплушки—яблочком на Харьков, уже под стеклянными крышами перронов в Харькове топает армиями ног, уже в Николаеве в морские туманы, во все ветра радио тысячу раз кричат —

...бур!.. жу!.. азия!..

Где-то с полированных европейских крыш, из уличных воздухов вьет, впивается воем —

— азия!.. азия!.. азия!..

Там чудится—средневековье, трущобные кварталы Пекина, косматые идут воем из тьмы, в полночь вламываются в комнаты, душат...

Нет: на Днепре теплы, розовы сумерки—им снятся избы, вечеровой тележный скрип; гудки гудят родно, будто тонут уже в пахотную дремучую темень, за рельсами—возвращенные поля, перевалы, погосты...

Близко они...

...В поздний час гудят гудки, воют мне в смирное ночное окно—об исхоженных пространствах, о бездонной воле—земле.

Зовут...

...вокзалы, вокзалы!

Часть первая.

Такая была ночь—не спали, стояли огнями все столицы мира. Глыбные здания Петербурга горели насквозь и встревоженно; у военного министерства, у колонн Казанского собора, в смеркающихся там светах Невского, шел народ. В столплении магазинов, комнат, редакций карты Российской империи распято глядели со стен в тысячи впившихся глаз; за картами была внезапная бездонность; за картами, за этажами в эту ночь сразу начинались темные проваленные пади пространств:—

дремучие изволоки, дороги, гаснущий в дорожной пыли бубенец... в избяных поселках в сумерках—огоньки, гармоньи, гортанное и страстное клокотанье жабье по соломенным заречьям—вся мутная, бескрайная, исхоженная поколеньями земля...

В комнате петербургского этажа, похожей на неряшливое кочевье, с книгами, бутылками пива и едой на столе, к карте подошел человек в обтрепанном пиджачке; холодея, глядел, как будто в первый раз, в зеленую, бумажную ее рябь.

Уже не в комнате,—в темных пространствах, простертый перед кем-то, тонул он, маленький, слабокогий, очумевший от книг. Ах, не чуя, как играли там гармоньи, как заносили за плетнями девьи голоса! Человек видел—ночь шла благовестно и страшно...

То, для чего были долгие комнатные годы, о чем шуршали с бумажных листов голоса и мечты мертвых,—могло стать потрясающей явью...

От собора скопом повалило к Невскому, без фуражек, там тот же, на слабых шатающихся ногах, крикнул:

— Россия!..

И в эту ночь, за мутными перевалами земель, в городке Рассейске—и человек был родом оттуда—ставили на площади у предводительского дома столы со свечами, суетились; у домов, по крыльцам жался и гугукал потаенно народ, лез на крыши, громыхая железом; хихикающие в шляпках и платочках перевешивались через решетку соседнего сквера—из июльских там берез, из темени любовной, поддерживамые под руку нежными—глядели на базарные перевалы, ждали.

В Рассейске —

накануне, под Ильин день, с вечера помчались конные стражники с факелами в перевалы, в летнюю, в июльскую ночь, кричали хрипло и лютно в прущее с полей, с дорог, из всех дебрей темное, тележное живье:

— Сторонись, эй! Ворочай по селам! Ма-би-ли-за-ция!..

Под Ильин день с волостей, с мордвы, с муромы, из сифилисных подгородьев,—гуртами шли телеги к Рассейску на ярмарку. На ногайском валу, откуда еще при Грозном жгли солому с высот, отгоняя ногайцев—каждый год гуляла ярмарка в Ильин день, дикая и шумная, как пожар. В темнотах проселочных гамом ползли телеги с живьем и гармоньями, глухо в облаках пыли топал скот, бесились и ржали привязанные к задкам лошади, стороной брели пешие, слепцы и лазари, тыкая подожками в полынь. Бывало—в солнечный

грозовой Ильин день расхлестнется на ногайском валу каруселями, гомоном, пьяным и пестрым ситцевым вихрем, гармонным скалозубьем, семячками и— а-а-ахх!—падут до нытья в сердце качели, взовьются купецкие рысаки, будут звонить колокола у чудотворной, запнусят лазари, в русалочьи заводи поведут ночью девок, уговаривая... пьянью, блудом, гульбой пойдет торжище под сереброзвездными ильинскими куполами меж низких дощатых ларьков и балаганов, меж каруселей—сквозь них просвечивает поле, ногайская даль —

а тут в ночь под Ильин день стряслось: как закрыли казенки, ночью— видели из лампадных горниц—весь угол над ногайским валом занялся заревом—над торжищем, из ночи, поднималась огненная гробница—стряслось, быть беде... В летнюю ночь, где шли неометные телеги потьмами, мчались стражники по дорогам, проселкам, тыкали факелами в морды визжащим лошадям, кричали:

— Ворочай! Ма-би-ли-за-ция!..

И стихали гармонии, говорок, стихало за Рассейском—только скотина мычала и ржала в глухоте полей—должно-быть, останавливались, оцепенелые, ворочали назад, бабы занывали расстанную...

И с утра хлынуло пыльной волной на слободы; под'езжая, крестилось на Рассейск—на каланчу, на ораву цветных огненно-стеклястых под солнцем кирпичей, разбежавшихся в вихрявой зелени по косогору: сперлось оглобляным морем около воинского, по скверикам, по лужайным бугоркам. Загорланили у присутствия под рыжим орлом —

— Богороцка волость!

— Мы!

— Растеряхинска волость!

— Мы!

— Подай к забору, стройсь!

Пихали запасных в груди, вопили сиплые писаря в расстегнутых потных мундирах—от них дышало казармой, разлукой, чужбиной—и бабам на площади хотелось пасть и завыть. И уже чужие полям, избам, строились запасные по волостям, бородатые, горящие растерзанными, потерянными глазами. Бабы стояли напротив стеной, пригорюнившись; глядели бабы, и мерло все в них, пасть хотелось, в крик биться. Толкались рекрута, молодняк, еще не забритый, в пиджаках, в жилетах на распашку, в голубых сатинетовых рубахах, а глаза—бесстыжие под мокрой космой, навыкат, голубые—сатинетовые;—и вот да вот рванет от молодняка гармошка—словно кнутом в щеки слезящихся баб, в понурые глаза запасных—рванет из бесстыжего подлобья ножовщиной, диким полем...

Гульнуть готовился молодняк по Рассейску...

Гулял с ними Толька, учителев сын, выгнанный реалист, белоголовый, в вихрах, глаза навыкат, белые. В шинке пил с молодняком николаевскую, ругался матерно—тоже для похвальбы; его тошнило от солнца, от духоты, от пестрой бестолочи; с другом своим, Калабой, подручным от москательщика, шатался по площадям—и взаимно все было, весело; и песни кричались зверские, надрывные, как перед бедой...

— Ах, чорт,—радовался он, дергал Калабу.—Ты смотри, что дальше будет, это, ведь, ис-то-рия!

Калаба не понимал, но ело под сердцем—от чуемой над тысячами беды, оттого, что сладкая была жадность ждать...

Перед ночью не светел, пуст остановился закат за оглобляным морем, за ногайским валом, за куполами. На закате двинулись поднимать икону.

...За базарные перевалы глядели, ждали.

И топотом побежало оттуда—будто в недрах где-то заклокотало под Рассейском. С перевалов бежали в лаптях и разутые—через проулки, бутры, под церквями, сквозь лабазы, ларьки—бежали молчаливые, мутные, многие, за ними—бабы; за бабами слепцы, лазари топотали,—стукая клюками в убитую земь. И еще волостя бежали от собора с иконой впереди; несли икону двое бородатых, в коротких штанах, с босыми черными ногами, пряча за нее плечи, и за ними бежали иструженные, таща за руки малых, которые не поспевали. И малые бежали молча, как немые.

Закручивалось у стола на площади, разливалось в ширь в черноте душной и еще беззвездной.

Тогда из предводительского парадного—из под колонн—прошел предводитель, гофмейстер его величества, генерал Арапов; зажглись ризы горбатых, покашливающих, и свечи и наверху звезды, и стало видно—гофмейстера Арапова с белоснежным ежиком, бледного, с земляничными губами — он стоял прямо в литых своих лампасах, как струна; за ним—золотоплечих, склонивших головы, в сумерках. Конные стражники, привстав на стременах, сняли шапки; факелы метнулись угрожающе—служение началось.

В тишине были звезды, из темного, великого надвинулись поля—слушать. В Петербурге сияло огнями военное министерство, там распятые, залитые блеском комнат гигантские зеленели карты России; вспыхнуло из-за колонн в араповском доме, в Рассейске, над паркетами осветились воздуха зал гулко и пусто. Была ночь; в толпах, немых и тесных, при слабом тлении свечей генерал говорил речь; пластами, кручами лепилось по площадям, по крышам—в толпах слабый крикнул всей грудью —

— За нашего...
...обожаемого...
...монарха!..

И оборвался голос—в слезах. Может-быть, придавленный громадами неба, земель, темных каких-то величий, донесшихся из веков...

В этот миг—забытые в пелене будней, тверже и торжественней встали колонны араповского дома; литые цветы капителей были, как глаза, выпученные от напряжения вый; из вензельных белых зал, из-за колонны, глядели с портретов вереницы нечеловеческих, проживших, усмешных глаз, поместья, охоты...

в рекреационном дворянской гимназии, в мраках, осилуэтились воздушно колонны—шелестя, раздувая воздушные воланы, пролетая, как сны, клоня завороженные кудри к плечу, мгла зеркала... в приземистых горницах управы,

над пустыми взводами кресел, основались коренасто-каменными ступнями идолов; дремали столетьями из-под куполов Казанского; там, в каменных пещерах собора оживали ржавые, исхлестанные смертями знамена...

Генерал крикнул ура. И словно дождавшись наконец, лохматые вобрали воздуху в груди и заревели дико и натужно: ура! Под бороды, кругом черных шей, обвисали бабьи белые руки, на широкогрудых, сбычившихся глаза и оружиях, висли, горячим капали на отцепляющие сумрачно пальцы, на родных теплых грудях никали безысходно, на смерть, навсегда...

из проулков, из сквера, с крыш рухало перекатами ура; держа факелы, как свечи, стражники разевали черные бездонные рты; из самой земли ныло неостановными струнами —

...а-а-а-а!..

и из-за ногайского вала, по пояс колеблясь в земле, придвинулись к площадям николаевские, александровские, суворовские и еще от Пугача (тогда качались и смердели у каждой околицы, обклевываемые вороньем...)—и еще темные, уходящие в оны—не удержась,—придвинулись, по пояс во тьмах; кричало из-за вала:

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!.. Ура-а-а!..

И первая визгнула—ножом полоснула сквозь тысячный рев—словно петухами отдалось, заперекликалось, завопило, закрутило бурей визговой по улицам, по дворам, по крышам. В визге бросались, душили шеи бородатым, бились о землю простоволосые, в руках у мужей бились; телом всем теплым облипали угрюмых, молча сбычившихся—матери, жены, облипали, тискали белое тело под рубахами, горячее, склизкое, не разорванное еще железом.

И вот скрипом и воем поползло вниз; у пустых ярмарочных балаганов, встречая их, заревом вспыхнули бенгальские огни,—«и ды вот а-а-а-ахх!»...—разом ударили все гармоньи;—лупоглазые, мутные, крестя начищенными сапогами, загорланили бесстыжую ножовщину; Калаба злобно хлестнул новую шляпу в пыль, ыхнул, затоптал ее и, ударив в ладоши, пошел со стоячими глазами в присядку...

С балаганных подмосток глядели девки с голыми, обтянутыми трико, ногами и в блестках, подперев подбородки ладонями, хлюпали. Глядел Толька, учителев сын, со слободской горки...

Тогда в араповских залах, где окна были распахнуты, где золотоплечие стеснительно жались к стенам, ожидая генерала, сжимая перчатки в руках,—по клавишам араповская барышня ударила мстительно и бурно, бурей золота, тоски, хотений осыпалось и пало в сад. Вошел стройный, в аксельбантах, улыбающийся ее жених—он уезжал, он был убит через три месяца, наклонился, поцеловал на клавишах жеманничающую руку. В поцелуе, в музыке было согласие знающих друг друга душ...

И барышня выбежала на балкон—это там, цепляясь за частокол, сползая вниз, увидел ее Толька—из белого, пенного часто дышала грудь, пила сад, глаза были закрыты забытьем счастья. Оступясь, упал на землю.

Ночь шла благовестно и страшно...

И ночью Толька вскочил с постели в глухонемую, спутанную снами мглу

и как живые встали глаза, какой-то терзающий стыд, надо было воротить, догнать, но было пусто, беспощадно, глухо...

Раскрывались вокзалы—они были еще пусты и гулки, как церкви; в двери поперли с плачем, визгом, гоготом; на шершавые затоптанные асфальты закапали прекраснейшие слезы; гудками, неведомыми землями тянуло из свежей холодеющей ночи.

* * *

Сквозь бумажные листы—сквозь дебри надуманного—не видать, что под грязными шершавыми армяками—те же белые, теплые склизкие тела. Им больно, когда рванет железом, когда кишки вывалятся на пыль, когда садятся со стекляннеющими закатывающимися глазами на дорогу в чужих степях... Матери издалека приползли бы, бьясь, целуя пыльное это, мокрое мутное место, где нет уж никого... Сквозь дебри надуманного, напластованного, нагроможденного веками в умах, как некий отдельный мир—не видать этого ничего: только бойцы, едоки, дивизии, корпуса, армии —

— секретное дело Главного Штаба. Мобилизационное расписание.

В пространствах, в пространствах пространств маховым ахнуло и замотало невидимым колесом; режет и прет воздуха; крутит воздухами тысячеверстно, бесновато; метет груды человечьи с земли, груды тыщ; сметает их в оравы, в гомон, в лязг чайников, в трусливый скорый топот неисчислимых лаптяных ног; всасывает в свое крутево, несет, кидает по станциям, по заплеванным матерным нарам казарм, в какие-то чужие лютые мороки, прет туда—в тридесятые солдатские края.

Откуда это, какая сила подняла землю?

Не оттуда ли, что на углу Невского горит многоэтажьем? Там светы всю ночь, в простенках и на пространных столах зеленеют гигантские карты—на картах наколота распятая страна; там ползут мыслимые, омикроскопленные в миллионы раз, направляемые там, куда надо, человечьи груды. Это отсюда *Мобилизационное расписание* на всю страну: в высчитанные сроки, в высчитанные пути вытолкнуть лаптяные груды из земли, из-за перевалов, сгрудить в толпы, навалить на поезда, крутить через всю Россию на поездах—в солдатскую землю.

Но в многоэтажном—комнаты и еще комнаты, столы, над столами торопливо и осторожно работающие люди, строгая струнность комнатных гробовых просторов; недоступные кабинеты, около которых шопотом; и в кабинетах—те же, насупленные над упорством карт, офицеры генерального штаба. Больше нет ничего.

И дальше в придуманную недосягаемость, в запутаннейшие недра—в кабинете самого недосягаемого, имя которого—одно—знает Россия: опущенные шторы, электрический диск света в комфортабельном ложе рабочего стола, за ним снеговой овал манишки, лысый европейский череп, на который не смеют дохнуть склоненные почтительно. В кабинете, в несгораемом шкафу оно—*Мобилизационное расписание;* там, крадучись, шарят неосязаемые щупальцы великих держав... замки кажутся роковыми, в убийстве,—это контр-

разведка, подкупленные любовницы, балы посольств... Из комнат сладостей и щемящ путь—на носках, почтительно сжавшись—путь в кабинет: как будто там, в стульях, в шторах, в зелени единственного во всем мире диска—горизонты блаженнейших обещаний, каких-то безумных личных удач,—там верится, как во сне; и самому, сидящему, подчинившему себе все хитрые глубины бумаг, с ними пространства железнодорожных грохотов, толпяных склок, бунтов—всю страну,—ему видятся горизонты туманных еще городов, полуостровов, морей; туда глядит Россия, видится просвет блистающих времен—за гребнем мраков, войн; и сзади—из времен глядит властное, хмурое, чугунное величие—оно приказывает...

И нет как-будто иной страшной силы, нет ничего...

В городе будет ночь. Ночь пролетит золотым песком, тяжелея и мутнея к рассвету. Снеговыми овалами грудей опестрятся залы, душистое тепло пахнет там от женских неуловимых воздушностей и плеч, огни — как золотой виноград; скажут глазами, чего хочет спрятанная темнота души, будут смеяться и лепетать на языке издуманном и ускользающем.

Летит золотой песок ночей...

После чая—в балет; там генералы, там офицеры генерального штаба, там еще родовитые—в дремлющих креслах, в волшебных темнотах партера; балет реет дождем сверканий, на закинутом лице танцовщицы зубы горят, как жизнь, как закутанные где-то золотые сады. В подушках, над дыханием разметавшегося женского рта, в свечах замутнеет ночь...

И за какими-то пустотами—бурьян, звезды, ночь; голосят кликуши; темные древние дедовские погосты спят; лаптяным топотом стучит за перевалами; трусливо бегут, бегут, бегут на дальние терзающие гудки. Между теми и этими—пустота, пустыня; только снящиеся просверкают, как бреды, поезда в пустынях, в ночи. И все-таки от тех—сила, маховым колесом воет в пространствах... или не сила—безумие?..

Еще только начиналось. Бежали поезда от Рассейска—день и ночь. По мобилизационному расписанию—за Вильну, Ивангород—на запад. Ехали те—из ярмарочной ночи, кто в армяках, кто в рубахах, под ними тело молодое, белое, был середняк в самом соку, отуленный, степенный, бородатый. А где-то уже выходили в поля. За Киевом, в равнинах начиналась стоверстная Галицийская битва.

В город пришло:

...начиналась великая битва. Избяные мужики слезли в чужих полях с поездов; однажды вечером началась великая битва—полями бежали мужики с винтовками в руках—на Запад, в заходящее солнце, в кровь, пели: «Спаси, Господи, люди твоя!..». Газетный корреспондент, потрясенный, писал «казалось, земля и небо бежали, бежало все—в смерть, казалось—сами недра пели: «Спаси, Господи, люди твоя!..». На перевалах падали—это первые, садились, зажимая пальцами белые брюха, из которых била кровь, глядели в закат последними, уже нечеловеческими глазами—за ними, через них бежали в закат злобные толпы, не мигая, раскрыв рты, пели: Спаси, Господи, люди твоя!..».

В город пришло вечером—из вечерних газет.

Шла опера «Борис Годунов». Много людей, и среди них тот человек в пиджачке, слушали из партера, как в эскизном лиственном золоте осенних декораций звонили из средневековья жидкие московские колокола, по земле влекся и рыдал—за скрипками—народ, вечный, в болях и ранах. И с Невского ворвались—вместе с перспективами огней, лязгом трамваев, неся в мглах колонны Казанского и крики стеклянных окон о каком-то сражении на Марне; истерикой выкатывались глаза—пели: Спаси, Господи, люди твоя!..

Пел весь театр, пел человек в пиджачке, писавший теперь книгу о России. И для него еще раз подтвердилось, прочувствовалось, что его бумажные листы, написанные, на четвертом этаже, и то темное колыханье—в песнях, в воплях, в дорогах, что называется народом—одно: и то и другое излито из единого, вечного, дремлющего где-то за тайной и великой чертой.

Да, конечно, Мусоргский, Пушкин, оковавшие Неву граниты, растопыренные белокудрые колонны, поток грохочущих городов, наклоненных из московских колоколов в будущность—это прояснения, это овеществленные ритмы того— неоформленного, разгадываемого, утверждающего себя!

И сквозь крики пронзились гимны—они распирали театр своей медленной мощью—они были о том же: оправдывая торжественные кабинеты, бреды книг—над войной, над гибелью вставали восходом всемирных слав...

В человеке напряглось до краев им, темными падями пространств, какими-то вздыбленными огромностями кричало:

...в болях и ранах утвердился!..

Была лихорадочная ночь, как и вчера, с панелей не сходили толпы, прикованные глазами к витринам, шопотом передавали друг другу известия о Галиции, о Львове. Ночь была жуткой оттого, что начиналась еще где-то битва на Марне: как будто невидимо, за тихой и океанной черной ночи загорались окраи самой земли. Бессонной напряженностью светились окна министерств, Главного Штаба.

И еще искрились зеркала Пассажа, за стеклами млели драгоценности, напоминая о тревожных ночах, о шеях целуемых, отданных до утра всем; шопот о полковнике генерального штаба, давно в этих коридорах передавшем мобилизационный план господину в цилиндре; план был сфотографирован на Надеждинской: тогда такая же была ночь, навикающая хмурой, знающей темью из проулков, затаенными фонарями: тогда за драгоценностями приезжала женщина или девушка—в авто, в мглу улыбались тяжелые, зеленоватые ее глаза. виселицей качалась мгла...

Может-быть и не было ничего.

* * *

Полустанок двадцать верст за Рассейском, в ногайских полях. Господ Араповых отвез туда однажды ямщик вечером осенним.

Глазел ямщик на платформе, заткнув кнутовище за пояс, и не узнавал полустанка: вот шли поезда стена за стеной, вот накатывали народищем—

даже рот сам собой развалился от дива. И ахнуло с поездов и тренькнуло гармошкой—это по сердцу тренькнуло—гульбой, солдатчиной непросветной!—и раскатилось жидкой урой—за полустанок, в осенние поля; кричали —

— Ура-а-а-а! Во Льво-о-ове!..

Буфетчик ополоумел, выкатил откуда-то водку в буфет, сторож развешивал флаги, на полустанке пили водку прапорщики и какие-то господа в светлых пуговицах, прапорщики были угрястые, молодые, здоровенные, во всем новеньком, с прозолочью, налились кровью, пили, поили ямщика, кричали:—наши во Львове, ура-а-а!.. Потом выломились на платформу, за ними и ямщик, злой и веселый от водки; ах, рисковые были ребята прапорщики, видно было, что первой пулей расколет таким башки, свалит, закровянит утри!.. и жалко их было, и все в нем, в ямщике, горело насквозь. А прапорщики, налитые кровью—в сад, сверкнули белые шашки—как на смерть, давай полосовать чахлое вокзальное деревье с корнем, давай скрипеть зубами—кого бы еще...

— Ыхх!.. во Льво-ве-е!..

И ямщик не вытерпел—скрипя зубами, бежал к лошадям, пал в тарантас, стегнул по всем трем—так стегнул, что там присело даже... и вот понесло, темь понесла, осенним полем взвихрило—эх! до самого Рассейска скакал, стоя, орал в поля —

— Ва Льво-ви-и-и-и!..

Непонятное было, темное слово,—а вот цапало от него за самое нутро, до пляски... И там—над каменными площадями—далеко—плавило хмурь кабинетов, брызгало охмелевшими огнями из комнат, из витрин—из горизонтов сказочно вставало крышами, куполами обещанных городов, ночи могли стать еще блаженней...

Встречные в осенних потьмах телеги шарахались и жались к жнивью; шли телеги гужом к вокзалу, в них сидели темные, горбясь, свесив ноги в бурьян, лежали ничком бабы, глухо голося. Кого это пронесло? Прохрипели и упали в тьму араповские звери, убивая ямщика,—он кричал, обезумев, в поля. Уж не случилось ли страшное что в далекой той земле, не к худу ли?..

И у росстани, под Рассейском, где караульщик, зайдя под соломенный омет, лег грудью на положок — проухало бурей, бубенцами, стоячий прогикал в тарантасе, махал руками, застя звезды—ва Льво-ви-и! Перекрестился караульщик—и нет никого: хлещет где-то в проулках ветром, звоном, бесом гуляет и хлопочет под окнами. И Рассейск спит, снится ему—обложило чернотой, из нее плач, крики загубленных, навожденье...

И в улицах где-то проскакало мимо Тольки с Калабой—в темных улицах, в пустом покинутом сквере бродили друзья, говорили—о чем говорили?—как-то теплее было вдвоем. День долог и постыл—у одного за прилавком, у другого на службе у податного; вечером или ночами сидит Толька над книгами, на аттестат зрелости,—а то вот так—осилит когда тоска—пойдут плутать по улицам, по собачьим пустырям—и что ему в Калабе?—а вот теплее с ним, в теплю, в спокой какой-то жмется, жмется сырая будто душа. А Рассейск не опомнится еще от ильинской ночи; не поют девки по заречьям—

только ветер свистит в ветлах, в заречьи, гармоньи порой там взыграют—нехорошо, тоскливо, матерно. И Калабе некуда кроме—жмется к Толькиному теплу; когда спросит:

— Друг ты мне?

— Друг.

— Можбыть, сичас друг, а вот ученье пройдешь, к благородным пристанешь... С господами зачнешь гулять.

— Ну их к чорту!—Толька махал рукой, как на плевое.

Такой вот ночью проскачет гиком с поля, рванет разгулом, гибелью—и канет: обступит опять ночная всемирная глухота. Обманная это глухота: где-то за ней валится и шатается тысячегорлый крик, шатаются огромные земли—идут там страшные и сверкающие времена...

Не оттуда ль донесется?..

Тесные, убогие стояли улицы, низко придавленные ночью. Ветры обдували каланчу над мутным базарным изволоком, от колоколов церковных сам собой шел тихий звон—из времен дальних. В эту ночь, в эту тоску—молодости караулить у крыльца, целовать теплые, вырвавшиеся тайком на минуту, торопливые губы—упасть в ветры, забыть!.. — но не было никого, плутали двое сквозь уездную ночную нежить, толкались друг о друга. За араповским садом мутно и осанисто плыли белые колонны, в колоннах пустой дом; чудились дворцы, ее вальсирующие ноги... нехорошо свистел ветер в заречных ветлах.

— Нестройно у меня на душе что-то...—говорил Толька,—выпить что-ль...

— Айда выпить,—соглашался Калаба.

Шли в слободу, к ногайскому валу, стучали в окно хибарки; в хибарке, при мутном светце, шопотом разговаривая, пили брагу. Черные были в сумраке, в избяном хлебном духе, бревенчатые задымленные стены, из пакли выползало тараканье, шуршало по лавкам, по лубочным образам—и качались и занывали и запевали зыбкие, сладкие стены. И вот—гиком извил ошалевший ямщик, гоня с полустанка, из бескрайних, праздничных, озаренных земель; она вставала из пенного, вся в забытьи, распахнутые комнаты гремели за ней; и вот—глянет безголосое лицо, мимо глянет замученными глазами, и жидким огнем потечет на сердце—и огромная какими-то ветрами, призывами топит, расхлестывается, мчит в себя жизнь!

Застонать бы...

— Нестройно, ч-чорт, у меня на душе что-то...

Калаба облокачивался против него—угластый, истуканный, глаза ворочались в черных подлобинах, бес тоскливый там тошно метался.

— Друг ты мне? Ску-ушно... Все равно—угонют... Айда на вал песни петь!

Какие там на валу песни—за самым валом, в низах темь бездонная, черная, как омут; в темном ходят на свободе, ухают ветры до неба, воет из омута покойничья жуть...

На горбине наверху вставали, пошатываясь, дышали в темь.

Калаба мямлил развислыми толстыми губами:

— А вот, говорят, мертвецы ночью выходят, Натолий. По-моему, это одна хреновина! Чего же они нам не кажутся?

Издеваясь, горланил в темь:

— Эй, вы-ы!.. Кажись!..

И вдруг в бешенстве рвал камень из земли, швырял его под кручу, топал ногами, выл:

— Эй, вы-ы-ы, ва-шу!.. Кажи-ись!..

И на Тольку тоже перекидывалось—слепое, жмыгающее зубами, так вот б-бы... стервенея, заплясывал на валу, слезы текли от злобы и озорства, визжал, визжал —

— Вы-хо-ди-и-и-и!.. Вы-хо-ди-и-и-и!..

Пляской гудело, вывизгивало весело над ними:

...э-э-э-и-и!..

Ночь была под Рассейском.

Ветром бесновалось в поле, крутило; шли и шли где-то телеги, стуча по мерзлому, нет-нет да занесет бабьим воем на ногайский вал, нет-нет да свистнет ямщик, пролетая—и-и-ихх! Ва Львови-и-и-и!!!

...учуяв, просыпались, вылезали из-под земли суворовские, николаевские; выпучив глаза, слушали—было им все это родное—что тысячами гнало из деревень, что опять шли удалые служивые на чужую землю. За этими вылезали еще, встающими полнились поля; вставали с Шипки, с ледяных гор, с горючих туркестанских песков; еще вставали мраки.

В ночи надевали мундиры, натягивали царские медали на костлявые сухие груди. Бегал, стуча им по грудям, равняя, старый заслуженный унтер, шопотом кричал впалыми губами; горели на ветру белые клочья бакенбард. В ночи с воем колыхнулись, побежали в полях—суворовские, александровские, бежали тени тыщ, бежали мраки. Или это ветры мутились в ночи под Рассейском, за ногайским валом?

* * *

Перроны, горизонты рельсов, как окна в зовущие безбрежные миры— это там когда-то станционные барышни гуляли на закате; за водокачкой стеклянно розовела, вечерела перепелиная степь—в перроны падал скорый Севастополь—Москва; в вечере, сияя зеркалами международных, стоял три минуты над станицей—над бакалейщиками, чиновным людом, ждущим вечернего, над ходоками и богомолками, лежащими в чумазых зипунах и лаптях под вокзальным забором—стоял цветущим миндалем, волной туманных гурзуфских сумерек—мимо перронов, полей бежала тень чужого, горько волнующего счастья;

теперь закрутило, завалило все серой солдатней, на Тулы, на Ряжски, на узловые поперло скопищами, волостями кислого избяного духа, базаров, гармонной разлушной тоски; в помещениях уже было негде—расстелилось вповалку по перронам и за перроны—по садикам, площадкам, по земле—до незнаемых там каких-то концов; смрадно спали ничком, уткнувшись в чужие сапоги, тут же ели, пили чай из жестяных чайников, ждали на Брест, на Смо-

ленск; с воли ломились еще, с мешками на горбах, с матерщиной злобно косолапили в давку, прямо по головам; воинские ползли без останову, пронося чадные внутренние печи теплушек, свисающие с нар бедра лежащих, множества мутных, оторопелых, увозимых глаз—гудки кричали день и ночь.

И те невидимые, мыслимые где-то наверху, день и ночь вели тысячу поездов через вокзалы. Чтобы держать покорным и беспамятным многомиллионное человечье море, выхлынувшее из земляных утроб, чтобы вливать его в нужные русла,—тысячи, миллионы мыслимых нитей протянулись от них в пустоты; и море покорно и беспамятно ползло на запад, как хотели.

Не спуская с него глаз—днем и ночью—дежуря и бодрствуя у карт, у проводов, у письменных столов, работали, напрягали в пространство мыслимую свою волю министерства, думы, союзы, штабы, ставка, императорский поезд,—море шло в крепкой узде—в путанице пересекающихся, ветвящихся друг из друга мыслимых влияний; через провода, через фельд'егерей с секретными пакетами изливалась непререкаемая, знающая за собой века повиновений воля,—море шло на запад тьмами толп, над мутью голов, свалок, трупных напластований реяли заповедные земли и воды, еще в туманах... из толп было видно на западе тьму, черную в полночах смерть солдатскую землю.

И тот—с четвертого этажа—все думал, что через последнюю крестную муку, через очищение, несут миру свою неслыханную правду; с бумажных страниц мертвые, великие вставали в своих оживающих ночах, страницы бредили о грядущих царствах,—качался, стискивая голову руками...

А из Рассейска везли на запад, в Восточную Пруссию запасных, везли Эрзю. Запасные назывались 2-я армия. Эшелоны шли в Восточную Пруссию день и ночь.

И вот где-то там оборвались колеи, доехали, стали поезда; доехали запасные, Эрзя. Дальше пошли, наверно, пешком; писали оттуда, что ночевали в чужих избах и дворах, что народ кругом был крестьянский, но говорил чудно—когда поймешь, когда нет. Трудно было привыкать особенно мордве: хлеба она не сеет, дровоколы, люди лесные, знает мордва по Рассейскам только пилу-певун, топор-колун. Профессор тактики читал в Академии Генерального Штаба: «в мировой войне оружие машинное. Тяжелая артиллерия, авиация, бронесилы изменили условия боя. Особенность боевого порядка—1 человек на 1—5 шагов, глубина на разрыв шрапнели». Они этого не знали. За Рассейском вот—запавшие в душу казенные леса; раньше были эти леса муромские; осина, береза, орех; молятся в лесах не то Христу, не то богу Кереметю; родники в лиственной земле, словно рай. Глубина на разрыв шрапнели—это для того, чтобы не разорвало белое Эрзино тело. А было оно белое, теплое, болело от тоски и дорог...

И кому-то дали там вести людей по страшной земле, где нужно ползти, прятать за землю голову, чтоб не убили, Эрзю водили по полям, он шел; вел кто-то великий, темный и верный, как Христос, как Кеметь. И вот—это вдруг: нарвались—и в прорву, в крошево два корпуса —

это с теми, которых повезли на Ильин день из Рассейска, оплаканных, в

обцелованных, исслюненных сапогах; это со 2-й армией ген. Самсонова; это под Сольдау в 1914 году.

Так:

— Гинденбург принял командование над 8-й германской армией против 1-й и 2-й русских; Гинденбург, оставив ландверные части и кавалерию против 1-й, обрушился всеми главными силами на русскую 2-ю армию. 2-я армия *была уничтожена.*

Так было в секретном донесении по телеграфу.

Гинденбург применил банальный стратегический (наполеоновский) прием: этого не предвидели. Были случайности дурной связи между корпусами. Говорили, что еще нехороши были здесь глаза женщины, тяжелые и зеленые, той, что ночью приезжала в Пассаж...

Но вторая армия—она долго собиралась по мобилизационному расписанию, в Ильин день пришла из полей к вокзалам с котомками, чайниками, бабами; бабы выли, как полагается, мужики не смотрели на них и окрякивались, поодаль стояла безволосая унылая мордва; ехали через вокзалы, через города, в солдатском краю прели по избам, кипятили чай, пища им была горячая, сытная—вторая армия была уничтожена, мир был уничтожен.

И Эрзя разорванный, глухой лежал где-то в земле; лежали доехавшие. Но еще—через редакции, через шопоты улиц дошли до самых этажей, в комнаты налегли грудой, с упертыми, подломившимися под себя руками—будто вырваться, бежать. И тот, на этаже, глядел сквозь черное стекло окна, дрожа: через мостовые, в низах, хлестала опять безумная гиблая стихия, не медный—чугунный плыл всадник, пьяно откинув лавровую голову, веселясь... Пассажи горели; грузовики грохали, как по чугуну, они были полны, с них сваливалось; чугунной грудью преклонилось в высотах—идол был темен, всемирен, как ночь, был до самой Марны: все эти бумажные страницы, карты, приказания уверенных могли оказаться пустым игралищем, тенью. Человек потушил лампу, в темноте, задыхаясь, плакал, бесстыдно молился, хотел быть, как народ...

* * *

Ядрен ветер осенью; тулливы и взманчивы просторы; леса голы и бедны, сквозь них светится—какая большая, синяя в глубину Русь! Когда луна—вечерами—в тихую уличную всенощную слякоть—когда в темные горницы из необитаемых, выморочных полей—из ветра, из волчьего воя—луна; в это время звонят вечерни, в это время лампады в горницах говорят о тихом тепле, об уюте: а, ведь, вон там, без меня, в полях летит хмелевое, крик мой не крикнутый, летит мое, мое непойманное счастье!—темны, волшебны, темны там рубежи; гармоньи поют—заливом, хмельно кричат в ветер; валятся в ветер по двое, по трое в обнимку, крестя лаковыми сапогами, гармонья рвет—ых-хх!.. Свое, последнее гуляет молодняк.

Гуляют и Толька с Калабой. Внизу, у ногайского вала, в слободах, варят брагу; пьют брагу с табаком, с разным корнем, чтоб очуметь. За полночь подтананакивают краковяки из горниц, хряскают половицы; ловят в сенях по-

друг, потных, в розовых платьях, с браслетками на красных исстиранных руках, бегут за ними в потемки, к плетням; ветер, луна; целовать бьющуюс переломленную через плетень в горячем розовом платье,—а краковяки зве нят из горниц, луна полна и бездонна, как жизнь, за плетнями времена темные неузнанные—манят, мутят горячую кровь.

Будет еще гульба.

Это не та ли ночь дальняя в крови, как зелье —

...море кипит в тьме под Одессой зелеными снегами, с моря—чужой грозной эскадрой, нахмуренным подземельем через бульвары, мол. По Николаев бьют шестидюймовыми с лимана; в завокзальи над лиманом вдрызг щеплетс каменная скорлупа кварталов, в брешах дымится степь; на площадях в Николаеве как-будто еще висельные тени на деревянных глаголях, как-будто ещ ночь германской комендантуры над Бугом. По балкам в херсонщине сползне пылит греческая, французская пехота; из двухстволок, из берданок, из маузеров бьет по ней из-за курганов городская и степная рвань,—там щелкает морды уверенным, чугуннощагим из-за ресторанных туй в Херсоне, из-з ренессансов воздушно-белого жилья,—там бежит, кроется в камыши за Днеп полночами горят камыши. Со взлобья, от управы, хлещет вдоль Говардовско европейскими пулеметами, шрапнелью,—цепями греческая, французская пехота сползает пристань, расстреливает тут же в сараях, наваливая у стенк кучей тряпья.

Гайдамачина рыщет по вокзалам...

В Екатеринославе: над Днепром, над осенним Потемкинским парком во дворце зажжены все люстры, в екатерининских залах величавы напудреные белые воздуха, уездные гербы из колонных простенков смотрят темен былых походов, славных дворянских ран. Там шумно и людно; вот музык загремит с хор; светлейший, по обычаю, поведет императрицу в польском, ними—цветной строй голых плеч, париков, бриллиантов... В залах партиза щина танцует ту-степ под трехрядную гармонью; в залах—туда глядит Толь сверху, с темных хор—кружит с веселым головорезным отстукиваньем сер шинелью, кургузыми германскими мундирами, ватными пиджаками—губы грязны от степи, глаза наглы, ножовщиной мутятся из-под упавшей косм Маруськи топают в одних шерстяных чулках, пьянеют от круженья, сверк белыми зубами;

гик, волчья ночь во дворце.

Там нежная подходит в темноте, ложится у колен, кудрями гладит протнутые недвижные руки. Охватила бы, прижала к груди, стиснув зубы —

...милый, над Днепром ветер, ночь черная, за Днепром смерть, полюб милый...

ей надо: в эту ночь в комнате—одним; в глухой от жизни комнате, в тске, в беспамятстве любить, тонуть глазами в глаза забвенно, беззаветно. Только жаль чего-то, полузабытого, никнущего без ответа, гармонья щемит-будто это той женщине, черным кудрям ее—за Днепром смерть. Но глаза м гают холодно и ясно: так лошади глядят, переступая по мягкому настилу

темных дворцовых горницах, шумно хропая жвачку—прислушиваясь, видят сквозь стены, чуют разбойную темь...

В неурочный час гудит в аппартаментах полевой телефон: из партизанского штаба кричат тревогу, всем отрядам сбор. Калаба грузно ломит по винтовой лестнице на хоры, не глядя на женщину докладывает; в зале люстры, оплывая слезами, горят, ходуном ходит, топает ту-степ, за окном рвет воет кустами ветер...

И боцманский свисток сыплется визгом в зал—сбор; и уже бегут по лестницам, крутятся у каменных заборов во дворе, у парка, падают на лошадей; пусты под люстрами светлейшие залы, уже в темных кварталах стреляет конский скок —

на Дворянской, на горе, где над обрывом в Днепр каменные жилья, как форты—там сядет потом в колючую огородь, в зарешеченные окна че-ка—где в окнах фортов тусклый керосин тревогой из-под слепнущих век—мятутся конные, строясь в зыблющиеся шеренги, путаются толчеей пик, конских грив, шапок, клочьев ночи. Вдруг гаснет ругань, матерщина—перед напором какого-то рева, для которого захлебом набирается воздух в грудь, лошади хрипят, шапки, гривы скашивает вправо—оттуда

скачет впереди других—под тусклый свет фортов—начальничья грудь накрест ремнями, скуласт, гололиц, в изнуренных западинах очи навыкат, стоячие, с плеч грива в ветер, в ночь...

— Здорово, хлопцы!..

— О-о-о!..—ревет тьмой, кони пляшут, рвутся рыскать в степь, ночь стоит—такая: убив, крутя над головой нагайку, с гиком пасть в степь...

Сзывает отрядных командиров, совещаются, подплясывая, на дороге. С Константинограда ползут на екатеринославщину гайдамачики, гетманцы, буржуи. Товарищу Анатолию через Днепровский мост, через Павлоград встретить их в константиноградских лесах.

С моря и от Харькова и с киевщины ползет черная рать задушить Украину. На херсонщине, на полтавщине, по всем шляхам встает селянское войско, ждет хлопцев из степи. И Толька, белесый—рвет рукой темь, кричит: за Харьковом, по всей Расеее наша власть, уже армии готовятся на Украину, продержаться месяц-два... Конные ревут, машут шапками, космы лезут им на глаза—за Днепром ночь, темь, темные земли Рассеи, в землях раздольная воля, Совецкая власть...

И в темные земли свергаются лавой через город, через Проспект, кроют копытным грохотом по пустым трамвайным бульварам—вдоль замурованных оробелых этажей—годы назад горели кафе, кипели праздные в огнях вечера бульваров, кондитерские, футуристические концерты, рестораны-крыши, с которых—в теплую ночь—в цветные пароходные огоньки Днепра, в короленковскую, гоголевскую хохлацкую Русь, откуда качающимися поездами на Кисловодск, на Вену... нет, запорожье, гик, ночь половецкая...

. . . .

* * *

...И оттуляя молодняк по Рассейску. Увезли.

Глухой осенью где-то в чужом большом городе уходили за предместья, в поле, утоптанное и исстрелянное, бегали, припадали на землю, учились, как ловчее шарнуть. В улицах примерзла кочкастая грязь, соломой насорено по дорогам; предместьями часто тянутся телеги к вокзалам—мимо фабричных дымов, мимо разного каменного жилья, с узкими тухлыми окошечками, телеги везут пропитых, обвшивленных, мутных уж... промерзлые дороги терзал казенными сапогами молодняк, били в землю остервенело сразу сто ног, словно желая изодрать ее в клочья, бил ногой Толька, — а не все ли теперь было равно? Глаза у всех бравые, выпученные, хмельные, из глоток, как из железных труб -с присвистом, с пляской —

Грудью Маша заболела, сама чуть жива.
Грудью Маша заболела, сама чуть жива,
И-й-и-ихх!..
Сама чуть жива!
Фьюи-и-и!..
Сама чуть жива!

Жили на постое в бывшей пекарне, в подвальном этаже. К зиме намело снегу, занесло окна до самого верху. Солдатье возвращалось затемно, до угара натапливало печь; наломавшись за день, изжегшись холодом, исходило потом на горячих кирпичах, наваливалось там друг на друга, ржало. Слезал кто-нибудь на верстак, брал балалайку; брякался тогда с печи на казенные сапоги вислозадый, коряжистый Калаба, просил:

Эх, сыграй, друт, «Субботу»!..

А когда играли, тошно становилось Калабе, не знал, куда деться: хватался за наваленные для топки пятипудовые кобли, пыхтя раскидывал их по углам, чорт знает зачем, чугунная нога сама притопывала, глаза тоскливо, просительно смотрели на ребят, ребята—на него, — и скрежетало где-то у всех в нутре, просилось... Томясь, что бы еще сделать, вытаскивал из сумки солдатскую палатку, завертывался в нее, палатка изображала не то саван, не то мантию, стоял, выкатив грудь, свирепый, чинный, как царь.

- Гляди! Сичас будет, как энта балерина в Народном разделывала. Играй песню!

Ребята садились в круг, закатывались навзрыд —

По всей Рассее-матушке один лишь разговор —
Бяда, бяда, ребятушки, никак опять набор...

Ах, дрынькало «Субботой»!..

И гнуло Калабу к полу, вело судорогой, глаза снизу упирались в ребят—пустые, насквозь сатинетовые — шарахался от невидимого врага, увертывался, наседал на него, душил, чернея от злобы. Палатка порхала, как облако, ребята били в ладоши, ржали, как камнями грохали —

— вот так карежит! Кррой!

А у самих руки—ноги, отботанные за день, как поленья, сапоги заскорузлые—железо: не дощупаешься, где и человек. Тошно от дымной печки, от

…аваленных ночью, дохлых окон—самим бы вот так закорежиться, схватить кобли да стебать направо и налево, в щепы все, к..., эх, жисть!

..беда, беда, ребятушки...

Поле исстрелянное, лютое, грызет железными зубьями по морозу пулемет, точит на кого-то зубья—лютый, полоумный. А то выкатят на двух колесах ее, с разинутым зевом, вытянет в стихшие снежища морду—ахнет, как гам... летит, воет, вертится лихо в пустом морозном дне, в крови—и нет, не будет больше ничего: морозный, режущий день, поле, еще день, еще поле еще...

...подвалы, сторожки, кухни, казармы—набито вповалку, как дров, нету ни рода, ни племени, ни имени, нет—гони в пустое, лютое, морозное поле, в пропащие края — все равно: нелюди. Гудпуло оттуда гудками, слышится Гольке—гудит где-то над темью, над землями, летящими без дна. Метель за окнами разбежалась, закатилась плачем, хляснулась с горя волосами об землю. Вот треснет в дверь, распахнет—в темь туда, в гудки, в метель ножевую:

Третьей роты здеся?

Здеся.

Забирай барахло. Батальонный сбор велел.

А чего?

Тилиграм пришла. Состав подают.

Увяжут сумки, зашагают через сугробные валы, согнувшись; пометут шинели по сугробам, шинелями вяжет по ногам, путает. Верховые оцепят плац, из ночи будут подходить еще—из пекарен, из казарм, из тараканьих кухонь—будто чужие все, новые в ночи, час станет безвестный, смертный—лишь ночь, и вьется, вьется в ней ранящее, нежное, сумасшедшее сверканье. И толпой двинут—поведут, верховой впереди—мутный, залегший грудью на гриву; кого повели, никто не знает, имени у них нет.

...беда, беда, ребятушки...

Заваливались головами на горячие кирпичи—в сон штоломный, одеревенелый—рты настежь, с храпом, глаза—неотрывно внутрь, в свое... внизу неуемные, крутя руками, топали навстречу Калабе, над бедой дрынькало, по полю пустому, лютому, ходенем ходило:

— Кррой!..

(Окончание следует).

Плюшевая головка.

Рассказ.

А. Сигорский.

1.

Три девицы под окном—как в сказке. И рассказывают друг другу, пряча зевки в шитье и кося глазами на хозяйку, Акулину Ивановну:

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
Говорит одна девица...

Дунька заметила сдвинутые брови хозяйкины—как два змееныша—и говорит (для отвода глаз):

— Сидят ровно фефёлы—пш, пш, пш. Спели бы, чай!..

И—зевок в петельку, которую метала.

Таня—ух, девка ядовитая!—огрызнулась:

— Пой, на ночь глядя! Петух, что ли?..

Акулина Ивановна—губы сердечком, змееныши под прическу полезли—вынимает из-под кофточкиной оборочки золотые часы с эмалевыми фиалками на крышке:

— Десятый час... откуда у вас петухи-то запели?

А петух на дворе—девоньки слышали—уже пел.

Зевок, другой, третий, по очереди. Акулина Ивановна:

— Зеваки! Иглой подавитесь!..

Девоньки давятся со смеху. Смешно же: иглой подавиться! Посмеяться бы вдоволь, чтобы дрему разогнать. Эх, уж так бы засмеяться!

— Ой, паршивая! Иголку уронила...

Лезет Таня под стол. Хитрая девка: знают девоньки—три девицы под окном—зачем иголки под стол бросают, когда на дворе петухи поют, Таня—под стол и пропала. Иголка—на столе в обметанной петельке, а Таня под столом—на мягких лоскутках—храп-храп, носом: «Стонет сизый голубочек!».

— Где у вас Татьяна-то? Куда провалилась?

Это Акулина Ивановна.

— Иглу уронила...

И прыжком Дунька под стол, шипит:

— Танька, фефёла! Спит, как по воскресенье!

Толк-толк в бок.

Таня шершавой головкой—под первый номер—горбится из-под стола, в глазах песок насыпан. Говорит с хрипотой:

— Насилу нашла... Пальцы уколола...

Акулина Ивановна знает этакие проделки. Она покажет!

Три девицы под окном—в сказке лучше было—горбятся и без устали играют наперстками.

Дунька, Таня и Анюта.

Анюта—тихая. Волосы точно маслом припомажены, сама как свечка тает, голос—«подай, Господи!». Засмеются девоньки—она только: кхи, кхи,— ох, мне!»—и замолчала. Немочь бледная. Так Танька—толстомордая, стриженая—ругается. И во сне Анюта такая же: Дунька с Таней—только бы до постели добраться,—храп-храп, всех тараканов распугали. Анюта—спит, не шелохнется—упокой, Господи!—носом легонько: ффи-кха, ффи-кха. Монашенки—и те здоровее храпят.

— Кончили платье?

— Кончили, Акулина Иванна...

— А накидушку примеривали?

Забыли. Эх, фефёлы! Шипом:

— Где накидка? Танька, чорт толстомордый, ты на ней сидишь!..

Тоже шипом:

— Где сижу?!..

Разыскали. Примерили. Слава те, Господи, хоть бы спать разрешила. Танька опять пропала—за иголкой.

Разрешила:

— Будет. Поработали, девочки. Собирайтесь-ка спать...

Часы—из-под оборочки.

— Пора...

Как не пора: петухи охрипли, за занавесками бело.

— Анька! Ты мне на сон грядущий...

Молитвенник на этажерке. Анюта—за Акулиной Ивановной в комнатку.

Дунька под косой почесала, на бок—тут же на столе. Из-под зевка:

— Танька, заверни огонь!..

Таня на пост—хозяйский часовой—на сундук, у двери.

Из комнаты хозяйкиной—пш, пш, пш. Лампадный Анютин голосок.

Другой—сердитый, сонный:

— Завтра меня к утрени разбудите... Не продрыхните!..

Не слышали. Спят.

2.

Утром первая проснулась смуглая Дунька. Проспала? Как узнать: солнышко уперлось с улицы в занавески, за окном тарахтят колеса. Лето.

Растолкала Анюту:

— Вставай, вставай! Начинай реветь, монашенка...

И Анюта—на краю постели, пряча под рубашку ноги—начала заучьным плакать, мигая-мигая остановившимися глазами. Который день плакала? Так—каждое утро: мочила щеки, а потом—бледненькая—шла в хозяйкину комнатку читать утреннюю молитву.

— От сна восстав...

Акулина Ивановна—с напудреным лицом, босая и в папильотках—била поклоны и покрикивала на Анюту:

— Опять в окно смотришь, паршивка! За молитвой приказчиков выглядываешь? Рано еще, матушка моя!..

— К тебе прибегаю...—лампадным голоском, всхлипывая не пролитыми слезами, говорила Анюта и вспоминала:—Господи, прости!—как прибегала в обеденный перерыв к магазинному окну, чтобы взглядом приласкать усатенького Митеньку, хозяйкиного ухажора.

Била поклоны Акулина Ивановна истово и сухонькими пальцами быстренько расплетала папильотки. Кончила Анюта,—кончила Акулина Ивановна.

— С добрым утром, Акулин Иванна!

Молчит, головой мотнула—вся голова в висюльках. Медуза-Горгона

И день начался.

Дунька со щеткой, Дунька с тряпкой—туда, сюда. Метет, пылит. Тряпкой по комоду—раз-раз.

— Танька, бугриха, вставай—Кулин Иванна сейчас выйдет!..

Тряпкой по диванчику в приемной—раз-раз.

За дрожащими оконными стеклами (автомобиль проехал)—топоты и смех.

Приказчики идут!

Дунька—щетку в сторону, сама к окну. По дороге—косу в пятерню перевязала пестреньким лоскуточком.

— Танька, дура, приказчиков проспала!

Таня—голые ноги из-под одеяла,—а в дверях хозяйка.

— Это что такое? Ах вы, мерзавки неблагодарные! Хозяйка раньше вас встала, умылась, Богу помолилась... А они, паршивки нечесаные, только глаза продирают!..

Раз, раз—Таню по щекам. Раз—Дуньку за косу. Помотала, ногой пихнула.

— Чаю не получите!..

Анюта в стороне с сухими глазами.

И день начался.

На полу играют золотые зайчики, а от них к окну—золотая лесенка. На зайчиков глядеть нельзя: глаза режет. Таня—круглоголовая, скулы салазками—глаз разнять не может, спят. Во сне видела пельмени и Мишу. Пельменей не успела поесть (Дунька, дура, разбудила), а Миша ушел, не попрощавшись. Во сне,—а обидно так, как на яву. Иголка поссорилась с наперстком и колется, окаянная!

Работают девоньки—Таня, Анюта и Дунька. Иголки, наперстки, петельки, прошивочки, оборочки. В голове у каждой—мыслей, точно пуговок, целая куча—и все разные. Одна пуговка, другая пуговка. Отвяжитесь вы, проклятые! Пуговки, прошивочки, крючечки, кнопочки.

Три головки и три сердца, а в каждом сердце загнанный зайченок.

Акулина Ивановна перед зеркалом: висюльки под гребешок, на щеках пудра, на носу—пудра. Губы сердечком, мысиком. В глазах—томность и кокетливость.

К утрени забыла. Не успела.

Что-то очень волнуется. Дунька—острым зубом с сердцем откусила нитку от шитья, стрельнула глазами в сторону:

— Расчесалась! Знает, Митенька скоро придет...

Митенька, Дмитрий Яковлевич, ухажор хозяйкин,—такой с виду шарманенький, волосы бобриком, усы щеточками (к зеркалу подойдет, длинным ноготком усики потрогает, язычком в одну сторону до усиков, и—в другую: все в порядке),—а душа бархатная.

— Девоньки, сироточки!..

Так говорит—без Акулины Ивановны, а при ней молчит и насмешливо глазами играет.

Таня думает: Митенька хозяйкин—не по мне,—у меня Миша (приказчик, зеленый жук в галстуке). Ласковый. За него—всю жизнь.

Миша умеет ухаживать. Говорит—и слова такие гладенькие, припомаженные, точно ленточки, бусинки. Плетет кружева, плетет, маленьким аршином шелк отмеривает, шелковым одеяльцем Танино сердце укутывает. Тепло. Не то рассмеяться, не то реву дать—от жалости какой-то. А ни разу не поцеловал. «Боится»—это Таня думает. Стриженая, бутриха.

Миша в прошлое воскресенье встретил Таню с Дунькой на Звездинке «Здрассте!..» Руку кренделем—Тане. И гуляли по жиденькому садику, и боялись—обе—глядеть на рваные ботинки. Срам—с кавалером-то! Миша ухаживал: словами, как пуговками перламутровыми, перекидывался. Танин локоть жал и при разговорах—немножко пьяненький—дышал в Танину щеку, горячую, смущенную. Когда прощался:

— Что вам принести, Танечка? Чего пожелаете из магазина принесу... на выбор...

И к Дуньке—из вежливости:

— И вам тоже!.. чем интересуетесь?

Таня язык от волнения прикусила и вспомнила (ничего больше не вспомнила!): в окне магазина мячик видела—большой, половинка красная, половинка синяя. Знала, что не купит, а поиграть—хоть бы минутку поиграть!

— Чего же вам, Танечка, принести велите?

Таня слюну проглотила, глаза—в землю:

— Мячик... красный с синим...

Миша рассмеялся—бусы по прилавку рассыпал:

— Мя-ачик?! Принесу, поиграете!..

Дунька Таню в бок—толк. Дура!

— А мне—ленту в косу... Знаете какую—брюнетка я!

На том и порешили. Миша, на углу прощаясь, ручку жал и глазами поигрывал. Приглашал вечером гулять.

Дунька, идучи, ругалась:

— Фефёла! Мя-чик!.. Свистульку бы еще попросила! У кавалера ты проси ленту, да духов, да шеколаду... Он тебя засмеет теперь с твоим мячиком. Няньку тебе, а не кавалера надо!..

Таня—хоть плакать, а душой радуется: принесет мячик. Миша принесет, усатенький.

Миша на неделе принес. И мячик, и ленту, и еще, прощаясь, сунул Тане в руку сверточек, шепнул:

— Это вам, Танечка... единственной...

В сверточке—шеколадка. Таня с'ела ее ночью, ложась спать, укутавшись с головой в шубу. На сундуке. А мячик—дороже. Что лента? Прятала мячик в карман и часто—сквозь платье—щупала: тут ли? Играть некогда: Акулина Ивановна покажет, как играть. Еще отнимет! Таня играла в сортирчике: пойдет, зачем надо, сядет и мячиком вверх—хлоп, хлоп. И хорошо на душе.

Вернется—как и без мячика: стриженая, бугриха.

Дунька завернула ленту в бумажку и прятала ее в чулок. Анюте ничего не сказала. Боялась: разболтает.

3.

Вечером, как ждали, пришел Дмитрий Яковлевич, усики щеточками.

— Здравствуйте, девоньки!

Точно приласкал. А Акулина Ивановна копытцами—в новые ботинки (замшевые) зашнуровалась—тук-тук-тук по комнатам, сияет.

— Анька, ставь самовар! Танька, сбегай-ка в лавку (громко)! Да не спи, быстрее, толстая (шипит)!

Тук-тук-тук—замшевыми. В комнатку—там Митенька, Дмитрий Яковлевич,—дверь на крючек.

Вот тут и не повезло Тане.

Сначала—карман разорвала. Обрадовалась, что хозяйке не до нее (в комнатке шу-шу-шу), в мячик решила поиграть. А хозяйка и метнись из комнатки: подстаканник Митенькин забыли подать—черти, фефёлы! Таня в испуге мячик в карман,—да и разорвала. Так между колен его и держала, пока Акулина Ивановна в горке ложками позванивала, торопилась.

Потом—хуже. Пыхтела над машиной, ворот у заказчиковой рубашки строчила. Мячик из колен и выпихнись, и покатился под машинное колесо. Акулина Ивановна с подстаканником идет, на ходу прошипела:

— Ровнее строчи!

Ахнула Таня, да палец машинной иглой и пришила. Ахнула еще — и слова больше не выговорит. Палец насквозь иглой проткнут. Заголосила что есть мочи:

— Мамынька! Палец...

Акулина Ивановна с подстаканником хищной птицей метнулась к машине.

— Чего орешь?! Ах, паршивая, рубашку испачкала!.. Как тебя чорт копнул?

Таня плакала—ох, плакала. Вертелась на сундуке, криком кричала: палец горит и кто-то точно рвет его на части. Обмотала тряпочками, лоскуточками, Богородицу несчетное число раз читала, всех Богородиц—каких знала—в слезах вспомнила,—а все не помогает.

— Господи, сорок мучеников, Александра Невский, благородный воитель, Матушка заступница Оранская Божия Матерь, маменька родная!.. Ой, что же это такое?!.

Анюта плакала рядом и успокаивала Таню, грязными руками—самовар ставила, с углями возилась—размазывая Танины мокрые щеки. Дунька ожесточенно иголкой в шитье—ковырк-ковырк:

— Изверги! Статуи! Креста на вас нет! Грабители! Мошенники! Сволочи!

Так долго ругалась, блестя—злая—глазами.

Долго прошло—вышел Митенька. Покачал головой, погладил Танины стриженые волосы:

— Ах ты, бедная!.. А ты не плачь, плюшевая головка. Помочи-ка палец-то холодной водой...

И опять погладил.

Такой ласковый. Никто в мире не жалел, а он взял да и погладил. Господи! Таня заплакала опять—потише, а потом и перестала. Села—чумазая (Анютины руки измазали)—на свой сундук, гладит больной палец.

А потом, шепотком:

— Митенька, родной, хороший, защити тебя Богородица от всяких напастей за доброе сердце...

Совсем перестала плакать.

До полночи потом шили, молча. И спать не хотелось. О чем думали? Кто знает? В заячьем сердце думы маленькие, пуганные, спрячутся—не найдешь их. Не поймешь. Молчали и шили. Машину—без иголки—не трогали.

Запоздно (петухов прослушали) в комнатке хозяйкиной затопотили. Акулина Ивановна—змееныши над глазами в стороны расползлись, опухлая—позвала:

— Мастерицы! Подогрейте-ка кто-нибудь самовар!

Таня рванулась от шитья—я! Хотела на Митеньку посмотреть. Затрезвонила в кухне самоваром.

От шитья все бегала в кухню: не ушел бы самовар. Забурлил,—сдула пепел с самовара, понесла, подбирая живот, в хозяйкину комнату. На Митеньку глазом стрельнула—сидит шершавенький, а по глазам—ласковый. Улыбнулся под усиками.

— Как палец-то, головка плюшевая?

Таня молчит от радости.

— Посиди-ка с нами, девонька.

Таня—глазом на Акулину Ивановну. Не злая, губы сердечком, близ- женная.

— Посиди...

Как сесть? Куда руки девать? Комнатка тесна стала. И села. У печки. С правого бока—хозяйка, с левого—на диванчике—Митенька, Дмитрий Яковлевич. И посидеть, и бежать без оглядки. Пресвятая Богородица...

Уселела. Они разговаривают, а она сидит, башмаки под стол прячет. И тут случилось.

Акулина Ивановна—под глазами тень неловко как-то повернулась в своем плюшевом креслице, а вышло нехорошо. Таня фыркнула и лицом в ладони нырнула. Срам-то, срам-то! Акулина Ивановна, позеленев, подскочила (плюшевое креслицо в сторону прыгнуло):

— Ах ты, мерзавка! Ах ты, бесстыжая! Да разве так можно при гостях невежничать? Да ты мне здесь весь воздух испортила!..

И прочее. Очень долго и обидно. Таня—стыдно, ведь: вдруг Митенька подумает, что и правда это Таня сделала—, головкой мотнула, ахнула еще раз:

— И что это вы, Акулина Иванна, на меня сваливаете, когда сами сделали? Чай, Митрий Яковлич хорошо слышал, что это вы...

Акулина Ивановна: ах! И в истерику.

— Вон, вон, гадкая девченка! Вон сию же минуту! Собирай свои вещи— и домой. Мне не нужно таких развратниц! У меня порядочный дом...

Таня—ни жива, ни мертва—забилась в угол, ревмя-ревет. Что теперь будет? Сознаться, хозяйкин грех на себя взять,—стыдно: что Митенька по- думает? А домой итти страшно. Мать в последнее воскресенье наказывала «терпи, а домой от хозяйки не убегай; убежишь—не дочь мне будешь, на улицу выгоню!». Как быть?

Входила, копытцами зло постукивая, Акулина Ивановна:

— Сознайся, мерзавка! Ты меня опозорила перед порядочным чело- веком...

Таня—хнык, хнык. Сильнее плакать. Копытцы—прочь.

Скромненько вошел Дмитрий Яковлевич. Улыбочка под одним усиком. По Таниной головке—плюшевой—сухой рукой:

— Ты... Сознайся, девочка...

— Да как же, Митрий Яковлич...Чай, стыдно! Не я, ведь...

— А ты скажи, что ты, девонька. Я знаю, что не ты...

И Таня решила: «пойду, сознаюсь».

Топнула ногой Акулина Ивановна—зеленая, висюльки растрепались.

— Сознавайся—ты? ты? Зачем врешь?

Таня—с плачем:

— Я, Акулин Иванна...

— А!.. (обрадовалась). Кланяйся в ноги! Проси прощенья, мерзавка. При Митеньке.

Таня—сил нет—хотела убежать. Вспомнила: мать прогонит. Опять—с плачем:

— Простите, Христа ради, Акулина Иванна...

В ноги, лбом об пол. И Митенька тут, на диванчике сидит.

— Пошла вон! Ложитесь все спать.

Глядя в пол, Таня убежала. На сундук, у двери. Ревела. Не слышала, как Анюта и Дунька, спать собираясь, бормотали ей—сонной—в ухо:

— Полно-ка, дура! Связалась с такой шлюхой...

И ушли, позевывая.

Хозяйка сама запирала за гостем. Лампу сама загасила. А Митенька, когда мимо Таниного сундука проходил (или это во сне было?), ничего не сказал, только слегка потрепал Танину щеку—мокрую, в слезах.

4.

У Акулины Ивановны на комоде—за зеркалом—шитый из желтого ситцу колпак, и по колпаку—пестренькие ленточки-лоскуточки. Шутовской, чтобы смеялись.

Акулина Ивановна утром, в папильотках—медуза-горгона- осматривала работу у мастериц. Драла за уши и читала наставления. Девоньки молчали и сдерживали дрожь в ногах—с перепугу—крепко сжимая под платьями колени. Боялись колпака и злых хозяйских глаз. Дунька злилась и—между работой—грызла ногти. Было когда-то с Таней: за провинность (в хозяйкиной комнате убираясь, разлила на комоде флакон духов, дорогих, грабаплевых) надела на ее голову хозяйка колпак, на целый день. Таня сидела за шитьем, стыдясь смотреть на мастериц и на хозяйку, а они—девоньки глупые—смеялись: плечи у Тани прыгают от плача, и прыгает на ее голове колпак с пестрыми ленточками. Так весь день—до сна—и проплакала, тряся смешным колпаком и пряча глаза за белесыми ресницами. А в воскресенье (на другой день) бежала вечером домой и—большуха ведь!—всю дорогу утирала слезы кулаками. Прибежала домой, брякнулась на постель и ревела ревом, пока не заснула под материны уговоры.

Было и еще раз: хотела Акулина Ивановна—просто от злого сердца, с ухажором поссорилась—надеть на Таню колпак во второй раз. Таня—зверком со стола и к двери:

— Не хочу колпак надевать!

Акулина Ивановна носом пудреным засопела:

— Как не хочешь?! Ах ты, гаденыш!..

И за ней. Таня во двор, к воротам и—гологоловая—домой. Хозяйка испугалась.

— Иди, иди, глупая! Никакого я колпака не надену. Непокорная! Шуток боишься.

Колпака не надела, только поругала.

Сидела и Анюта—тихая—в колпаке, недолго. Кланялась в колпаке Аку

лине Ивановне в ноги, просила прощения. Руку ей целовала. Говорила—под ее диктовку:

— Простите, миленькая благодетельница моя, Христа ради, дуру несмышленую, паршивую Анютку...

И еще что-то—обидное.

Дунькина трепаная голова колпака не носила.

В этот раз обошлось. Позудила, попилила Акулина Ивановна мастериц, надавала работы на трое суток (чтобы сегодня все кончить!) и ушла к гадалке Матрене, сердечные дела обсуждать. Комнатку свою—на замок и ключ в карман. Часто так уходила—может быть и не к гадалке иной раз, а к своему Митеньке. Приходила поздно: девоньки спят, и Таня у двери на сундуке спит, на посту. Стук-стук-стук,—Таня похрапывает, уткнувшись носом в подушку. Еще раз,—Таня вздыхает и спит. Грох-грох-грох,—Таня (ах-ты, Господи!) слепо кидается к двери и —

— Сичас, сичас, Акулин Иванна!

Получает по щекам—раз и другой, заслуженно, не обидно,—и засыпает, уткнувшись носом в теплую подушку, как теленок в родное вымя.

Приходила Акулина Ивановна и пьяненькая (чуточку), но виду не подавала. Была только, как-будто, добрее: спят девоньки,—обойдет всех, неровно переступывая каблуками, и каждую перекрестит, приговаривая:

— Спи, Господь с тобой...

По утрам никого не крестила: трезвая.

5.

Колдунья Матрена наговорила что-то нехорошее: с Акулиной Ивановной стряслась истерика. Тут еще Дунька на черном крыльце обнаружила подложенные кем-то белые бумажные кресты—одни с золой, другие с гнилым горохом, еще с чем-то. Ясно: наговор.

Акулина Ивановна на диванчике стукалась затылком об спинку, тоненько голосила и закатывала глаза. Дунька с Таней, пришипившись, посматривали на нее—вздрагивая—из-за двери.

— Пресвятая Богородица... Владычица небесная...

Это Анюта в кухне читала монашеским голоском. Читала сорок раз Богородицу—такой приказ был от Акулины Ивановны—и, чтобы не спутаться, откладывала в сторону после каждого раза по спичке. Сорок спичек. Если не хватит,—добавляла лучинками или угольками.

Акулина Ивановна заранее научала:

— Случится со мною истерика, Анька, читай Богородицу сорок раз под-ряд без отдыху, а потом сделай наговор—помнишь-ли как?—и спрысни меня с уголька холодной водой. Это—чтобы из меня сатана вышел. Спрыснешь, станет он выходить, я—ай!—и сразу все пройдет. Если так не сделается,—значит сатана еще сидит. Читай еще Богородицу, псалмы Давидовы читай,—и опять спрысни...

Анюта дочитала, сунула горку спичек в печурку и—с дрожащими паль-

цами—прошмыгнула в хозяйкину комнату. Там: ай!—И все успокоилось. Акулина Ивановна уснула на диванчике, приказав натереть ей виски одеколоном и разбудить через час.

Колдуньины предсказания не сбылись: наговор не подействовал, сатана не приходил долго—неделю, две, три. Митенька бывал часто, Акулина Ивановна уходила из дому—к Матрене ли? — тоже часто. Возвращалась запоздно.

А девоньки шили, шили, шили. Без хозяйки рассказывали друг другу про приказчиков и заглядывались на них в окно: утром, когда те шли в магазин, и вечером—когда уходили домой, посылая мастерицам в окно воздушные поцелуи. По ночам рассказывали,—чаще Дунька, выдумщица. Начнет:

— Вот, слушайте-ка... В тридесятом царстве, не в нашем государстве, жил пресветлый князь Владимир Красное Солнышко...

А сведет невесть на что, вплетет и живых, и мертвых, и Акулину Ивановну, и Танин мячик—красный с синим—что Миша усатенький подарил. Смеху не оберешься! Анюта рассказывала все про страшное и святое. Таня (отец ей говорил: душа-то у тебя, курносая, наивная!)—слушала и всему верила.

До петухов шили и болтали, благо хозяйских ушей в квартире не было.

Под воскресенье особенно расшалились и решили: хозяйка скоро не вернется,—давайте, девоньки, ляжем спать пораньше! И легли. Заячье сердце тоже умеет шалить. Легли, и лампу—неустанного сторожа—забыли погасить.

Ночью которая-то проснулась, задыхаясь от смрада. Комнаты плавали в черном тумане, все вещи были покрыты жуткими черными покрывалами, как трауром. Сплошной траур—на всем, даже лица мастериц были черны, как в саже. Заглянули в хозяйкину комнату (Акулина Ивановна не заперла в этот вечер: там стоял манекен для примерки)—траурно было и там: белые наволочки, одеяла, занавески и плюшевая праздничная мебель были мрачно и молчаливо черны.

Анюта заплакала:

— Ой, девоньки, плохо это! Это Бог траур нам послал: с Акулиной Ивановной случилось нехорошее... Умерла она...

Забрались на хозяйкину кровать (все равно: умерла!), сбились в испуганную кучку—у всех одно сердчишко, заячье—и плакали, причитая, от жалости. Думали, как будут хоронить свою хозяйку. Думали: куда денутся без нее? Думали: а как же Митенька, Дмитрий Яковлевич? И опять уныло и беспомощно плакали, слезами смывая траур со щек. Было страшно невмочь: наверное сатана задушил Акулину Ивановну по чьему-то наговору.

Глупые девоньки—глупые зайчата—не догадались заглянуть под траурный абажур лампы: она коптила всю ночь.

Вдруг—три сердечка, заячьи, разом остановились и застыли в холоде и ужасе—в дверь: стук-стук-стук! Потом сильнее: стук-стук-стук! Анюта заголосила:

— О-о-о-о! Спасите! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Бого-

родица... Девоньки, молитесь Николаю угоднику —это сатана по нашу душу пришел за то, что мы по Акулине Ивановне плакали... Молитесь, девоньки, скорее!

И с перекошенным лицом закрестила все углы, давясь бормотаньем.

— Аминь, аминь, рассыпься! Аминь, аминь, рассыпься!

Таня с Дунькой ползали на коленках от иконы к иконе и молились всем святым, путая их имена, называя миленькими и хорошими, обливаясь слезами.

А в дверь: грох-грох-грох!

— Господи,—ломится! Сгинь, сгинь!..

А в дверь: грох-грох. И в окно: грох-грох.

Дунька вскочила с колен, трепаная:

— Надо отпереть. Если сатана—перекрестим и пропадет. А может и не он... Танька, иди отпирай!

— Не пойду-у...

— Отпирай, тебе говорят!

— Иди сама...

Дунька, перекрестившись, шмыгнула в сени, щелкнула крючком и—завыла отчаянно: хищная хозяйкина рука схватила ее за косу и начала мотать из стороны в сторону, приговаривая:

— Заснули стервы, стервы, стервы!

Таня с Анютой бросились к своим постелям, а позеленевшая от злобы Акулина Ивановна тигрицей влетела в комнату и в ужасе всхлопнулась руками:

— Боже мой, что это такое?! Что вы тут наделали! Что вы тут наделали, черти окаянные?!

Кинулась в свою комнатку, ахнула и истошно заголосила в истерике. Оправилась быстро—и, задыхаясь, колотила мастериц по очереди, глотая злые слезы.

Дунька жаловалась:

— За что бьете-то? Мы же по вас плакали,—думали, что вас сатана утащил...

— Сатана утащил? А вам хотелось бы, чтобы меня сатана утащил, неблагодарные?!.

Плакали хором, плакала хозяйка,—а лампа траурно и равнодушно коптила.

Не спали до утра: кипятили воду, мыли полы, стены, мебель, стирали и чистили закопченые одеяла, занавески. Утром—без чаю—сели за обычную работу с тупыми головами и красными глазами, клевали носом, кололи иглой пальцы и изредка тихонько плакали.

Акулина Ивановна весь день лежала в своей комнатке на диване, натирая виски одеколоном.

6.

Одинаково всех не любила Акулина Ивановна, одинаково всех била,—а Таню возненавидела совсем особенно, с того самого вечера, как заставила ее

взять на себя собственный грешок. Возненавидела—и нет смягчения. Кому подзатыльник, ей покрепче. Кому пощечина,—ей две. по толстым щекам, по бутрихиным. Как жить?

Миша сочувствовал очень.

Уйдите от нее, Танечка,—и вся недолга!

Куда я пойду? Мать из дому прогонит. Так и сказала. Куда я пойду? И шить-то не умею: хозяйка только и дает, что петельки метать, да воротнички у рубашек строчить.

Как жить? Сказал бы Миша: пойдем ко мне жить,—и пошла бы. Жалко матушку, а ушла бы.

Так Таня думает. Петельки метает, воротнички у рубах строчит—думает так. Задумается, и не то сделает. Хозяйка накричит и прибьет. Таню злость разбирает: «за что бьет, кликуша?! Прислуга я ей? Подожди, посмеюсь и я над тобой».

И посмеялась, скоро.

Дни идут, идут, катятся,—каждый день с год. Ночью шьют, утром шьют,—кажется, и не спят совсем. Вечером когда-когда придет хозяйкин ухажор Митенька, улыбнется усиками, кольнет глазками и запрется с Акулиной Ивановной в ее продушенной дареным грабашлем комнатке. Что там—не наше дело. Таскай им самовары, да пиво, да закуски из соседней колбасной.

Один день брел, брел—да и спотыкнулся: Митенька пришел засветло буровенький.

— Здравствуйте, девоньки!..

Усиками хозяйкину руку пощекотал,—уселся—слышно—на диванчике (скрипнуло). А дальше—как всегда:

— Анька! Поставь-ка самовар!

Из погреба—пиво. В графинчике—с медведем на пробке—наливочка. Еще что-то там. И опять—шепотки, скрипы, шепотки. Девонькам что—рады: отдохнуть без хозяйкиного глаза. Тоже—шепотки, смехунчики (работа не волк, в лес не убежит!), сказки длинущие с Дунькиного язычка горохом сыплются. Что твой кинематограф! Запоздно потребовала Акулина Ивановна подогреть самовар. Дунька—я! «Посмотрю, как у Митеньки усы распушились» (всегда так бывало, заметили). Вскипятила и понесла. И видит: Митенька в жилете в плюшевом креслице развалился, нижней губой о верхнюю пошлепывает—пьяненький—и глазом Акулину Ивановну (напротив) легонько сверлит. Ладно! (Дунька так потом рассказывала). Очень темно что-то в комнатке... В памяти у Дуньки—ночь, когда Бог траур посылал. Взглянула на лампу:—коптит. Взглянула на Акулину Ивановну: под глазами черной пудрой посыпано, а под носом—две черные висюльки. Дунька едва самовар поставила—фыркнула в рукав. Хозяйка:

— О чем ты, дура, смеешься?

Дунька—из комнаты. Бросилась животом на постель и ну, смехом душиться. Рассказывать бы девонькам—не может от смеху.

Вскоре Митенька—ухажор—покачиваясь и попрыгивая, ушел. Акулина Ивановна к Дуньке:

— Сума ты сошла? О чем смеешься?

Дунька давится:

— Ох, ох!.. .

И пальцем в лицо Акулине Ивановне показывает, и еще пуще заливается.

— Да ты что, одурела?!

И стала Акулина Ивановна бить Дуньку по затылку и по бокам. Дунька—глупая—удержу нет: хохочет, за живот схватившись, точно и не больно. Передохнула —

— Под носом-то... висюльки!

И опять прыснула.

Акулина Ивановна—к зеркалу. Ах!—истерика. Анюта в кухню—Богородицу по спичкам отчитывать, а хозяйка—лицо точно с петель сорвалось—опять к Дуньке. Задыхается, пальцы скрючила:

— Почему ты мне не сказала? Опозорила ты меня перед молодым человеком! Почему ты мне не сказала, гадина черномордая?

Попало Дуньке сильно. Плакала, кусая ногти. А Таня, смехуньчиками-смехуньчиками так и рассыпалась, уткнув лицо в Дунькино одеяло (на ее постели сидела, подслушивала). Посмеялась всласть. Отомстила.

Ухажор хозяйкин после того долго не заглядывал. Точно поссорились. И Акулина Ивановна тучей смотрела. И громы были, и молнии, и слезы дождем проливались—на диванчике, под Митенькиной фотографией. Анюта каждый день псалмы читала и Богородицу. Колдунье Матрене вход в квартиру был воспрещен: двурушничает. Приглашена была монашка, на сову похожая: нос клювом, верхнюю губу кусает, глаза не мигают, в очках. Говорила она страшно, питалась яблоками и вареньем. Девоньки прозвали ее Кощеей.

Много ли прошло—не считали, но Дмитрий Яковлевич опять пришел: помирились. Принес хозяйке мирового: чайный бокал—по синему фону золотые цветы—с крышечкой. Преподнес томной Акулине Ивановне, приложился к ее ручке—нежненько, точно к плащанице — и шепнул (девоньки подслушали):

— Это вроде обручального кольца. Береги. Разобьешь — не жить нам вместе.

И бокал хранился в горке, как дароносица.

Таня—задуманная головка—через неделю разбила его. Задумалась о многом сразу, неся посуду в хозяйкину комнату, и уронила Митенькину дароносицу на пол. Крышечка осталась и блюдечко осталось (что в них?), а бокал разбился на мелкие кусочки.

Тут и началось последнее действие.

Акулина Ивановна не била и не очень кричала. Побледнев вся, дрожащими губами визгнула:

— Где хочешь и как хочешь, а доставай такой бокал! Не достанешь— изобью до полусмерти и в тюрьму засажу... У меня знакомый околоточный есть... Убирайся, и без бокала не приходи!

Выгнала.

Таня с плачем—гологоловая—побежала домой. Прибежала —

— Маменька, меня в тюрьму посадят!..

Слезы—рекой, глаз не видно: опухли от плача. Мать успокаивает:

— Что ты, дурочка? За что тебя в тюрьму посадят?

Таня рассказала: про бокал и про околодочного. Чем помочь? Денег нет. Отец на Балчуге тряпьем торгует,—не даст. Пропьет, а не даст.

— Как знаешь, девка,—не маленькая. Иди, кланяйся своей хозяйке в ноги, проси прощенья,—может за твою бедность, да глупость и простит.

— Мамынька, не пойду я! Я лучше дома останусь.

Мать накричала и выгнала.

— Я тебя отдала учиться—и учись, как знаешь. Придешь недоучкой— выгоню, девка! Выгоню совсем, отрекусь от тебя, как от дочери...

Это испугало. Помоги, Господи, заступница Оранская, Владимирская, Казанская...

На Покровке много посудных магазинов, самый большой—на углу Лыковой Дамбы. Ни в одном магазине такого бокала нет— с крышечкой, по синему фону золотые цветы; в самом большом (двери большие, стеклянные, едва отворила) приказчик нашел точно такой. Стоит рубль двадцать копеек.

Таня обрадовалась, потом заплакала:

— Дяденька, отдай мне его!

— Бери, не жалко. Рубль двадцать копеек.

Таня расплакалась совсем. Рассказала про Акулину Ивановну, про Митеньку, про бокал, про околоточного, про мать, про отца. Собрались приказчики. Смеялись, потом сочувствовали.

— Нельзя, глупая, даром тебе отдавать. Иди к своей хозяйке и скажи— есть, мол, такой бокал, какой тебе твой милка подарил. Стоит, мол, рубль двадцать копеек. Пусть купит. Где же тебе денег взять?

Ушла ни с чем. Сбегала к отцу на Балчуг.

— Тятенька, дай ты мне рубль двадцать копеек! Житья мне у хозяйки нет...

Слезинки крупные—кап-кап. Отец трубки изо рта не вынул.

— Денег я тебе не дам. А ты забирай-ка у хозяйки свои пожитки и иди домой... Ничему ты у этой шлюхи не научишься.

Опять ни с чем. Бегом—все бегом—домой. Остановилась у ворот: страшно, прогонят. Вздохнула поглубже, пошла. Встала перед матерью на колени, лбом об пол стукнулась —

— Прости Христа ради, мамынька! Не посылай ты меня, несчастную, к Акулине Ивановне!

Мать—может и пожалела, не понять,—но сурово сказала:

— Не пойдешь к хозяйке—не дочь ты мне. Уходи совсем из дому!..

Пошла. К Акулине Ивановне. Без бокала. Сердце—зайчиком. Мыслей—пуговок—куча, и все разные.

Шла, шла (весь день бегала).

Акулина Ивановна встретила:

— Принесла бокал?

— Нет...

И рассказала: рубль двадцать копеек.

— Где хочешь доставай? Пусть отец самовар продаст...

— Нету самовара...

— Ну, штаны,—мне-то что! Ложись спать, рохля, а утром пойдешь к отцу за деньгами!

Таня уснула, как убитая.

7.

Длинная, длинная улица — узенькая, как коридор. И по всей улице, вместо тумбочек—синие бокалы с золотыми цветами. С крышечками. Откроешь бокал—там мячик, красный с синим. Положишь мячик в бокал, станешь прикрывать крышечкой,—не прикрывается: вместо мячика Митенька—усы щеточками—выглядывает, одним усиком улыбается, говорит:

— Скажи отцу—пусть продаст твой мячик и купит бокал...

Это во сне.

Потом еще—приходит околоточный и приносит бокал, золотой с синими цветами. Такие в тюрьме продают: рубль двадцать копеек. Отец говорит: не дам...

Потом еще...

Петух закричал под окном, с петухами Таня проснулась. Дунька с Анютой похрапывают—счастливые. Думала: отравиться... Без маменьки как жить? Миша к себе не берет. Умирать—очень кричат. Испугалась.

Разбудила Дуньку и пошла куда глаза глядят. Домой пришла—куда больше! Села на лесенке у двери, сидит. Губы прыгают, а слез нет. Вышла мать, увидела.

— Что ты?

Всмотрелась в лицо, расплакалась.

Пили чай. Таня смотрела в чашку, не слышала, как мать о чем-то плаксиво приговаривает. Ничего не хочется: ни чаю, ни спать, ни мячика, ни желтых башмаков. Раньше хотелось. Пойти бы в монастырь, купить свечку.. Нет, и этого не хочется.

Устала.

Положила головку—плюшсвую—на руки и уснула у стола. Мать говорит-переговаривает, в чашке чай остыл,—Таня спит.

Потом все пошло по другому, без Тани. Мать отправилась к Акулине Ивановне, повалялась в ногах, выпросила: бокал не покупать. И еще выпросила: Таньку худым словом не поминать. Забрала пожитки дочернины, какие были (в грязной подушке мячик ущупала), принесла все домой.

И все. Было позади; дни, дни—одинаковые с утра и до утра,—и прошло. Отрезали, как старую пуговицу.

Гудел и позванивал трамвай, между домами спала знакомая церковка с облезлой кружкой у входа, на углу продавали семечки. Все по старому,—и по иному.

Таня шла к отцу на Балчуг—сказать, что ушла от Акулины Ивановны.

8.

Было или нет?

Выросли новые дома в городе, город народил новых людей, старых похоронил—под новыми крестами. На Звездинке выросли длинные березки—девушки. А раньше были кусточки.

Солнце всходит и заходит. Много всего было под этим солнцем: ураган—война, ураган—революция. Был ли?

Таня—работала на субботнике—вспомнила. Вечером пошла, поискала тот дом. Такой же: полысел как будто, подурнел. Никакой мастерской нет, никакой Акулины Ивановны нет. На дворе кто-то из старых жильцов припомнил: Акулина Ивановна—была такая, умерла в прошлом году. Была такая. Торговала. Куклами и печеньем—собственного производства.

И все.

Вспомнила: плюшевая головка. Улыбнулась. И прошло.

Председатель.

Повесть.

А. Аросев.

Мира, хлеба и власти.

Был бурный митинг в Волынском полку. Прапорщики говорили, что если Сухомлинов предавал русских солдат, то генерал Алексеев этого не сделает. Прапорщики выходили на деревянные подмостки. Потели и убеждали.

А в офицерском собрании, где на неубранный портрет Николая кто-то булавкой приколол Керенского, на столах остывали вкусные офицерские пирожки к бульону. Около них облизывался, свободно гуляя, рыжий кот. А повар на общем собрании жался к сырой стене промозглого манежа.

Прапорщики мяли носовые платки в руках, хватали звонок; *аргументировали*. Иногда забегали за кулисы подмостков и там щупали наганы, обутые скрипучей кожей кобуров. Слегка отстегивали помочи и воротники гимнастерок, чтобы снова и снова аргументировать на подмостках. Кашляли от дыма, прелости и сырости в манеже. Прапорщики умоляли друг друга, глазами умоляли придумать что-нибудь для неугомонной массы. Но видели—каждый в другом—что они не герои той жизни, которая *стала совершаться* в России.

Прапорщики бестолково толкались по арене, как гладиаторы в опустевшем цирке. они, словно внезапно проснувшись, увидели себя *идущими* по тонкому канату, *с которого обрываются*. И каждый, выбрасывая слова солдатам, чувствовал как срывается с каната на поругание толпы.

Выходили прапорщики и говорили, что Александр Федорович Керенский, что Александр Федорович Керенский... на этом месте прапорщики путались. Опять обрывались с каната, потому что кроме приколотой булавкой гравюры Керенского на портрете царя ничего себе не могли представить прапорщики.

А между тем сегодня генерал приказал прапорщикам призвать солдат к одобрению назначения генерала Алексеева командующим. И прапорщики аргументировали.

Но даже повар, протиравший плечом серую стену манежа, почесав около ягодицы, просеял сквозь зубы, как через сито:

— Ну и ярманка.

Лиц солдатских нельзя было разобрать. Внизу, у подмостков по всему огромному манежу была сплошная мозаика из бород, глаз, усов, ушей, ноздрей, *пересекаемая в разных направлениях движениями рук*. Одно необыкновенное животное: тысяча глаз, тысяча рук. Ноги солдатские прочные, как столбы. Волынцы на толстых подметках стояли, как вкопанные в каменный пол манежа. А руки, плечи, головы—все это двигалось как нечто многообразное. Единое и вместе с тем миллионное. Едина была воля, миллионным был голос. Для солдат сейчас выходило так: Сухомлинов—это генерал с фамилией на букву С, Алексеев тоже генерал, но у него другая начальная буква.

Вот и все.

И от них от всех генералов солдаты отмахивались руками и *головами*. Кричали все одно и то же, и чем больше кричали одно и то же, тем более убеждались в том, что все они, солдаты—это другое, чем те на подмостках, галифе. Жгли солдаты себе губы и пальцы окурками «козьих ножек». Жгли сердце свое махоркой и упорно стояли на своем. На своем против прапорщиков, против подмостков. Потели солдаты, дышали махоркой, вшу потихоньку за воротом давили, готовы были ноги свои в камень обратить. лишь бы довести до конца единоборство с прапорщиками. Махали руками солдаты. Но знали, что сейчас не в руках их оружие. Что если бы все они всем манежем опрокинулись на подмостки, то не достигли бы победы. Сейчас победа в другом: из всех криков, рычаний, угроз, проклятий надо было склеить одно, одно слово большое и сильное и видное, как знамя, чтобы его держа крепко нести впереди и тогда только ринуться на подмостки, дальше подмостков туда, где рыжий кот у офицерских бульонных пирожков гуляет, где Керенский на царе приколот булавкой, и дальше, дальше этого. Со знаменем путь не заказан!

Кричали солдаты. Упорно стояли в манеже. И из своих миллионов слов и из единой воли силились сплести одно, могучее, как набат. Впереди всех, у самых подмостков бледнолицый с провалившимися щеками и с лихорадочным взглядом стоял растрепанный солдатский кашевар. Волосы на голове его топорщились, как перья измученной мальчишками канарейки. По слабости своего голоса он мало кричал, но все время тянулся к подмосткам, тыкая в офицерское галифе замызганной запиской. На ней были выведены жидким карандашиком не слова, а тени слов:

Прашу слова товарищы кашивару нащот положения
и про товарищей солдат.
Товарищ Василий Е.

Когда эта записка дошла до председателя,—прапорщик из присяжных поверенных—он потер лоб, прикрякнул, записал кашевара в число ораторов. И тут же слово «кашевара» успело вызвать в нем одну практическую мысль: так как теперь все дорожает, то надо сказать жене, чтобы по крайней мере два раза в неделю на обед давалась бы всем—и детям—каша.

Кашевар Василий Енотов оказался небольшим щупленьким человеком. Тонкие ноги его, обтянутые экономно сшитыми солдатскими штанами, тонули в широких рыжих голенищах. Словно не сапоги, а куски водосточных труб были *обуты* на нем. А гимнастерка не скрывала, а выдавала его впалую грудь. Два, три чахлых неопределенного цвета волоска торчали на подбородке, и в рот его лезли корявые усы. Хохолок на затылке, как птичий хвост, подбитый ветром. Плечи и руки он дергал нервно. Было сразу видно, что это городской человек. Провалившиеся далеко под лоб голубые глаза выдавали свое хорошее знакомство с зубами, положенными на полку. И те же глаза показывали, что Енотов жил сознанием, и что сознание его, как блоха в душе, все время беспокоило. Может быть потому оно стало таким, что растревожено было грамотой, которую вкусил кашевар в начальной школе. Но за маленькой детской грамотой пошло заводское ученичество, потом навалилась, как тяжелый замок на грудь, работа железная, тяжелая в заводском сквозном грохоте. А детская грамота, словно стрелка на верстовом столбе при дорожном повороте, показала было какой-то другой путь. Но только показала. И от этого осталось в душе неопределенное ожидание того, что вот де завод, работа шум и грохот,—а все-таки все это на повороте к другой дороге, что вот будто не сегодня-завтра свернет вся жизнь в сторону, и все преобразуется по иному: грамота станет наукой, завод—отрадой. Некому было рассказать это внутреннее сокровенное. Поэтому пришлось жениться. Рассказал жене. Жена не поняла, приняла это даже немного за обиду, так как сама не только кончила начальное училище, но и прошла ученье в модной мастерской, отчего считала себя обладательницей значительных научных достижений. Поэтому выслушав самое сокровенное мужа, усмехнувшись, сказала:

— Ишь какой сочинитель, Лев Толстой!

От этой жены Енотов имел двух детей, и никогда не беседовал с нею о глубоком внутреннем своем настроении. Не говорил. И все чего-то ждал. От ожидания чувствовал себя как на корабле или в поезде: вот, вот кончится дорога, придет окончательная станция и начнется настоящее житье.

Так, 27-го февраля показалось Енотову, что пришла окончательная станция. Вышел он тогда с солдатами на улицу и с тех пор, мешая огромной, скользкой лопатой кашу, он думал вовсе не о каше. Думал много о многом. И вот только теперь решился все сказать.

Вышел он на подмостки. Заходил взад-вперед, замахал руками, закачал головой, заговорил неравномерно, то быстро, с'едая слова, то медленно, путаясь и кашляя. Но зато, когда стал он говорить, утихло солдатское море. Дым окурочный стал над головами, вдвое больше прежнего. И прапорщики,

затиснув руки в галифе, примолкли. Только председатель из присяжных поверенных наклонился к черненькому офицеру с разбойными глазами, и шепнул ему, подмигнув в сторону Енотова:

— Мели, Емеля, твоя неделя.

Енотов, впрочем, говорил недолго. Солдаты его поняли. И слова его сделали своим знаменем. Прапорщики закрыли собрание. Ушли к пирожкам бульонным, к Керенскому, булавкой наколотому на царя. Повар тоже поспешил на кухню. Огрел два раза посудным полотенцем рыжего кота за блудничество.

А солдаты не расходились из манежа. *Говорили со своими ораторами*. А Василий Енотов сидел за председательским столом и коряво выводил резолюцию. Какой-то бородатый солдат предложил было расходиться, но Василий Енотов возражал:

— Как это вы можете расходиться без резолюции? Нешто это порядок!?

Солдаты неодобрительно замычали по адресу бородатого мужика. Кто-то еще говорил, а Енотов, окончив резолюцию, расписался под ней так:

«Ризалюция Волынского полка принятая единогласно».

— Товарищи,—сказал он, прочитав резолюцию,—я ставлю на голосование и прошу поднять руки тех...

Солдаты отвечали:

— Все согласны. Нечего тут еще подымать.

На том солдатский митинг и разошелся, и солдаты долго рассказывали друг другу про кашевара:

— Смотри, такой заморыш, а башковатый мужик.

— А про што он говорил-то?—спрашивали те, что не были на митинге.

— Много говорил, хорошо говорил, да как ударит себя в грудь, я сам, говорит, братцы, мастеровой. Ей Богу!

— Ишь ты!—одобрительно удивлялись солдаты.

Василий же Енотов после ужина летел с резолюцией в кармане во дворец Кшесинской. Там он восторженно рассказывал всем, даже часовому при входе, что Волынский полк единогласно требует:

«Мира, хлеба и власти».

Кругом — фронт.

Шутка ли сказать, был руководителем в Волынском полку, а тут вдруг жена велит крестить малютку. Всеми солдатами всегда был *избран* председателем. Ходил драться с Керенским под Гатчину, сейчас является начальником политического отдела армии и вдруг крестить сына. Нет, с ума видно сошла жена. Повихнулась, несчастная. Приблизительно такие доводы Василий Енотов кучей опрокидывал на голову суеверной и перепуганной женщины. Она же ему возражала только одним: «как же ты, бусурман этакий, звать-то

его будешь?» — «Звать?? — быстро парировал муж, — звать? Очень просто: мальчик родился когда?—в сентябре. Ну и назовем его товарищ *Сентябрь Васильевич Енотов!*» — «Дурак ты, больше нет ничего», — отвечала ему жена.—«А ты контр-революционерка!» Такое замечание очень обижало жену, и скандал разгорался. Конец скандала был всегда один и тот же. Василий, смяв портфель под левой рукой, убегал в политотдел.

Однажды, вернувшись домой после такого скандала, он не застал дома ни жены, ни детей.

Штаб армии и политотдел находились тогда в одном губернском городе. И Енотов жил с семьей в больших центральных номерах. Пришел он домой поздно, в 4-м часу утра. Сел на большой диван около окна, закурил махорку, открыл окно, взглянул на темную улицу. И тут впервые ясно, ясно почувствовал, что темная асфальтовая улица под окном—это враг его. Личный, активный враг.

Залаяла собака отрывистым лаем. А Енотову показалось, что улица над ним захохотала. Улица разнузданная, проституированная, накрашенная вывесками и холодная от асфальта. Заглянул Енотов за арку комнаты, в опустевшую половину. Две корзины стояли перерытые до дна. Недопитый стакан чая и детская погремушка на полу.

Никогда Енотов не расставался с своей семьей.

И вот за это семья рассталась с ним. Посмотрел опять в окно. Улица была синеватой от наступающего рассвета. Спать не хотелось Енотову. И усталости он совсем не чувствовал. Слегка ломило виски и еще как-то в спине ныло, будто тяжести таскал. В душе же ощущалась какая-то особенная ночная бодрость.

Где-то на далеких, далеких улицах послышалось лошадиное «Гоп-Гоп» и стихло. Потом совсем невдалеке уже несколько пар копыт проскакали галопом. Опять залаяла собака. Опять Енотову показалось, что улица захохотала. На углу, недалеко от окна кто-то вскрикнул и тотчас же звук голоса заткнулся внезапным удушьем. Енотов вытянул шею, но ничего не заметил особенного. Впрочем, не видно стало часового, охраняющего на углу склад Снабпродарма. Может быть он просто за угол зашел. Опять оборвались все звуки ночные. Тишина повисла. От этой тишины Енотову сразу и сильно захотелось спать. Он потянулся. И вдруг у самого уха оглушительный телефонный звонок. «Алло»,—отозвался он в телефон. Но в трубке что-то шипело и ответа не было. Бросил трубку. Сам позвонил. Вызвал номер штаба. Штаб молчал.

По улице уже совсем в двух шагах скакал отряд конницы. Копыта лошадей в перебой колотили асфальт. С тревогой взглянул Енотов в окно. Взглянул и отпрянул.—«Кажется, не наши»,—смутно подумал он, когда под окнами промелькнули штыки и винтовки и крупы лошадей, дерзко галопирующих в уснувшем городе. Поколебался немного. Ущипнул себя, чтобы понять, что это не сон. Улыбнулся самому себе. Посмотрел, заряжены ли два маузера, и отправился на улицу.

Спускаясь по лестнице, он опять услыхал, как много лошадиных копыт рысью цокали по асфальту.

Вышел Енотов на улицу, когда было почти совсем светло. По улице виднелись редкие прохожие. Направился к штабу, не доходя до продармского склада услышал далекие частые выстрелы. Поколебался. Но опять пошел прямо. Проходя мимо склада, увидел странное: склад был открыт и две подводы нагружались обмундированием. Заглянул Енотов во двор, там у калитки направо лежал труп удавленного часового. Грузившие были веселы. Один из них подошел к Енотову и, слегка ткнув его прикладом в плечо, сказал: «куда лезишь, вертай назад». Тут только Енотов вполне понял, что в город вошли враги. «Казаки»,—сообразил он.

И вдруг какая-то непонятная отчаянность ударила ему в голову, он, скрыв себя за углом, сразу из двух маузеров открыл огонь по нагружавшим. Казаки переполошились. Бросились в сторону от склада, залегли в канаву между тротуаром и мостовой и открыли ответную пальбу. Енотов подбежал к воротам склада, укрылся за кучу брошенных шинелей и продолжал работать двумя маузерами. Мимо ушей его с визгом пролетали пули; некоторые, слегка всхлипнув, врезались в кучу солдатских шинелей. Нащупал Енотов у пояса бомбу, забежал за калитку и, сильно размахнувшись, бросил ее в казаков. Кто-то там вскрикнул и зарыдал по-детски. Казаки отступили в ближайшие ворота. Енотов тем временем вскочил на недогруженную телегу, схватил вожжи и нахлестал лошадей. Казаки погнались. Но телега была запряжена парой хороших лошадей. К тому же Енотов знал город. Повертывая направо, налево, он вскоре очутился на окраине города. Тут Енотов почувствовал, что он без шапки, и что безумно хочет спать. Но останавливаться было нельзя, он мчался по шоссе к полотну железной дороги.

Навстречу ему несся ураган пыли, подымаемый скачущими всадниками.

«Стой, стой» — кричали передние, держа винтовки на перевес. «Откуда» — спрашивали казаки. «От большевиков» — твердо ответил Енотов. «Мы у них склад брали, они напали на нас. Едва удрал».—«Где?»—спросил отчаянным голосом казак с монгольским лицом, с закрученными в кольца черными усами и с серьгой в правом ухе.—«Город знаете? На углу Семеновской».—Тем временем подоспевали все новые и новые ряды всадников. «Ты какого полка?»—спросил кто-то Енотова. Он ответил не обинуясь, так как, будучи начальником политотдела, великолепно знал названия деникинских полков. «Ну, ладно, сыпь в продбазу, теперь она недалеко, на станции».—«А большевистский отряд, как в'едете в город, направо в Семеновскую сворачивайте, там увидите!»

Енотов разминовался с этим большим отрядом казаков. Это были передовые части отряда Мамонтова. Сообразив, что казаки в городе могут узнать в чем дело и потом настичь его, Енотов свернул проселком. Жалко ему было расставаться с тем, что он отбил у неприятеля. Между тем солнышко было уже высоко, небо сине, и наступивший день казался звучным.

Енотов старался прислушаться. Но все было тихо и между тем полно каких-то особенных звуков, которые ощутимы всеми нервами. Енотов не знал, на что решиться. Не знал, где штаб, где красные части. Он опустил поводья, дал волю лошадям. Растянулся спиной на кучах шинелей и штанов.

Заснул, как убитый.

Проснулся он от каких-то голосов вокруг. Кто-то тянул из пачки солдатские штаны. Огляделся Енотов. Кто-то обругался и побежал, пригибаясь к земле в сторону от дороги, стараясь скрыться во ржи. День был уже в полном разгаре. Енотов еще раз огляделся. Лошади стояли, понурив голову. Две кучи шинелей и штанов были расшвырены. Воры, какие-то двое парней, нырялй спинами в высокой ржи. Енотов понял, что пока он вне опасности. Нахлестал лошадей, двинулся дальше.

Зарядил маузеры свежими обоймами. Явилось какое-то трезвое сомнение в действительности всего происшедшего. Неужели белые могли так неожиданно прорваться? Неужели штаб оказался в их руках? Неужели так внезапно он, Енотов, стал один?

В далеке завиделась станцийка железной дороги. Не оглядываясь, не рассуждая, Енотов направился к ней.

Не доезжая с полверсты, он вдруг услышал крики: «Стой! Стой!». И несколько человек, вооруженных винтовками, выскочили из придорожной канавы. Сдержал лошадей Енотов, подошел. «Какого полка? Что везешь?»—обратились к нему подошедшие вооруженные люди. Енотов с минуту колебался. Потом, глядя в упор на открытое спокойное лицо солдата, ответил: «Я большевик»—«А-а, свой». Обрадовались красноармейцы. И Енотов об'яснил, кто он. А к вечеру на отдельном паровозе уже настиг свой штаб. Там царила растерянность. Все обвиняли друг друга. Молодой начальник штаба, бывший штабс-капитан, молчал, болезненно морщился, махал рукой и готов был до одурения смотреть на лежавщую перед ним карту. Он производил впечатление отшельника, достигающего вечного блаженства сосредоточенным смотрением на свой собственный пуп.

«Я вывез случайно порядочную охапку обмундирования»,—замкнулся Енотов. «Очень хорошо. Замечательно, товарищ»,—одобряли его.—«Однако, видимо, политически части наши никуда не годились, коли их могли прорвать»,—заметил кто-то среди стоявших. Оглянулся Енотов на говорившего и узнал в нем того самого прапорщика из присяжных поверенных, который председательствовал в Волынском полку. С того времени Енотов сейчас увидал его впервые. Енотов весь загорелся не столько от сути вопроса, сколько оттого, что именно *это лицо* бросило ему такой вопрос. Затрясся хохолок на затылке у Енотова, и глаза ввалившиеся, лихорадочные, усталые блеснули каким-то усилием. Усилием об'яснить что-то...

Но вдруг Енотов махнул рукой и сказал глухим голосом: «Как вы не правы, товарищ».

Словно отомкнул и сейчас же, раздумав, замкнул свою душу.

Орден Красного Знамени.

Бывший прапорщик и бывший присяжный поверенный полный человек с бородкой клином проснулся поздно. Сходил напротив в водолечебницу принять теплую ванну для успокоения нервов. Потом, вернувшись, застал у себя уже многих членов Губкома, собравшихся на предварительное частное совещание перед заседанием пленума Губкома.

«Прошу извинения, товарищи, пока еще не все собрались, я побреюсь». «Пожалуйста, пожалуйста»,—ответили все, хотя все знали, что больше ждать было некого. Полноватый человек стал подбривать свою бородку клинышком, а прочие губкомцы в другой комнате гуторили.

«Свалят они нас или не свалят», — гуторили губкомцы. — «Они где-то имели предварительное совещание».—«А где?»—«Погодите, вот завтра мои ребята скажут—где».—Так рассуждали губкомцы, разумея под «они» другую часть губкома.

Тем временем полноватый человек кончил бриться. Почувствовал, что как будто холодно. Вероятно, после ванны,—снял ботинки, надел валенки. Сел в кресло за письменный стол. Совещание было немногочисленное, всего человек 7. Был тут начальник милиции—в бурках; предчека—в серых валенках; рабкрин—в охотничьих сапогах; секретарь женотдела—в желтых сапогах; заведующий подотделом пропаганды—агитпропагубкома—в спальных туфлях, так как он имел комнату в этом же доме, на третьем этаже, и, наконец, редактор местной газеты в неопределенной обуви и кроме того в очках.

— Я, как заведующий отделом управления Губисполкома,—начал выбрившийся человек,—не могу считать настоящее собрание официальным, а частным, и даже не собранием, а беседой в кругу товарищей, и даже не товарищей, а как бы... друзей, которые...

Речь текла плавно.

Проскочив галопом все принципиальные вопросы, собрание застопорилось на вопросе, носившем несколько громкое название «персонального». Вопрос шел о председателе Губисполкома. С одной стороны, из Москвы хотят кого-то прислать, с другой стороны, единственным кандидатом по своей популярности среди партийной организации и рабочих мог быть только один Енотов. С третьей, Енотов относился к числу тех, кого собрание друзей называло суммарно «они». И, наконец, с четвертой стороны... но четвертое измерение этого события лежало на самом дне души побрившегося человека и было посыпано сахарным песком адвокатских слов. Поэтому осталось невыясненным.

В результате длинного обсуждения, при котором чаще и больше всего высказывался редактор газеты, как раз и приглашенный собственно для того, чтобы высказываться, было решено перед Москвой и перед местной организацией выставить Енотова.

Когда такое предположительное решение было произнесено обутым в спальные туфли заведующим подотделом пропаганды агитпропа Губкома, все нашли его очень правильным и только предгубчека, стукнув ногу об ногу, чтобы стряхнуть пепел с валенок, заметил: «при этом его надо обработать».

Председательствующий опустил глаза долу, а другие закрылись папиросным дымом.

Москва согласилась на то, чтобы товарищ Енотов был Предгубисполкомом. «Боже мой, боже мой,—подумал он. — Нет—опять пойдет склока». И стал по пальцам перечислять своих врагов в Губкоме. Советовался со своими приятелями. Кроме того не считал себя «достаточно подготовленным» для такого ответственного поста. Ужасно волновался. Встретился с начальником милиции. «Ну что, брат, предом будешь?»—подбадривал его начальник милиции. Енотов вскинул на него свои глубокие глаза, еще больше сгорбился и ответил: «До чего, друг мой, не хочется, прямо вво». «Ну, ну ничего»,—похлопал его по плечу начальник милиции.

А через день был с'езд советов. В бывшем дворянском собрании. Вечером. Оркестр духовой музыки, тысячи глаз со всех сторон. Стол президиума, крытый красным сукном. А сзади комната президиума—не комната, а коробка, наполненная дымом. Очень тумашился редактор газеты. Он не был членом Губкома и поэтому билета на трибуну не получил, но прошел туда только потому, что тумашился, и часовые его приняли за распорядителя. Он появлялся то у оркестра, то в комнате президиума, то беседовал с делегатами, сидящими в первом ряду. Вообще показывал себя в публике en face и в профиль, и в полуоборот, и говорящим, и шепчущим, и улыбающимся, и даже вытирающим пенсне. Из всех карманов его торчали газеты, отчего весь он пах типографской краской. Он же первый захлопал в ладоши, когда Енотов, окруженный другими губисполкомцами, вошел на трибуну.

Кто-то приветствовал с'езд и предложил председателем избрать т. Енотова. Редактор снова предводительствовал аплодисментами. Енотову были почти овации. При этом к удивлению своему среди восторженных лиц он увидал и бывшего прапорщика в Волынском полку, ныне заведующего отделом управления Губисполкома.

От волнения Енотов говорил нескладно. Но именно этой-то нескладностью он и действовал на слушавших.

У него кружилась голова—«Товарищи»,—говорил он. «Товарищи»,—повторял он все чаще и чаще. «Товарищи». И каждый раз через это слово он делался роднее и роднее, всему собранию. «Товарищи»,—говорил он, перебираясь по этому слову, как по ступенькам высокой лестницы. И чем выше он шел в своем настроении, тем складнее была его речь.

Кто-то не вытерпел в самой гуще собрания и на каком-то слове послал Енотову громкие аплодисменты. Всколыхнулось все собрание, и опять у Енотова в ушах только хлопало—трах, трах, трах—от тысячей рукоплесканий.

А Енотов еще не кончил. Но рукоплескания его сбили. Когда кончились они, он хотел продолжать. Как-то неестественно завертелся на каблуках, подергал плечами.

— Товарищи, ну, да впрочем все...

Неожиданно оборвал он.

А редактор стоял на самом виду и строчил, строчил карандашиком речь. Пришли даже два фотографа, джентльмены, в продырявленных котелках и, раскланиваясь как официанты, стали просить Енотова не двигаться. Щелкали аппаратами. Губвоенком, человек непринужденный и веселый, предложил фотографам снимать весь с'езд. Продавленные котелки покорно кланялись и щелкали аппаратами. Заведующий отделом управления подбежал к Енотову. Что-то пошептал. Пошел к оркестру. Оркестр начал мешать фотографам снимать, так как, услышав звуки Интернационала, все встали и начали петь. Редактор суетился в дверях, где теснились и протестовали комсомольцы, требуя себе места в зале, а не на галлерее. В самом дальнем углу начальник милиции делал внушение часовым о вежливом обращении.

Когда кончилось торжественное открытие с'езда, к Енотову подошел сухой человек с зеленым лицом и испуганными глазами. Он прохрипел: «Разрешите вас нарисовать, как председателя с'езда».

С тех пор Енотов председательствовал год, председательствовал два. Москва была довольна. Местная организация тоже. Рабочие Енотову верили и любили его. Крестьяне охотно несли налог. Спецам-финансистам и инженерам нравилась его деловитость. Обыватели называли его «симпатичным». Полноватый человек, заведующий отделом управления, жалел его за нервность и усиленно советовал ему ту же лечебницу, в которой сам купался. Беспечный и веселый человек губвоенком не мог на банкетах без слезы облобызать его. Редактор газеты радовался, что ему разрешили при газете организовать издательство «научно-популярного и литературного» журнала. Появившиеся в городе красные бакалейщики и галантерейщики искали случая откланяться «товарищу» Енотову. А начальник милиции, переходя на высокий пост уголовного розыска, до того растрогался на прощании, что по секрету раскрыл Енотову все то, что говорилось против него на частном совещании и с похвальной памятью перечислил всех его врагов, предложил даже навести справки о тех, кто, как, например, Предгубчека, перевелись в другие города.

— Лучше бы вы узнали, где моя семья, мне передавали, что она осталась у белых, не удалось им выехать. Да, вот где она. Вот узнать бы.

— Слушаюсь, непременно, непременно, — ответил начальник милиции. Достал в карманах галифе карандаш и записал что нужно было в связи с этим.

Уехал начальник милиции. Много лиц переменилось, а Енотов все председательствовал. Из старых с ним оставались лишь веселый губвоенком—он сшил себе новую шинель, обшлаг заполнил звездами и стал несколько чище руки мыть, да заведующий отделом управления военкома — он перестал у себя на дому созывать совещания, был в добрых отношениях со всеми и в большие праздники ел гуся с капустой.

Регулярно ездил Енотов в Москву на с'езды советские и партийные. Старился, горбился и болел думами, о семье своей и особенно о младшем,

малютке. Болел думами и тут же укорял себя: «зачем семья, зачем? Я председатель, мне нужно дело делать».

Однажды сидел Енотов дома зимой. Пил чай и беседовал с истопником, очень древним человеком. Рассказывал истопнику о фронте; показывал свой орден Красного Знамени. Сумерки смотрели в окно. Хлопья снега падали, будто кто-то сыпал белые розы на дома. А дома пузатились в небо крышами, полными снега, как гробы, одетые парчей. В коридоре губернаторского здания трещала голландка. И слышно как во дворе фыркал автомобиль, у которого регулировали мотор.

Вдруг послышались шаги по коридору. Кто-то робко остановился. Торкнулся в одну дверь коридора и протянул нерешительно: «Товарищ». Потом опять шаги по коридору. «Кто-то там гуляет?» — проворчал истопник и вышел в коридор. А Василий Енотов все смотрел на сумерки и на хлопья снега—изорванные лепестки белых роз.

— Тут товарищу Енотову письмо есть. Я попутный, мне его мальчик передал.

С этими словами в комнату вошел истопник и за ним тот, который назвался «попутным». Это был молодой паренек в дубленом полушубке.

Распечатал Енотов письмо. Там было нацарапано детской рукой его старшего сына:

«И во-первых строках кланяюсь тебе тятенька милы. Живу у баушки материной. А мать мою зарубили. И брата моего тоже и маленького самого, Сентября, тоже зарубили, он, де, не жилец без матери. А я был под лавкой на вокзали о ту пору. Мене они не видамши. Опосле шел и ехал. А на деревни у нас сказали што ты жив и етот парень тебе знаить. А потому штоб ты о маменьке и братьях знал тому ставлю три креста как на могилах



брат маманька брат

Помни милы тятенька и возьми скорее меня к себе, а то старуха больно дерется.

Росписался твой сын Сергей».

Все это было написано на одной стороне листа. Енотов машинально перевернул листок и прочитал, что было на обороте:

Лити лити мой листок
На Юго-Восток
Лити и взвивайся
Ни-кому в руки не давайся
Только дайся тому
Кто мил сердцу моему,
То-исть папаньке дорогому.

Так десятилетний мальчик хотел, видимо, смягчить то тяжелое, что было на первой половине листа.

У дверей все еще стоял парень в дубленом полушубке.

А истопник корявыми пальцами ощупывал енотовский орден Красного Знамени, лежавший на столе...

Наконец парень—печальный вестник—спросил:

— А ответу не будет?

Заключение.

Был праздник. И Енотова позвали в гости. Закутался Енотов в свою шинельку, ноги обул в новые ботинки с картонными подметками и отправился на какую-то Кривую улицу, где жил веселый военком. Был март. На лужах были льдинки. Снег лежал хоть сухой, но особенный: ледянистый. А воздух—прозрачен. Так что Енотову было слышно свое дыхание и казалось, что сердце бьется не в груди, а под полой шинельки, около воротника.

Вошел во двор, отмахнув рукой калитку назад. Освещенный флигелек с большими окнами и тюлевыми занавесками гостеприимно манил к себе.

А воздух весенний был так прозрачен, что было слышно, как говорят во флигельке.

Открыл Енотов дверцу в сени. Маленькие сени и темно, как в гробу. Стал шарить рукой по мягкой кошме двери, ища ручку. И услышал, как около самой двери громко говорил кто-то. Кто-то другой еще смеялся... Чей же это голос, подумал Енотов, перестал шарить ручку. Прислушался. Лицом отвернулся к прозрачному весеннему воздуху, что вливался со двора в наружную дверь, и потому, что воздух был прозрачен, Енотов ясно слышал разговор:

> «Сижу это я на заседании. А самого в сон клонит. Ну прямо вот сейчас упаду. А этот—комхозник льет и льет, говорит и говорит. Смешные соображения. Разруха восстановлена, отпуск кредитов. Выплата. Частные подряды. Государственные сделки, коммунальная выгода, лесстрой, кирпичные заводы, кооперативные поставки, зарплата и прочее. Но ты подумай, а мне-то, мне-то какое до этого дело!? Прямо дремлю за столом и думаю: да мне-то какое до всего этого дело? И почему я, именно я тут? Вообще, какое мне, ты понимаешь, мне дело до этого всего?»

И в ответ на такую речь раздалось!

> «Ха-ха-ха! Это правильно! Какое говоришь тебе дело? Ха-ха-ха! Здорово. Вот уж я зато никогда над этим не задумываюсь. Ха-ха-ха! Здорово!»

Оба голоса были, видимо, подвыпивших людей. Узнал Енотов этих людей. Первый был завотделом управления Исполкома. Второй веселый военком.

Запахнулся покрепче в шинель Енотов и зашагал обратно из Кривой улицы в Губ-рнаторский дом. Воздух весенний был очень прозрачен. И что-то особенно беспокойное было в нем. Что-то бунтующее, зовущее, молодое, без-

заботное и стихийно-просторное. Вот это-то особенное беспокойство и заползло Енотову в душу и ранило сердце. Он в эту ночь не сомкнул глаз.

Утром в кабинет к нему вошел заведующий отделом управления, чтобы представить на утверждение смету комхоза.

— Эта смета была рассмотрена в комиссии под моим председательством,—начал свой доклад полноватый человек.

Енотову в голову и в сердце вдруг что-то стукнуло. Что-то невероятное. Вроде угара. Внезапное и сильное такое же, как тогда, когда он вдруг стал отбивать у белых красноармейское добро.

— Вон!..—закричал Енотов. Полноватый человек отскочил, разроняв по полу листы сметы.

— Вон!—еще раз вскрикнул Енотов.

— Что вы, товарищ?? Вы повихнулись??—проговорил заведующий отделом управления, хватаясь за ручку двери.

Енотов что-то еще хотел сказать. Тянулся через стол. Хохолок его на затылке дрыгал, как пойманная пташка. Одна рука нервно тянулась вперед, как тогда в Волынском полку с запиской. И перед собой он видел, как тогда, все того же прапорщика из присяжных поверенных. Давно это было в Волынском полку. Но и сейчас так же, как тогда, один был кашевар из слесарей, другой прапорщик из адвокатов.

— Это вам так не пройдет!—пригрозил заведующий отделом управления и вышел вон.

Енотов почувствовал себя облегченным и стал с полу подбирать разлетевшиеся листы сметы комхоза.

А в отделе управления заведующий диктовал машинистке заявление в контрольную комиссию (копия в ячейку) о бюрократизме и диктаторстве председателя.

В лесу.

Соколов-Микитов.

Лето было трудное: как в потоп лили дожди, заболотили пашню, загноили луга. За плугом по борозде гнался ручей. От мокрого лета навалился на всяческий предмет червь,—поел червь огороды и посек на полях льны. В лесу не найти было целого гриба. И неслыханное дело: завелся червь в самой соли, белый, жирный,—в уездном продотделе две тысячи пудов зачервивело соли.

Старики взяли червя в примету: к худу!

И все же хлеб сняли средний.

А осень шла грубая, шла—дергалась, как старая кляча. Извела и людей и скотину. Два раза выпадал зазимок, насыпал сугробы. Торили люди санный путь, радовались зиме. И опять падал дождь, смывал снега, подымались по вешнему реки—и пастух Прокоп брался за свой длинный кнут.

Снег лег нежданно: повеяло метелицей, секануло морозами, скрепило землю и понесло — —

Настрочили по пороше лисы и зайцы, прошли мимо овинов волки, след в след, повернули на Гришкин луг.

И по первой белой пороше охотники Тит, Аникон и Вася вышли в лес обходить беляков-зайцев.

В лесу с еловых веток шелестя падает о эемь снежная нависъ. Качаются на лиловых шишках синички. Тит, Аникон и Васька остановившись, натянув косы, по-волчему понюхали воздух.

— Дымком!—сказал Васька.

— Дымком!—ответил Тит.

— Завернем!—решили все вместе.

Сошли с дороги, осыпая нависъ с деревьев и, как волки, по-нюху, след в след пошли через колодье. На опушке в елках, до бела ободранных топором, потрескивал огонек, стоят лисички. Над огоньком два чугунка, окаренок и два корытца со снегом и водою. Из корытец по трубке, точно березовик с лотка, бежит по суровой нитке «живая водица».

— С первачем!—говорит скаля зубы Васька парню,—как идет дело?

— Дело идет!—отвечает весело парень, поднимаясь и обтирая о полу руку,—отдохните.

И тут ненарушимый закон гостеприимства: так по всем лесам по всей России,—на горький дымок сходятся люди.

— Откушайте моего,—говорит парень и берет жестяную кружку, споласкивает в корытце и, нацедив из мутной бутылки, подносит по очереди всем, по полукружке. Самогон пахнет горько, болотом и гарью.

Выпив, садятся у огонька на лисички, свертывают из табака-самосева цыгарки.

— Летось дядя Хотей дочку отдавал,—говорит Аникон, закуривая от головешки,—клал в самогон сахарину, очень даже приятно.

— Можно обтравиться, — замечает Тит, — если много выпить этого сахарину. Дьякон пустошкинский так-то на участках пил-пил покуль дух вон. Мертвый и на двор приехал.

Под каждым «аппаратом» поставлен столбик-чурак. На столбиках бутылки. По нитке из холодильника-трубки каплет в бутылки слеза за слезою...

— Что слышно нового, дядя Тит?—спрашивает парень, поправляя под чугунком.

— Наше новое,—говорит Тит,—бабка на дедку, дедка на бабку, от и весь конец!

— Уголь возили?

— Возили уголь. Наши на станцыи слышали: в некакой губерни пал, говорит, с небу агромадный камень, пол'уезда прикрыл, а теперча горит вся губерня, народ кто куды. Чего зубы скалишь? Очень даже возможно!

— Чего невозможно!—отвечает смешливый Васька.

— Видали на станцыи,—эти самые играют в очко, на столе мильярды, как копейки.

— Чего не играть,—замечает Аникон.

— А то разве так бы сидели? Все бы великий пост был.

Слеза за слезою каплет в бутылки живая водица. Парень сменяет в корытах согретую воду, подмазывает глиною чугунки. Лес стоит молча, кроет и зверя и человека. По лесу пахнет гарью и елкой.

— Перед самою этою штурмой шел заяц русак,—говорит длинный Аникон,—а нынче опять пошел беляк. У стариков такая предмета: как пойдет беляк—к капиталистам.

— Да-а,—вспоминает Тит, глядя на лупленые елки,—покойничка Иван Никитича теперь бы на лесок взглянуть.

— Поредел лесок!

— Котовье это, об'езчики, попили, погуляли,—отзывается от огня парень:—кому одна хата нужна была—поставил две.

— Много и зря пошло,—говорит Тит,—другой дядя пятистенку какую выставил, так и мокнет под дожжем.

— У кого было, тот и поставил две, а у кого мышь в закроме голову разобьет, тот и по-теперь без крыши сидит.

— Да-а,—опять говорит Тит,—наш вот наезжал, сам видел!

— Гагарин?

— Только зашел у за угол, сел до-«ветру»,—Господи ж Боже ж из-за угла: тр-р-р!.. Самый, как есть, он! И жеребец вороной, желваки перекатываются. Я и портки подхватить не поспел.—Тр-р-р!.. «Тит, ты?» «Я, я,—говорю,—а не вы ли к нам, Ляксандра Семеныч, будете?» Гляжу, под кудластым воротником зубы блестят: самый он...

— Ну?

— «Вались, говорит, в сани,—не стоит мой жеребец!» Ну и пахнули мы за деревню, аж залепило глаза. Прикатился он этак плечом: «а ну, как мой лесок?» И глазом. «Что ж лесок, погубили лесок!» — говорю. «А сучья?» «Сучья? Сожгли, говорю, сучья!» «Эх, зря,—говорит,—нужны будут, вашему брату ж... пороть!..»

— Ишь куды гнет,—замечает Васька,—держи карман!

— Чего гнет,—говорит Аникон,—у его право.

— Да-а... «Это я смеюсь, говорит, не робей, Тит!» «Чего робеть, да вы сами откедова к нам?» «А я теперь, говорит, занимаю службу, большими делами кручу,—похлебал, говорит, и я голых щец, а теперь будя, теперь, говорит, я в-во! Шуба у его богатющая нараспах, снегом всего закидало: в передок—та-та-та... та-та-та... «Что же, спрашиваю, на долго ль к нам?» Смеется. «Долго, говорит, не пробуду!».

— Раздобрел, стерьва,—говорит Аникон.

— О чем же ты с ним?—спрашивает Васька.

— «А не слыхать ли, спрашиваю, у вас, Ляксандра Семеныч, не будет ли сбавки с продналогу?» А он как гаркнет: «возить, говорит, вам не перевозить!» да как захохочет, аж дыбком волос:—«Прощай, говорит, до свиданья, оставайся здравым!»... Глянул я окрут,—как есть один, на самой на дороге, в одной рубахе и шапка на снегу...

— Вроде, значит, как придвиденье?

— Придвиденье не придвиденье,—говорит Тит,—а вроде как бы и так.

— Бывает,—замечает от огня парень,—у нас летось в Брусовом бору барина Пенского видели: сидит на бревне, картуз в руках, и пни считает.

— Да-а,—говорит Тит,—схватился мужик за бороду—цап! а бороды нету, так и наш брат!—Ну, спасибо за угощенье. Докурили.

Подымаются Тит, Аникон и Васька, подают парню руки, поправляют сумки и идут в лес по лесной тесной тропке, где ночью по свежей пороше прошли три волка, след в след. Идут по лесу: впереди Тит, посреди Васька и сзади длинный Аникон.

Падает с деревьев снежная нависъ: то на елку взвершилась от людей белка.

Гражданская война.

Виктор Хюго, из книги «Страшный Год».

Май 1871 г.

I.

РАССТРЕЛЯННЫЕ.

Война, которая ждет Тацита и оттолкнет Гомера:
Победа завершается всеобщею резнею,
Удовлетворенные безжалостны. Я слышу
Речи:
«Надобно покончить со всеми недовольными».
Альцист сегодня расстреливается Филинтом.
Валяйте. Всюду смерть. Но ни единой жалобы.
Невызревшая рожь, подкошенная роком.
О, народ!
Его ведут к подножью глухой стены.
Пусть так. Они повержены враждебной бурей.
Муж говорит солдату, взявшему его на мушку: «Прощай, товарищ».
Жена же говорит:
«Мой муж убит. Довольно.
Не знаю, прав ли он иль нет, но знаю,
Что вместе мы влачили нашу долю,
Мы были скованы единой цепью. Ежели отнимут
Его, к чему мне жить? А раз
Расстрелян он, то надо, чтоб умерла и я. Спасибо».
И по перекресткам растут нагроможденья трупов.
В толпе других проводят двадцать девушек.
Они поют. Их красота, спокойствие, невинность
Тревожат смутную толпу. Прохожий
Вздрагивает. «А вы куда?» он спрашивает самую красивую.
«Мне кажется, что нас ведут расстреливать».
Зловещий грохот внутри казарм Лобо:
То гром распахнутых и замкнутых дверей могилы.

Там груды расстрелянных, но слез не видно.
Как будто их смерть едва касается,
Как будто они торопятся бежать из мира жестокого, слепого,
И с радостью встречают свое освобожденье.
Никто не дрогнет. К той же стенке ставят
Внука и деда. Дед насмехается, а мальчик —
Кудрявый, радостный кричит со смехом: «Пли!»
И этот смех и это трагическое равнодушье—откровенье.
О, ледяная бездна. О, загадка, перед которой теряется пророк:
Так значит они не держатся за жизнь, так значит жизнь их
такова,
Что им уйти из мира безразлично.
И это в мае месяце, когда все хочет жить, когда
Душа сливается с расцветом всех вещей.
Тем девушкам сбирать бы розы,
Ребенку бы играть лучом зари,
Зиме бы старика растаять в майском солнце!
Их душам быть как полные корзины
Цветов и запахов, жужжащих пчел
И полниться весенним птичьим пеньем,
Быть трепетом любви, быть лепестком рассвета...
И что же? В этот прекрасный месяц радости и хмеля —
О! ужас,—смерть встает—внезапная, слепая,
Безглазая, безжалостная!
О, как они должны кричать, взывая к небу,
Рыдать и трепетать и звать на помощь город,
И нацию—всю Францию, и нас.—
О, как они должны молить штыки и ружья, пушки,
С руками простертыми, сжав кулаки; ослепшие от слез, —
Лезть на стены, цепляться за прохожих,
Стараться убежать, бороться у могилы,
Кричать: «на помощь, к нам, спасите, убивают!»
Нет! Чуждые всему, что совершается.
Они глядят на смерть, которая пришла за ними:
Ну пусть! Они не сделают ей чести удивляться.
Они сжились издавна с этим зловещим призраком.
А в их сердцах могила давно уж вырыта:
Здравствуй, смерть!
Жить вместе с нами — это их душило,
И они уходят. Что сделали мы им?
О, позднее открытье. Кто ж мы сами, ежели они
Кидают этот мир и всех людей
Без сожаления, без крика, не желая унизиться до слез?

М. Волошин.

II.

НА БАРРИКАДЕ.

На баррикаде посреди камней,
Запятнанных преступной кровью и омытых кровью праведных,
Мальчишка лет двенадцати захвачен вместе с коммунарами.
«Эй, ты! из ихних, что ль?»
Ребенок отвечает: «Мы были вместе».
«Ладно,—промолвил офицер:—ты будешь расстрелян с ними вместе.
Стань в очередь».
Сверкнули выстрелы. Ребенок видит,
Как рухнули товарищи к подножию стены.
Он просит офицера: «Позвольте сбегать домой,
Чтоб матери отдать часы».
— «Ты хочешь улизнуть?»—«Нет, я вернусь».
«Все эти негодяи—трусы. Где ты живешь?»
— «Там около фонтана. И я вернусь, мой капитан».
— «Брысь, постреленок». Мальчишка убежал—убогая уловка.
Солдаты хохочут вместе с офицером.
Хрип умирающих мешается со смехом.
Но смех утих, когда внезапно мальчик —
Бледный и гордый—появился вновь,
Сам подошел к стене и им сказал: «Я—здесь».
Бессмысленная устыдилась смерть и офицер его помиловал.
Дитя, я сам не знаю в этом урагане,
В котором смешалось все: добро и зло, геройство и злодейство,
Что в эту схватку тебя влекло, но говорю,
Что дух незрячий твой—высокий дух,
Мужественный и прямой—ты сделал на дне последней бездны
Два шага: один навстречу матери, другой—навстречу смерти.
Ребенок, который предпочел спасенью, бегству, жизни,
Весне, расцвету, детским играм—стену,
У которой пали его друзья,—прекрасен.
Слава поцеловала тебя в чело, о мужественный отрок!
Ты был бы в древности отмечен Стезихором,
Чтоб защищать одни из врат Аргоса,
Ты был бы вписан в ряды священных отроков
Тиртеем в Сицилии, Эсхилом в Фивах,
Твое бы имя было начертано на медных досках,
Ты был бы одним из тех, во след которым дева
С кувшином на плече, у водопоя, где дремлют буйволы,
Глядит задумчиво, не в силах оторвать взволнованного взгляда.

М. Волошин.

Нашедший подкову.

(Пиндарический отрывок.)

Глядим на лес и говорим:
Вот лес корабельный (мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю).
Одинокими пиниями
В раз'яренном безлесном воздухе
Под соленою пятою ветра (устоит отвес) пригнанный в пляшущей
палубе.
И мореплаватель
(В необузданной жажде пространства),
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.

И вдыхая запах
Смолистых слез (проступивших сквозь обшивку корабля.
Любуясь на доски)
Заклепанные, слаженные переборки
Не вифлеемским мирным плотником, а другим
Отцом путешествий, другом морехода.
Говорим.
И они стояли на земле
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном кряже
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу (выменять на щепотку соли)
Свой благородный груз.

С чего начать?
Все трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.

Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой
И легкие двуколки
(В броской упряжи), густых от натуги птичьих стай,
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.
Трижды блажен, кто введет в песнь имя:
Украшенная названием песнь
Дольше живет среди других—
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного одуряющего
запаха
Будто близость мужчины
(Или запах шерсти сильного зверя)
Или просто дух чобра растертого между ладоней.

Воздух бывает темным, как вода, и все живое в нем плавает, как
рыба,
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую.
Хрусталь, в котором двигаются колеса и шарахаются лошади,
Влажный чернозем Нееры (каждую ночь распаханный заново
Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами),
Воздух замешан так же густо, как земля,—
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.
Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой;
Дети играют в бабки позвонками умерших животных.
Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было,
Я сам ошибся (я сбился), запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая.
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко» (или: «Я не дам тебе яблоко»),
И лицо его точный слепок с голоса, которым он произносит эти
слова.
Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами,
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.

Так,
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит,
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры из кремня.

Человеческие губы,
Которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова.
И в руке остается ощущенье тяжести,
Хотя кувшин
Наполовину расплескался,
пока его несли домой.
То, что я сейчас говорю, говорю не я
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.
Одни
на монетах изображают льва,
Другие —
голову,
Разнообразные, медные, золотые и бронзовые лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле,
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

О. Мандельштам.

Бокс на о. Кубе.

Шарахнулись припевы Кубы,
Лассó взметнувший вдруг ковбой.
Матч бокса возвестили трубы,
Меж негром и испанцем бой.
Кофейный дух садов созрелых
Жестоко волновал телá.
Страсть тяжкой ненависти Белых
Заране Джемса обрекла.
Следили ход борьбы кулачной,
Удар, отпор, наскок и хрип
И требовали, ждали мрачно,
Чтоб негр упал, чтоб негр погиб.
Кнок-аут! он пошатнулся, прянул —
И сшиблен. Вот зубов оскал
И тотчас марш беспечный грянул
И белый скот рукоплескал.
О негр! толпы враждебной узник,
Наперекор твоей судьбе,
Я, твой единственный союзник,
Один рукоплескал тебе!

Валентин Парнах.

Полоса.

Бесперечь в поле работа умает и дюжего парня,
Девке ж семнадцатый год, только в невесты вошла,
К полдню последнее просо дожала, снопы становила,
На казакин прилегла рядом с полынной межой.
Солнце у бабьего лета не жарко. Летит паутина,
Ниткой за девкин платок остановилась, дрожит.
Шустрый кузнечик не раз поскакал через платье, натужил
Голень, и девке на грудь, как озорничая, скок!
Нет, не проснулась. Румяные щеки—румяней, две пряди
Бровь призакрыли, рука к бусам коснулась едва.
Даже телега (на что уж трясуча у деда Ипата!)
Девкин разымчивый сон все ж не могла пробудить.
Из-под колес поразбрызгало пылью и в облаке белом
Мимо проехал Ипат, глянув, подумал старик:
«Девка в работе сгорела, с того ее кинуло навзничь,
То-то добро хорошо, парню как есть любота!»

П. Радимов.

* * *

Стал голос хриплый, волос грубый
И грузны руки, как кряжи,
А у тебя все те же губы
И за ресницей — как во ржи.
От этой непосильной лямки
Уж еле переводишь дух,
А тут в глазах играют ямки
И в ямках золотится пух.
И так завидно, что улыбка
Не сходит с твоего лица,
Когда ты клонишься над зыбкой,
Поешь в полутени светца.
И будешь петь ты так же нежно,
Какая б ни прошла гроза:
За пологом пророс подснежник,
Цветут душистые глаза.

С. Клычков.

Из книги «О любви».

Был воздух синь, и густ, и шелков;
Наощупь пробуй,—режь, да шей,
Его, как штору, вдруг отщелкнув,
Мы в ночь вытягивали шею,
Этаж девятый — шутка ль право?
Поближе двинься на вершок —
В бессрочный отпуск вмиг отправит
И пыль сметет, как порошок.
Ах, лучше: меж стеной и дверью
Друг друга в темноте сыскать,
Чтобы одной сплошной артерией
Тревожно бились два виска,
Чтоб сердце рвалось на осколки,
Чтобы до самых губ—весну
Гудящей кровью, водной Волгой,
Волнами страсти доплеснуть,
Чтоб, в раннем утре розовея,
Громадный, как моя любовь,
Многоэтажный Нирензее
В шум улицы кидал нас вновь,
И ветер палицею в спину
Подкарауливал с угла,
Чтоб не видала я, как стынут
Два солнца золотистых глаз.

В. Ильина.

Демократическая контр-революция.

И. Майский.

(Окончание.)

14. Уфимское Совещание.

Государственное Совещание открылось в Уфе не 1-го, как предполагалось, а лишь 8-го сентября. Задержка была вызвана, с одной стороны, некоторыми осложнениями на фронте, а с другой,—невозможностью для представителей сибирского правительства во-время прибыть на совещание.

Совещание происходило в обширном помещении «Сибирской гостиницы». Весь дом был временно реквизирован и предоставлен в исключительное распоряжение участников Совещания. Внизу была устроена комендатура, в номерах расположились делегаты правительств, партий и общественных организаций, в большом зале гостиницы, снабженном эстрадой, происходили пленумы совещаний, в малых залах заседали различные комиссии. Снаружи гостиница охранялась военными караулами, а внутри круглые сутки работал ресторан.

Состав Совещания был пестр и сравнительно многочислен. В него входили прежде всего представители различных правительств—самарского, сибирского, екатеринбургского, делегаты казачьих войск — оренбургского, уральского, астраханского, сибирского, енисейского, иркутского, семиреченского, все члены Учредительного Собрания, уполномоченные местных самоуправлений и национальных групп, а также политических партий (с.-р., с.-д., н.-с., к.-д., организация «Единства») и «Союза Возрождения России». Кроме того, по какой-то странной прихоти судьбы, в Уфе заседали представители белого правительства Эстонии, о котором в тот момент точно не было известно, существует ли оно в природе или нет. В общей сложности Совещание состояло из 160—170 человек, из которых около 60-ти были членами Учредительного Собрания.

В партийном отношении публика была весьма разношерстная: на левом фланге стояли меньшевики, на правом — казачьи генералы с оренбургским атаманом Дутовым во главе. Между этими двумя крайними точками располагались все остальные. Эс-эры были представлены своими лучшими силами,— здесь присутствовали Авксентьев, Брешковская, Аргунов, Моисеенко, Ген-

дельман, Зензинов, Вольский, Веденяпин, Архангельский, Филипповский и др. Чернова однако не было, так как он еще не появлялся на «территории Учредительного Собрания». Видное место занимали «возрожденский» генерал Болдырев и левый кадет с Урала Л. А. Кроль. Из представителей национальных групп бросались в глаза киргиз Букейханов и башкир Валидов.

Самая процедура открытия Совещания была обставлена весьма торжественно и в полном соответствии с требованиями «старого режима». 8-го сентября днем на Соборной площади был отслужен молебен, за которым последовал воинский парад. Меньшевики и левая часть эс-эров на площадь не пошли, но правые эс-эры сочли своим долгом во имя «единения всех государственно-мыслящих элементов» подойти под благословение служившему молебен епископу Андрею. Самое открытие Совещания состоялось в 5 часов дня в большом зале «Сибирской гостиницы», при чем на нем в качестве почетных гостей, кроме чехов и французского представителя Жано, присутствовали только что упоминавшийся епископ Андрей и мусульманский муфтий.

Первую приветственную речь произнес Авксентьев. Она продолжалась 45 минут и была наполнена тем ничего не выражающим словесным хламом, до которого всегда был таким охотником этот превыспренний оратор. Из слов Авксентьева можно было однако понять, что он очень рад видеть собравшихся здесь представителей «возрождающейся России», что он верит в успех начинаемого дела, и что он глубоко благодарен «братьям» чехо-словакам и «верным и благородным союзникам», без которых не могло бы собраться уфимское Совещание. В своей речи Авксентьев, между прочим, сообщил, что делегация сибирского правительства еще не успела прибыть, — она должна была явиться на два-три дня позже,—но что сибирское правительство «душою с нами и переживает те же чувства и чаяния, что и мы».

Зато Сибирская Областная Дума своевременно прислала свою делегацию в Уфу, и выступивший от ее имени с приветствием с.-р. Карпов посвятил свою речь восхвалению принципов народовластия и утверждению авторитета Учредительного Собрания. Самарская публика ему усиленно хлопала, но на лицах правых выступление Карпова вызвало лишь кислую гримасу.

Дальнейшая часть заседания прошла серо и однотонно: все приветствовали, и все выражали надежды, хотя, повидимому, лишь немногие верили в их осуществление. Единственно ярким моментом явилось выступление председателя Комитета членов Учредительного Собрания Вольского. В своей краткой речи, являвшейся как бы ответом на еще не высказанные, но уже явственно носившиеся в воздухе черные вожделения правых он, между прочим, сказал:

«Есть только один путь, которым государство может превратить народ в государственную силу,—это путь народовластия. Других путей нет... Мы верим, Совещание ни на секунду не забудет, что государственность без народа не существует. Если это будет всеобщей точкой зрения Совещания, то нетрудно будет найти пути, способы и формы образования временной государ-

ственной власти впредь до открытия Всероссийского Учредительного Собрания» [1]).

Вольскому была устроена шумная овация со стороны левого крыла Совещания, в которой впрочем приняли участие и люди центра и даже отдельные представители правых. Молчание сохраняла лишь сравнительно немногочисленная группа казачьих генералов и наиболее черносотенных из кадетов. Овация послужила первой пробой сил, и с несомненностью выяснила, что пока на Совещании доминирует левое «самарское» крыло. О том же гласили и выборы президиума: в него вошли Авксентьев, Моисеенко, Роговский и Мурашев, три эс-эра и один меньшевик. Правые в президиуме совсем не были представлены. Засилие левых было ясно видно даже на глаз. На первое заседание члены Комитета Учредительного Собрания и все им сочувствовавшие явились с красными гвоздиками в петлицах. Большая часть зала пестрела красными цветами. Для атамана Дутова это оказалось уж «слишком». Он встал и до окончания заседания вышел из зала, демонстративно громко бросив своему соседу:

— От красной гвоздики у меня голова разболелась!

Первое заседание окончилось избранием мандатной комиссии и несколькими постановлениями чисто формального характера. К настоящей работе решено было не приступать до приезда представителей Сибирского Правительства. Так как они запоздали не на два, а на четыре дня, то следующий пленум состоялся только 13-го сентября. В промежутке усиленно шла закулисно-кулуарная работа, которая составляет центральный пункт каждого с'езда. Делегации в «частном порядке» знакомились с мнениями друг друга, пытались создать группировки и нащупать почву для каких-нибудь соглашений и компромиссов. Особенную прыткость в этом отношении обнаружили двое членов Учредительного Собрания—В. Я. Гуревич и Е. Ф. Роговский. Их то-и-дело можно было видеть перебегающими из одного номера в другой с таинственно-озабоченными лицами и с соблазнительно выглядевшими записными книжками в руках. Они вечно шушукались то с эс-эрами, то с генералом Болдыревым, то с казачьими атаманами, стремительно носились по коридорам гостиницы и в поте лица своего создавали «единство всех государственно-мыслящих сил».

Второе заседание 13-го сентября было целиком посвящено оглашению деклараций, в которых различные правительства, партии и групп излагали свою точку зрения на желательное разрешение стоящей перед Совещанием задачи. Я не стану здесь подробно останавливаться на всех декларациях,—это завело бы меня слишком далеко,—я охарактеризую лишь те основные точки зрения, которые выявились во время указанного заседания.

На крайнем левом фланге стояли меньшевики. У меня случайно сохранилась декларация, оглашенная мною в заседании 13-го сентября от имени с.-д. делегации, и, так как этот документ ярко отражает взгляды меньшеви-

[1]) „Вестник Комитета членов Учред. Собрания" № 52, от 10 сентября 1918 г.

ков того периода в Поволжье и Сибири, я считаю не бесполезным привести его здесь полностью. Вот что он гласил:

«Задача борьбы против германского империализма и большевистской диктатуры, задача возрождения России из развалин глубокого экономического и политического распада повелительно диктуют безотлагательное создание авторитетной власти, способной твердо и искусно руководить судьбами страны в годину великих испытаний. Эта власть должна быть едина, ибо только единая власть, при условии признания местной автономии, может погасить в себе противоречивые стремления отдельных областей и народностей, в сумме составляющих Российскую державу. Эта власть должна быть сильна, ибо только сильная власть окажется в состоянии справиться с беспримерными трудностями нынешнего положения. Эта власть должна быть демократична, ибо только демократическая власть сможет в исключительных обстоятельствах переживаемого момента, установить прочный государственный и экономический порядок, опирающийся на политические и социальные завоевания февральской революции.

«Для нас, как представителей рабочего класса, вопрос об организации государственной власти, помимо общего, имеет еще свое особое значение.

«Пролетариат в октябрьские дни поддержал коммунистическую партию, по несознательности своей полагая, что одним ударом он сбросит с себя те социальные цепи, которые связывают его в рамках капиталистического строя. Неимеющие достаточного опыта классовой борьбы рабочие массы легко поддались уверениям, что установление диктатуры пролетариата в России зажжет пожар социальной революции во всем мире и прекратит мировую войну, истощающую силы всех народов. Но именно рабочий класс сильнее всех других классов пострадал от октябрьского переворота.

«Непрекращающаяся гражданская война, глубокое разложение народного хозяйства, растущая безработица, режим политического гнета в районах германской оккупации и жестокого политического террора в пределах Советской России—вот что принес с собой пролетариату октябрьский переворот. Так называемая «рабоче-крестьянская власть» превратилась в диктатуру вождей коммунистической партии, ради сохранения своего положения вступивших в союз с германским империализмом для борьбы с союзниками России.

«Естественн.. результатом подобного положения явилось пробуждение духа протеста и ... бы против большевистского режима в рядах пролетариата и широких слоев демократии. И, если в этой борьбе процесс сплочения и нарастания внутренних сил страны шел не так быстро, как нам того хотелось бы, то это в значительной степени об'яснялось опасениями демократии за будущее. Демократия не имела уверенности, что наследником большевистской власти не явится власть политической и социальной реакции. В ней сильны были опасения, что, даже при установлении демократии на развалинах большевистской диктатуры, государство может потерять способность самостоятельного развития, попав в зависимость от внешних политических сил. Все эти моменты продолжают действовать и в настоящее время, осла-

бляя активную борьбу демократии против большевистской власти в пределах Советской России.

«Вот почему, мы, как партия рабочего класса всей России, в интересах восстановления единства и независимости страны, при создании всероссийской государственной власти с особенным вниманием учитываем то влияние, которое характер и структура этой власти могут оказать на настроение широких слоев демократии в районе большевистского господства. Для нас приемлемы только такие формы власти, которые, обеспечивая основные завоевания революции, осуществимые в рамках капиталистического строя, способствовали бы мобилизации демократических сил против большевизма в сфере Советской России.

«До сих пор вся борьба демократии против большевистской диктатуры шла под знаменем полновластного Учредительного Собрания. Именно это знамя об'единяло силы демократии и противопоставляло их силам реакции, которые, ради свержения большевистского господства и подавления трудящихся классов, заигрывали с германским империализмом или даже, как на Украйне и на Дону, открыто опирались на него. Вместе с тем знамя защиты Учредительного Собрания было знаменем непризнания Брестского договора, знаменем возрождения страны внутренними силами демократии.

«Исходя из этих соображений, *мы решительно отвергаем всякие попытки насаждения военной диктатуры,* усиленно выдвигаемой в последнее время с разных сторон, в том числе и влиятельными торгово-промышленными кругами.

«Наоборот, мы полагаем, что в интересах укрепления внутреннего единства страны, в интересах введения до крайности обостренного классового озлобления в рамки нормальной классовой борьбы *желательно образование всероссийской власти на началах коалиции демократических и цензовых элементов,* об'единенных на определенной политической программе. Однако это соглашение не может покупаться ценой отказа от основных завоеваний февральской революции или такой структуры государственной власти, которая будет препятствовать мобилизации демократических сил.

«Не менее решительно, чем военную диктатуру, *мы отвергаем и сосредоточение всей верховной власти в руках одного бесконтрольного органа*— будь то директория из нескольких лиц или власть полномочного премьера, формирующего правительство по своему усмотрению.

«Правительство подобного рода не может быть той твердой властью с устойчивым направлением внутренней и внешней политики, которая нужнее всего в настоящее время. Ибо оно поддавалось бы воздействию со стороны безответственных кругов и лиц, как бы хорошо ни был подобран его персональный состав. Образование безответственного и бесконтрольного правительства не выведет страны из того состояния неустойчивости, в котором она находится, не даст ее населению уверенности в завтрашнем дне, которая так необходима для производительного труда.

«Нет, *только та власть окажется в силах справиться с стоящими перед ней исполинскими задачами, которая будет опираться в своей работе на по-*

стоянно действующий представительный орган, выражающий волю, желания и стремления всего населения страны.

«Таким органом может быть только тот орган, вокруг которого уже в настоящее время концентрируются силы демократии, под знаменем которого уже велась борьба с большевистской диктатурой за народовластие. Это *Учредительное Собрание первого созыва и действующий от его имени наличный состав членов Учредительного Собрания.*

«Мы не закрываем глаз на то, что со времени выборов Учредительного Собрания произошел значительный сдвиг в общественных настроениях,—поэтому мы считаем крайне необходимым назначение в кратчайший срок перевыборов в Учредительное Собрание. Однако мы признаем, что—впредь до созыва нового Учредительного Собрания—нынешнее Учредительное Собрание является наиболее полным и законным представительством всей страны. Одно лишь ограничение представляется нам желательным: памятуя о переменах, происшедших в настроении избирателей с ноября 1917 г., Учредительное Собрание настоящего состава должно из'ять из сферы своей компетенции издание основных законов Государства Российского.

«Впредь до открытия Учредительного Собрания, всероссийская власть должна опираться и должна быть ответственной перед с'ездом наличных членов Учредительного Собрания. Однако во имя возможно более широкого об'единения общественных сил, представленных на настоящем Государственном Совещании, мы считаем нужным настаивать на самоограничении сферы компетенции с'езда членов Учредительного Собрания до максимальных пределов, допускаемых основной целью, стоящей сейчас пред страной,—пробуждением народной самодеятельности и сплочением всех живых сил страны, способных к борьбе за возрождение единой, независимой и демократической России.

«В ответ на все возражения против установления зависимости власти от Учредительного Собрания мы считаем необходимым особенно подчеркнуть, что Учредительное Собрание первого созыва является единственным органом, на котором лежит печать всенародного избрания и всенародной ответственности за судьбы страны. Таких прав и такой ответственности не имеет ни одна из делегаций, участвующих в настоящем Государственном Совещании, и долг всех истинных представителей демократии—помочь членам Учредительного Собрания выполнить обязанности, которые на них возложила вся Россия, когда она еще самостоятельно и независимо распоряжалась своей судьбой.

«Наша партия, партия рабочего класса, помнит этот свой долг и готова всемерно поддержать власть Учредительного Собрания.

«Наша партия выражает вместе с тем глубокое убеждение, что, только идя намеченными ею путем, Россия сможет преодолеть смертельные опасности, стеснившиеся вокруг нее со всех сторон, и в упорной борьбе с внешними и внутренними врагами выйти на широкую дорогу демократического государственного строительства».

Итак, меньшевики стояли на точке зрения коалиционной центральной власти, ответственной перед Учредительным Собранием нынешнего состава

или его временным заместителем, комитетом членов Учредительного Собрания. Ту же линию поддерживали эс-эры и комитет членов Учредительного Собрания. Они только несколько конкретизировали эти общие положения, требуя, чтобы центральная власть состояла из директории в 5—7 человек, образующей при себе деловой кабинет министров. Приблизительно на той же платформе стояли и национальные группы, предлагавшие директорию в 7 человек (4 от комитета членов Учредительного Собрания, 1 от Сибирского правительства, 1 от казаков и 1 от национальностей), ответственную перед с'ездом наличных членов Учредительного Собрания.

На крайнем правом фланге стояли кадеты, которые устами Л. А. Кроля открыто заявили, что принципиально стоят на точке зрения единоличной диктаторской власти, но ввиду невозможности создать ее в данный момент, готовы мириться, как с меньшим злом, с директорией, однако при условии, что последняя будет полновластна и не ответственна ни пред каким представительным органом впредь до нового Учредительного Собрания, срок созыва которого они, однако отказывались даже приблизительно указать. Позицию кадетов всецело поддерживало Сибирское правительство [1]), от лица которого выступали И. И. Серебренников и В. В. Сапожников, и «Союз Возрождения России», от имени которого говорил генерал Болдырев. Столь резкое отрицание принципа народовластия пришлось не по вкусу даже казачьим представителям, в среде которых имелось некоторое количество более прогрессивных элементов (например, уральское казачество). Поэтому, примыкая в общем и целом к взглядам к.-д., казаки однако считали необходимым впредь до избрания нового Учредительного Собрания созывать государственные совещания типа уфимского в тех случаях, когда директории придется решать вопросы о войне и мире.

Между указанными крайними флангами имелся центр, наиболее яркими представителями которого были народные социалисты. Они полагали, что центральная власть должна состоять из директории, назначающей деловой кабинет министров, и быть ответственной пред периодически созываемым государственным совещанием такого же характера, как уфимское. Н.-с. поддерживали представителя екатеринбургского правительства, эстонского правительства и с.-д. группы «Единства», при чем представители эстонского правительства требовали, чтобы члены директории вышли из своих политических партий, а представители «Единства» полагали, что постоянное государственное совещание должно быть наделено по отношению к директории только правом интерпелляции, дабы «не мешать» последней работать.

Кроме представителей российских правительств и партий, на том же заседании 13-го сентября выступили и чехо-словаки. Еще накануне уфимского совещания Чехо-Словацкий Национальный Совет в России опубликовал особую декларацию по вопросу о создании всероссийской власти, в которой, между прочим, писал:

---

[1]) См., между прочим, Г. К. Гинс: Сибирь, союзники и Колчак, 1921, Пекин, т. I, стр. 205.

«Чехо-словацкое войско в надежде, что русское общество возьмется за дело восстановления своей военно-государственной организации, решило принести посильную жертву во имя спасения братской России. К сожалению, дело восстановления не только политической, но и военной власти подвигается слишком медленно... до сих пор тяжесть военных действий не равной мерой падает на чехо-словацких солдат. Принцип создания добровольческой армии ни в Сибири, ни на территории самарского комитета не дал удовлетворительных результатов. Частичная мобилизация была осуществлена только на территории самарского комитета среди казаков и башкир, но результаты этого призыва до сих пор мало были использованы на фронте... Вместо обще-государственного строительства мы являемся свидетелями какой-то таможенной войны между отдельными частями русского государства. Отсюда уже недалеко к незнанию или непризнанию единого русского государства».

Заканчивая свою декларацию, Чехо-Словацкий Национальный Совет выдвигал следующую программу для создания единой всероссийской власти: возрождение и об'единение России, непризнание брест-литовского мира и возобновление борьбы совместно с союзниками против центральных империй. Будущее всероссийское правительство должно было, по мнению чехов, сосредоточить в своих руках управление делами военными, финансовыми и иностранными, в остальном соблюдая принцип широкой автономии областей [1]).

На описываемом заседании представитель чехо-словацких войск, передавши содержание только что изложенной декларации, с особенной энергией подчеркнул крайнюю необходимость поспешить с созданием всероссийской власти.

— Положение,—говорил он,—с каждым днем становится все серьезнее. Нельзя терять ни минуты. Уфа и Казань являются двумя грозными предостережениями (оратор имел в виду прорыв отряда Каширина под Уфой в конце августа месяца и неудачи под Казанью, совпавшие с началом совещания). Если их голос не будет услышан, гибель «русской государственности» неизбежна. Чехов не столько интересуют детали организации будущей власти, сколько самый факт создания этой власти. Она должна быть создана, и чехи надеются, что здесь в Уфе она действительно будет создана.

Выступление чехов на заседании 13-го сентября несомненно было ярким фактом вмешательства иностранцев во внутренние русские дела. Оно шло в разрез с прежними горделивыми заявлениями комитета членов Учредительного Собрания о том, что он принимает вооруженную помощь союзников лишь при условии их полного воздержания от какого бы то ни было влияния на политическую жизнь страны. Однако теперь никто из членов Комитета даже не моргнул глазом. Их уверенность в своей силе к этому времени уже настолько ослабела, что они были довольны чешским выступлением: ведь оно представляло весьма увесистый козырь в борьбе за создание всероссийской власти, которое саботировали местные правительства, в особенности правительство Сибири.

---

[1]) См. Самарский „Волжский День“ от 5 сентября 1918 г.

После оглашения деклараций совещание единодушно решило, что все вопросы, стоящие на его обсуждении, должны решаться не с помощью голосования, а путем соглашения всех участвующих в совещании делегаций. Затем было постановлено, что вопрос о создании всероссийской власти для предварительной разработки сдается в «согласительную комиссию», в которую должны войти по одному представителю от каждой делегации. На следующий день, 14-го сентября, названная комиссия была сформирована в составе 23 лиц. Комиссия эта на первом же заседании конституировалась и немедленно приступила к своим работам.

День образования «Согласительной Комиссии» явился вместе с тем днем одного чрезвычайно важного события, которое сыграло роковую роль в судьбах уфимского Совещания: 14-го сентября пала Казань, занятая красными войсками. Эта дата является как бы водоразделом между двумя периодами государственного совещания. До 14-го сентября перевес на Совещании в общем и целом был на стороне «левого» лагеря, после 14-го сентября перевес все больше начал склоняться на сторону правых элементов. Таков был морально-политический эффект первого серьезного поражения на фронте, понесенного Комитетом членов Учредительного Собрания.

Взятие Казани большевиками сыграло известную роль и в моей личной судьбе. Так как в Уфе были получены сведения, что в связи с неудачами на фронте настроение в Самаре становится неуверенным, было решено, что все члены уфимского Совещания, являющиеся в то же время членами Совета Управляющих Ведомствами, должны немедленно вернуться к исполнению своих обязанностей. Вечером 14-го сентября я вместе с Филипповским, Раковым и др. коллегами по правительству выехал из Уфы и на следующий день к ночи очутился в Самаре. В «столице Учредительного Собрания» господствовало военное положение, и после 11 часов вечера никто не имел права появляться на улице. Мы долго звонили с вокзала в помещение комитета и еще дольше дожидались высланного за нами автомобиля. Только около двух часов нам удалось, наконец, покинуть наш вагон. Ночь была темная и туманная. Огни в домах были везде потушены, и на улицах не было видно ни души. Город казался точно вымершим. На каждом углу стояли военные патрули. Наша машина с гулким ревом прорезала жуткую тишину, нависшую над Самарой, и яркие огни ее фонарей фантастически отражались в волнах клубящегося тумана. Несколько раз нас останавливали по дороге раз'езды и проверяли наши документы. Когда наш мотор, наконец, остановился у гостиницы «Националь», где помещались члены правительства, мы невольно вздохнули с облегчением.

С следующего дня началась обычная деловая работа, но мысленно мы ни на минуту не отрывались от Уфы. Мы на все лады судили и рядили о возможных исходах Государственного Совещания и с нетерпением ожидали сообщений и известий обо всем, там происходившем. Мы старались также отсюда, из Самары, оказывать возможное влияние на ход уфимских дел. Обычно каждый вечер перед заседанием Совета Управляющих Ведомствами я говорил по прямому проводу с Уфой, затем приходил с лентой разговора

в руках на заседание Совета, где полученные новости подвергались детальному обсуждению, и затем, если оказывалось необходимым, после окончания заседания передавал наши мнения и пожелания по проводу в Уфу. Благодаря этому мы все время находились в тесном контакте с Государственным Совещанием, внимательно следили за происходившими там событиями и заранее знали о всех намечающихся проектах и комбинациях. Однако, чем дольше тянулись переговоры, тем менее оснований мы имели для какого-либо оптимизма.

Порядок работ «Согласительной Комиссии» был намечен следующий: сначала она должна была разрешить вопрос о конструкции всероссийской власти, а затем уже заняться персональным составом будущего правительства. «Согласительная Комиссия» работала очень усердно, заседая утром и вечером, но все-таки ей потребовалось целых пять дней для того, чтобы прийти к некоторым заключениям относительно характера, который должна была носить всероссийская власть. Внутри Комиссии пестрота мнений была очень велика, и привести ее к одному знаменателю было делом не лёгким.

Как и на пленуме Совещания, в комиссии на крайнем левом фланге оказались меньшевики, которые категорически настаивали на подчинении будущей власти Учредительному Собранию первого созыва, а впредь до его открытия Самарскому Комитету. Эта точка зрения очень скоро была отвергнута всеми остальными делегациями, включая делегацию П. С.-Р., и тогда представитель с.-д. заявил, что он остаётся дальше в Комиссии лишь в качестве наблюдателя.

Затем начался длительный торг между «левой» и «правой». Правая, группировавшаяся около Сибирского правительства, требовала полной безответственности всероссийской власти, левая, с эс-эрами во главе, вначале не хотела об этом и слышать. Однако правые, ободренные неудачами Комитета на фронте, наступали все решительнее и нахальнее. Под их натиском левая очень быстро стала гнуться и сдавать позиции, тем более, что в рядах левой никогда не было полного единства. Левая, после самоустранения меньшевиков, состояла главным образом из эс-эров и представителей национальных групп. Надо откровенно сказать, что «националы» держались в Уфе гораздо крепче и лучше, чем эс-эры. Не эс-эры подпирали «националов», а, наоборот, «националы» все время подпирали эс-эров. В эс-эровском же лагере происходило столь обычное для этой партии внутреннее дробление. Наиболее многочисленно было левое крыло эс-эров с Вольским во главе. Оно настаивало на подчинении всероссийской власти Учредительному Собранию и грозило пойти чуть ли не на разрыв, если его требование не будет исполнено. Конечно, это были только слова, которые, как показало дальнейшее, не принимались всерьез даже теми, кто их произносил. Менее многочислено было правое крыло, во главе которого стоял Авксентьев, поддерживавшийся Аргуновым, Брешковской, Моисеенко и др. Однако влияние правого крыла далеко превосходило его численное значение благодаря тем связям, которые оно имело с Сибирским правительством и казаками. Между правым и левым крылом

суетилась третья группа во главе с Гендельманом, которая пыталась играть роль «честного маклера» между обеими спорящими сторонами. И так как эс-эры всегда остаются эс-эрами, то в результате мышиной возни в недрах эс-эровской фракции линия ее поведения на Совещании день ото дня все больше загибалась вправо. Начав совместно с меньшевиками с категорического требования подчинения будущей всероссийской власти Учредительному Собранию (или Комитету членов Учредительного Собрания), эс-эры постепенно под давлением правых спускались со ступеньки на ступеньку и, наконец, пришли почти к полному отказу от своей первоначальной политической программы.

В самом деле, принятые комиссией и одобренные пленумом в заседании 18-го сентября общие положения о характере и программе всероссийской власти по существу представляли победу правых элементов. Согласно этим положениям, всероссийская власть должна была состоять из пяти лиц, персонально избираемых Уфимским Совещанием и фактически ни пред кем и ни пред чем не ответственных. Пятерка являлась директорией, которая должна была создать ответственный перед ней деловой кабинет министров. В утешение эс-эрам постановлялось, что директория обязана дать отчет о своей деятельности данному Учредительному Собранию после возобновления им своих заседаний. При этом было определено, что Учредительное Собрание имеет право возобновить свои заседания 1 января 1919 года, если к этому времени будет иметься на-лицо 250 депутатов. Если же такое число их к указанному сроку не соберется, то Учредительное Собрание могло открыться 1 февраля 1919 года при кворуме в 170 человек. Делая эти уступки, правые решительно ничем не рисковали: для всякого, находившегося в то время в Заволжьи, было совершенно ясно, что потребного для открытия Учредительного Собрания количества депутатов не удастся собрать ни к 1 января 1919, ни к 1 января 1920 г. Директория, таким образом, получала в свои руки всю полноту власти.

Наоборот, левые теряли от заключенного компромисса очень много. Всероссийское правительство становилось не только бесконтрольным, но даже и тот оплот эс-эров, который представлял из себя Комитет членов Учредительного Собрания, теперь должен был пойти на слом. В резолюции, принятой Государственным Совещанием 18-го сентября, между прочим, значилось, что «все функции областных правительств должны быть переданы центральному правительству, как только оно потребует», и что «мудрости правительства предоставляется во всем остальном установить границы взаимной компетенции между ним и местными органами власти». На бумаге это означало что как Самарское, так и Сибирское и все прочие областные правительства отныне подлежат уничтожению. На практике, однако, ввиду черных туч, сгущавшихся на горизонте, можно было предвидеть, что данное решение своим острием прежде всего обратится против Комитета членов Учредительного Собрания.

Но что же должны были делать впредь до открытия Учредительного Собрания его на-лицо находящиеся члены?

Соглашение определяло их роль весьма странно. Все они в совокупности должны были образовать «С'езд членов Всероссийского Учредительного Собрания», представляющий собой «постоянно действующее государственно-правовое учреждение» (§ 2-й «Положения о С'езде членов Всероссийского Учредительного Собрания»). Цели «С'езда определял § 5-й «Положения», который гласил следующее:

«С'езд имеет своей задачей обеспечить возобновление деятельности Всероссийского Учредительного Собрания к 1 января 1919 года при кворуме в 250 членов и, в крайнем случае, к 1-му февраля того же года при кворуме в 170 членов. С этой целью С'езд принимает все необходимые меры к ускорению приезда всех членов Учредительного Собрания, производит предварительную проверку депутатских полномочий, имеет попечение о производстве выборов в тех избирательных округах, где они еще не были произведены или закончены, образует комиссии для подготовительной разработки важнейших законодательных мероприятий для Учредительного Собрания—и вообще производит все действия, направленные к возобновлению деятельности Учредительного Собрания и подготовке его работ».

§ 12-й особо формулировал право С'езда издавать «свой печатный периодический орган, свои труды и работы, способствующие деятельности Всероссийского Учредительного Собрания». «Все расходы, связанные с деятельностью С'езда, должны были покрываться из средств государственного казначейства» (§ 4), а взаимоотношения «С'езда» и директории определялись следующим пунктом:

«С'езд действует в сфере своей компетенции самостоятельно, независимо от Временного правительства и его органов, сам устанавливает продолжительность своих сессий и сроки своих заседаний. Кворум и внутренний распорядок работ С'езда определяется особым наказом, выработанным С'ездом, и распубликовывается, согласно постановления о том С'езда».

Далее устанавливалось (§), что члены С'езда не могут без разрешения последнего подвергаться обыску или аресту, и что в распоряжение «С'езда» правительством должна быть предоставлена особая воинская команда (§ 11).

Таким образом, на-ряду с Директорией создавался своеобразный представительный орган, насколько мне известно, еще не имевший прецедентов в политической истории. Директория перед ним не была ответственна, но и он не был подчинен Директории. Два эти учреждения просто существовали рядом на одной территории, не имея между собой никакой органической связи.

Вместе с тем нетрудно было предвидеть, что в процессе дальнейшего развития между этими двумя учреждениями неизбежна была борьба. Правда, «Положение» определяло задачи «С'езда» не то в виде какой-то транспортной конторы по доставке в Поволжье членов Учредительного Собрания, не то в виде агитационно-пропагандистского отдела эс-эровской партии, однако едва ли могло подлежать сомнению, что «С'езд» в своем собственном сознании ощущал себя органом власти, лишь временно приостановившим выполне-

ние своих функций. Через 3—4 месяца период политической спячки должен был кончиться, и «С'езд» должен был снова превратиться в лице Учредительного Собрания в единственного и исключительного «хозяина земли русской». «С'езд», таким образом, был вторым правительством в скрытом виде. Два правительства на одной территории—вещь, конечно, совершенно невозможная, и открытая война между ними должна была начаться тем скорее, чем дальше расходились бы их политические линии. Последствия вполне доказали правильность указанных соображений, но в то время о будущем думали мало. Просто надо было найти выход из тупика, в который попало Уфимское Совещание, и все были удовлетворены, что принято какое-то решение — умное или глупое, безразлично,—в данный момент, приемлемое для обеих сторон.

Суммируя все сказанное выше, нельзя было не прийти к выводу, что соглашение, принятое Уфимским Совещанием 18 сентября, являлось крупным поражением «левого» лагеря. Одна и чрезвычайно важная позиция была потеряна, главным образом, благодаря мягкотелости и раздробленности эс-эровской партии. Однако битва еще не была окончательно проиграна. Предстояло еще наметить персональный состав Директории. Это была также весьма серьезная позиция, ибо от того, кто именно будет возглавлять всероссийскую власть, в сильнейшей степени зависело, как и против кого будет использована только что созданная конституция. Но и эту, вторую позицию левое крыло не сумело защитить и сдало ее без сколько-нибудь серьезного боя черной сотне.

Меньшевики и здесь, в вопросе о персональном составе правительства, продолжали разыгрывать роль благородных «наблюдателей». Эс-эры же первоначально выдвинули следующий список: Тимофеев, Зензинов, Вологодский, Болдырев и Астров. Он не отличался излишней левизной, так как на двух партийных эс-эров (Тимофеева и Зензинова) в нем приходилось двое не-социалистов (ген. Болдырев и кадет Астров) и один социалист весьма подозрительного свойства (председатель Сибирского правительства Вологодский).

Но для правых даже и такой список оказался слишком «красным». Как раз к тому времени, когда на государственном совещании стал вопрос о персональном составе Директории, в Уфу экстренно прибыли два новых представителя Сибирского правительства—товарищ министра внутренних дел Старынкевич и казачий атаман Иванов-Ринов. Они имели задачей укрепить черносотенную линию первых делегатов Сибирского правительства—Серебренникова и Сапожникова, и тотчас же по приезде начали стремительную атаку против левого крыла. Эс-эровскому списку будущего правительства правые противопоставили свой список, состоявший из Чайковского, Авксентьева, Болдырева, Астрова и Вологодского. В этом списке уже не было ни одного действительно партийного эс-эра, так как Авксентьев все время на совещании выступал в качестве представителя «Союза Возрождения». Чайковский, глава Архангельского правительства, был н.-с. весьма правых устремлений и в сущности мало чем отличался от кадетов. Директория, составленная по рецепту правых, должна была воплощать почти в совершенно неприкрытом виде власть крупной буржуазии и офицерства.

Началась опять нудная и томительная игра в компромисс, продолжавшаяся четыре дня. Возможных кандидатов в члены правительства усердно тасовали, как колоду карт, называя самые разнообразные политические и военные имена анти-советского лагеря, очень часто не имея даже никакого представления о том, как бы отнеслись соответственные лица к предложению войти в состав Директории. Всероссийское правительство формировали не только из деятелей, находившихся по сю сторону фронта, но также и из деятелей, находившихся либо в Советской России, либо в других районах страны, недоступных для «территории Учредительного Собрания» (например, на Дону, на Украйне и в Архангельске).

В этом длинном торге о составе Директории правые проявляли крайнее упорство. Лидеры последних не хотели итти ни на какие уступки, и даже угрожали срывом совещания. Конечно, бесхарактерная эс-эровская масса, в конце концов, потеряла дух и сдала все свои позиции. Список правых был принят целиком: Авксентьев, Болдырев, Астров, Вологодский и Чайковский. Так как однако некоторых из избранных не было на-лицо (Астрова, Чайковского и Вологодского), то решено было наметить еще пять заместителей членов правительства. В число последних попали: Аргунов, генерал Алексеев, кадет Виноградов, профессор Сапожников и, наконец, Зензинов. Эс-эрам, таким образом, удалось в последнюю минуту проскочить сквозь игольное ушко и провести одного из своих партийных людей в состав кандидатов. Но это была все-таки очень слабая компенсация за то огромное поражение, которое они понесли в Уфе.

Ни Астров, ни Чайковский так до конца и не приехали в Заволжье, Вологодский долгое время оставался на Дальнем Востоке,—поэтому фактическая Директория сложилась из следующих пяти лиц: Авксентьев, Зензинов, Сапожников, Виноградов и генерал Болдырев. В последние дни существования Директории Вологодский вернулся с Востока и заместил собой Сапожникова. В таком виде Директория, менее чем через два месяца после своего возникновения, сошла со сцены, получив грубый пинок от адмирала Колчака.

23-го сентября на торжественном пленуме Государственного Совещания состоялось провозглашение Всероссийского Временного Правительства. Зал «Сибирский гостиницы» был переполнен, везде сияли огни, и многим казалось, что они являются участниками действительно крупного исторического события. Члены правительства были приведены к присяге и торжественно поклялись свято соблюдать основы достигнутого соглашения. Авксентьев был упоен и громовым голосом обещал всемерно охранять принципы народовластия. Каким мыльным пузырем оказалась вся это уфимская траги-комедия! Да, она, конечно, останется в истории, но останется лишь памятником того, как часто люди бывают совершенно неспособны критически оценить свои собственные деяния. Думают, что взгромоздили Монблан на Юнгфрау, а на самом деле барахтались в куче песку...

Впрочем, справедливость требует сказать, что уже и тогда имелись люди (из числа меньшевиков и левого крыла эс-эров), отдававшие себе отчет в опасности создавшегося положения. Они были недовольны и вместе с тем при-

шиблены ходом и исходом Уфимского Совещания. Это не только мое теперешнее ретроспективное умозаключение. В тот самый день и даже тот самый час, когда в большом зале «Сибирской гостиницы» рождалось «Всероссийское Временное Правительство», я говорил по прямому проводу из Самары с членом Учредительного Собрания М. А. Веденяпиным в Уфе. Лента этого разговора лежит сейчас предо мной, и вот, что в ней содержится:

«*Майский*». Сейчас только что закончилось заседание Совета Управляющих Ведомствами по вопросу о сформировании Директории. Совет поручил мне передать Комитету членов Учредительного Собрания следующее: Совет сильно разочарован составом Директории, однако полагает, что задача демократии твердо отстаивать свои позиции до последней возможности. Если мы потерпели поражение в вопросе о составе Директории, то должны постараться взять реванш на другой позиции, именно на составе делового кабинета. По этому вопросу Совет полагает, что надо добиться следующих целей: 1) чтобы значительное большинство деловых министров были определенными демократами (до народных социалистов включительно), 2) чтобы не менее половины деловых министров были людьми, стоящими на позиции Комитета членов Учредительного Собрания, 3) чтобы в руках сторонников Комитета были во всяком случае портфели иностранных дел, внутренних дел, государственной охраны, земледелия и труда, 4) чтобы военным министром было лицо, пользующееся доверием Комитета. Примите все это к сведению и действуйте в указанном направлении.

«*Веденяпин*. Думаю, что достигнуть чего-либо невозможно. Ваши пожелания будут переданы, и по мере сил наши товарищи будут их отстаивать. Временное правительство уже существует и сейчас приняло присягу.

«*Майский*. Неужели вы думаете, что окажется невозможным повлиять в желательном для нас направлении на состав делового кабинета?

«*Веденяпин*. Боюсь ответить вам определенно, но уверенности у меня на составление такого кабинета нет. Я же вообще не пессимист. Думаю, что оцениваю положение трезво.

«*Майский*. Думаете ли поставить вопрос, чтобы формирование кабинета происходило, по крайней мере, по неофициальному соглашению заинтересованных групп?

«*Веденяпин*. Формирование делового кабинета теперь зависит от Временного правительства, и мы можем влиять на его состав только частным образом, что мы и будем делать.

«*Майский*. Итак, поздравляю вас с рождением Всероссийской власти. Не думал, что придется встречать это событие с такими смешанными чувствами. Что день грядущий нам готовит?

«*Веденяпин*. Извещаю вас о смерти Комитета. Это наше общее настроение».

Веденяпин был прав: день рождения Директории был в то же время днем смерти Комитета. Но уже на следующий день, 24-го сентября, обнаружилось, *что и Директория не жилец на белом свете, и что эс-эры в каком-то трусли-*

вом самоисступлении стремительно бегут навстречу своей собственной гибели. Вот как это случилось.

Выше я уже говорил, что с начала осени 1918 года вся политическая жизнь в Сибири стояла под знаком борьбы между реакционным Сибирским правительством и эс-эро-демократической Сибирской Областной Думой. Первая после переворота сессия последней была открыта 15-го августа, но уже 20-го августа занятия думы были прерваны, и возобновление ее работ было назначено на 10-е сентября. За 3-недельный промежуток, отделявший обе сессии думы, в жизни Сибирского правительства произошли большие перемены. 4—5 сентября в Омске произошел маленький министерский переворот, закончившийся смещением военного министра Гришина-Алмазова и назначением на его место атамана Иванова-Ринова, первым приказом которого было восстановление в армии погон, вторым—предание суду все работавших с большевиками офицеров. Вскоре после Гришина-Алмазова из Сибирского правительства вышел ввиду принципиальных разногласий министр юстиции Патушинский, принадлежавший к левому крылу последнего. Приблизительно около того же времени, в связи с открытием пути на Дальний Восток, туда уехал Вологодский для урегулирования создавшегося там весьма сложного политического положения [1]).

Все это знаменовало собой дальнейшее поправение Сибирского правительства.

10-го сентября открылась вторая сессия Областной Думы, и борьба между правительством и Думой возобновилась в чрезвычайно обостренной форме. Прежде всего Дума немедленно после открытия своих заседаний избрала особую делегацию для отправки на Дальний Восток, которая должна была действовать там параллельно с Вологодским и парировать его выступления. Делегация эта выехала из Томска, но в Иркутске была задержана по распоряжению Сибирского правительства. Таким образом создался открытый конфликт между властью законодательной и властью исполнительной.

Далее, 18-го сентября, с.-д. фракция внесла в Думу вопрос о необходимости выяснить отношения Думы к Сибирскому правительству. Вопрос этот обсуждался в закрытом заседании, кончившемся решением принять энергичные меры против беззаконий Сибирского правительства. В тот же день председатель думы Якушев вместе с министром национальностей Шатиловым (относившимся к группе «левых») и только что прибывшим с Дальнего Востока членом дальне-восточной части Сибирского правительства Новоселовым выехал в Омск. Здесь сторонники Областной Думы сделали попытку устроить

---

[1]) Во Владивостоке в это время находилась вторая часть избранного в январе 1918 года Сибирского правительства во главе с П. Я. Дербером, пробравшаяся туда период господства большевиков. Теперь эта вторая половина претендовала на власть настаивала на слиянии обеих половин в единое целое. В случае осуществления данного плана в Сибирском правительстве оказалось бы „левое большинство". Это совсем не улыбалось Вологодскому и К-о, державшим курс на чистую буржуазную реставрацию. Вологодский и имел своей главной задачей как-нибудь „обезвредить" дальне-восточную часть Сибирского правительства.

маленький государственный переворот, введя революционным путем в состав правительства только что названного Новоселова. Так как в это время Вологодский и Серебренников отсутствовали (первый был во Владивостоке, а второй в Уфе), то с включением в состав правительства Новоселова в нем получалось «левое» большинство.

Омские реакционеры сразу же почуяли опасность и не замедлили принять предохранительные меры. Постановлением Сибирского правительства от 21-го сентября заседания Областной Думы были вновь прерваны на неопределенный срок. В то же время председатель думы Якушев и «левые» министры Крутовский, Шатилов и Новоселов были арестованы черносотенными офицерами, при чем первые трое через сутки были освобождены. Новоселов же днем позже был найден убитым в загородной роще.

Областная Дума реагировала на все эти события постановлением от 22-го сентября, гласившем следующее:

«1) На основании «Положения о временных органах управления в Сибири» считать административный совет (Сибирского правительства) незаконно созданным и подлежащим немедленному роспуску.

2) Постановление административного совета от 21 сентября 1918 года о перерыве занятий Думы и ее комиссий считать недействительным.

3) Министра финансов Ивана Михайлова и тов. министра внутренних дел Александра Грацианова считать уволенными от занимаемых должностей и подлежащими суду по обвинению в государственном перевороте.

4) Временным Сибирским правительством считать правительство в избранном думой в январе 1918 г. составе, за исключением министра финансов Ивана Михайлова.

5) При условии невозможности продолжать работы Сиб. Обл. Думы временно предоставить все права Думы, а также право временного устранения министров и всех должностных лиц от занимаемых должностей Комитету Сибирской Областной Думы в составе: П. Я. Михайлова, М. С. Фельдман, А. М. Капустина, С. А. Таракановой, С. Д. Майдышева, Л. С. Зеленского, под председательством председателя Сиб. Обл. Думы Ив. Ал. Якушева и президиума Сиб. Обл. Думы для восстановления насильственно прерванной деятельности Обл. Думы и совета министров и предоставления им возможности исполнять возложенные на них обязанности.

6) По миновении чрезвычайных обстоятельств и выполнения поставленных целей означенному Комитету Сиб. Областной Думы сложить свои полномочия и дать отчет в своей деятельности Областной Думе».

Это было прямым об'явлением войны, но соотношение сил между борющимися сторонами оказалось слишком неравным: Сибирское правительство опиралось на сравнительно многочисленные офицерские отряды, за Думой же, в сущности, не стоял никто. Правда, чешские части, расположенные в Томске, сочувствовали Думе и даже обещали ей помочь. Но центральное чешское командование держалось пассивно, и это не могло не действовать расхолаживающим образом на местную чешскую инициативу. Поэтому для томского губернского комиссара Гаттенбергера не составило большого труда разогнать

Думу, опечатать ее помещение и арестовать наиболее видных членов ее президиума. Конфликт между Сибирским правительством и Областной Думой в рамках чисто сибирских отношений должен был кончиться неизбежным разгромом этой последней. Если что-нибудь могло отвратить этот фатальный ход событий, так только вмешательство со стороны, вмешательство «демократических» сил, находившихся по ту сторону Урала. Увы!—эти силы в тот момент были уже настолько из'едены процессом внутреннего разложения, что, как сейчас увидим, никаких надежд на них возлагать не приходилось.

Известия о рассказанных выше событиях пришли в Уфу на следующий день после образования Директории. И новому всероссийскому правительству необходимо было сразу же отозваться на них и сказать свое слово по столь острому и чреватому величайшими опасностями вопросу. В самом деле, разгром Сибирской Областной Думы означал чрезвычайное усиление в Сибири черносотенных элементов, а это не могло не представлять весьма реальной угрозы не только для «левого» самарского лагеря, но даже и для самой Директории. Необходимо было действовать быстро, твердо и решительно. Жизнь поставила всероссийское правительство на самом пороге его существования перед суровым экзаменом, и на нем это правительство должно было показать, на что оно способно.

Всероссийское правительство оказалось неспособным решительно ни на что! И не только оно: ни на что не способной оказалась и эс-эровская партия!

Представители чехо-словаков, присутствовавшие на Государственном Совещании, были крайне раздражены сибирскими событиями. Они заявили Директории и эс-эрам, что предоставляют свои вооруженные силы в их распоряжение. Они предлагали двинуть чешские батальоны на Омск и сразу покончить с гнездившейся там нечистью. Видимо, отголоски этих настроений очень быстро докатились до сибирской столицы, потому что 24-го сентября чешский полковник Зайчек арестовал в Омске, по собственной инициативе, товарища министра внутренних дел Грацианова и пытался арестовать министра финансов Ивана Михайлова.

Казалось, после целого ряда ударов судьба, наконец, смилостивилась над эс-эровской партией. Счастье само собой давалось ей в руки. Наступил момент, когда одним решительным ударом эс-эры могли восстановить свое сильно поколебленное влияние и даже—кто знает?—стать политическими гегемонами на всей территории от Волги до Владивостока.

Что же сделали эс-эры?

Всю ночь с 24-го на 25-е сентября они совещались о создавшемся положении и, в конце концов, постановили... чешское предложение отклонить. Вместо чешских батальонов в Омск был послан заместитель Авксентьева, Аргунов, который очень быстро пришел к заключению, что всю сибирскую историю необходимо решить в порядке гнилого компромисса.

Эта ночь по справедливости может считаться началом конца демократической контр-революции в Поволжье и Сибири. Она оттолкнула чехов от эс-эровско-меньшевистских элементов и тем самым подготовила близкую гибель и Комитета членов Учредительного Собрания и Директории.

15. Падение Самары.

В то время как в Уфе совершалось рождение «Всероссийского Временного Правительства», Самара переживала период медленной агонии. Как уже упоминалось выше, 14 сентября пала Казань. Спустя неделю та же участь постигла Симбирск. Напор красных войск с каждым днем становился все сильнее, при чем движение на Самару шло с разных сторон одновременно—с севера от Симбирска, с юга от Вольска и с запада от Пензы. Чувствовалось, что в стане противников завелась какая-то опытная и искусная рука, которая сразу подтянула советские армии и ловко использовала все промахи и ошибки с нашей стороны. Мы считали, что эта перемена—дело германцев. Очевидно, на волжский фронт прибыли немецкие офицеры, а, может быть, и немецкие части, и их-то военному превосходству мы были обязаны своими поражениями. Впоследствии я узнал, что никаких германцев на волжском фронте осенью 1918 года не было, но тогда при всяком удобном и неудобном случае мы упорно твердили, что нам «немка гадит».

Чем хуже становилось положение на фронте, тем тревожнее и неувереннее делалось настроение в Самаре. Никто точно ничего не знал, но все шептались и передавали друг другу самые невероятные слухи. Говорили о том, что большевики не сегодня-завтра войдут в город, рассказывали, что Симбирск выгорел до тла, а в Хвалынске произошел бой, во время которого с обеих сторон было убито пять тысяч человек. Передавали, что Троцким якобы издан приказ, разрешавший Красной армии невозбранно грабить Самару в течение трех дней после ее занятия. Утверждали, что большевистские суда ночью подходят к самому городу и подкладывают мины под стоящие на реке пристани и пароходы.

Зловещий призрак паники вставал над Самарой и наполнял тысячи сердец трепетом и смятением. Каждый звук, похожий на выстрел, заставлял людей настораживаться, каждый залп, раздававшийся на учебных полях, приводил обывателей в содрогание. Подвоз на базар из окрестностей сильно сократился, лавки торговали плохо и нерегулярно. При каждой тревоге окна и двери магазинов моментально закрывались, а их хозяева искали спасения в погребах и подвалах. Вся более зажиточная публика непрерывной вереницей тянулась вон из города, на восток, в Уфу, в Екатеринбург, Челябинск, Сибирь. Поезда были переполнены уезжающими «буржуями», проклинавшими Комитет и с ужасом говорившими о предстоящем большевистском нашествии. Когда во второй половине сентября правительство начало эвакуацию золотого запаса, захваченного в Казани, из Самары в Уфу, обыватель окончательно убедился, что в воздухе пахнет порохом. Я помню, как один почтенный мещанин, наблюдая вывоз небольших ящиков с золотом из подвалов Государственного банка, раздумчиво умозаключал:

— Золото повезли, ну, значит, конец приходит... В мае месяце вот эдак же большевики собирались, а таперича, значит, комитетские... Фюить!.. И что только люди дерутся? Чего они между собой не поделили?

Я невольно усмехнулся и спросил философствующего мещанина:

— А кто же по вашему лучше: большевики или комитетские?

Он махнул рукой и неопределенно засмеялся:

— А нам все равно, что за начальство,—только бы спокой дали.

Но были в Самаре люди, которые наблюдали приготовления Комитета к уходу не с ужасом или равнодушием, а с вздохом облегчения и злорадством. То было население окраин, то были рабочие с фабрик, заводов и мастерских. Они с нетерпением ждали занятия города красными войсками и нетерпеливо считали дни опостылевшей «учредиловской» власти. В этих кругах все чаще прорывалась наружу скрываемая раньше ненависть к тогдашним господам положения. На рабочих собраниях меньшевиков больше не слушали, а мальчишки на улицах забрасывали камнями проезжавшие мимо автомобили членов правительства.

В комитетских кругах в эти дни настроение тоже было унылое и подавленное. Все видели и чувствовали, как жалко рушится здание, над возведением которого эс-эры и меньшевики четыре месяца работали с таким увлечением и надеждами, и никто не мог указать какого-нибудь средства спасения. Членам Комитета было смертельно жаль уходить из Самары, и вместе с тем они не знали, как ее удержать. Мне вспоминается такая сцена. Однажды в последних числах сентября в помещение Комитета приехал чехословацкий «посол» в Самаре Власак. Несколько членов правительства вместе с Власаком вышли на большой балкон, обращенный в сторону Волги. Осень в тот год выдалась прекрасная—тихая, ясная, с ярким солнцем и хрустальными далями. С балкона открывался прекрасный вид на Самару, уступами сбегающую к берегу Волги, на широкую полосу волжской воды и на еще более широкие, уже слегка желтеющие степи за Волгой. Оттуда, из этих степей, доносился легкий аромат умирающей травы и веяло свежестью безграничных просторов. Впечатлительный Власак как-то непроизвольно воскликнул:

— Разве вы не видите, как чудесна Самара? Нет, мы ни за что не отдадим Самару! Мы должны ее удержать!

И все присутствующие также невольно откликнулись:

— Да, мы должны ее удержать и удержим!

Но это были, конечно, лишь красивые слова. Суровая действительность говорила совсем иное. Красные войска неудержимо надвигались, а нам нечем было их отражать. Чехи устали от непрерывных четырехмесячных боев и теперь категорически требовали отдыха. Добровольческие отряды были сильно потрепаны и слишком незначительны для того, чтобы сдерживать наступление большевиков. Посланные на фронт мобилизованные части совершенно отказывались сражаться и либо сдавались в плен, либо разбегались по домам. Брошенные навстречу красным башкирские полки очень скоро были сбиты с своих позиций и стремительно катились назад, в сторону Самары. Притиснутый к стене Комитет просил помощи у Дутова, но хитрый атаман под разными предлогами отказывался посылать на фронт своих оренбургских казаков. Еще бы: он втайне радовался, что Самара доживает последние дни.

Одно непредвиденное обстоятельство нас окончательно добило. 26 сентября в Уфе должно было происходить торжественное открытие «С'езда членов Учредительного Собрания». Хотя с'езд юридически уже не являлся органом законодательной власти, тем не менее Совет управляющих ведомствами решил в полном составе явиться на первое заседание «С'езда», желая этим демонстративно подчеркнуть, что он по-прежнему считает себя политически ответственным только пред Учредительным Собранием. Демонстрация наша удалась и несомненно доставила несколько приятных минут Вольскому и его единомышленникам. Но то. что мы увидели при этом беглом налете на Уфу, произвело на нас такое удручающее впечатление, что мы не могли не впасть в состояние полного уныния.

Это был момент, когда Директория и эс-эры только-что ликвидировали—преступно и нелепо—описанную в прошлой главе, «сибирскую историю». Хотя Авксентьев и К° старались оправдать себя «государственными соображениями», тем не менее все прекрасно чувствовали, что сделана роковая ошибка и при том исключительно лишь по собственной трусости. Настроения в «Сибирской гостинице», где продолжали пребывать и «Всероссийское правительство» и «С'езд членов Учредительного Собрания», были хмурые и упадочные. Никто не знал, что надо было делать, и все с жуткой тревогой смотрели в будущее. В Директории господствовала полная растерянность. «Всероссийское правительство» не имело ни министров, ни аппарата, ни твердой воли и ясно продуманной программы. «Всероссийское правительство» не знало, что ему делать: оставаться ли в Уфе или ехать в Екатеринбург, или устраиваться в Омске? Назначенный верховным главнокомандующим генерал Болдырев не имел ясного представления ни о положении дел на фронте, ни о количестве подчиненных ему вооруженных сил, ни о степени возможности для него реально распоряжаться этими силами. Члены Учредительного Собрания также находились в состоянии глубокой прострации. Они спорили о том, как оформить свои отношения с Директорией, по какому руслу повести свои работы и в каком городе устроить свою резиденцию. Одни говорили, что Директория и «С'езд» непременно должны функционировать в одном и том же центре, другие допускали возможность раздельного жительства. Все было так неясно, сбивчиво, неуверенно. Главное же во всем, что происходило в Уфе, не чувствовалось живого дыхания жизни, не было ни грана энтузиазма и двигающей горами веры. Везде были лишь тлен и разложение. Один видный эс-эр, с которым я поделился своими нерадостными впечатлениями, откровенно мне сказал:

— Мы запутались! Но теперь уже поздно,—надо как-нибудь доигрывать игру.

Только два человека в «Сибирской гостинице» в эти дни чувствовали себя, повидимому. прекрасно. Это были уже упоминавшиеся выше Гуревич и Роговский. Они теперь усердно стряпали «деловой кабинет» Директории. Вид у них был такой же озабоченный, как и раньше, они по-прежнему неустанно бегали по номерам и коридорам гостиницы, шушукались и многозначительно улыбались и вообще имели вид людей которые держат в руках

ключи от царства небесного. Еще бы: ведь от них зависело осчастливить кого-нибудь высоким титулом министра «Всероссийского Временного Правительства». Оба бойких комиссионера Директории с упоением составляли, пересоставляли и еще раз переделывали заветные списки членов будущего кабинета, и за этим приятным занятием совершенно не замечали, как под ногами всего населения «Сибирской гостиницы» начинает отчетливо вырисовываться бездонная пропасть.

Из Уфы в Самару все члены Совета управляющих ведомствами явились совершенно убитыми. Шатавшаяся раньше вера в возможность благополучного выхода из создавшегося положения теперь окончательно рухнула. На будущее больше никто не надеялся. Настроения стали предсмертными, и решения правительства все чаще начали диктоваться стремлением «как-нибудь доиграть игру». Нисколько не удивительно поэтому, что в заседании Совета управляющих 29 сентября по инициативе самого Вольского был поставлен вопрос о ликвидации Комитета членов Учредительного Собрания.

Как мы знаем, Уфимское Совещание, постановило, что «все функции областных правительств должны быть переданы центральному правительству, как только оно потребует». Но пока центральное правительство от нас ничего решительно не требовало. Оно еще не знало, что с самим собой делать. С точки зрения той политической борьбы, которая в описываемый момент шла около Директории между самарской «левой» и сибирской «правой», продолжение существования Комитета и его правительства было просто необходимо. Их наличие являлось бы известным противовесом черносотенным влияниям Омска и могло бы несколько выравнивать влево общую линию Директории. С ликвидацией поэтому можно и должно было погодить.

Тем не менее в заседании 29 сентября единогласно было постановлено Комитет распустить, избрать ликвидационную комиссию из пяти лиц и оставить только Совет управляющих ведомствами, как орган областной власти на «территории Комитета членов Учредительного Собрания». Каковы должны были быть взаимоотношения между Советом управляющих ведомствами и «Всероссийским Временным Правительством», никто точно не знал и для разработки этого вопроса на том же заседании была избрана специальная комиссия, которая, однако, своей работы так и не закончила.

Двумя днями позже был сделан дальнейший шаг в том-же направлении. Совет управляющих ведомствами составил и послал «Всероссийскому Временному Правительству» особую декларацию, в которой он заявлял о своем желании покончить жизнь «самоубийством». Указав, что с созданием Директории и «С'езда членов Учредительного Собрания» в сущности выполнены те цели, ради достижения которых четыре месяца назад был создан Комитет членов Учредительного Собрания, декларация заканчивалась следующими словами:

«По мнению Совета управляющих ведомствами, в настоящее время, когда со стороны государственной власти требуется крайнее напряжение сил, быстрота и решительность действий, было бы в высокой степени желательно, чтобы управление указанной территории (т.-е. «территории Учреди-

тельного Собрания») осуществлялось непосредственно Всероссийским Временным Правительством через назначаемое им особо-уполномоченное лицо с двумя помощниками, также по назначению центральной власти».

Итак, генерал-губернатор вместо «демократического» органа областной власти! Куда же дальше? Действительно, члены Комитета хотели как можно скорее «доиграть игру».

Между тем, положение на фронте становилось все более безнадежным. Красные приближались, а мы панически отступали. Хуже всего было то, что правительство ничего толком не знало о действительном положении дел. Я уже упоминал выше, что Галкин считал излишним подробно информировать Комитет о военных событиях. Но в эпоху расцвета Комитета он все ж таки стеснялся и по требованию Вольского давал достаточно полные сводки о состоянии фронтов. Теперь, предчувствуя близкую гибель Комитета, он окончательно обнаглел и на все запросы Совета управляющих ведомствами отвечал либо презрительным молчанием, либо ничего не говорящими общими местами. Это не мешало, однако, ему каждый день пред'являть к Совету новые требования по части выдачи денег, провианта, обмундирования, о дальнейшей судьбе которых никто ничего не мог сказать. Если кое-что о положении дел на фронте мы все-таки знали, то об'яснялось это тем, что в штабе имелись эс-эровские офицеры, которые передавали нам все наиболее важные сообщения.

Несмотря на это, мы жили в атмосфере постоянной неизвестности и в любой момент могли быть ошарашены какой-нибудь катастрофической неожиданностью. Я помню, например, такой случай. Как-то раз, часов около 3-х ночи, когда я уже спал, Гендельман постучал ко мне в номер и войдя сильно встревоженный сказал:

— Я должен вас предупредить об одной весьма неприятной вещи. Мы только что узнали, что какая-то большевистская часть прорвала фронт и подвигается к Самаре. Для ликвидации прорыва посланы войска, но полной уверенности, что они во время поспеют на место, у нас нет. Если большевиков не перехватят у железной дороги, к утру они будут в городе. Известите об этом своих и будьте наготове.

Я вскочил и начал по телефону уведомлять товарищей о грозящей опасности. Вскоре в моем номере собрались наиболее видные члены меньшевистской организации, некоторые явились с оружием в руках. В полной «боевой» готовности мы просидели всю ночь в ожидании врага и только, когда уже высоко поднялось солнце, получили известие, что прорыв ликвидирован и большевики отбиты от Самары.

Близость конца с каждым днем становилось все более очевидной. 1-го октября Совет управляющих ведомствами решил приступить к эвакуации Самары. Был разработан подробный план вывоза из города наиболее необходимых людей и имущества и для осуществления этого плана была назначена диктаторская тройка во главе с рекомендованным Галкиным генералом Третубовым. На заседаниях правительства Третубов вел себя крайне энергично и сумел создать о себе представление, как о человеке смелом и распо-

рядителыном. Мы полагали, что дело эвакуации находится в надежных руках. На деле оказалось, что Трегубов—старая калоша и вдобавок еще трус, больше всего заботящийся о самом себе. Когда наступил действительно критический момент и нам необходимо было очищать Самару, мы попали в самое ужасное положение. Тогда мы проклинали день и час, когда согласились выдвинуть на столь ответственный пост креатуру полковника Галкина.

На-ряду с эвакуацией происходила спешная мобилизация всех наличных боевых сил. В городской думе устраивались торжественные заседания представителей самарской общественности, на которых выносились решения «заложить жен и детей», но во что бы то ни стало отстоять Самару. Была устроена новая специальная запись добровольцев. Эс-эры сформировали партийную боевую дружину, в которую вошли не только мужчины, но и значительное число женщин. Одна молодая эс-эрка решила во что бы то ни стало поступить в кавалерийский отряд Фортунатова, другая непременно хотела стать конным разведчиком. Члены эс-эровского Ц. К. пытались было охладить их боевой пыл, но в конце концов уступили: обе амазонки скоро оказались на седле. Меньшевики тоже решили было создать свою боевую дружину, но, как и подобает меньшевикам, не сумели осуществить своего постановления. Дня за три до падения Самары был издан приказ о мобилизации всего мужского населения для охраны города, но это было последним отчаянным жестом погибавшей власти, и не имело никаких реальных последствий.

Несмотря, однако, на все эти приготовления, как-то не верилось или, быть может, не хотелось верить, что Самара стоит накануне гибели. В таком настроении сильно повинен был полковник Галкин, не дававший нам правильной информации о положении дел на фронте и даже возбуждавший в нас нередко своими сообщениями совершенно необоснованные надежды. Насколько плохо мы ощущали реальное состояние вещей, можно судить по тому, что еще 3 октября вечером я, в сравнительно спокойном настроении, присутствовал на свадьбе одного товарища. На этой свадьбе происходило все то, что обыкновенно происходит на свадьбах: пили, ели, играли на рояли, танцовали и высказывали добрые пожелания. Общее настроение, конечно, было не особенно радужное, но все-таки никому не приходило в голову, что опасность стоит непосредственно у дверей. А на следующее утро, 4-го октября, по Комитету и его учреждениям внезапно был дан приказ: немедленно грузиться в вагоны, потому что красные не сегодня-завтра войдут в город.

Началась погрузка. С тех пор прошло больше четырех лет, но я до сих пор без содрагания не могу вспомнить того кошмара, который последовал после только что упомянутого приказа. Генерал Трегубов бежал из Самары с первым отходящим поездом. Эвакуационная комиссия перестала существовать. В ее канцелярии не осталось никого, кроме ничего не знавшего младшего делопроизводителя. Бланков и печати не было,—они оказались увезенными все тем же генералом Трегубовым. Надо было выдавать пропуски и документы, и никто не мог это сделать. Разработанный заранее план эвакуа-

ции оказался с самого начала сорванным. Всякий порядок исчез, и каждое учреждение, не слушая никого и не сообразуясь ни с чьими распоряжениями, бросилось на вокзал, стремясь заранее захватить себе место. Получилась невероятная суматоха и кутерьма. На железной дороге не были заготовлены ни вагоны, ни паровозы. Привезенное имущество—государственное и частное—беспорядочно сваливалось в кучу. Очень скоро на перроне выросли колоссальные горы багажа, достигавшие второго этажа вокзального здания. Тысячи людей наводнили станцию. Служащие государственных учреждений, члены партий, общественные деятели, напуганные обыватели, все, кто так или иначе мог опасаться неприятностей от встречи с большевиками, заполнили все помещение вокзала, все платформы и даже часть путей. Давка была невероятная. Мужчины нервничали и суетились, женщины плакали, маленькие дети оглашали воздух громкими криками. Печать паники и озверелой борьбы за жизнь лежала на всех лицах. Каждый думал: «Только бы мне уйти, а других пусть хоть чорт заберет!»—и свирепо расталкивал локтями собравшуюся толпу, пробираясь к заветному месту в товарной теплушке.

Правительство решило эвакуироваться в Уфу. В Самаре оставался только Вольский и еще несколько человек из высшей администрации для того, чтобы уйти из города вместе с отступавшими войсками. Для правительства был приготовлен специальный поезд из нескольких классных вагонов. Он стоял на одном из дальних путей, на высоком обрыве, с которого открывался далекий вид на город, на окрестности, на прилегающие к Волге поля и леса. В момент опасности все представления о ступенях и рангах стираются, поэтому не удивительно, что правительственный поезд очень скоро оказался битком набитым не только членами правительства и их семьями, но также и людьми самых разнообразных званий и положений. Все считали, что правительственный поезд пойдет в первую очередь и стремились протиснуться в него, как в царство небесное. Так как, однако, все желающие никак не могли уместиться в немногих комитетских вагонах, то беженцы нашли следующий остроумный выход: они грузились в постепенно подаваемые теплушки и затем прицепляли эти теплушки к правительственному поезду. В течение ночи с 4 на 5 октября правительственный поезд увеличился таким путем с нескольких вагонов до нескольких десятков.

Однако с движением вперед дело обстояло из рук вон плохо. Погрузка началась вечером 4-го, и тогда же правительство затребовало паровоз для своего поезда. Паровоз был обещан через полчаса, но прошла вся ночь, а паровоза не было. Наступило утро 5-го октября. Комендант поезда сбился с ног, бегая то к начальнику станции, то в депо и требуя немедленной прицепки паровоза. Ему обещали, но паровоза все-таки не было.

Наступил полдень. Погода выдалась на редкость прекрасная: ясное небо, светлое солнце и легкий осенний ветерок в прозрачном воздухе, но в вагонах правительственного поезда царили смятение и тревога. Большевики несомненно приближались к городу. Орудийная пальба становилась слышна все явственнее. То там, то сям загоралась песня пулемета и как-то моментами

вспыхивала ружейная трескотня. Со всех сторон приходили зловещие сообщения:

— Красные в пяти верстах от Самары!

— Народная армия в панике бежит!

— Рабочие на заводах об'явили восстание!

— Большевистские раз'езды видели у самой заставы!

— К вечеру город будет в советских руках!

А паровоза все не было, и правительственный поезд продолжал стоять на месте.

Тогда члены Комитета лично принялись за хлопоты. В одиночку и группами они отправлялись к начальнику станции, к русскому коменданту вокзала, к чешскому коменданту вокзала и настойчиво убеждали их немедленно отправить правительственный поезд. Начальник станции клялся и божился, что он уже десять раз делал соответственное распоряжение, но это распоряжение отменял русский комендант. Русский комендант, в свою очередь, уверял, что он столько же раз уже давал все необходимые инструкции железнодорожникам, но что ему мешает чешский комендант. Чешский комендант—молодой офицерик с необыкновенно наглым лицом—принимал министерский вид и хладнокровно заявлял:

— Ничего не могу сделать! Все пути забиты. Надо подождать.

И, когда ему пытались возражать, он, едва поворачивая голову, небрежно бросал:

— Ничего не могу сделать! Эй, там, следующий... В чем дело?

Для нас было совершенно ясно, что чехи, которые были фактическими хозяевами на железной дороге, просто издеваются над нами, но мы были бессильны что-либо против них предпринять. Нетерпеливый Климушкин, несмотря на все уже полученные ранее афронты, решил сделать еще одну попытку. Он поймал чешского коменданта на перроне и начал настойчиво требовать от него паровоза. Комендант обругал Климушкина «истинно-русскими словами» и хладнокровно прошел мимо, не обращая внимания на угрожающие жесты «министра внутренних дел».

Наступило три часа, а паровоза все не было. Напряжение в правительственном поезде достигло высшего предела. Ружейная и орудийная пальба слышались уже совсем близко, позади небольшого леса, примыкавшего к западной стороне города. Несомненно большевики наступали и очень быстро продвигались вперед. Теперь каждая минута была дорога, ибо падение Самары становилось, видимо, вопросом часов. Но мы по-прежнему стояли на высоком обрыве и должны были любоваться открывавшейся перед нами красивой панорамой.

Вдруг откуда-то из-за поворота вывернулся длинный эшелон, переполненный солдатами. Он быстро промчался по бегущей внизу колее и скрылся в отдалении. Через десять минут—следующий эшелон. Через четверть часа после второго—третий такой же эшелон. Потом еще и еще эшелоны.

— Кто это? Кто это?—испуганно раздалось со всех сторон.

Кто-то крикнул:

— Это чехи!—Они уходят с фронта!.. Мы погибли!..

Действительно то были чешские войска. Среди пассажиров бесконечно выросшего правительственного поезда началась настоящая паника. Мужчины беспомощно бегали и кричали, женщины истерически рыдали, дети пронзительно визжали. В вагон, где помещались члены правительства, явилась депутация от беженцев и стала их Христом богом молить принять экстренные меры для получения паровоза. Мы решили сделать еще одну последнюю попытку.

Около пяти часов вечера я, вместе с несколькими членами правительства, отправился в город. Там находился чешский штаб, и мы хотели категорически потребовать от последнего немедленной отправки нашего поезда. На наше счастье у вокзала оказалась чья-то машина,—недолго думая, мы сели в нее и понеслись по улицам. Нашим глазам открылась жуткая и зловещая картина. Весь город точно притаился и чего-то напряженно ждал. Людей почти нигде не было. Все дома были на запоре, во многих домах даже ставни были закрыты. Трамвай не ходил, в садах не слышно было ни говору, ни смеху. Печать смерти лежала на всем окружающем, и только доносившийся с Волги грохот орудийной перестрелки нарушал это мрачное и тяжелое безмолвие.

Мы остановились у здания Комитета. Еще вчера такое шумное и оживленное, оно сегодня поражало своей заброшенностью и пустынностью. В обширных комнатах не было ни души. Столы были сдвинуты в беспорядке, на полу валялись обрывки бумажек, куски веревок, старые папки от дел, полуразодранные книги. Кое-где виднелись наполовину уложенные ящики с какими-то официальными материалами: видимо, их собирались взять с собой при эвакуации, но, не успев упаковать, бросили на произвол судьбы. Пробежав несколько комнат и не найдя в них никого, мы решили было уже возвращаться к автомобилю, как вдруг услышали неподалеку в стороне чьи-то голоса. Мы вошли в зал, где обыкновенно происходили заседания правительства, и невольно остановились в недоумении.

По средине зала стоял небольшой стол. За столом сидел Вольский и еще несколько эс-эров. На столе стояли бутылки и рюмки, виднелись селедка, хлеб и еще какие-то закуски. Лица у всех были красные и возбужденные. При нашем появлении Вольский поднялся с места и, держа в руке наполненную рюмку, демонстративно громко крикнул:

— Пью за мертвую Самару! Вы разве не слышите, что она уже смердит?..

Он залпом опорожнил рюмку, швырнул ее на пол, так, что во все стороны полетели осколки, и затем с каким-то глухим надорванным хохотом опустился на стул.

Нам стало невольно не по себе. Мы повернулись и поспешили уйти, но до самого выхода нас преследовали жутко-трагические звуки:

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

Это Вольский смеялся над гибелью комитетской Самары...

В чешском штабе нас ждало тяжелое испытание. Когда мы обратились с нашим требованием к начальнику штаба, он расхохотался нам в лицо, и стал громко кричать:

— Где ваша армия? Ха-ха-ха! Скажите, где ваша армия?

Мы отвечали, что пришли не для теоретических дискуссий, а для получения паровоза, и просим господина начальника немедленно же распорядиться по телефону об отправке правительственного поезда.

Услышав слово правительство, чех пришел в еще более веселое настроение.

— Правительство?—хохотал он.—Вы правительство?..

Он скатал из бумаги шарик и презрительно бросил его в нашу сторону. Это было уже слишком. Мы пришли в бешенство и с угрожающими жестами бросились к офицеру. Видимо, наши лица не обещали ничего хорошего, потому что чех внезапно изменил свое поведение и уже совсем другим тоном заявил:

— Хорошо, я сейчас дам распоряжение.

Действительно, он тут же при нас позвонил по телефону на вокзал чешскому коменданту и приказал прицепить паровоз к нашему поезду. Мы не удовлетворились этим и сверх того потребовали от него соответственной бумажки. Он дал нам и бумажку. Затем мы повернулись и, не попрощавшись, вышли. Еще через полчаса мы были на вокзале.

. . . .

Только поздно вечером наш поезд, наконец, тронулся. Была кромешная тьма, с неба падал мелкий, надоедливый дождик. Медленно, точно ощупью, мы долго шли между слепыми линиями стоявших по обе стороны товарных вагонов. Потом началась степь. Через каждые полчаса поезд неожиданно останавливался и подолгу стоял. Потом так же неожиданно он приходил в движение и катился дальше.

Настроение пассажиров все время было крайне напряженное и взволнованное. Ходили слухи, что красные части идут в обход и верстах в двадцати к востоку от Самары хотят перерезать железно-дорожную линию. Если бы им это удалось, мы оказались бы в мышеловке. И все задавали себе тревожный вопрос: сумеет ли народная армия отбить фланговое движение противника? Успеет ли наш поезд пройти угрожающее место раньше, чем туда явятся большевики?..

Часа в три ночи, наконец, стало известно, что опасность миновала (обходное движение было отбито чехами), и наш поезд постепенно погрузился в сон. Но мне не спалось. Я стоял на площадке вагона, и тяжелые, смутные чувства теснились в моей груди. Позади, во мраке ночи, под огнем орудийных выстрелов гибла «демократическая» Самара, с которой у меня было связано столько надежд и ожиданий. Впереди—в неясно-враждебных очертаниях вырисовывалась хмурая «соглашательская» Уфа. И я с внутренней тревогой задавал себе вопрос: что-то она нам даст? Куда толкнет нас теперь капризный поворот событий?..

(Окончание следует).

Мировое хозяйство в оценке наших экономистов.

Н. Осинский. *)

Напряженный интерес к вопросам мирового хозяйства не составляет явления чисто российского. Не только Сов. Россия, надолго оторванная от всего остального мира, ныне жадно ловящая и переваривающая известия о нем—известия, которые имеют такое большое значение и для установления ближайших путей красной Республики и для разрешения тех основных вопросов, которые она впервые поставила всему миру,—не только Сов. Россия, но также буржуазная Европа и Америка усиленно занялись вопросами мирового хозяйства. Растут и множатся институты экономического наблюдения, станции хозяйственной метеорологии, плодятся журналы и бюллетени, изобретаются всевозможные числа—показатели, индексы (одна из серий таковых печатается в журнале Кейнса под характерным названием «барометра хозяйственной жизни»), выпускаются брошюры и книжки. По существу и буржуазный мир ищет здесь прежде всего ответа на все те же вопросы: «улеглось ли землетрясение? стала ли почва под ногами устойчивой? возможно ли новое развитие капитализма? не слышится ли отдаленный гул новой подземной волны?». Ученые Европы и Америки занимаются на своих станциях не столько метеорологическими, сколько *сейсмологическими* наблюдениями в первую очередь.

Надо однако сказать, что интересных, больших и цельных научных работ пока из этого движения не вышло. Что касается России, то здесь мы уже имеем целый ряд книг, по крайней мере интересных (если не больших и цельных), не говоря уже о ряде журнальных статей. С этими-то книгами мы и хотим в настоящей статье познакомить читателя.

1. Профессор Кондратьев, его общая постановка вопроса и общие заключения.

Наиболее солидной из таких книг по об'ему и по весу (физическому) является книга профессора Н. Д. Кондратьева «Мировое хозяйство и его кон'юнктуры во время войны и после войны» [1]). Не менее солидной эта книга является и по своей ученой внешности. Тут и предисловие с упоминанием всех

[1]) Изд. Вологодского Госиздата. 1922 г., стр. 258.

предшественников автора, с академическими благодарностями лицам, давашим автору «указания и материалы», тут и вереница подстрочных примечаний со ссылками на английскую, американскую, немецкую и т. д. статистику и литературу, тут и принципиальные заявления об об'ективности и беспристрастии.

Последние особенно характерны. Прежде всего, автор еще в предисловии заявляет, что будет рассматривать предмет с *чисто теоретической* точки зрения, только с точки зрения выяснения того, *что есть*, а не внушения того, что *должно быть*. Далее, в том же предисловии автор заявляет, что методом, примененным в его работе, «является метод конкретно-эмпирический», что он стремился «по возможности менее конструировать и отвлеченно рассуждать и более *изображать*... при помощи статистических данных», и что «задачи об'ективного анализа» им «сознательно выдвинуты на первый план» (стр. 3). Наконец, во введении к книжке (кроме предисловия, в солидной книжке имеется и введение) автор заявляет, что не собирается «дать детальное и всестороннее описание состояния мирового хозяйства за время войны и после войны» (стр. 9), что он, следовательно, избегает широких синтетических сопоставлений, ибо *подходит к вопросу только со стороны описания форм изменения, движения* (динамики) мирового хозяйства и, в частности, форм его периодического сжатия и расширения его *кон'юнктур*.

Итак, по трем направлениям автор тщательно перерубил все звенья, связующие его построения с общими вопросами, и в куб возвел чистое описание и об'ективность. Сдержал ли он свои обещания перед читателем или нет?

Нет, ибо сдержать их и не было возможности, да и в самой постановке вопроса уже содержится предвзятая идея.

Совершенно ясно, что если кто-либо подходит к описанию мирового хозяйства во время войны и после не только с точки зрения анализа периодически сменяющихся кон'юнктур, для того чтобы «способствовать дальнейшей постановке некоторых основных задач *теории динамики и кон'юнктур*» (стр. 9),—добавим от себя, *капиталистического хозяйства*,—то здесь мы уже имеем две скрытых предпосылки: 1) что капиталистический строй во время войны и после войны не вступил в полосу *ликвидации*, и 2) что он даже не переживает существенного *перерождения*, благодаря которому теория динамики и кон'юнктур, построенная до войны, оказалась бы устарелой в самых своих основах.

В конце книги эта предвзятая идея и выходит на поверхность, правда, в беглых и осторожных выражениях. Упоминая о книгах Пэйша, Андрэ и Финна-Енотаевского, ставящих вопрос об общей деградации капиталистического хозяйства, автор замечает: «читая подобные работы, проникаешься... настроением, что мир вступил в полосу длительного материального и даже духовного оскудения. Может быть, такие характеристики и имели некоторое значение и основание для первого времени после войны. Но едва ли есть нужда доказывать теперь, что впоследствии действительность оказалась другой» (стр. 192, прим.). А на стр. 209, заканчивая разбор кризиса 1920—1921 г.г., автор отмечает, что «он по своей природе, внутренней механике и причинам

является бесспорно капиталистическим кризисом относительного перепроизводства... Мы отрицаем взгляд, что перед нами какой-то особый, исключительный, не укладывающийся в категории экономической теории (т.-е. нормальной буржуазной теории нормального капиталистического хозяйства. Н. О.) кризис».

Но, быть может, все это лишь добросовестный, по крайнему разумению сделанный вывод из «об'ективного изображения при помощи статистических данных»? Ниже мы увидим на ряде примеров, каково это «об'ективное» изображение, и как автор насилует цифры для того, чтобы «действительность оказалась иной», для того, чтобы приспособить «об'ективное изображение» к своей предвзятой точке зрения.

Каковы же итоги этого об'ективного изображения? Автор разделяет свое описание движения мирового хозяйства на четыре части: 1) период войны, 2) от окончания войны до начала кризиса в 1920 году, 3) мировой кризис 1920—21 г. и 4) от окончания кризиса до наших дней. Мы увидим дальше, какие «удобства» создает для него такое расположение материала.

Что касается движения мирового хозяйства за *время войны*, то оно в отношении натуралистических показателей (т.-е. цифр, характеризующих движение хозяйства не в рыночной ценности, а в *натуре*—размеры производства в пудах или тоннах, торговля в тоннах и пр.) «представляется совершенно *разнородным* по различным группам стран. В странах, глубоко затронутых войной, они падают, в странах, мало затронутых войной и нейтральных, они, как правило, повышаются или по меньшей мере стационарны. По значительному количеству отраслей мировой хозяйственной жизни эти упадок и под'ем балансируются, по некоторым дают прирост, по некоторым—дефицит. Во всяком случае *нет оснований говорить о мировом хозяйственном оскудении* в собственном смысле слова. Оскудение чувствуется и наблюдалось лишь в тех странах, которые зависели в сильной степени от импорта» (стр. 70, курсив наш. Н. О.).

«Кон'юнктуры, рассматриваемые с валеристической (ценностной) точки зрения, дают всюду сильное повышение... повышательная тенденция кон'юнктур является основанием и фактором интенсивной и рентабельной частнохозяйственной предприимчивости» (там же). Что касается перераспределения доходов, то «в масштабах *мирового* хозяйства происходит обогащение одних стран при обнищании других. В пределах каждого национального хозяйства капиталистические доходы, повидимому (!), имеют определенную (!) тенденцию относительно (!) повышаться, а заработная плата падать. Одновременно прибыли и заработные платы разных отраслей промышленности испытывают разные судьбы» (стр. 75).

Какие мягкие, в вату завернутые формулировки для описания военного периода! Марксист Фалькнер четко и правильно означает его, как «повышательную кон'юнктуру с огромной *интенсификацией* всех производительных сил, шедшей параллельно с их *разрушением*» [1]). Чтобы уйти от конечного,

[1]) Проф. С. А. Фалькнер, „Перелом в развитии мирового промышленного кризиса", Изд. 2, Москва 1923 г., стр. 3.

глубоко отрицательного итога, приходится противопоставлять понижение и повышение в разных странах, отраслях, в «натуралистической» и «валеристической» сфере. И делать это не для того, чтобы расчленить вопрос (для этого сопоставления и противопоставления необходимы и правильны), а для того, чтобы затушевать его. А это великолепное соединение «повидимому», «определенно» и «относительно» в характеристике роста капиталистических прибылей и упадка реальной заработной платы!

Но пойдем дальше. Проф. Кондратьев переходит к оценке положения *от конца 1918 года до весны—лета 1920 года.* «По окончании войны, частью в силу социально-экономической инерции, частью в силу реакции на изменение условий, наступившего замешательства и необходимости некоторых реорганизаций,—наблюдается мировая депрессия как натуральных, так и ценностных показателей кон'юнктур мирового хозяйства. Эта первая чисто военно-хозяйственная депрессия заканчивается к весне—лету 1919 года. С этого момента мировое хозяйство вступает во вторую часть послевоенного периода, полосу *под'ема.* Под'ем мирового хозяйства с 1919 года согласно отмечают как ценностные, так и натуралистические показатели. Вот почему этот период проходит под знаком *увеличения материального благополучия. Несмотря на все препятствия,* несмотря на тяжелые последствия войны—под'ем длится до весны—лета 1920 г.» (стр. 129, курсив наш).

Что значит «чистое описание» кон'юнктур «натуралистических» и «валеристических»! Конец 18 и начало 19 года—период «наступившего замешательства» и «некоторых реорганизаций», и только! Нет, это прежде всего период уличных боев в Германии, нарастания революции в Италии и грохотания подземной волны по всей Европе. Это—период стачек, охватывающий всю Англию, докатывающийся до английской полиции, всеобщей стачки в Виннипеге (Канада), где образуется буржуазная милиция; волны революционных стачек во Франции и т. д. Это тот период, под влиянием которого Пэйш и Андрэ (см. выше) пишут свои книжки. Это период версальского миротворчества, когда каждую неделю происходили за зеленым столом конференции—сдвиги, меняющие всю карту Европы. Это период, когда повседневную общественную (и экономическую) жизнь определяли два открыто обнажившихся «фактора», стоящих вне «теории кон'юнктур» Н. Д. Кондратьева—*революционное рабочее движение и мировой империализм.* И то, что победил в первой схватке этот *последний,* победил прежде всего на немецких баррикадах руками агента союзного империализма Носке,—это и ликвидировало «замешательство» 1918—19 г., создало возможность «под'ема» 1920 г. Какими живыми красками описывает Н. Д. Кондратьев сей *(годичный* по сроку) «под'ем». Несмотря на *все препятствия,* несмотря на тяжелые последствия войны,—под'ем, рост материального благополучия! Здесь уж вам не баланс понижений и повышений. Здесь вывод определенный—и в конечной сводке (нами цитированной), и в обзоре отдельных сфер хозяйства за это время.

На радостях проф. Кондратьев на стр. 129 делает переформулировку своих заключений о военном периоде (стр. 75): «основной чертой первого

периода является мировой под'ем ценностных показателей кон'юнктур *лишь частичный под'ем* натуралистических показателей их, *преимущественно в заокеанских странах.* В большинстве же стран старой капиталистической культуры наблюдается упадок народного хозяйства in natura. Поэтому первый период проходит в общем и целом под знаком *обнищания мира,* хотя растущая нужда и поражает в действительности и с особой силой лишь европейский континент» (стр. 129, курсив наш).

Позвольте, а как же пятьюдесятью страницами раньше вы говорили, что «во всяком случае *нет оснований говорить о мировом хозяйственном оскудении* в собственном смысле слова»? Там было *частичное* оскудение и что-то вроде *равновесия* в целом; здесь—*частичный* под'ем и «*обнищание мира* в общем и целом». Таков уж эмпирико-об'ективный метод проф. Кондратьева: он состоит в сдабривании отрицательных (с точки зрения благополучия капитализма) заключений какими-нибудь «светлыми пятнами». И раз при оценке послевоенного периода имеется светлое пятно в виде под'ема 1920 года, можно сделать «уступку» в оценке военного периода. Тем более, что на протяжении пятидесяти страниц рядовой читатель с успехом «зашьется» в бесконечной веренице цифр и цифирок.

Выше мы уже приводили основную оценку Н. Д. Кондратьевым *кризиса 1920—21 г.* По всем своим статьям—это «бесспорно капиталистический кризис относительного перепроизводства», не «какой-то особый, исключительный», выходящий за пределы нормального капитализма кризис. Н. Д. Кондратьев с большой тщательностью перечисляет (стр. 193 и след.) все его характерные черты: 1) остроту и глубину, 2) всеобщность, 3) исключительную продолжительность (более года—с весны 20 по лето 21 года), 4) недружное развитие и т. д. Светлым пятном, которое в данном случае скрашивает все эти низкие истины, является для автора то, что возникновение *нормального* капиталистического кризиса означает, очевидно, восстановление капиталистических норм вообще [1]). Раз кризис 20—21 г. «является кризисом капита-

---

[1]) Впрочем, проф. Кондратьев и здесь не может удержаться от того, чтобы не „сгладить" характеристику кризиса. Он приписывает ему особую „плавность" и полное отсутствие „паники, стремительности, катастрофичности" (стр. 193). Тем самым проф. Кондратьев 1) игнорирует приведенное т. Варга в его книжке о кризисе мирового капит. хозяйства (стр. 4 русского перевода) описание краха в Японии и 2) игнорирует имеющиеся у Варга и других данные о крахе в сел. хозяйстве Соед. Штатов и Канады (лишь вскользь и с затушевыванием он упоминает о сведениях, приведенных Громаном). На-ряду с тем Кондратьев отрицает в кризисе 1920—21 г. всякий элемент банковой паники, об'ясняя это отсутствием золотого обращения (стр. 196). Между тем Кондратьев мог бы найти у того же Варга (стр. 43) сообщение о крахе одного из крупнейших банков Италии. А если автор „Мирового хозяйства" вообще бойкотирует книгу Варга, то он мог бы найти сведения о крахе Banca di Sconto в любом буржуазном журнале по банковому делу. Из имеющегося в нашем распоряжении, к сожалению, неполного, комплекта журнала „Die Bank" за 1922 г. сообщаем к сведению проф. Кондратьева нижеследующее. 1) Лопнул *Французский* Banque industrielle de Chine с размером обязательств в 585 милл. франков в связи со 2) рядом крахов в *Китае* (упомянутый журнал называет три банка); 3) одновременно с крушением сахаро-тростникового производства после колоссальной спекуляции лопнул целый ряд банков на *Кубе* (крупнейший центр сахарно-

листического народного и мирового хозяйства», то он «бесспорно по природе своей *стоит в одном ряду с общими* периодическими промышленными кризисами перепроизводства, которыми так богата экономическая история передовых стран в XIX и начале XX века» (стр. 192). Самый же «процесс кризиса... есть болезненный процесс ликвидации создавшихся под влиянием определенных условий несоответствий диспропорциональностей производства и распределения, предложения и спроса, процесс перехода от *одного* подвижного *равновесия* народного и мирового хозяйства, для дальнейшего существования которого нет необходимых и достаточных условий, *к другому*» (стр. 208). Полумертвый больной вышел из беспамятства, впал в «нормальный» припадок белой горячки, значит спасен, значит будет жить: такова мораль.

Как характеризует проф. Кондратьев *последний* по времени период развития мирового хозяйства, начиная с лета 1921—22 г.? «Целый ряд валеристических и натуральных показателей... обнаруживают новый перелом в ходе кон'юнктур: понижательные кон'юнктуры сменяются стационарными и в большинстве случаев—повышательными. Это значит, что мировое хозяйство *вступило в полосу ликвидации кризиса*» (стр. 239).

«Но,—добавляет проф. Кондратьев дальше,—это не значит, что он сменился немедленно состоянием напряженного под'ема. После кризисов и в прошлом следовал известный период депрессивного и угнетенного состояния экономической жизни... В сущности такое состояние угнетения уже длится около 12 месяцев» (стр. 240).

Если ликвидация кризиса так затягивается, то виною в том, по мнению Кондратьева, расстройство денежного обращения, колебания валют, разлаженность мирового кредита, волна протекционизма и *(на последнем месте)* изоляция России, система возмещений по отношению к Германии. Но раз кризис вступил в полосу ликвидации, несмотря на все это, значит «с несомненностью» «эти факторы были не основными факторами кризиса, а дополнительными к основным, осложняющими и углубляющими последние». «Вот почему перечисленные выше факторы, тормозящие под'ем, являются не более, чем факторами, *отдаляющими наступление под'ема. Они не могут предотвратить его: сопротивление их* рано или поздно *будет преодолено* прежде всего *внутренними силами* самого экономического *режима*» (стр. 240).

тростникового производства) и был даже об'явлен мораторий; 4) в связи с особенно острым кризисом в колониях вообще, ряд *голландских* банков потерпел крупные убытки, а из более значительных крахов отмечается банк Маркса и К°. Кроме этого: 5) во *Франции* лопнул а) старейший парижский банк Клод Лафонтен, Прево и К° и б) Société Centrale des Banques de Province потерпело убытков на 122 милл. франков и „реорганизуется" его участниками—провинциальными банками; 6) один из крупнейших банков *Румынии* (Banca Nationa) приостановил платежи; 7) приостановил платежи один из крупнейших *датских* банков (Danske Landmandsbank) и пара связанных с ним банков; 8) девять банков перестало платить в *Швейцарии*, что создало затруднения и в Италии; 9) из более крупных крахов в *Швеции* упомянем Andresens u. Bergens Creditbank, коему государство и 4 других банка приходят на помощь 50 миллионами крон.—Крупных крахов нет только в Соед. Штатах и Англии, за исключением краха отдельных крупных биржевых спекулянтов (в С. Ш. один обанкротился с пассивом 50 милл. долларов).

Итак, мы не только накануне под'ема, но еще этот под'ем знаменует собой окончательное выживание капитализма. Профессор Кондратьев возлагает все упования на *положительные внутренние силы* капитализма. А уже развитые капитализмом и развиваемые вновь внутренние *противоречия, внутренние разрушительные* силы делает чем-то внешним, средой сопротивления, осложняющими дополнительными факторами. Но на всякий случай Н. Д. Кондратьев застраховался на все стороны. Что если намечающееся *(бесспорно)* оживление окажется и частичным, и скоро преходящим (за что говорят многие соображения)? На это случай есть, во-первых, «осложняющие факторы».

Во-вторых, на это есть у проф. Кондратьева целая теория «больших» и «малых» циклов кон'юнктуры, которая сводится к тому, что, помимо сменяющихся в течение 7—10 лет периодических под'емов и снижений капиталистического хозяйства, есть большие циклы в 40—50 лет. В каждый такой цикл входит 4—5 малых циклов; каждый такой цикл в первой половине представляет собой повышательную, хотя и волнистую линию, а во второй половине—падающую зигзагами кривую. Полосы повышения связаны с ростом добычи золота и с ростом товарных цен, выражаемых в золоте [1]). Общий смысл этой «теории», уже имеющей предшественников, состоит в том, чтобы кризисы,—так же, как капитал, прибыль, ренту,—из исторически-преходящих категорий сделать категориями «логическими»: чтобы разыскать капиталистические кризисы еще и при царе Горохе (не один немецкий буржуазный апологет находил их в древнем мире), а из сего сделать вывод: «так было, так будет».—Но в данном случае эта теория является для проф. Кондратьева второй страховкой, перестраховкой. В средине 90-х годов, видите ли, началась «повышательная волна последнего большого цикла». Она достигла «высочайших пределов» накануне «грандиозного кризиса 1920—21 г.г.» (см. стр. 254; нотабене для читателя: здесь мы узнаем, что за время войны, оказывается, не произошло-таки «обнищания» и «оскудения» ни в части, ни в целом, а, наоборот, высочайших пределов достигло *повышение;* вот это значит—«по возможности менее конструировать и отвлеченно рассуждать, и более изображать». Н. О.). Кризис же 1920—21 г. *начинает понижательную волну большого цикла*. Посему, если у проф. Кондратьева в будущем что-нибудь не сойдется по части «определенного под'ема» и «мирового возрождения», перестраховка готова: «понижательная волна» большого цикла. Как видите, наш профессор подкован на все четыре ноги!

---

[1]) Здесь проф. Кондратьев не может не отдать дани новоявленному светилу буржуазной экономии, стокгольмскому проф Касселю, защитнику, так называемой, количественной теории денег, с одной стороны, и новому глашатаю „политической экономии без ценности", с другой. В свое время Н. И. Бухарин в журнале „Neue Zeit" основательно перетряхнул кости другого „экономиста" без ценности—Туган-Барановского. Но ничего не поделаешь: буржуазного профессора идея ликвидации самой категории стоимости (а вместе с тем, что всего важнее, *стоимости трудовой*) влечет к себе, как магнит.

2. Факты и цифры против апологетики.

Впрочем, довольно с нас пребывания в мире общих идей и заключений проф. Кондратьева. Пора сопоставить эти общие заключения с фактами, а затем присмотреться к *конкретному анализу* проф. Кондратьева (поскольку вся его книга переполнена конкретными цифрами и индексами). Но, прежде чем это сделать, пара слов о приемах изложения в критикуемой книге.

Профессор Кондратьев разорвал анализ движения мирового хозяйства за 8 лет на *пять* частей. Такой разрыв очень удобен для апологетических целей. Можно ли при таком разрыве сделать сопоставление, скажем, сельско-хоз. производства за пять лет до войны (в среднем) и за три—четыре года после войны (в среднем)? Очевидно, нельзя. А ведь это для данной отрасли хозяйства (при колебаниях урожаев) единственный правильный метод.—Можно ли при таком разрыве сопоставить для основных отраслей промышленности данные: 1) о максимальном об'еме производства до войны, 2) о максимальной цифре, достигнутой во время войны и 3) о цифрах последних лет? Нет, нельзя. А ведь это единственный способ достигнуть об'ективного ответа на вопрос о промышленном «обнищании», «оскудении» и проч. *Нельзя*, и проф. Кондратьев *этого* не делает, но все же преподносит читателю какие-то эрзац-выводы, полученные из методологически недопустимых, оборванных сравнений.

Сделаем же это мы вместо проф. Кондратьева. Возьмем, прежде всего, данные о *посевной площади, урожайности* и *сборе* главных *хлебов* [1]) за довоенное пятилетие (1909—1913 г.г), за военные годы (1914—1918) и за три года после войны.

Посевная площадь, урожайность на гектар и валовой сбор 5 главнейших хлебов (пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза) в гектарах (0,92 дес.) и квинталах (6,1 пуда).

	1909—13	1914—18	1919—21
I. Посевная площадь.	Миллионы гектаров.		
1. Все страны, включая Россию и выделившиеся из нее территории	313,0(100%)	—	296,0(94,6%)
2. Все страны без России и этих территорий	217,7(100%)	226,4(104,2%)	226,9(104,2%)

[1]) Таблица выработана по данным международного сельско-хозяйственного института в Риме (см. его ежегодники Annuaire de statistique agricole, 1909—1921). Так как за 1914—1918 г.г. данных по выделившимся из России территориям и по самой России в сборнике (а частью и вообще „в природе“) нет, то для полной сравнимости как в сборнике, так и у нас введены особые графы, где вычтены эти площади. По России после войны в сборнике имеются данные только за 1920 г. (по сельск. хоз. переписи этого года) и притом только о посевных площадях. Посему за 1919—1921 гг. Россия выкинута в сборнике из сопоставлений. Мы попытались восполнить этот пробел, добавив данные Ц. С. У. за 1921 г. и путем расчета выведя: 1) посевные площади за 1919 год для всей России (данных за этот год, кроме Центр. России, у Ц.С.У. нет) и 2) за 1920—1921 г.

3. Европа без России и выделивш. терр.	76,2(100%)	70,5(92,5%)	68,2(89,5%)
4. Сев. Америка	93,2(100%)	103,7(111,3%)	110,8(118,9%)
5. Россия [1]	95,3(100%)	—	а) 61,5(72,6%) б) 7,6
II. Урожайность.	Квинталы с гектара.		
1. Все страны, без России и выделивш. из нее территор.	12,6(100%)	11,8(93,7%)	11,9(94,4%)
2. Европа без России и выделивш. террит.	14,1(100%)	12,2(86,5%)	12,1(85,8%)
3. Сев. Америка	13,3(100%)	13,2(99,2%)	12,9(97,0%)
III. Сбор хлебов.	Миллионы квинталов.		
1. Все страны, включая Россию и выделившиеся из нее территории	3.489(100%)	—	3.167(90,8%)
2. Все страны, без России и этих территорий	2.743(100%)	2.669(97,3%)	2.704(98,6%)
3. Европа без России и этих территорий	1.078(100%)	860(79,8%)	828(76,8%)
4. Сев. Америка	1.237(100%)	1.365(110,3%)	1.427(116,2%)
5. Россия [1]	746(100%)	—	а) 387(62,6%) б) 76

Пусть читатель не посетует на нас за эту громоздкую таблицу. Она зато весьма и весьма поучительна. В отношении *посевных площадей* она обнаруживает, что, если включать в расчет Россию (что так тщательно избегает Н. Д. Кондратьев), посевная площадь всех стран *сократилась* по сравнению с довоенным временем на целых 7,5 процентов. Если же отбросить Россию, то получается *прирост* в 4 процента за годы войны, который в последующем не увеличился. Довольно ясно видно также, из каких основных элементов сложился этот прирост: *из сильного упадка* в Европе, покрываемого *увеличением* в Сев. Америке. Упадок в Европе с окончанием войны не *сократился*, а *усилился*. В скобках заметим, что он растет прежде всего в Германии и в придунайских странах: вот что значит «дополнительные», «осложняющие» факторы версальского мира. В Северной Америке прирост по окончании войны продолжается [2]). Уже движение посевных площадей недурно показывает, насколько весь мир в целом разбогател и богатеет после войны.

для Туркестана, Закавказья и Дальнего Востока. Приемы нашего подсчета мы подробнее изложим в статье о положении мирового сельского хозяйства в журнале Наркомзема („Сел. и Лесн. Хозяйство"). Что касается урожайности по России за 1919—1921 г.г., то мы воздержались от ее выведения, вследствие рискованности расчетов урожайности для 1919 года. Сбор хлебов в России мы взяли (с необходимыми дополнениями путем расчетов), по той же причине, лишь за 1920 г. Этот сбор несомненно близок к среднему за 1919—1921 г.г. (имея в виду крупный неурожай 1921 г.). Сбор, следуя методам Ц. С. У., повышен на 25%.

[1]) За довоенный период в графе „Россия"—старая империя; за 1919—21 г.: а) Россия в пределах нынешнего Союза С. С. Р. и б) выделившиеся из нее территории (польские, прибалтийские, Бессарабия).

[2]) Какой ценой достигнут этот прирост, и как он привел к краху 1920 г. и к последующему кризису сев.-американск. сел. хозяйства, об этом мы скажем подробнее в статье в „Сел. и Лесн. Хозяйство". Пока просим читателей обратить ниже внимание на движение урожайности в Америке.

Таблица *урожайности* была бы куда ярче, если бы в нее включить Россию. Но и без того она показывает, что в период после начала войны произошел *упадок урожайности* в 5½—6 процентов по всему *буржуазному* миру в целом (в противоположность ничтожному расширению *посевов* буржуазного мира). Микроскопическое увеличение урожайности в послевоенный период по сравнению с годами войны (0,1 квинтала с гектара или 0,7%) объясняется исключительно удачными урожаями, выпавшими на некоторые страны в 1920—21 г.г. [1]).

Не менее характерно, что и в Европе и в Сев. Америке идет регулярное падение урожайности: 1) 14,1—12,2—12,1 и 2) 13,3—13,2—12,9—таковы два ряда. При этом в Сев. Америке, чем больше растет площадь, тем сильнее сокращается урожайность.

Однако самое интересное и разрешающее вопрос о том, «обеднел» или «не обеднел мир хлебом», суть данные о *валовой продукции*. Они показывают, что в Европе падающий по ступеням сбор в послевоенные годы достиг 76,8% своего довоенного размера (так ли мы далеко позади Европы, тов. читатель?). В Сев. Америке сбор *возрос*, но слабее посевной площади (на 16%). *А мировой баланс?* Оставляя в стороне Россию, мы видим, что он, правда, улучшился на относительно крохотную сумму *по окончании* войны (35 милл. квинталов—0,7%), благодаря приросту посевных площадей в Сев. Америке, но *он и сейчас составляет 98,6% довоенного сбора.*

Это все без России. Если же мы добавим Россию, то обнаруживается, что *мировой сбор ныне составляет 90,8% довоенного*. Между тем *население мира увеличилось:* по данным того же сборника с 1.747 милл. человек (1911 г.) оно возросло до 1.820 милл. человек (1921 г.), или на 4%. Из отдельных частей света оно, несмотря на войну, сократилось только в Европе, и притом на полпроцента. Если мы разделим довоенный сбор на довоенное население и то же сделаем с послевоенными цифрами, мы получаем:

до войны . . . . . 2,00 квинт. на душу;
после войны . . . 1,74 квинт. на душу.

Иначе говоря, после войны сбор на душу составляет 87% довоенного. Полагаем, что читателям теперь ясно, разбогател или обеднел мир хлебом после войны [2]).

---

[1]) Между прочим, в Соед. Штатах в 1920 г. был такой урожай кукурузы, какой еще ни разу не отмечался американской статистикой (см. сводку, начиная с 1866 г., в ежегоднике Сев.-американского департамента земледелия). И тем не менее средняя по всем хлебам в Сев. Америке за 1919—21 г. *упала*.

[2]) Если бы на это кто-либо попробовал возражать, что за вычетом России валовой сбор на душу должен оказаться гораздо лучше, такой оппонент рискует попасть из огня в полымя. В самом деле, перед войной сбор хлебов России входил в тот общий резервуар, из которого потребляющие страны снимали сливки „товарных излишков". И если вам угодно рассуждать о том, в каком положении мир находится, если Россия—вне игры, будьте добры сопоставить две цифры: 1) до войны; общий резервуар хлебного сбора для Европы (имея в виду и Россию)—3.499 милл. кв. и 2) после войны, когда Россия ничего не дает Европе; общий резервуар, без России—2.704 милл. квинталов. Иначе говоря, потребляющие страны ныне черпают из котла, размер которого сжался

Что касается второй основной отрасли сельск. хозяйства, *скотоводства*, то, пользуясь данными и того же ежегодника римского института, мы можем сделать итоговые сопоставления лишь по одному году до войны (1911) и по одному году после войны (1921). Попытки подвести итог также за какой-либо из военных годов в ежегоднике, к сожалению, не сделано. Что касается метода сопоставления по единичным годам, то он для весьма медленно варьирующего об'екта, как скот, и в расчете на обширную территорию вполне допустим. Как мы увидим ниже, такое сопоставление, однако, преуменьшает упадок. Вот его результаты:

Количество голов скота по всем странам мира вместе (включая Россию).

в миллионах

	Лошадей.	Крупн. рог. скот.	Овец.	Свиней.	Коз.
1911	110,5 (100)	482,8 (100)	617,8 (100)	260,2 (100)	126,0 (100)
1921	99,8 (90,3)	510,9 (105,9)	532.2 (86.2)	209,7 (86,6)	116,8 (92,7)

Мы видим: количество овец и свиней *сократилось* резче всего (на $13\frac{1}{2}$—14%). Количество лошадей *убыло* несколько слабее (10%). Количество коз— еще меньше. И, наконец, количество рогатого скота *возросло*, но очень слабо. Причины такого развития в движении скота в общем ясны. В других числовых выражениях мы все это найдем и в России. В эпоху большого обнищания крестьянин (не только русский, но и европейский) всегда жертвует мелким скотом в пользу крупного, особенно охраняя коров; вот почему даже и по Европе число крупного рогатого скота упало очень мало (на 4%). В тот же период количество крупного скота возросло в Сев. Америке, равным образом возрасло в Азии, Африке и Океании и сократилось в Южной Америке [1]). Что касается коз, то более слабое их сокращение— характерный документ хозяйственной разрухи: число их осталось почти без изменения в Сев. Америке (1%), *упало* от 13 до 16% в южн. Америке, Азии, Африке и Океании и *выросло* на 21% *только в Европе.* Искушенный в разрухе читатель сам поймет, каков смысл этого «относительного» прогресса.

до 75.5% прежнего. Вот откуда заботы либеральных людей Европы о восстановлении связи с Россией. С нею вместе котел все же будет об'емом 90,8% прежнего.

[1]) Надо, впрочем, отметить, что увеличение крупного рогатого скота после войны все же подлежит большим сомнениям: 1) От 1911 до 1914 г. прошло целых три года, происходил прирост скота, и сравнение с 1914 годом увеличило бы цифры верхнего ряда таблицы. 2) Имеются отдельные, очень сомнительные цифры. Так, например, в британских провинциях Индии в 1911 г. числилось 103,6 милл. голов скота, в 1920 г.—127,1 мм. Если мы расследуем происхождение этого прироста в $23^1/_3$ милл. голов (почти равного мировому приросту за те же годы), то найдем, что в 1913 г. (кстати: еще до войны) сразу произошел прыжок на $16^1/_2$ милл. голов: с 103,8 милл. в 1912 цифра поднялась до 120,4 милл.; а во все годы до этого и после этого прирост был 1—2—3, максимум 4 миллиона. Очевидным образом, здесь произошло какое-то изменение в *аппарате* учета, который раньше чего-то недоучитывал, или в *об'еме* учета.

Что же все эти перекрещивающиеся изменения по странам света и по видам скота означают *в сумме?* Попробуем *сложить* их, применяя обычные коэффициенты перевода всех видов скота в крупный (берем коэффициенты из «Справочной книжки русского агронома»). Итог получится такой:

Скота всех видов в переводе на крупный.

	Число штук.	$\%\%$	На сто душ насел.	$\%\%$
1911	785,8	100	44,9	100
1921	775,9	98,7	42,1	93,8

Отсюда мы получаем ясный ответ на вопрос, обеднел ли мир скотом. *Да, обеднел.* Слабее, чем хлебом, но обеднел. И более всего обеднел бараниной и свининой, обеднел шерстью и щетиной.

Не останавливаясь на других отраслях сел. хоз. производства [1]), переходим прямо к мировой *промышленности* и международной торговле, из коих первую охарактеризуем цифрами по углю, нефти, металлу и хлопку, а вторую—в денежном выражении (с пересчетом колебаний валют по годам и странам в общую единицу—доллар) и в натуральном выражении, поскольку таковым можно считать вместимость торговых кораблей, приходящих в ту или иную страну и отбывающих из нее. Сперва остановимся на промышленности.

Мы имеем перед собой опять громоздкую, но характерную таблицу [2]):

---

[1]) Для „порядка" отметим, что посевы хлопка за годы войны остались неизменными, а после войны упали и составляли 97,9% довоенных, продукция же и урожай систематически падали, составляя после войны 90,5% довоенного размера (без России): что посевная площадь и продукция льна, сосредоточенные в России, находятся во всем известном упадке; что посевы сахарной свеклы (без России, где до войны была сосредоточена треть этих посевов), в военные годы упавшие до 83,1%, после войны поднялись до 86,1%, благодаря стараниям развить эту культуру в Соед. Штатах. Но *урожай* в Европе падал по ступеням так низко, что продукция также падала от периода к периоду, и в послевоенное трехлетие составила 72,3% довоенной. Недочет в свекловичном сахаре восполнялся развитием культуры сахарного тростника (в Индии, в Африке, в Центральной Америке), который покрыл дефицит сахарной продукции (особенно после войны) в расчете на все страны без России, но не смог покрыть дефицита, если считать и Россию. При этом развитие культуры сахарного тростника в Америке шло на совершенно нездоровой основе колоссальной спекуляции, и в 1920 году уже начался кризис этого производства (ср. выше о крахах на о. Кубе).

[2]) Данные для нее взяты из прекрасного „Ежегодника хозяйства, политики и рабоч. движения", вышедшего в Германии под редакцией тов. Варга и ныне переводимого на русский язык: некоторые пробелы восполнены по „Статист. ежегоднику миров. хоз." под ред. т. Фалькнера, для нефти по книге Берзина „Мировая борьба за нефть".

Добыча и производство угля, нефти, чугуна, стали, а также потребление хлопка в 1913—1921 г.г.

(Первая строка каждого ряда—абсолютные числа, вторая—проценты к 1913 г.).

	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
1. Каменный уголь.	миллионы метрических тонн (61,05 пуда)								
Мировая добыча	1.340	1.210	1.200	1.280	1.350	1.330	1.150	1.300	1.100
	100	90	89,5	95,5	101	99	86	97	82
Соедин. Штаты	517	466	482	535	591	615	483	585	448
	100	90	93	103,5	114	118	93,5	113	87
Англия	292	270	257	260	252	231	233	238	165
	100	92	88	89	86	79	80	80	56,5
2. Нефть.	миллионы метрических тонн								
Мировая добыча	51,5	53,5	57,5	61,5	67	67,5	80	90	101
	100	104	111,5	119,5	130	181	155	175	196
Соедин. Штаты	33	35,5	37,5	40	45	47,5	50	58	62,5
	100	108	114	121	136	144	151,5	176	189,5
Мексика	3,5	3	4,5	5,5	7,5	10	11,5	21	26
	100	86	128,5	157	214	286	329	600	743
3. Чугун.	миллионы метрических тонн								
Шесть стран [1]	677	506	525	649	644	633	466	558	320
	100	75	77,5	96	95	93,5	72	82,5	47
Соедин. Штаты	315	237	304	400	393	397	315	370	168
	100	75	96,5	127	125	126	100	117,5	53
Англия	107	91	89	92	96	92	75	81	27
	100	85	83	86	90	87	70	76	25
4. Сталь.	миллионы метрических тонн								
Шесть стран [1]	643	500	560	707	752	725	534	631	375
	100	78	87	109	118	113	83	98	58
Соедин. Штаты	318	239	327	435	458	452	352	416	203
	100	75	103	137	144	142	111	131	64
Англия	78	79	87	93	100	97	80	92	37
	100	101	111,5	119	141	124	102,5	118	47,5
5. Потребление хлопка.	(1912—13)	миллионы квинталов							
Пять стран [2]	30	29	37	36	33,5	28,5	33	32,5	25,5
	100	96,5	123	120	111,5	95	110	108	85
Соедин. Штаты	13	14	16,5	17,5	17	14	15,5	15,5	12
	100	108	127	134,5	131	108	111	111	92
Англия	9	7,5	10,5	9	7	7	8	7	4
	100	83	117	100	78	78	89	78	44

В настоящей таблице для каждого продукта взяты, во-первых, либо *мировые* добыча или производство, если это позволяют источники, либо суммарно те *страны*, по которым *непрерывно* имеются точные данные. Россия включена только в цифры по углю и нефти. Австро-Венгрия (и ее «наследники») отсутствуют везде, кроме угля. Германия отсутствует по хлопку: поэтому суммарный упадок производства большей частью весьма *преуменьшен*.

[1]) Германия, Люксембург, Франция, Соедин. Штаты, Канада, Англия.
[2]) Франция, Англия, Соедин. Штаты, Япония, Испания.

И тем не менее, что показывает наша таблица? Добыча каменного угля, *определяющая ход всей промышленности в целом*, в лучший из военных годов стояла на 1% выше 1913 года, во все остальные годы она была *ниже*. Если взять восемь лет, начиная с 1914 года, оказывается, что добыча угля за это время была в среднем 92½% добычи 1913 г. А если оставить в стороне Соед. Штаты, окажется, что добыча остального мира за это время была 87% довоенной. Нужно учесть также и то, как возросло потребление военного флота, стоявшего постоянно под парами и привязавшего к себе большой текущий запас. Несмотря на это и на всем памятные во время войны во всех странах недохватки топлива, Н. Д. Кондратьев все же утверждает (стр. 43), «что в мировом масштабе едва ли можно говорить об угольном голоде во время войны». Как можно это утверждать, когда добыча Англии за 1914—1921 г.г. была всего 81% довоенной?

Упадок добычи угля восполнялся большим ростом производства нефти в Соед. Штатах и Мексике. Вот *единственная* отрасль промышленности (почему-то совершенно упущенная и проф. Кондратьевым и С. А. Фалькнером в их обзорах), которая непрерывно росла во время войны и по окончании ее. Но ее прирост (в среднем за 8 лет—40%) не компенсировал упадка угольной индустрии. Пересчитывая нефть на каменный уголь, мы получим, что совместная добыча 1914—1921 г. составляет 95% довоенной нормы 1913 г. А кроме того, подавляющая, львиная доля добычи потреблялась в Соед. Штатах, которые, например, в 1920 г. забрали себе 72% мексиканского вывоза нефти, помимо использования собственного производства [1]).

Предшествующее в сущности определяет весь ответ на вопрос о том, с минусом или с плюсом сходится общий мировой промышленный баланс в годы от начала войны до наших дней.

В дальнейшем мы хотим обратить внимание читателя на *форму движения* промышленной кривой. Проф. Кондратьев говорит об «определенном под'еме» 1919—20 г., об «увеличении материального благополучия» et caetera. Оставим в стороне нефть, и взглянем на все остальное. Мы видим, что для *угля* максимальная добыча во время войны была в 1917 г.—1.350 милл. тонн; в следующем году—спуск до 1.330 милл., в 1919 г.—1.150 милл., в *1920 году добыча, несколько поднявшись, не достигает даже уровня 1918 года* (не говоря уже о 1917 г. или 1913) и затем опять снижается.

---

[1]) По вопросу о приросте добычи нефти следует сделать следующие замечания: 1) Темп прироста ее и в Соедин. Штатах и в Мексике является только *нормальным*, ибо до войны *удвоение* производства за десятилетие для американской индустрии обычное явление (и в России за 1903—1913 г.г. добыча угля удвоилась), а на новых нефтяных площадях мексиканский темп развития также обычное дело. 2) Такой темп развития был возможен во время войны потому, что в нефтяной промышленности: а) рабочая сила имеет в несколько раз меньшее значение, чем в *каменноугольной* промышленности, весь кризис коей в Европе был кризисом рабочей силы, а относительное благополучие коей в Соед. Штатах об'ясняется ростом *машинной* выработки; б) вопрос о топливе не играет роли, как в металлургии и легкой промышленности. 3) Но нефтяную промышленность Америки ждет другой кризис: истощение запасов, коих в Соед. Штатах в лучшем случае хватит на 15 лет, а в Мексике на 23 года (Берзин, указ. книга, стр. 20). Отсюда лихорадочная борьба за нефть.

По *чугуну:* максимум военных годов в 1916 г. (96 милл. тонн), затем регулярное снижение—95, 93½, 72 милл., затем в 1920 г. *повышение, не достигающее ни 1916, ни 1917, ни даже 1918 года* (не говоря уже о 1913), и затем—крах: 47% довоенной добычи.

По *стали:* максимум достигнут в 1917 г. (752 милл. тонн или 118% довоенной нормы), затем упадок в 1918, новый сильный упадок в 1919, *улучшение в 1920 г., остающееся далеко позади всех годов войны, кроме 1914,* и опять *крах:* 58% довоенного производства (и 49% военного максимума).

Хлопок: максимум потребления его достигнут во время войны в 1915 г. (37 милл. квинталов), затем три года понижения, низшая точка достигается в 1918 г. Далее *два года улучшения* (1919 и 1920), не достигающие, однако, ни 1915, ни 1916, ни 1917 года — и упадок: 69% от максимальной цифры (1915 г.).

Мы видим, что время достижения военных максимумов, их отношение к максимуму довоенному и время наступления первого послевоенного минимума *различны.* Военный максимум тяжелой индустрии большей частью достигается в 1917 году, после чего она уже начинает «выдыхаться». Притом по углю военный максимум удается догнать только до 101% довоенного, по чугуну дело обстоит еще хуже—не более 96% довоенного; по стали, *главному военному орудию,* максимум удается догнать до 118% довоенного—*явно за счет железа и литейного чугуна* [1]. По хлопку (солдатская одежда!) максимум почти одинаков с максимумом «стальным»—123% довоенного. Он даже *больше* «стального» и достигается *раньше*—на то и «легкая» индустрия; но она же и раньше выдыхается.

Вот каковы различия, отражающие и обычные взаимоотношения в движении кон'юнктур, и специально военные обстоятельства. Но всюду и везде *одна сторона выступает ярко и однородно: никакого под'ема в 1920 г. не было.* Было *преходящее улучшение,* по сравнению с годом (1919), когда заколебались самые основы капитализма. А затем, когда основной, комбинированный кризис (экономический, социальный и политический) был *политически* преодолен или, вернее, *локализован,* разразился глубочайший экономический кризис, такой глубины и остроты, какой мир не видал с 30—40-х г.г., и такой ширины, которой он *не видел никогда.*

---

[1]) Прямо-таки комическое впечатление производят попытки проф. Кондратьева (на стр. 45 его книги) утверждать по отношении к военному времени, что „в мировом масштабе опять-таки нельзя говорять о железном голоде, как таковом. Перед нами даже картина сильнейшего под'ема, например, стальной промышленности... в связи с требованиями военного рынка". Во-первых, называть под'емом превышение предшествующего максимума на 18% есть далеко не академическая экспансивность; во-вторых, сталь делается не из воздуха, а из доменного чугуна или лома; и если чугуна плавилось в 1914—1918 г.г. лишь 88% цифры 1913 года, то либо менее вырабатывалось чугунного литья и железа, либо больше употреблялось лома, за счет истощения запасов его. В третьих, если для выведения условного среднего индекса сложить цифры производства чугуна и стали, получается, что за 1914—1918 г г. % производства к 1913 г. составляет 94%, а за 1914—1921 годы даже и 88%.

Вот как надо формулировать положение вещей, если не хочешь говорить языком апологета капиталистического порядка.

На этом мы оставим рассмотрение таблицы, охватывающей промышленное производство [1]). Вкратце рассмотрим теперь таблицу, касающуюся международной торговли [2]):

Мировая внешняя торговля по ценности и по физическому об'ему за 1913—1921 г.г.

	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1930	1921
	Миллиарды долларов по среднему курсу соотв. года.								
1. Стоимость импорта и экспорта вместе.									
Пять стран вместе [3]).	25,1	21,4	19,4	19,95	20,8	18,75	23,9	26,3	22,4
	100	85	77	79,5	83	75	95	105	89
Соед. Штаты	4,2	3,9	5,3	7,8	9,2	9,2	11,8	13,5	6,9
	100	93	121	186	219	219	281	321	164
Англия..............	5,9	5,5	5,8	6,9	7,5	8,6	10,7	12,0	6,9
	100	93	98	117	127	146	181	203	117
	Миллионы регистровых нетто-тонн в среднем за месяц.								
2. Тоннам прибывших и отбывших судов.									
Пять стран вместе [3])..	30,2	20,0	21,3	21,1	18,05	16,5	20,8	26,55	27,1
	100	86	70,5	70	60	54,5	65,5	88	90
Соед. Штаты........	8,9	8,1	8,3	8,75	8,2	7,4	8,2	11,0	10,4
	100	91	93	98	92	83	92	131,5	125
Англия..............	9,7	8,25	6,1	5,5	4,1	3,8	5,35	6,1	6,1
	100	85	63	57	42	39	55	63	63

Таблица показывает, что в военные годы *реальный грузооборот* руководящих стран (а здесь мы имеем почти все наиболее крупные торговые страны, кроме ***Германии***), постепенно снижаясь, в 1918 году достиг пятидесяти четырех с половиной процентов (почти половины) грузооборота 1913 года. Легко понять, что это означает в смысле «оскудения». Лишь в 1919 году (снятие кордона на море) он повышается, в *1920 г. делает крупный скачек вверх* и застывает в 1921 г. на уровне 90% довоенного. Мы видим также, что Соед. Штаты очень легко переносили сужение грузооборота по сравнению с другими, из коих грузооборот Англии понижался до 39% довоенного, а в 21 г. не достиг еще ²/₃ довоенного.

---

[1]) Внимательный читатель может сделать из нее ряд дальнейших выводов и сопоставлений. Чтобы их облегчить, мы всюду дали числам и процентное выражение. Соед. Штаты выделены потому, что это виднейший представитель стран, выигравших от войны. Англия потому, что это наиболее здоровый член в теле капиталистической Европы (во всяком случае до кризиса 1921 г.).

[2]) Данные о ценности внешней торговли—из упомянутого немецкого ежегодника под редакцией Варга. Данные о приходе-уходе судов из „Сборника статист. сведений об экономическом положении важнейших иностр. государств", изданного Ц. С. У.; те же данные за 1921 г. из книги Фалькнера „Перелом в развитии мирового кризиса". Вексельные курсы для пересчета на доллары—по различным иностранным источникам, преимущественно из ежемесячного бюллетеня гаагского международного статистического института.

[3]) Соединенные Штаты, Англия, Франция, Япония, Голландия.

Интересно сопоставить второй отдел таблицы с первым. *Ценность* грузооборота тех же стран (в золотом выражении по курсу) ниже 75% довоенного (1918 г.) не падала, выросла в 1919 г. до 95% довоенной нормы, в 1920 г. ее превысила, а в 1921 г. свалилась обратно.

Здесь мы видим излюбленное Н. Д. Кондратьевым расхождение «валеристических и натуральных показателей», проще говоря, результат взвинчивания цен вследствие сокращения и производства и международного снабжения. Необыкновенно характерно, что если, например, в 1920 году об'ем грузооборота Соед. Штатов был 131½% довоенного, то ценность его была 321% довоенного, и если грузооборот Англии был 63% довоенного, то ценность его была 203%. «Повидимому, можно определенно сказать, что относительно капиталистические доходы повысились», и то же надо в интернациональном масштабе сказать о Соед. Штатах.

Но вот что интереснее. Для мировой торговли 1919 г. (за счет второй его части) не был годом упадка, а годом прироста. В еще большей степени таковым был 1920 г. Если проследить кривую цен, то оказывается, что нарастание ее за время войны только *колебнулось* в конце 1918—начале 1919 г.: вслед за тем эта основная и наиболее любезная сердцу каждого буржуа «валеристическая» категория вновь двинулась вверх, побивая прежние рекорды. *1919—1920 г.г. были годами огромной спекуляции*,—отнюдь не только в Японии (о которой мы раньше упоминали), но и в массе других стран.

Характерен пример маленькой *Дании*. Ее историю можно целиком прочесть в следующей табличке:

	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Ввоз и вывоз вместе в миллионах датских крон........	1576 (100)	1662	2286	2666 (169)	2146	1704	8428	4905	3101
Тоже в долларах по курсу..............	422 (100)	435	581	741 (176)	633	513 (122)	785 (186)	770 (182)	548
Экспорт в % к импорту..............	84	109	98	96	98	80	36	67	90
Курс кроны в американских центах....	26,8 (100)	26,2	25,4	27,8 (104)	29,5	30,1 (112)	22,6 (85)	15,7 (58)	17,7

Перед войной Дания имеет оборот в 422 миллиона долларов. Ее экспорт ниже импорта на 16%. Разницу Дания покрывает: 1) доходом от операций ее довольно значительного торгового флота и 2) маленькими доходами от маленьких колоний и маленьких вложений капитала за границей (они все же есть).

За время войны она расширяет экспорт при постоянном росте курса кроны (по дорогим ценам продает и перепродает в Германию; ее *импорт* также расширяется). Ее оборот в золотой цене доходит до 176% довоенного. Ее «торговый баланс» делается почти положительным, а «расчетный ба-

ланс» безусловно становится положительным [1]) и прибыльным. В 1918 г.— перелом: сокращается и ввоз, и вывоз, последний сильнее чем ввоз. Немецкий военный рынок слабеет.

В 1919 г. происходит *любопытнейший резкий скачек.* Вновь *колоссальный прирост внешнего оборота:* в 1½ раза выше предшествующего года и выше всех военных рекордов. В то же время *вывоз оказывается сразу равным почти только трети ввоза.* Т.-е. весь почти прирост произошел за счет огромного роста ввоза (с 284 миллионов долларов в 1918 г. до 587 миллионов долларов, т.-е. более чем *вдвое).* Все это *несмотря* на падение курса кроны, т.-е. когда, следовательно, покупать за границей становится дорого. И несмотря на дальнейшее *падение* курса, огромный ввоз (461 миллион долларов) продолжается и в следующем году; но уже на-ряду с ним развертывается и вывоз, благодаря чему экспорт выравнивается все же до 67% импорта.

За эти два года сорван весь курс кроны и к концу 1920 года доведен до 13,4 цента за крону, т.-е. ровно до полцены (в ноябре 1920 г.). Все это в стране, войной не разоренной, сравнительно хорошо удовлетворявшей свои потребности в военные годы. Ясное дело перед нами *спекулятивная эпопея* крупного масштаба. И датчане порасскажут вам (мы недавно слышали эти рассказы, будучи за границей, в Дании), что в расчете на огромный спрос из Германии (до каких пределов Германия будет удушена союзниками, еще не понимали) датские оптовики в 1919—20 годах закупали что только было можно, и в результате в конце 20—в начале 21 года начался крах [2]).

На этом мы оканчиваем сопоставление фактов с основными оценками положения в книге Кондратьева. Прежде, чем распроститься с ней совсем, приведем еще пару другую конкретных примеров неудачной апологетики и неудачных рассуждений вообще, а затем дадим книге оценку с точки зрения ее практической ценности для читателя.

3. Конкретные примеры неудачной апологетики. Практический удельный вес книжки.

Уже в ходе предыдущего изложения мы дали ряд образчиков подкрашивания действительности Н. Д. Кондратьевым не только в общих оценках, но

---

[1]) Иными словами: она не только продает почти столько же товаров, сколько покупает, но и вся сумма доходов ее значительно больше, чем расходов (по оборотам с заграницей).

[2]) Пример Дании в то же время поучительная картинка для проф. Кондратьева и всех увлекающихся касселевскими теориями, согласно которым выпуск бумажек в первую очередь определял цены. С conца 1919 года по конец 1920 г. бумажная денежная масса Дания поднялась (данные „Wirtschaft und Statistik") с 489 миллионов крон до 567 милл. крон. Спрашивается: являлся ли здесь выпуск бумажек (при сравнительно очень благополучном состоянии датских финансов) активным фактором роста цен и опускания вексельного курса или он просто выражал расширение денежного обращения в связи с огромными закупками за границей и спекулятивным ростом цен? Кажется, двух ответов здесь быть не может.

и в оценках отдельных отрезков развития и отдельных его моментов. Дадим теперь еще ряд примеров, перенумеровав их:

1) *«Улучшение денежного обращения» тотчас по окончании войны.* На странице 109 проф. Кондратьев делает сопоставление размеров бумажного обращения и золотых запасов в 9 странах за 1918, 1919 и 1920 г.г. Вывод: «положение резко ухудшается лишь в Германии, где при стационарном состоянии золотого запаса количество бумажных денег растет исключительно быстро, и в *Италии, где покрытие также сокращается.* Во Франции положение *перестает с 1919 года по крайней мере ухудшаться.* Положение прочих стран представляется весьма удовлетворительным, частью хорошим» (стр. 110).

Заглядываем в таблицу, приводимую Кондратьевым, и находим: обращение бумажек во Франции за эти три года—1.210—1.491—1.516; золотой запас: 232—234—231. Лучше или хуже положение в 1920 году, чем в 1918 или 1919 г.г.? Об Италии сказал сам проф. Кондратьев. Но сказать-то он сказал, на стр. 110, а на стр. 111 вдруг новый поворот (авось, читатель уж забыл или не справится): «ухудшение его (денежного обращения) *прекратилось в Италии* и Франции». Справка: выпуск бумажек в Италии—470—651—789; золотой запас в % к бумажкам: 20—12½—10½. Далее Соедин. Штаты: бумажек—683—967—1.065; золота: 436—430—429. В наиболее здоровой финансами Англии золотой запас, правда, возрос (80—91—128), но выросла бумажная масса (393—443—481), правда, медленнее запаса. В Голландии сумма бумажек понизилась в 1919 г. и опять поднялась в 1920, а покрытие все время падало. В Дании масса бумажек (см. выше) все росла, а золотой запас, несколько поднявшись в 1919 году, остался неподвижным. Вместе с Германией это—шесть стран из приведенных девяти. И после всего этого вывод: «в общем и целом нужно признать, что состояние денежного обращения несколько улучшилось против того, каким оно было в конце войны, и продолжает улучшаться». А мы скажем: происходило расширение массы бумажек под влиянием расширения спекулятивных оборотов или на правительственные нужды.

2) *Послевоенные бюджеты.* Из обзора этих бюджетов за 1919—1921 г.г. проф. Кондратьев делает вывод, что с точки зрения «статической» «мировые финансы в тяжелом состоянии», «но, рассматривая финансы динамически..., мы констатируем их улучшение» (стр. 106). Заглядываем в приложенную таблицу и кроме неизменно скверного положения германских финансов, неотрицаемого и Кондратьевым, видим по цифрам, что из десяти перечисленных стран (а взяты, кроме Германии, *только благополучные*—союзные и нейтральные) положение в 1921 г. открыто ухудшилось против 1920 г. еще в трех (Франции, Голландии, Дании). По Италии данных за 1921 год не приведено, но из ежегодника под редакцией Варга видно, что в 1921 г. оно ухудшилось. Иначе говоря, в пятидесяти процентах случаев улучшения нет, и притом проф. Кондратьев не отмечает того, что добросовестно отмечает проф. М. Боголепов («Европа во власти кризиса 1920—22 г.», стр. 92—93): процентов по военным внешним долгам до 1922 года нигде не платили, и даже

в бюджеты не вносили.—И далее он не отмечает того, что бюджеты—одно, а *выполнение* бюджетов—совсем другое, и куда худшее.

3) *«Рост» эмиссии ценных бумаг и акционерных капиталов в Германии.* На стр. 122, рассматривая выпуск ценных бумаг (займов, акций, облигаций) в 1918—20 годах, автор включает в таблицу *Германию,* Англию и Голландию и отмечает: «из приведенных данных действительно видно увеличение общей и частной эмиссии, хотя абсолютно эмиссионная деятельность в Англии упала». Смотрим таблицу: видим, что в Германии (в миллионах *бумажных* марок) было выпущено ценностей:

1913	1918	1919	1920
635	1043	1654	7520

Профессор Кондратьев, очевидно, считает читателя идиотом, неспособным произвести пересчет *по курсу на доллар,* который (т.-е. курс) сам приводит перед тем. Вот этот пересчет [1]):

	1913	1918	1919	1920
По курсу на доллар в золотых марках. .	635	731	346	494

Читатель может теперь оценить «под'ем» 1920 года.

Совершив сей подвиг, проф. Кондратьев, заявляет, что в 1919—20 г.г. ожило учредительство, и что «даже в Германии наблюдается та же картина». Вслед за тем он в первую очередь и приводит данные о Германии. Они таковы:

	1918	1919	1920
Акционерных обществ.	5.553	5.609	5.714
Капитал в милл. марок.	18.902	19.743	21.036

Берем капитал по курсу в золотых марках. Получаем:

1918	1919	1920
13.250	4.126	1.428

4) *«Возрождение полеводства» в Германии.* На стр. 80, рассматривая таблицу движения посевных площадей разных стран, как всегда, *в обрывке,* за три года: в 1918, 1919, 1920, проф. Кондратьев заявляет: «из приведенных данных по сильно потрясенным войной странам, как *Германия* и Франция, после войны явственно обнаруживается *возрождение полеводства*». Все это на основании только того, что в 1920 году площадь посевов хлеба увеличилась против 1919 г. Вот таблица, где сопоставлены: 1) 1913 год, 2) *худший по посевам год войны* (1918) и 3) последующие четыре года (пшеница, рожь, ячмень, овес—в миллионах гектаров). Все годы—в пересчете на нынешнюю территорию Германии.

1913	1918	1919	1920	1921	1922
12.242	10.200	9.657	9.906	10.004	9.866

[1]) Курс за 1918 и 1919 г.г. берем нарочно из книги Кондратьева (помещен 4-мя страницами раньше), за 1920 г. из „Ежегодника" под редакцией Варга.

Вот действительные итоги возрождения полеводства за четыре года по войны: площадь посевов не может добраться даже до низшей военной нор и в 1922 году пошла назад против 1921 и против 1920 г. [1]).

5) *Упадок цен сельско-хозяйственных продуктов, как «возвращени довоенным соотношениям».* На стр. 136 и следующ. проф. Кондратьев за мается разбором движения сельско-хозяйственных и промышленных прод тов за 1920—1921 г. Вывод из этого разбора тот, что различие *в сте падения цен* разных товаров в эти кризисные годы об'ясняется тем, что « рвавшиеся», так сказать, вперед других товары сильнее катятся вниз и цены «после перелома к понижению ... имеют тенденцию верн"ться к *военному соотношению»* (стр. 138).

Профессор Кондратьев читал книги тов. Варга, где катастрофичес крах цен на *сельско-хозяйственные продукты* в Соед. Штатах на-ряду с *б слабым* понижением *промышленных товаров* правильно об'ясняется деят ностью промышленных *трестов,* которые сумели переложить тяжесть кри на американского «мужика»—фермера, лишенного организаций коопера ных и политических (усилиями того же организованного капитала) и не собного ему сопротивляться. Итак, если цены на сельско-хозяйствен продукты Соед. Штатов падали от лета к осени 1920 г. в полтора раз вдвое, и вновь падали в 1921 г., разоряя фермеров и создавая небывалу истории сельского хозяйства форму кризиса (совершенно сходную с ти кризиса в капиталистической индустрии), то это имеет смысл только *под нения* цен. Но каков же тогда *итог* этого падения, в смысле окончате установившегося соотношения цен? Об этом проф. Кондратьев молчит. справка об уровне цен разного сорта товаров в Сев. Америке в среднем 1921 г. (значит к концу кризиса) по данным редактируемого Н. Д. К дратьевым «Экономического бюллетеня кон'юнктурного института» (№ 6–

	Общий индекс.	Сельско.-хоз. продукты.	Пищевые продукты.	Одежда и обувь.	Отопление и освещение.	Металлы и металлические изделия.	Строительн. материалы.	Химич. товары и медикаменты.	Предметы домашнего обихода.
Уровень цен в 1921 г. в % к 1913 г. . . .	156	120	144	188	194	131	205	167	247
Отношение цен каждой группы к общему индексу (в %) . .	100	77	92	120	124	84	131	108	158

Обратите внимание на вторую строчку: ни одна группа промышл товаров не стоит ниже среднего уровня, кроме металла (особо тяжелый зис). Но и металлы все же выше сельско-хозяйственных продуктов (

[1]) О положении сельского хозяйства в Германии см. статью в „Сел. и Лес зяйстве". Масштаб упадка его недалек от российского. Рассуждения Н. Д. Кондр о Германии—злое издевательство.

пищевых). *Сельско-хозяйственные же продукты и пищевые* определенно ниже нормы. Кто же прав,—Варга или Кондратьев (не возражающий Варге прямо, но «тушующий» отмеченное Варгой обстоятельство)?

Мы могли бы привести еще с десяток примеров [1]).

Вся книга Кондратьева испещрена ими. Без преувеличения Н. Д. Кондратьев—«словечко в простоте не скажет—все с ужимкой»—в сторону всяческого скрашивания картины.

Из этого вытекает, кстати сказать, оценка практического удельного веса книги. Некоторые рецензенты, расходясь с общими выводами Кондратьева, все же признавали, что книга имеет ценность, как сводка обширного фактического материала, на худой конец, как справочник. Мы с ними не согласны. Для справочника книга слишком пестра, обрывочна, и расположения материала (по четырем периодам) удобна только для «тактических» целей автора и крайне неудобна для читателя. Как сводка фактического материала, знакомящая с ним читателя, она с другой стороны обернута плотной оболочкой тенденции, которая делает сводку непропорциональной и односторонней, с другой стороны, слишком громоздка и буквально топит читателя (и особенно его сопротивляющееся внимание), в грудах сырого материала. Вот почему, в качестве справочника, можно предпочесть упоминавшиеся в примечаниях сборники под редакцией Фалькнера или издания Ц. С. У., в особенности же «Ежегодник политики, хозяйства и рабочего движения» (Варга), когда он появится на русском языке. Для *освещения* же современного состояния *основных слагаемых* мирового хозяйства неизмеримо лучшими являются книги Варга, а для *освещения* вопросов *кон'юнктуры*—работы Фалькнера,—к новейшей из которых мы и перейдем [2]).

[1]) Из них особенно характерны различные случаи затушевывания американского и канадского сельско-хозяйственного кризиса и упорное отрицание Кондратьевым (сравн., напр., стр. 164—165) того, что кризис в данном случае и для сельского хозяйства принял типичные в промышленности формы (разорение мелких производителей и экспроприация их капиталом, крах разводненных в отношении капитала предприятий, сильное сокращение производства—правда, не сразу—и пр.).

[2]) В заключение надо отметить еще одну неприятную особенность книги Кондратьева: его весьма нелюбезное и далеко не „академическое" отношение к авторам, материал, собранный коими или точка зрения коих ему не нравится. Так, напр., из всех книжек Евг. Варга, изобилующих интересным материалом, проф. Кондратьев не берет решительно ничего. Варга упоминается (кроме предисловия) в одном месте, где в десяти строках критикуются его взгляды на кризис (стр. 207). С другой стороны проф. Кондратьев заимствует материал у С. А. Фалькнера, не называя автора. Один такой пример приведен Фалькнером на стр. 3 его книги „К сведению некоторых экономистов". Т. к. проф. Кондратьев по этому вопросу хранит полное молчание, добавим другой пример. На стр. 62-й книги Кондратьева есть таблица, в коей сведены средние годовые индексы цен по 8 странам. В примечании гордо красуется: „В основу положены: для Англии данные Economist'a, для Франции Statistique générale de la France" и т. д. Ни о Фалькнере, ни о каком-либо другом авторе сводки - ни слова. На стр. 113—продолжение этой таблицы за некоторые месяцы 1919 и 1920 г.г. Здесь примечание: „Взяты те же индексы, что и в

4. Освещение мирового кризиса С. А. Фалькнером и подход его к этому вопросу.

Эта работа, уже упоминавшаяся выше («Перелом в развитии мирового промышленного кризиса», изд. 2) представляет собой небольшую и просто сконструированную работу, весьма содержательную, хотя и не заваленную сырым материалом, пересыпанную интересными (хотя бы и не всегда верными) мыслями.

Мы с самого начала должны заявить, что с общим подходом Фалькнера не согласны. По существу он совпадает с подходом Кондратьева (в его «декларативных» заявлениях) с той разницей, что Фалькнер умеет сохранять научную добросовестность и в апологетику не впадает.

В самом деле. Критикуя т. Двולайцкого за то, что он соединяет анализ кон'юнктур с «оговорками» о перспективах капиталистического развития в более широком масштабе», т. Фалькнер замечает: «Эта проблема (о перспективах) очевидно подлежит обсуждению с точки зрения *общей динамики* мирового хозяйства *вне пределов кон'юнктурного цикла,* при чем, однако, следует опасаться переоценивать *препятствия чисто* временного значения, возникшие непосредственно в результате мировой войны» (с. XIII—XIV).

А несколькими строками ниже, развивая мысль о «препятствиях», Фалькнер упоминает о «*нарушении* линии развития факторами *внехозяйственного* значения, не вырабатываемыми самим процессом органического приспособления мирового хозяйства к новым условиям, но приходящими *извне в виде разного рода политических и социальных влияний*».

Т. Фалькнер апеллирует в одном месте против т. Суханова к «политической экономии марксизма». Неужели он не понимает, что все предшествующее есть вопиющее отступление от марксизма?

В самом деле, во-первых, Никакой отделенной от «пределов кон'юнктурного цикла» общей динамики капитализма для марксиста быть не может. Так называемая кон'юнктура есть внешняя оболочка, внешнее состояние в каждый данный момент категорий буржуазной экономики, которые движутся и движутся *в противоречиях* (об этом ниже). Правильное построение при описании так наз. кон'юнктур требует понимания их, как отражения всей

предыдущей главе. О движении цен рассматриваемого периода см., между прочим, С. А. Фалькнер: Мировое движение цен, статья в „Вестнике НКВТ" № 1 1920 г. Заглядываем в эту статью, и на стр. 44 находим обе таблицы Кондратьева в виде единой „таблицы № 7". Характернее всего, что в таблице № 7 Фалькнера есть ошибки или упущения (самого ли Фалькнера или его первоисточника—не знаем): за индекс 1913 в расчетах, предшествующих 1920 г., берется число 92.115, а с 1920 г.—число 9.18[illegible] Кондратьев взял чужой материал с чужими техническими ошибками, но откуда взял—не сообщил, заменив это великолепным „см. между прочим". Вообще над Н. Д. Кондратьевым тяготеет то, что мы назвали бы „идиотизмом буржуазно-академической жизни" в параллель „идиотизму сельской жизни" К. Маркса, т.-е. влияние узкой, заскорузлой цеховой среды, различающей „своих" и „чужих" и на-ряду с китайскими церемониями для первых, практикующей грубую бесцеремонность со вторыми.

совокупности движущихся категорий, а самого описания, как *момента* в описании всего движения капиталистического механизма в целом [1]).

Во-вторых, если чего следует опасаться, так это понимания социальных и политических явлений, как препятствий, нарушающих некую линию «чистой» кон'юнктуры. Эти явления выработаны, видите ли, не «процессом органического приспособления мирового хозяйства к новым условиям». Пусть, но они 1) выработаны и непрерывно вырабатываются ходом всего хозяйственного механизма в целом и 2) кроме тенденций органического приспособления, капитализм столь же органически вырабатывает *внутренние противоречия*. И кто пытается эти внутренние противоречия перевести в разряд *«внешних препятствий»*,—держит путь в лагерь вульгарной политической экономии

Выше мы несколько раз отмечали, что Н. Д. Кондратьев старательно избегает всяких описаний и измерений капиталистической *спекуляции*. Поищите того же у т. Фалькнера—не найдете. А ведь спекуляция—характернейший элемент и показатель именно кон'юнктурной оболочки капиталистического движения. В чем дело? А в том, что спекуляция в то же время таит в себе наибольшие *противоречия*, всего менее «органична» и в наибольшей степени воплощает основную характристику капитализма—направление всего хозяйственного процесса «деланием прибыли» (Profitmacherei). Н. Д. Кондратьев—целиком в лагере вульгарной экономии; у него спекуляции нет, есть только «неспокойный ищущий дух капиталистического предпринимательства», «хозяйственная инициатива». А С. А. Фалькнер—в опасности причалить к берегу вульгарной экономии, со времен Бастиа находившей в капитализме только «гармонию» и «прогресс».

Политические и социальные влияния не суть «внешний» момент и «препятствия» чему-то. Сам Фалькнер в своей книжке говорит, что *стачки* в разгар кризиса не были фактором, *обостряющим* кризис, а только *выражением* кризиса. Но что такое стачка? Это уже и *социальный акт*, а за известными пределами уже и *политический*.—Что такое, с другой стороны, так наз. «империалистическая экспансия», напряженное стремление империалистских держав к расширению? Прямое выражение экономического развертывания капитализма в современной форме. Где источник борьбы держав за Персию, Месопотамию и попыток борьбы за Кавказ? Это—вопрос о нефти. Политика есть концентрированная экономика. И посему никакого «чистого искусства» кон'юнктуры быть не может.

Чем спорить с Двойлайцким о методе, Фалькнеру было бы лучше открыто заявить, что он расходится с ним в оценке общей перспективы ближайшей эпохи, что он считает основной, конституциональный кризис капитализма,

---

[1]) Так подходит к вопросу безупречный марксист т. Варга. Он следует в этом наглядному примеру Маркса в III томе „Капитала", который, описывая и комментируя в разных местах промышленный цикл, ни на момент не порывает с тем, что Фалькнер называет общей динамикой хозяйства. В целях расчленения темы, выделения специального предмета, вполне возможно специальное описание кон'юнктуры, но **без всякого нарушения связи** с ходом этой общей динамики, как это опять-таки делает Варга в главах своих работ, отведенных обзору кон'юнктуры.

кризис в широком смысле слова, ликвидированным и что начинается новая эпоха развития капитализма. Вместо этого он скрывается за чистую, самодовляющую теорию кон'юнктуры, что ведет его к дальнейшим теоретическим ошибкам [1]).

* * *

Итак, в подходе к вопросу есть выхолащивание, есть фальшь. Но пока что это не помешало С. А. Фалькнеру в общих чертах правильно описывать и разграничивать во времени колебания кон'юнктурной оболочки. Все разграничение послевоенных фаз, приводимое Кондратьевым—движение вниз 1918—19 г.г., передышка 1919—20 г.г. со спекулятивным под'емом, начало кризиса (в узком смысле слова), начиная с середины 1920 г., переход его в депрессию и начало оживления с осени 1922 г.—принадлежит Фалькнеру и проиллюстрировано им рядом удачно выбранных, наглядных показателей.

В нынешней своей книжке Фалькнер разграничивает и описывает специально фазы кризиса 1920—21 г. и перелома его, процесса убывания этого кризиса. Ибо нет никакого сомнения, что оживление началось.

Крушение цен остановилось, и осенью 1922 г. в руководящих странах шел недружный и слабый их прирост или они оставались неподвижными. Убыла *безработица*, оставаясь все еще колоссальной только в Англии и очень крупной в Италии, да в некоторых нейтральных странах. *Увеличилась переработка хлопка*, не достигнув, однако, довоенной нормы, тем более военной, более высокой. *Производство чугуна* в Соедин. Штатах в ноябре уже перешагнуло довоенную месячную норму на десять процентов, но не достигло еще военной, более высокой в Соед. Штатах нормы. Улучшилось вдвое, а в декабре в два с половиной, но все еще оставалось очень тяжелым положение в Англии (где выплавка, как мы видели, спускалась до 25% довоенной). *Во Франции и Бельгии*, быть может, *наиболее сильное оживление металлургии*. Франция в осенние месяцы, было, уже обошла Англию (что, впрочем, и должно стать нормой после присоединения Лотарингии), и за счет дешевого немецкого кокса осенью зажигала одну домну за другой [2]), правда, достигнув в октябре все еще только двух третей довоенной выплавки

[1]) Таковой является, например, об'яснение кризиса 1920—21 г. (а в сущности и кризисов вообще) только условиями *внутреннего* рынка и *внутренней* экономики каждой страны. Она, несомненно, навеяна отодвиганием в сторону, как чего-то внешнего, динамики финансового капитала и его империалистской политики, уходом „в келью под елью" чистого анализа кон'юнктур.

[2]) Оккупация Рура есть, несомненно, прямое выражение этого развертывания французской металлургии, развертывания за счет металлургии немецкой и путем забирания дешевого репарационного кокса. Спрашивается, „искусственно" или „естественно" такое явление, есть ли оно „внешнее, осложняющее" линию кон'юнктуры, или „органический" фактор? Оно во всяком случае есть новая форма империалистской экспансии, метод „сверхколониальной" политики. Фактор *силы* решит, станет ли оно „естественным", т.-е. постоянным и таким, какое т. Фалькнеру придется принимать за данное. И в то же время именно оно обязательно приведет к колоссальному *краху* комбинированного типа. Значит, как будто „искусственное"? Ни то, ни другое: оно есть *органическое* порождение капитализма, как системы *противоречий*.

на французских заводах по отношению к французской довоенной норме. К концу года, впрочем, Англия опять оказалась впереди Франции.

Добыча *угля* в Соедин. Штатах в октябре уже превзошла довоенную норму и приблизилась вплотную к более высокой (в Соед. Штатах) норме 1918 г., а в Англии в том же месяце достигла 94% довоенной нормы (за весь год, однако, лишь 86% довоенной нормы). Зато во Франции каменноугольная промышленность и слабо реагировала на кризис, и быстро увеличила затем производство на 8—10%, но на этом уровне топчется весь 1922 г. до глубокой осени. (NB здесь немецкий дешевый уголь оказывает обратное действие, что напрасно не отметил т. Фалькнер). Почти то же, даже, пожалуй, более бледное положение в Бельгии.

Что касается *мировой торговли*, то как мы видели раньше, *судооборот* в 1921 г. был даже выше 1920 г. Это об'ясняется тем, что упадок здесь наблюдался лишь в конце 1920 и в начале 1921 г., а затем начался прирост. Он продолжался в 1922 г., так что грузооборот 1922 г., вероятно, окажется выше 1921 г. По *денежной* ценности обмен, вероятно, представит меньшие цифры, вследствие того, что в среднем за год цены 1922 года окажутся ниже 1921 г. Имеющиеся уже цифры по Англии за весь год показывают, что с одной стороны средний уровень цен на 12% ниже прошлогоднего (по индексу Economist'a), а с другой стороны стоимость ввоза и вывоза лишь на 4% ниже прошлогоднего. В то же время и курс фунта стерлингов на 3% лучше прошлогоднего. Так что это сокращение в действительности скрывает в себе расширение—в данном случае *крайне слабое*. Повидимому, оно окажется более значительным в Америке.—Интересно, между прочим, отметить, что С. А. Фалькнер, на основании мало соизмеримых таблиц, касающихся только Соед. Штатов, Англии и Франции, пытается установить, что в процессе современного оживления внешней торговли впереди идет *импорт*, а не экспорт. Отсюда вывод: оживление внутреннего рынка выявляется раньше, чем оживление внешнего, и промышленный под'ем вызывается в первую очередь причинами внутрихозяйственного, а не международного торгового порядка (стр. 79—сравни выше о взглядах Фалькнера на кризисы вообще). Во-первых, т. Фалькнер забывает, что усиление импорта на одной стороне означает усиление чьего-то экспорта на другой стороне и что оживление внутреннего рынка можно иллюстрировать только данными внутреннего оборота. Во-вторых, его собственные таблицы судооборота (с. 66) целиком опровергают это положение о более сильном оживлении импорта. В третьих, для Англии (тоже и в Японии) оно уже опровергнуто данными за весь 1922 г.: *ценность* экспорта увеличилась на 2,4%, а импорта уменьшилась на 7,5%, а вес главных экспортных товаров (угля, металлических изделий, текстиля) возрос гораздо выше, чем вес главных импортных товаров (хлопок, мясо, пшеница; исключения—шерсть, сахар) [1]. В четвертых, предостерегаем т. Фалькнера брать в таких случаях Францию, ибо она «оживляет» свой

---

[1]) Подробных цифр не приводим, но каждый может убедиться, взяв „Внешн. Торговлю" № 5.

импорт прежде всего ввозом награбленного из Германии, в первую очередь угля [1]).

Оставим пока в стороне вопрос о будущих перспективах мировой кон'юнктуры и мирового хозяйства (для нас неотделимых) и остановимся на теме, которую мы только что краем затронули в связи с вопросами импорта-экспорта.

5. С. А. Фалькнер и другие о причинах мирового кризиса. К вопросу о теории кризисов.

С. А. Фалькнер является решительным противником плюралистического (выдвигающего целый ряд причин) об'яснения кризиса 1920—21 г., да в сущности и кризисов вообще. Он решительный сторонник, мы не сказали бы *монистического*, а скорее «сингуляристического» (однопричинного) об'яснения кризиса и в качестве не единой основной, а единственной конкретной причины, по отношению к которой все прочие обстоятельства могут быть только осложняющими и дополнительными, выдвигает «обнищание широких масс во время войны и прежде всего падение заработной платы, как масштаба потребительного спроса основной массы населения индустриальных стран» (с. 102).

С немалой иронией перечисляет С. А. Фалькнер на стр. 97 своей книжки «каталог причин», приводимых в об'яснение кризиса, насчитывая их не менее десяти штук: 1) неравномерное хозяйственное развитие Нового и Старого Света за время войны, 2) сокращение спроса побежденных и блокированных, 3) перераспределение хозяйственных территорий и новые таможенные барьеры, 4) колебания валют, 5) репарационные поставки и платежи. Это—причины международного характера. Кроме того—причины национально-хозяйственного характера: 6) неравномерное развитие отраслей производства, 7) дефляция (сокращение) бумажного денежного обращения, 8) рост налогов, 9) обнищание широких масс.

В доказательство того, что плюралистическое об'яснение не годится, Фалькнер приводит следующие соображения:

1. *Множественность причин противоречит единообразному ходу кризиса во всех странах* (одновременно—падение цен, рост безработицы, упадок выплавки чугуна—в самых удаленных друг от друга странах).

2. *Все причины международного характера надо вообще отбросить, ибо они могут проявить свое действие только через международную торговлю*, а между тем а) процентное отношение *стоимости вывоза* к стоимости всего внутреннего *производства* (или «национального дохода») для одиннадцати важнейших стран составляет 13,6%, и более 22,8% (Англия) и 23% (Германия) не подымается, т.-е. подавляющее большинство продукции идет на *внутренний* рынок и им определяется, б) даже *полное устранение Центр. и*

---

[1]) Переходя к другой теме, отмечаем, что предшествующий обзор мы делали по данным С. А. Фалькнера (но не всегда с его комментариями), дополняя их за более поздние сроки из „Wirtschaft und Statistik", „Экономиста" и „Внешней Торговли".

Вост. Европы из оборота *сокращает его лишь на 20%*; если перемножить первые процентные числа на второе, ясно, что «возможное влияние сокращения спроса побежденных и блокированных стран «есть 1½—2% спроса и продукции остального мирового хозяйства» (стр. 101; эх, Ллойд-Джордж, Ллойд-Джордж! плохой ты был экономист, добавим мы в скобках. Н. О.).

3. *Неравномерность развития отдельных отраслей внутреннего производства* не об'ясняет *кризиса*, иначе в первую очередь в кризис вошла бы металлургия, как наиболее несоответственно развившаяся; а между тем она в кризис вошла позже текстильной, работающей «на удовлетворение нужд широких масс».

4. *Дефляцию* (об'яснение Касселя) *надо отбросить*, так как *кризис* начался тогда, когда еще шла, наоборот, *инфляция* (рост бумажной массы), а начавшаяся в 1921—22 г. дефляция не остановила выхода из кризиса.

5. *Налоги:* а) идут на содержание чиновников, армии, оставаясь в стране и не сужая общего спроса, б) являются только формой сужения спроса широких масс и в) остаются неизменными по тяжести, тогда как кризис уже проходит (с. с. 97—102).

6. Итак, *обнищание широких масс* определило кризис. Что касается *социальной характеристики* этих широких масс, речь может итти только о наемных рабочих, о пролетариате, что доказывается статистическими выборками (в частности, в Соед. Штатах С. А. Фалькнер насчитывает с семьями 80% населения, живущего на заработную плату). *Падение реальной заработной платы* вплоть до 1920 г. создало кризис.

7. Но, следовательно, и, наоборот, *поднятие реальной заработной платы*, улучшение положения масс было основной причиной ликвидации кризиса. И, действительно, оно (слушайте, т. читатель!) *и совершилось в самый разгар кризиса*, так как *цены вообще и особенно цены продовольственных продуктов падали скорее, чем падала денежная заработная плата.*

При этом *безработица* не могла парализовать это *увеличение суммарного дохода рабочего класса*, так как в Америке, например, безработные составляли 8% численности пролетариата, и эти безработные все же что-нибудь да покупали, а *реальная заработная плата*, ранее стоявшая ниже довоенной нормы, теперь поднялась до 135—40% ее.

* * *

Таковы построения Фалькнера, уснащенные рядом таблиц. Вплоть до их конечного звена (процветания пролетариата в период кризиса) неопытный читатель может отнестись к ним положительно и даже с симпатией. Пишет же ведь Маркс: «последним основанием всех действительных кризисов всегда остаются нищета и ограниченность потребления масс в противоположность стремлению капиталистического производства развивать производительные силы так, как если бы только абсолютная потребительная способность общества составляла их границу» [1]). Забвение этой истины составляет первич-

[1]) Das Kapital, третий том, вторая часть, стр. 21.

ный грех теории кризисов Туган-Барановского, строившего ее, якобы, по Марксу. А Фалькнер выдвигает именно этот момент на первый план и даже превращает его в решающую конкретную причину.

И тем не менее Фалькнер глубоко неправ и *теоретически и практически*. Начнем с последнего и рассмотрим практические, конкретные аргументы Фалькнера по порядку. Насчет *множественности причин* поговорим ниже, так как это целиком относится к теоретической стороне.

Прежде всего о *реальном удельном весе внешней торговли*. 1) Фалькнер забывает, что значительную долю национального дохода индустриальных стран дает их сельское хозяйство, продукты которого в такой стране, как Англия, за границу не выходят. Даже в Англии никак не менее 15—20% стоимости национального дохода должны составить продукты полеводства и животноводства, что в случае возникновения спора беремся доказать расчетами; во Франции процент гораздо выше. Следовательно, экспортная товарность *промышленного* продукта гораздо выше, чем выходит у Фалькнера. Для текстильного производства в Англии она никак не менее двух третей, (что опять можно доказать сопоставлением пересчитанного в хлопок экспорта пряжи и тканей с импортом хлопка, сырца). 2) Фалькнер забывает, что в национальный доход входят проценты на капитал, вложенный за границей. Их опять-таки надо вычесть из той суммы национального дохода, к которой он выводит процент экспортности или, наоборот, добавить к экспорту, как «скрытый» вид его. 3) Далее, к цифре экспорта надо добавить огромную сумму: заработок морского флота Англии, включая страховку грузов и другие накладные расходы; все это целиком определяется мировой конъюнктурой [1]). 4) Надо понимать, что если хотя бы часть промышленности данной страны в крупном масштабе работает на экспорт, то при взаимной связи всех отраслей крах одной отрасли повлечет за собой крах остальных. 5) И последнее: отнюдь не только потоком международной *торговли* определяется и выражается связь стран между собой. Фалькнер забывает связь *кредитную*. Крах предприятий в колониях вызывает крах банков в метрополии (ср., например, Голландию), а это сейчас же отражается на всем кредите страны в целом.

---

[1]) В английском „Экономисте“ от 17 февраля 1923 г. помещена статья („Оценка реального баланса британской торговли“), где на основании первоклассных источников сделан подсчет „невидимых“ статей английского экспорта. Автор для 1913 года дает следующие данные: 1) доход от вложенных за границей капиталов—200 милл. ф. ст., 2) доход от морских фрахтов—94 милл. ф. ст., 3) доход от страховки грузов и т. п.—30 милл. ф. ст., 4) разные доходы (продажа старых судов, оплата из-за границы расходов по управлению иностранными займами и пр.)—20 милл. ф. ст.—Все это автор присчитывает к экспорту, как его „невидимые“ статьи. Последуем за ним и мы; вычтем, кроме того, из национального дохода 15% на доход от сельского хозяйства. Тогда получим, исходя из цифр С. А. Фалькнера, следующее: 1) национальный доход Англии без сельского хозяйства—1.873 милл. ф. ст., 2) экспорт „видимый“—515 милл. ф. ст. плюс „невидимый“ 344 милл. ф. ст., а всего 859 милл. ф. ст. Отношение экспорта к промышленной продукции получается 45,8%, тогда как Фалькнер вывел „экспортность“ продукции в 22,8%.

Что касается того, что *устранение стран центр. и вост. Европы* весьма мало сжимает мировой оборот, то Фалькнер—именно вследствие того, что он отмежевался от «общей динамики» финансового капитала—не понимает, что *всякое ограничение поля экспансии* ведет к заболеванию капитализма. И по отношению, например, к России для мирового империализма важно не то, каким рынком и полем приложения капитала она *была*, а каким *может быть*, в какой степени может ослабить давление пара, непрерывно распирающего стенки капиталистического котла.

Почему *металлургия* формально (по цифрам выплавки) *позже других вошла в кризис*, в другом месте об'ясняет сам Фалькнер: она работает по *заказам*, даваемым надолго вперед.

По вопросу о *дефляции*, как возможной основной причине кризиса, мы можем только согласиться с Фалькнером, но что касается *налогов*,—мы совершенно не приемлем его «гармонизирующих» построений; далеко не все равно, потребляются ли продукты производительно и производительным населением, или непроизводительным. Бремя послевоенных налогов в связи с колоссальным возрастанием государственных долгов составляет одно из видных слагаемых кризиса капитализма в *общем смысле* слова и, конечно, одно из слагаемых обнищания масс, как причины кризиса 1920—21 г.

Мы отнюдь не отрицаем факта *падения реальной заработной платы* до 1920 г. Но мы должны решительно протестовать против чудовищной мысли, что в разгар кризиса положение рабочего класса в сумме улучшается. Индексные сопоставления цен и заработной платы Фалькнера для Соедин. Штатов, по его же признанию, «методологически страдают пороками» (стр. 108). Принимая (за отсутствием в Соед. Штатах точной статистики) число безработных в *8%*, он берет % в 1½ раза или вдвое низший, чем таковой точной статистикой установлен в Европе; между тем в Соед. Штатах кризис был отнюдь не менее, а, пожалуй, более остр [1]). Наконец, позвольте спросить, с точки зрения чисто бюджетной: расширяют ли в моменты кризиса та часть пролетариата, которая остается у станков, свое потребление, или нет? Станет ли рабочий покупать больше или, наоборот, по возможности (если допустим невероятное—появляются излишки) будет откладывать копейку на случай увольнения, которое и его может постигнуть завтра?

Что касается расчетов о численности в отдельных странах рабочего класса, то Фалькнер почему-то в этом случае избегает *Франции* и подсчета в ней рабочего и *крестьянского* населения, а в Америке забывает сообщить о наличии кроме 42 миллионов наемных рабочих (без семей) о 6½ милл. самостоятельных *фермеров*, коих с семействами должно оказаться 20 милл. человек, и которые, составляя в сумме вчетверо меньшее количество, чем рабочие с семьями, имеют гораздо более высокие потребительские бюджеты, не го-

---

[1]) Характерно, что Фалькнер сопоставляет число безработных с численностью всего пролетариата только по Соед. Штатам. Почему бы этого не сделать для Англии? Здесь обнаружилось бы, что реальная зар. плата в 1921 г. возрасла против 1920 г. на 10—15% (а в 1922 г. упала), число же безработных увеличилось с 4 до 14% застрахованных рабочих, т.-е. в 3½ раза.

воря уж о производственных. Ниже мы услышим о расчетах, определяющих покупательную силу фермеров в *половину* всей покупательной силы Соединенных Штатов.

Одним словом: об'яснение движения кон'юнктуры движением реальной заработной платы (а при принципиальном отвержении влияния внешнего рынка оно делается об'яснением не *данной* кон'юнктуры, а кон'юнктуры вообще) есть об'яснение негодное [1]).

* * *

Каковы же тогда причины кризиса в 1920—1921 г.? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно пару слов сказать о *марксистском об'яснении периодических кризисов капиталистического производства.*

Всякий внимательный читатель «Капитала» заметит, что по всей книге от начала до конца проходит одна линия. На-ряду с характеристикой каждой хозяйственной категории, об'яснением возникновения одной из другой, вышелушиванием истинной природы всех из-под «фетишистской» обманчивой оболочки (которую только и ухватывает вульгарная экономия), Маркс *тщательно вскрывает и обнажает свойственные каждой категории противоречия.* Для Маркса развертывание противоречий каждой категории или формы есть, с одной стороны, условие возникновения следующей, более сложной [2]). С другой стороны, эти противоречия, будучи в *относительном* смысле разрешены возникновением новой категории, во-первых, развертываются в новом и усложненном виде этою новою категорией, и, во-вторых, остаются постоянным уделом той более простой категории, которая не умерла, а только наслоила на себя новую. Так создаются противоречия: товара, денег, капитала, взятого для себя, заработной платы, процесса накопления капитала, взятого для себя, процесса обращения капитала, взятого для себя, процесса воспроизводства и обращения общественного капитала, взятого в целом

---

[1]) Вот почему нам не внушает доверия торжественное заявление т. Фалькнера: „Этот фактор мы имели в виду в целом ряде работ, посвященных... кон'юнктурной эволюции..." и правильное понимание его решающей роли неоднократно давало нам возможность не только видеть развертывающиеся фазы, но и предвидеть грядущее" (стр. 102). Надо сказать, что на читателя вообще производят крайне неприятное впечатление неоднократные заявления т. Фалькнера, что вот-де тогда-то и тогда-то он правильно предсказал то-то и то-то, и в будущем берется это делать, вплоть до того, что для мирового судостроения он предсказывает под'ем „вряд ли ранее середины 1924 г." (стр. 67). Мы очень советуем т. Фалькнеру не надевать на себя ученого колпака и мантии экономического Демчинского. Это портит его интересные работы.

[2]) Ср. например, процесс образования денежной формы стоимости из простой, единичной или случайной формы ее в первой же главе „Капитала". Кстати сказать, только пошляки, вроде Бернштейна, могут утверждать, что в дальнейшем изложении „Капитала" этот метод оставлен. Он идет сплошной, но не бьющей в глаза линией, а в первом разделе II-го тома „Капитала" (процесс обращения капитала) развертывается в интереснейшие диалектические построения. В связи с оживлением литературы о диалектическом методе было бы крайне интересно, если бы кто-нибудь занялся вопросом о формах применения диалектического метода в „Капитале".

(*самые сложные и важные противоречия*, изложенные в 3-м разделе II тома «Капитала») и т. д. вплоть до противоречий в категории *доходов* капиталистического общества и его *классов* (последняя, недописанная глава «Капитала»).

Абсолютный способ разрешения этих противоречий для каждого данного отрезка развития капитализма и есть *кризис*. Абсолютный способ *конечного разрешения* этих противоречий, а также и всех противоречий, вырабатываемых «надстройками» над «базисом» капиталистического хозяйства,— есть тот конечный, грандиозный, комбинированный хозяйственно-социально-политический кризис капиталистического строя в целом, в котором он должен погибнуть. Первый приступ этого кризиса, первый апоплексический удар капиталистического общества совершился в 1917—1919 г.г., начавшись в России.

Процесс кризиса есть в малом виде процесс (и прообраз) распада капиталистического общества. Очень нетрудно показать, что в ходе кризиса распадаются (на время) все обычные связи и наступают, например, моменты, когда кредит умирает, и обращение принимает примитивную форму простого товарного обращения, где *золото*, абсолютный эквивалент, становится всем (это в моменты банковых крахов и денежной паники). При более же глубоком кризисе, переходящем в форму кризиса конечного, начинает умирать и *золото* (пример: не только Россия, но и все еще *капиталистическая* Германия), заменяясь другим «всеобщим эквивалентом» (например, допотопным для капитализма хлебом).

Что все это означает? Это означает, что с марксистской точки зрения имеется ровно столько же «причин» кризиса, сколько и противоречий в категориях капиталистического общества. По сему случаю, когда, в пределах известного отрезка развития, эти противоречия разбухли, наросли, пропитали все поры капиталистического хозяйства, взрыв в *любой* сфере капиталистического строя создает взрыв по всей линии, как в шахте с газовым углем воспламенение газа в одном конце коридора вызывает сразу «огонь по всему фронту».

Т. Фалькнер спрашивает, как при множественности или разнообразии причин кризиса возможна его единообразная форма? Потому, т. Фалькнер, что наслоение капиталистических категорий везде единообразно, и противоречия везде нарастают приблизительно в одной пропорции. Кроме того, потому, что здесь все выросло одно из другого и тесно связано друг с другом. И потому, стоит зажечь огонь в одной точке, и сразу загорится и в сфере цен, и в сфере безработицы, и в сфере банкового кредита.

Вместе с тем можно различать 1) конечное единое основание кризисов, 2) важнейшее по удельному весу из всех противоречий (которое, это уже a priori можно сказать, должно лежать в области производства, как в месте сосредоточения производительных сил, основы общества, и при том производства, взятого в связи, в целом) и 3) пункты, где чаще всего начинается пожар.

Что касается до первого, то мы выше уже цитировали мнение Маркса о том, что конечным основанием является «нищета и ограниченность потре-

бления масс» в противоположность стремлению капитализма к неограниченной экспансии в пределах разве только абсолютной потребительской емкости общества (а по существу—разве ей, этой емкости, есть предел?). Это заметим,—тоже *противоречие*, и самое основное. Другими словами его можно выразить так: всякое хозяйство в любой социальной форме есть организация, направленная на удовлетворение потребностей человека. От этого не может отделаться капитализм. Да его историческая миссия и есть, с одной стороны, гигантское развитие производительных сил, в конечном счете на потребу человечеству. Но, с другой стороны, это развитие совершается капиталом только для реализации наибольшего количества прибавочной ценности, а так как последняя черпается из ценностного продукта, создаваемого работой, трудом, то всегда за счет рабочего, а в конечном счете за счет его потребления. Отсюда—постоянная неустойчивость всякого капиталистического хозяйства, его погоня за рынками (особенно внешними) и внутренняя ненадежность, тупость, легкость крушения этих рынков.

Но это только единая основная почва, из которой растут все противоречия. Наиболее видным и активным из них (прямо вытекающим из предшествующего) является постоянное противоречие в размерах воспроизводства основных отраслей капиталистического производства, которое т. Варга («Период упадка капитализма», стр. 12) справедливо выдвигает, как главную непосредственную причину кризисов [1]).

Наконец, что касается тех пунктов, с которых чаще всего начинается пожар, то это те пункты, где больше всего представлена спекуляция, как наиболее яркое проявление противоречия капиталистической оболочки положительному существу производственного аппарата. Эти пункты суть товарный рынок и денежный рынок. В моменты, когда нарастание противоречий во всех порах хозяйства достигает известного предела, и когда максимума достигает и спекуляция, случайный крах пары крупных спекулянтов или случайное колебание цен может создать взрыв по всей линии.

* * *

Таково марксистское об'яснение кризисов. Оно одновременно является и «плюралистическим», и строго *монистическим* (однако, не «сингуляристи-

---

[1]) Ср. 21 гл. II тома „Капитала". Зацепившись за эту часть построения, отделив ее от остального и внутренне выхолостив, Туган-Барановский сделал из него „учение", об'ясняющее кризисы диспропорциональностью в развитии отраслей производства. Между тем, Маркс в той же главе смеется над экономистами, об'яснявшими кризисы диспропорциональностью производства „постоянного и оборотного капитала" и превращавшими их, говоря современным языком, в „маленькие недостатки механизма". Что касается проф. Кондратьева, то для него и теория Тугана-Барановского не по силам. Перечислив в порядке ученого эклектизма целый ряд причин и чувствуя необходимость как-то их связать воедино, он благополучно причаливает к „несоответствию и диспропорциональному распределению предложения и эффективного спроса всех видов" (стр. 207). „Так где не хватает понятий, хорошо бывает во-время"... вставить словечки „предложение и спрос", скажем мы словами старого Гете.

ческим»), но главное, что его отличает от вульгарного, есть понимание кризиса, как взрыва и разрешения имманентных (заложенных в самой природе) противоречий капиталистического строя и как расчистки путей для развития новых и более крупных противоречий.

Ответ на вопрос о том, как мы сами об'ясняем конкретный кризис 1920—1921 г.г., мы отнесем еще на пару страниц дальше, до рассмотрения книжек т. Варга. Теперь очень кратко коснемся работы проф. М. И. Боголепова.

6. Добросовестный пацифист о кризисе Европы.

Читая книжку М. И. Боголепова, прямо-таки «отдыхаешь душой». Вот автор, не заеденный ни апологетикой (как Кондратьев), ни стремлением подгонять факты под одностороннее теоретическое построение (как Фалькнер). Перед нами, правда, либеральный проф.-пацифист, взывающий к умиротворению капиталистических наций, говорящий о том, что «победа над бедностью делается общей задачей, стоящей как перед бедными, так и перед богатыми странами (но является ли она общей задачей «бедных» и «богатых» в смысле внутренне-социальном?—заметим мы мимоходом. Н. О.). Общая же задача должна разрешаться и общими усилиями, хотя бы только потому, что бедные страны одни не могут разрешить ее собственными усилиями и внутренними средствами» (стр. 115). «Для бедных стран нет иного выхода, как активная помощь богатых стран, а эта помощь может быть оказана в условиях нормального мирового рынка (свободный экспорт, импорт, кредит, привлечение технических сил и т. д.)» (стр. 117).

Но эта половинчатая позиция не препятствует проф. Боголепову *правильно описывать* и оценивать факты. В сущности, это—единственно разумная постановка вопроса с буржуазной точки зрения. До последней степени нелепо отмахиваться от фактов рукой, игнорировать катастрофичность положения и тяжелую путаницу противоречий. Их надо ярко констатировать, если хочешь вести с ними реформистскую борьбу. Так поступают Кейнс, Норман Энджелл, Нитти—и, со своей точки зрения, правильно поступают. И понятно, почему проф. Боголепов, например, может заявить: изжитие кризиса (в узком смысле. Н. О.) не вернет мирового рынка к нормальным условиям полнокровного равновесия, так как останутся нерешенными крупные проблемы, связанные, с одной стороны, с международными экономическими отношениями, а с другой, с восстановлением народного хозяйства в наиболее пострадавших странах (стр. 120).

Вот почему книжка проф. Боголепова представляет собой интереснейшее собрание материалов по вопросу о кризисе (преимущественно в широком смысле слова), особенно же о его финансовой стороне.

Без почтительного трепета перед государственными мужами Антанты, сковывающего язык Н. Д. Кондратьева, проф. Боголепов рассказывает о «государствах-homunculus'ах (искусственных человечках), вышедших из реторты современного миротворчества», «от колыбели до гроба страдающих английской болезнью», как, например, Юго-Славия, которая «не имеет ни

куска железной руды, ни пылинки каменного угля и в то же время обладает тремя крупными портами, содержание которых совсем не-под силу ее более чем скромным рессурсам» (стр. 16). Он сочувственно цитирует заявление «Economist'a»—«если государства наследники (Австро-Венгрии) уничтожат свои таможенные стены и сократят свою армию до размеров полицейской охраны, они скоро достигнут такого преуспеяния, какого никогда не было при империи»—и выводит отсюда «экономическую *безнадежность* того плана перекройки Австрии, который был сочинен в Сен-Жермене» (стр. 17). В то время как проф. Кондратьев только-только что не признает и германских финансов «повидимому—определенно—относительно» улучшившимися, он рассказывает, как репарационная комиссия в мае 1922 г. взорвала германский бюджет, потребовав, чтобы репарационные платежи были взяты в расчете не 45 бумажных за одну золотую марку, а 70 бумажных марок за одну золотую (для лучшей страховки от падения курса), и в результате дефицит был поднят до 162 миллиардов марок вместо ожидавшихся 70 (стр. 19). Без всяких натяжек рассказывает он о послевоенном состоянии внешней торговли, отмечая, что в Германии вывоз *по весу был* в 1913 году—735 миллионов квинталов, а в 1920 году—только 198 миллионов (27%). Выводя, что в 1921 г. вывоз вероятно составит 206 милл., следовательно, будет *больше*, проф. Боголепов замечает: «прирост вывоза из Германии в критический 1921 г. не будет диковинкой, так как именно в этом году совершилось дело катастрофического обесценения марки, что, во-первых, создало сильно действующий стимул к вывозу, а во-вторых, напугало заграницу, обладавшую огромными запасами марок» (стр. 43). Воображаем, как эту диковинку об'яснил бы кто-нибудь другой!

Проф. Боголепов не страдает также боязнью перед *сельско-хозяйственным* кризисом и отмечает, что таковой (кроме Соед. Штатов и Канады) происходит и в *Австралии*, ныне вытесняемой с английского масляного рынка Данией, а во время войны продававшей Англии мясо, шерсть, пшеницу по фиксированным ценам, ниже цен мирового рынка (стр. 48; нотабене: этого проф. Кондратьев не цитирует). Не скрывает он и того, что падение цен сел.-хоз. продуктов в Соед. Штатах вовсе не имело смысла образования равномерного уровня. «Цены на фермерские продукты понизились с треском,—цитирует он обзор «Times'a», хотя цены на товары, которые фермеры покупают, все еще оставались на поднебесной высоте (sky-high). Они понизились на фабриках, но не в магазинах. Между спросом и предложением было полное расхождение. Пшеница упала с 3 долларов 30 центов за бушель ровно на половину. Половина покупательной силы Соед. Штатов (внимание, т. Фалькнер: вот где половина покупательной силы! Н. О.) исчезла, а другая была жестоко повреждена».

В противоположность одностороннему С. А. Фалькнеру, Боголепов приводит ряд данных о «резком сжатии заработных плат в Англии», «которое не разрешило сложной проблемы, стоящей перед английской промышленностью... Это об'ясняется тем, что в основе кризиса лежат причины *международного* характера» (стр. 74). Он рассказывает, как в Соед. Штатах «со

кращение зараб. плат на американских железных дорогах дало в 1921 г. *экономию в 400 милл. долларов,* что создало возможность понижения жел. дор тарифов» (стр. 77).

Из многих интересных общих замечаний проф. Боголепова отметим только два. Указав, что в результате войны цифра обращающихся в мире ценных бумаг с 850 миллиардов франков (включая и все частные промышленные акции и облигации) поднялась до астрономической цифры 1127 миллиардов одних только *государственных бумаг,* Боголепов замечает: «этою цифрою война поставила огромный барьер на пути оздоровления мирового народного хозяйства, так как гипертрофические размеры фиктивного капитала тяжело отзываются на бюджетном хозяйстве, на промышленном капитале, на распределении народно-хозяйственных благ и вообще на всем процессе народно-хозяйственного развития» (стр. 82—83).

Иначе сказать, наличие огромной массы чисто бумажного капитала не только отрывает (на оплату процентов) массу средств, которые могли бы быть затрачены производительно, но, чтó не менее существенно, ослабляет тягу к эмиссии новых акций, облигаций и проч., между прочим, и тем, что требует той же высокой доходности, как военные бумаги. Это разлаживает в самой сердцевине динамику финансового капитала.

Вопрос о ликвидации такой гипертрофии есть в первую очередь вопрос о ликвидации военной задолженности. Боголепов цитирует доводы тех пацифистов, которые высказываются за полное их уничтожение, в частности американца Джона Клэрка. Среди его доводов, по мнению Боголепова, «есть один уязвимый, именно тот, по которому будто бы нет возможности путем рассрочки долга на продолжительный срок сделать невыносимое бремя военных долгов переносимым. Этот довод у Клэрка подкреплен только моральным аргументом о неудобстве обременять платежами целое поколение. Но ведь каждый долгосрочный заем делает то же самое... Для трезвой оценки проблемы следует иметь в виду, что возможность рассрочкой облегчить бремя долгов в сильной степени укрепляет позицию противников аннулирования» (стр. 96).

Как видим, вложив без страха свои персты в раны, Боголепов намекает и на возможный компромиссный исход. Конечно, «коренной пересмотр» военной задолженности (т.-е. списание части долгов со счета) и «большая рассрочка» платежей «с правом зачета долгов путем перевода с одной страны на другую»—или, иначе говоря, перевод всех платежей на *Германию,* а всего взыскания платежей на *Америку* (проект Гудинофа, цитируемый Боголеповым без возражений)—все это было бы хорошо. Но все это упирается в констатируемое самим Боголеповым обстоятельство: то, что оно не означает аннулирования *внутреннего* долга в Америке (а он возрос за время войны с 1 миллиарда долларов до 23-х) и что платить проценты американский плательщик налогов от этого не перестанет, так как практически с Германии ничего не возьмешь, или возьмешь очень мало, а германский рынок для себя же закроешь.

В этом, конечно, а не в политических соображениях, которые считает

здесь решающими тов. Варга [1]), причина упорной оппозиции в Америке пересмотру долгов, ибо такой пересмотр непосредственно выгоден только экспортным отраслям промышленности и торговому капиталу. Англия — главный должник Америки, который перепоручился за всех остальных. Лучше получать с нее деньги, предоставив европейцам между собой производить дальнейшие взыскания. Иначе надо либо продолжать брать высокие налоги не только с рабочих, но и с *фермеров*, которые находятся в открытой оппозиции и в списке своих требований имеют *понижение налогов*, либо надо произвести удар по американскому финансовому капиталу чем-то вроде аннуляции внутренних займов.

При всяком компромиссном решении, которое весьма возможно, ибо требование уплаты процентов Америке (их сейчас не платят) могло бы привести или к полному параличу европейского хозяйства или к войне (а обе стороны сейчас постараются этого избежать), вопрос, разумеется, отнюдь не будет ликвидирован, болезнь будет загнана во внутрь и в свое время даст свои плоды.

Мы не исчерпали и малой доли материала из интересной книжки проф. Боголепова. Без всяких сомнений мы отсылаем к ней самого широкого читателя: он найдет массу добросовестно и интересно подобранного *материала*, а выводы сумеет сделать сам. Материал проф. Боголепова перехлестывает через его выводы.

7. Тов. Варга о кризисе мирового хозяйства, его содержании, причинах и перспективах.

Изложение наше до сих пор было критическим по преимуществу. Теперь оно может стать комментирующим, дополняющим и развивающим, так как мы переходим к рассмотрению двух книг т. Варга, с основными и, в большинстве случаев, с частными положениями которых мы согласны [2]).

Для тов. Варга, как и для нас, не существует роковой грани между «общей динамикой» капитализма и пульсированием его кон'юнктурной оболочки; не существует также роковой грани между миром социальных и политических явлений, как внешним, и миром явлений кон'юнктуры, как внутренним. Он рассматривает то и другое в связи.

В об'яснении современного кризиса он «начинает издалека», анализируя «военно-хозяйственную деформацию» стран, участвовавших в войне, и крупный рост заокеанских стран, выигравших от войны (I, первая глава).

---

[1]) „Кризис мирового капиталистического хозяйства", стр. 103 русского перевода.

[2]) См. 1) E. Varga, Die Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft, 2 Auflage, 1922 и 2) E. Varga, Die Niedergangsperiode des Kapitalismus, 1922. Обе книжки переведены на русский язык: 1) Е. Варга, Кризис капиталистического мирового хозяйства. Перевод со 2 изд. Н. Л. Мещерякова, стр. 123, Москва—Петроград, 1923, Госизд. 2) Е. Варга, Период упадка капитализма. Доклад к IV конгрессу Коминтерна, стр. 64, Изд. Коминтерна, 1922. Имеется и другой перевод последней книжки под заглавием „Закат капитализма".

Первая книжка больше второй и вышла в оригинале раньше. Первая является основной работой, вторая—дополнением. Мы будем означать первую книжку римской цифрой I, вторую—римской цифрой II.

Тов. Варга совершенно справедливо различает далее 1) кризис мирового хозяйства в широком смысле слова и 2) кризис 1920—1921 г.г., как конкретный кризис, в узком смысле слова.

Первое он называет «стадией упадка капитализма или периодом постоянного кризиса», второе—«острыми кризисами в пределах самого кризисного периода» (II, стр. 10; последнюю формулировку мы сами переводим с немецкого, чтобы дать ее—пусть в более неуклюжем, чем у тов. Мещерякова,—но более отчетливом виде). Из этого сразу выясняется, что послевоенный период тов. Варга оценивает, как период *упадка* капитализма. Проф. Боголепов также рассматривает положение «с двух точек зрения: с точки зрения тяжелых последствий войны и с точки зрения временного экономического кризиса, создавшего добавочное препятствие на путях к преодолению последствий войны» (стр. 117 его книжки). Но, как мы видим, кризис в широком смысле слова он считает лишь специальным последствием войны, которое, очевидно, преодолимо на почве капиталистического строя.

Нужно еще отметить, что хотя у тов. Варга встречается термин «постоянный кризис» («beständige», «ständige Krise»—II, стр. 10), но под этим разумеется кризисный период вообще, и тов. Варга не стоит на точке зрения, на которой, несомненно, стояли Н. Бухарин, Ш. Двολайцкий и др. летом 1921 года—на точке зрения беспрерывного острого кризиса, выражающего собой непосредственный распад капитализма.

Тов. Варга не просто декларирует свое положение об основной тенденции капитализма к упадку. Он формулирует и иллюстрирует признаки упадка. Эти признаки таковы: 1) территориальное сужение границ господства капитализма (появление советских республик), 2) возврат к докапиталистическим формам хозяйства в отдельных капиталистических странах (Центр. и Вост. Европа: переход крестьян к «самоедскому» хозяйству, замена денег хлебом, тяга капитала только в область непроизводительной торговой деятельности), 3) распадение международного разделения труда; разрыв мира на несколько, не могущих установить связь друг с другом, частей и развитие повсеместно всех отраслях производства (в колониях—промышленности, в Англии—сел. хозяйства), 4) развал золотой валюты и возвращение через бумажную валюту к натуральному обмену, 5) накопление богатства сменяется прогрессивным обнищанием (после войны—в Италии, в Центральной и Восточной Европе), 6) сокращение производства, за редкими исключениями, вроде нефти, либо прирост, гораздо более низкий, чем это соответствует норме, 7) распад внутреннего кредита в Центр. и Вост. Европе и крах международного кредита, 8) падение уровня жизни рабочих, 9) обострение борьбы разных слоев имущих классов за раздел уменьшившегося продукта. Эта борьба идет за регулирование цен, таможенные ставки и пр.; в частности—появление фермерского движения в Соед. Штатах (усиление его в Канаде, добавим мы от себя), борьба крестьянства против буржуазии в Польше, Венгрии, Болгарии, Юго-Славии «с целью завоевания или удержания в своих руках государственной власти»; в результате непрерывный политический кризис, в формах правительственного и парламентского кризиса, 10) идеологически—упадок веры в непоколе-

бимость капитализма; непрерывное брожение в среде рабочих, создание заменяющих государственный аппарат *белых гвардий* (отметим в скобках, что со времени, когда тов. Варга писал это, осенью 1922 года, соответствующий процесс не ослабел, а усилился),—признак слабости классового господства (II, стр. 11—28).

Кризис 1920—21 г. был резким понижением линии, вообще имеющей наклонное движение, а намечающееся оживление, добавим мы, не может не упереться в расстройство всей капиталистической системы и не в состоянии перейти в крупный, нормальный, всеобщий под'ем.

Мы добавили бы еще, что кризис 1920—21 г. был формой частичной ликвидации экономических противоречий, накопленных всем ходом событий с 1914 г. В 1918—19 г.г. на капиталистическую Европу надвигался первый приступ комбинированного экономического, социального и политического кризиса, полное развертывание коего означает пролетарскую революцию. Этот первый апоплексический удар был политически преодолен капитализмом весной 1919 года; отсюда возможность «высокой кон'юнктуры с сильно спекулятивным характером» (мы бы сказали сильнее—на чисто спекулятивной основе), как характеризует тов. Варга конец 1919—начало 1920 года [1]). Она была отзвуком на социальную победу капитала в первой схватке, попыткой провозгласить обычный лозунг буржуазной реакции «enrichissez-vous!» («обогащайтесь!»). Характерно, что толчок ей давало соотношение валют: страны с валютами выше уровня доллара (Япония, европейские нейтральные) и Соед. Штаты начинают усиленно ввозить (у Соед. Штатов, напр., скачок импорта в 1920 г. на 33%, экспорт же поднялся лишь на 4%). Страны с валютами ниже золотого уровня, наоборот, начинают усиленно вывозить (Англия. Франция). Но не проходит и года—начинается экономическая «распасовка». Ибо если предотвращен переход комбинированного кризиса в социальный переворот, то нельзя предотвратить развертывание до конца противоречий политики экономической.

Отсюда понятно, что кризис 1920—21 г. нельзя рассматривать иначе, как под углом зрения «общей динамики» капиталистического развития, и так как он есть совокупный взрыв (и лишь чрезвычайно *частичная* ликвидация) всех накопленных ранее противоречий, то активными действующими силами в него входит ряд «дополнительных» факторов, не свойственных прежним кризисам. Эти факторы и в дальнейшем (поскольку ни кризис, ни связанные с ним мероприятия государственной власти капитала их не устраняют) будут действовать на всем протяжении заката капитализма.

---

[1]) I, стр. 33. В той же главе тов. Варга приводит отзывы двух крупных финансовых тузов Сев. Америки, т.-е. той единственной страны, где хоть сколько-нибудь заметное оживление перешло на производство—Миллера, члена федерального резервного бюро (т.-е. члена совета американского банка банков) и Робертса, вице-председателя крупнейшего американского банка National City Bank—о спекулятивном характере оживления „без заметного изменения" размеров производства (стр. 39—40). Отчего этих отзывов не цитирует проф. Кондратьев?

Каковы же эти причины, эти главные действующие силы? Здесь мы опять прежде всего цитируем сводку тов. Варга. Таковыми он признает:

1) «*Неодинаковое развитие производительных сил во время войны* в странах воюющих и в тех, которые извлекали пользу из войны. Мировое хозяйство распалось на две части: одна—*район перепроизводства* (Америка, Япония, Англия) и другая—*район недопроизводства* (Германия, Польша, Россия, Восточная Европа и т. п.)».

2) «*Неодинаковое движение цен на продукты промышленности и на продукты сельского хозяйства* в важнейшем районе перепроизводства—в Соед. Штатах (ср. выше цитату из Боголепова об «исчезновении половины покупательной силы в Америке». Н. О.)».

3) «*Неприспособленность производства к изменившемуся во время войны распределению доходов*».

4) «*Нарушение системы мирового труда, вследствие индустриализации до тех пор аграрных стран*» (I, стр. 45).

Из этих четырех причин две являются причинами *международного* характера, две другие—«*внутринационального*» характера. Две из них в значительной степени вызваны войной. Но чем была сама война? Последствием и выражением в мировом масштабе основного противоречия капитализма, первопричины кризисов—колоссального развития производительных сил в главнейших странах, неуместившегося на узком базисе «отечественной» почвы и почвы колоний. Справедливо замечает Фалькнер, что война была средством выйти *из начавшегося в 1914 г. мирового кризиса*, «ибо представители крупной промышленности, и прежде всего тяжелой индустрии... не могли не желать предотвращения кризиса сбыта всеми возможными путями и любыми средствами» (стр. 2). И война была попыткой каждой стороны *для себя* найти спасение от участия в таком кризисе: расширить свои рынки сбыта, источники дешевого сырья, пункты приложения вывозимого капитала—за счет вытеснения противника. Империалистская экспансия уперлась в две возможности: грандиозный кризис или война. Она выбрала второе. Но она не избавилась от первого. Не избавились не только формальные «победители», но и победители реальные—Соед. Штаты и Япония.

Создался район относительного перепроизводства и район абсолютного недопроизводства, из которых первому некуда продавать, а второму нечем покупать [1]).

---

[1]) Проф. Кондратьев на стр. 207 недоумевает над формулой тов. Варга: „Едва ли правильно относительное перепроизводство противополагать абсолютному недопроизводству. Одно из двух, или можно говорить об абсолютном недопроизводстве—и тогда необходимо говорить и об абсолютном перепроизводстве, или наоборот. Совершенно ясно, что говорить об абсолютном недопроизводстве можно потому, что оно означает голодную смерть (Россия) или туберкулезную смерть (Германия). Об абсолютном же перепроизводстве говорить нельзя, так как поскольку возможно купить американский хлеб, едоки для него находятся (в 1921 году в России, в 1922—23 г.г. в Германии).

Вдобавок ко всему, именно последний район в колоссальном долг (11 миллиардов долларов) первому [1]).

В данном случае мы имеем, как сказал бы Маркс, «потенцированное», возведенное в степень (мировую) *противоречие*—но в общественном, а в мировом воспроизводстве.

Что касается *второго* тезиса тов. Варга, то он касается одной из сильных пружин кризиса в Сев. Америке, и особенно важен тем, что подчеркивает вовлечение в современный кризис и *сельского хозяйства*. Эта пружина лежит в области соотношений на *рынке* и иллюстрирует, как в отдельных случаях комбинации в этой области могут превращаться в немаловажный фактор кризиса.

Здесь надо, впрочем, отметить два обстоятельства. Во-первых, главный центр катастрофы, постигшей американских и канадских фермеров, лежит не *в разнице* цен на хлеб и хлопок, с одной стороны, и предметов производственного и личного потребления фермеров, с другой. Здесь катастрофа сосредоточена на меньшую половину (хотя на это, как на ближайшую и устранимую причину, особенно жалуются сами фермеры). Более же чем на половину она состоит в том, что не только затраты, сделанные на производство урожая 1920 года, *вследствие краха европейского рынка и мирового падения хлебных и хлопковых цен*, не вернулись им даже в половинном размере, но и в том, что *основные* затраты, сделанные фермерами в 1917—1919 г.г. на расширение производства по повышенным ценам *(земля*, напр., во время войны *вдвое* увеличилась в цене) по нынешним ценам не окупаются [2]).

Говоря терминами, обычными при исследовании промышленных кризисов, капитал американского земледелия оказался чрезмерно *разводненным* спекуляцией и ныне не может давать нормальный доход. Кроме того, специально в Соед. Штатах (не в Канаде) уже сказывается отсутствие свободных плодородных земель; развитие хлебного производства, очевидным образом, не легко далось американскому земледелию, и при нынешних технических условиях

---

[1]) Если первый район, во главе с Соед. Штатами, является районом относительного перепроизводства, то это еще далеко не означает, что его материальное богатство увеличилось, и что прирост долга Америки покрывает понесенные ею расходы. Перед нами книга инженера Ingalls, директора американского бюро статистики металлов (Wealth and Income of the American People, New-York, 1922), где автор, делая подсчет „материального инвентаря" сев.-американской республики, приходит к выводу, что в конце 1916 г. стоимость его была 268 миллиардов долларов, а в конце 1920 года—272 миллиарда. При чем, „если бы было возможно сделать более исчерпывающее исследование и более точный анализ, то, я полагаю, этот кажущийся прирост исчез бы, т. к. при оценке для 1920 г. я, по отношению к слагаемым, которые точно нельзя было определить, был скорее *слишком* щедр в оценке" (стр. 177). Подсчет прибылей и убытков Соед. Штатов за 1917—1920 г.г. приводят автора несколькими страницами выше (стр. 171) к выводу, что плюсы и минусы балансируются на цифре $66^1/_2$ миллиардов долларов.

[2]) United States Department of Agriculture Yearbook за 1920 год сообщает (с. 825) следующие цифры о ценах на землю: 1) в 1919 г. году они составили 202% к уровню 1909—1913 годов, 2) ежегодный прирост цен за 1910—1914 г. в среднем составлял 3,6%, в следующее пятилетие (1915—1919 г.г.)—13%: ускорение темпа в четыре раза.

производство хлеба в таком размере на этой площади оказывается слишком дорогим.

Во-вторых, особенно имея в виду последнее, надо говорить, как об одной из причин кризиса, соприкасающихся с сельским хозяйством—не о *расхождении цен, а о несоответствии промышленного производства и сельско-хозяйственной продукции,* и, в результате, о нарушении «правильного обмена между городом и деревней» (термин в России слишком хорошо знакомый), как в международном масштабе, так и внутри отдельных стран. Здесь мы имеем в виду и американскую деревню в отношении к европейскому городу (в сумме); и европейскую деревню (Центр. и Вост. Европы) в отношении к своему городу. Под рубрикой *несоответствия цен* тов. Варга фактически и затрагивает эти вопросы (I, 50—55). Но тогда рубрика выбрана более узкая, чем содержание.

Очень интересно поставить следующий вопрос: ну а где же оказалась обычная основная причина нормального кризиса—относительное перепроизводство в самой промышленности, за счет *перепроизводства средств производства*—классическая причина «из второго тома Капитала»? Дело в том, что война и была предпринята, чтобы это перепроизводство предотвратить. Металлургия и машиностроение занялись почти целиком работой на оборону, бросили производство средств производства и занялись производством средств разрушения. Поэтому с окончанием войны тяжелая индустрия попала в тяжелый кризис (не сразу наступивший), но не потому, что нарушила обычное равновесие с другими отраслями, а потому, что оказалась *вне* его. *В перевернутом на голову* виде, эта движущая сила, несомненно, имела сильное действие, что напрасно не отмечает тов. Варга. Но она проявилась и в *прямом* своем виде—как абсолютное перепроизводство *морских судов,* отмечаемое и Варгой. и Фалькнером (последний, однако, забывает об этом, когда доходит до разбора причин кризиса, не забыв, притом, предсказать, что в судостроении кризис продлится до 1924 года).

По вопросу *о неприспособленности производства к изменившемуся распределению доходов* надо оказать, что здесь речь может итти только о *рабочих* (вопрос о доходе мелких производителей—*крестьян* войдет в вопрос об обмене города и деревни; об относительном падении *капиталистического* дохода в части его, расходуемой на личное потребление, ставить вопрос даже для побежденных стран крайне сомнительно). Явление упадка реальной заработной платы—повсеместное и в побежденных странах оно имеет только большую степень (гораздо большую).

Это не только обычный «социальный корень кризиса» (I, с. 55), в данном случае это «выпершее» на первую линию противоречие в сфере распределения общественного дохода. Обычно оно—коренная причина тупости, малоёмкости, ненадежности сбыта. Ныне оно—видная активная движущая сила кризиса.

Нарушение мирового разделения труда индустриализацией аграрных стран (речь идет об Индии и Китае по преимуществу), по мнению тов. Варга (с. 56—7), двояко действует, как причина кризиса: 1) создав свою промыш-

ленность, эти страны затрудняют сбыт продуктам метрополии, 2) метрополия, восстановив вывоз, теснит вновь возникшие производства. Такое рассеяние промышленного производства ведет к усиленному насаждению протекционизма (повышение пошлин во всех почти странах).—Очевидным образом, добавим мы, эта перемена составляет крупную угрозу старой Европе вообще и должна быть «дополнительным» фактором в закате ее капитализма.

В сущности, однако, эту причину можно присоединить к первой, если сформулировать ее не как абсолютное недопроизводство на одной стороне и относительное перепроизводство—на другой, а в более общей форме, как диспропорцию производства между странами [1]).

Так как кризис есть не только выражение, но и форма разрешения накопившихся противоречий, то тов. *Варга* совершенно правильно от анализа причин кризиса (и проявления его в разных случаях и отраслях промышленности, что мы вынуждены опустить, но что убедительно советуем прочитать всем) переходит к рассмотрению а) стихийных тенденций к изжитию противоречий, б) сознательных мероприятий в этом направлении, им вызываемых.

Первое противоречие—*мировая диспропорция* в развитии производительных сил—стихийно может быть преодолена сокращением (по крайней мере на время) производства и ростом безработицы в странах перепроизводства, усиленным развитием производства в другой половине мира (что создало бы лучшие перспективы в дальнейшем и для первой половины, восстанавливая рынок для нее). На первом, т.-е. на сокращении производства, останавливаться нет надобности, но что касается второго, то тов. Варга совершенно справедливо отмечает, что именно вследствие этой причины в Германии и Австрии—1921 год есть год напряженной работы всех отраслей производства (см. выше Боголепова). И, однако, *первое* не разрешает вопроса в более широкой перспективе, а *второе* могло бы пойти усиленным темпом, на основе дешевизны рабочей силы, лишь при наличии международного *кредита*. Между тем, как мы отмечали выше, вместо этого в 1922 году ясно обнаружилась тенденция обратного порядка: беспощадной политики репараций. А Франция даже предпочитает за счет *банкротства* Германии попытаться самой выйти из кризиса.

---

[1]) Переходя к другой теме, мы суммируем наше об'яснение причин кризиса 1920—21 г.г. Основная причина, она же причина войны—противоречие между развитием производительных сил мировых империй и узким базисом этого развития. Непосредственные важнейшие причины кризиса 1920—21 г.г.: 1) Диспропорция совокупного производства в мировом масштабе (между странами), 2) Диспропорция в производстве между городом и деревней (в масштабе мировом и внутри-национальном, с соответствующим различием форм этой диспропорции), 3) Диспропорция в производстве средств производства и средств потребления, или разрыв связи между ними внутри отдельных стран, 4) Диспропорция между производством средств потребления и реальным доходом рабочего класса.—Как обстоятельство, форсировавшее кризис в Соед. Штатах, можно констатировать расхождение цен на с.-х. и промышленные продукты. Причины, вызвавшие кризис на поверхность, зажегшие пожар, лежат на этот раз в сфере товарного обращения (крах спекуляции, начавшийся, как еще совсем недавно подтверждал „The Economist", с Японии).

Что касается *диспропорции в соотношении между производством города и деревни* (тов. Варга опять говорит преимущественно о ценах, с. 88—89), оно имеет тенденцию изживаться путем *сокращения* сельско-хозяйственного производства заокеанских стран и *развития* его в Европе. Тов. Варга считает это развитие *медленным*, но все же происходящим, вследствие дороговизны сельско-хозяйственных продуктов в странах дешевой валюты. Со своей стороны мы полагаем, что такое развитие можно отметить, пожалуй, только в нейтральных странах, даже не во Франции (несмотря на *тщетные* попытки последней поднять свое земледелие за счет ограбления Германии, которая поставляет Франции не только уголь, но и минеральные удобрения). В самой же Германии сел. хозяйство переживает застой на катастрофически низком уровне [1]), так как здесь оно уже усиленно связано с промышленностью (производство искусственных удобрений) и с его общей судьбой. Кроме того, цены в Германии, быть может, и высоки, но об'ем спроса по этим ценам невелик, а в результате сохраняется натур-налог, что, несомненно отрицательно влияет на хозяйство.

Что касается диспропорции между *производством и доходами*, то тов. Варга не пытается, конечно, подобно тов. Фалькнеру констатировать рост реальной заработной платы, но констатирует другое обстоятельство: фактическую аннуляцию *внутренних* долгов в странах с падающей валютой и сокращение дохода непроизводительного, рантьерского населения (I, с. 90—91). Здесь кстати отметить, что та же причина уже привела к аннулированию (а во Франции к сильному сокращению) крестьянской ипотечной (поземельной) задолженности, в связи с чем в Швейцарии лопнуло несколько банков, перестраховывавших германские ипотечные операции. Этим облегчается возможность под'ема сельско-хозяйственного производства в ряде стран Европы, если бы не сильные противодействующие тенденции [2]).

Противоречие, выражающееся в *нарушении мирового разделения труда* путем индустриализации аграрных стран, по мнению тов. Варга, частично разрешается закрытием предприятий в странах индустриальных и переходом в них рабочих на работу в деревню (регрессивный процесс), а также разрушением вновь возникшей промышленности аграрных стран, ибо начинают вновь сказываться географические и культурные преимущества (более высокая производительность труда рабочих) стран Европы.—Мы полагаем, что это предположение (с. 91) весьма и весьма преждевременно, ибо во многих случаях *естественные преимущества* (пусть не *географические*) окажутся на стороне новых стран и в их пользу также окажется *дешевизна* рабочей силы. Так, например Китай, где залежи угля самые обширные во всем мире, где имеется и руда, имеет все шансы к широкому развитию металлургии, усиленно насаждаемой в Китае японским капиталом (за отсутствием для металлургии естественных предпосылок в Японии).

---

[1]) Исключение—производство сахарной свеклы. Обо всем этом—в специальной статье, уже не раз упоминавшейся выше.

[2]) Надо еще отметить, что аннулирование внутреннего долга отнюдь не затрагивает самого тяжелого вопроса о долгах внешних.

Вообще говоря, надо весьма остерегаться об'являть регрессивным процессом нарушение сложившегося перед войной мирового разделения труда. Развитие промышленности во всех странах света есть явление с точки зрения технической и социальной вполне прогрессивное, ибо почти везде имеются естественные предпосылки для той или иной отрасли. И наоборот, восстановление сельско-хозяйственного производства в Европе, означающее изжитие мирового аграрного кризиса (в старом смысле), впервые создаст почву для широкого развития техники в сельском хозяйстве.—Для капитализма этот процесс означает, однако, нарастание самых тяжелых противоречий экономических и политических.

Гораздо правильнее тов. Варга говорит о преодолении мировой диспропорции в развитии производительных сил путем экспорта капитала (с. 91—94): из стран относительного перепроизводства капитал (путем основания новых предприятий, скупки акций старых) переходит в страны недопроизводства. И, наоборот, из обедневших стран он убегает от гнета репараций и ожидаемых чрезвычайных налогов в страны относительного перепроизводства или вообще за границу (приводятся интереснейшие примеры того, как Стиннес «распространяется» не только по Германии, но двигается и на Италию, Швейцарию, Швецию, Чехо-Словакию, Испанию, Чили, Аргентину и даже Голландскую Индию). Из всех тенденций к преодолению кризиса, *эта*, быть может, наиболее могла бы способствовать установлению относительного равновесия в капиталистическом мире, если бы оказалась достаточно сильна, и не перекрещивалась другими тенденциями.

Тов. Варга забыл упомянуть об одном из характернейших способов преодоления *нормальных* капиталистических кризисов—о *преобразованиях техники, удешевляющих производство*. Он касается этого вопроса только в отношении Германии и констатирует, что дешевизна рабочей силы препятствует там техническому прогрессу. *Но и во всем остальном мире положение не лучше*, чем в Германии: этот процесс фактически в ликвидации кризиса роли не играл, что представляется обстоятельством *чрезвычайной важности*, ослабляющим позицию капитализма.

Под рубрикой сознательных стремлений к преодолению мирового кризиса тов. *Варга* упоминает: 1) стремление к сокращению мирового разделения труда и к созданию самодовлеющих государств (возведение *таможенных барьеров* с целью охранения промышленности—почти повсеместно—и усиленная агитация за развитие *земледелия* в Англии и во Франции; впрочем, только Франция имеет реальную возможность образовать замкнутое целое, для Англии это немыслимо, и ее положение, вследствие центробежных стремлений колоний, всего опаснее), 2) захват новых рынков; из них единственно неиспользованным в крупном масштабе является *Китай*, который, однако является теперь государством, уже способным оказать значительное сопротивление разделу или захвату своих территорий, 3) стремление оказать помощь странам недопроизводства: а) взаимной аннуляцией союзных долгов б) международным кредитом для разоренных войной стран—либерально-пацифистская идея, которая так и осталась висеть в воздухе, и 4) новая ми-

ровая война,—последний исход, «если не удастся ни путем образования самодовлеющих национальных хозяйственных областей, ни путем расширения рынка и включения в него новых стран восстановить хозяйственное равновесие и найти рынки для ненаходящих себе сбыта продуктов промышленности стран перепроизводства» (с. 119).

* * *

Каков же общий баланс намеченных тенденций к преодолению кризиса в широком смысле слова, к выходу из самого периода кризиса, к превращению падающей линии в линию, идущую вверх? Ибо мы видели, что в кризисе 1920—21 г.г. выявились *все основные противоречия* предшествующей капиталистической эпохи, и капиталистический организм борется с ними со *всеми*, как при помощи внутренних антитоксинов, так и при помощи лекарств, предлагаемых его лейб-медиками.

В заключительной главе своей второй книжки тов. *Варга* признает, что за истекший год (книжка закончена в конце сентября 1922 года) «капитализм несколько укрепился, и это произошло, благодаря присущим ему иммагентным тенденциям к восстановлению нарушенного равновесия». Но—«кризис капитализма, несомненно, не преодолен. Мы, несомненно, находимся в периоде упадка капитализма» (с. 64).

В настоящее время, когда в *Соед. Штатах* уже начинается значительное оживление, особенно в строительной промышленности (здесь оно началось чуть ли не в первую голову), в металлургии, в текстильном производстве («Economist» от 17 февраля озабочен тем, что американского хлопка не хватит для *английской* промышленности в связи с потреблением хлопка в Америке, близким к рекордному, и с повторным недосбором хлопка, из-за падения посевной площади и урожайности), когда в последние месяцы 1922 года и в начале 1923 г., наконец, тронулась *и английская* каменноугольная и металлургическая промышленность (за один январь 1923 года зажжено новых 14 доменных печей), а *французская и бельгийская* металлургия до рурской эпопеи правильно развертывалась [1],—еще более ясно, что капитализм укрепился в том отношении, что глубокий провал 1920—21 г.г. им пока преодолен.

Но что ожидает это оживление даже в самом близком будущем—этого отнюдь нельзя сказать. С. А. Фалькнер заявляет в конце своей книжки, что целый «ряд стран стоит уже на пороге промышленного под'ема». Он называет в *первой* серии—Соед. Штаты, Японию, Канаду, Австралию, где, «судя по многим признакам, под'ем может начаться уже с весны 1923 г.»; «за ними потянутся», во вторую очередь и при отсутствии политических осложнений—Франция, Бельгия и Италия. В третьем же ряду стоит Англия, до которой под'ем доберется, «быть может, уже осенью 1923 года» (с. 126).

[1]) В Японии, наоборот, до сих пор все еще тихо, и огромные залежи товаров, образовавшиеся от спекулятивного ввоза 1919—20 г.г., до сего времени мертвым грузом давят на рынок (см. тот же номер „Экономиста“).

Весна уже наступает, и через месяц наступит срок платежа по неосторожно написанным С. А. Фалькнером векселям. Боимся, что ни одна страна из первой серии, кроме Соед. Штатов, не оправдает предсказаний тов. Фалькнера. К счастью для второй серии, политические осложнения наступили. Что же касается Англии, то она повидимому не обнаруживает намерения слушаться нашего предсказателя и высовывается вперед.

Но что из всего этого будет дальше? Что Соед. Штаты могут испытать под'ем—это, пожалуй, возможно. Но уже сейчас на пороге этого под'ема раздается в Америке ряд голосов, говорящих о том, что Европа-то все же покупать не в состоянии, а пределы внутреннего американского рынка—недостаточный резервуар для крупного под'ема. И этот рынок в конце концов на пятьдесят процентов зависит от фермерского спроса, а фермера на двадцать пять-тридцать процентов *валовой (не чистой и не товарной)* продукции главного хлеба—пшеницы зависят от внешнего (европейского) рынка. Для Европы же их хлеб слишком дорог. Это—с одной стороны.

С другой стороны, если правилен расчет «Экономиста», что сбор хлопка в Америке—10 милл. кип [1]), а вероятное потребление 7¼ миллиона кип (потребление не очень большое, меньше, чем в 1915—1916 г.г.), то на весь мир, включая и Англию, остается 2¾ миллиона, и это означает *хлопковый кризис* для всего мира, срыв всего оживления текстильной промышленности. С третьей стороны, что случится с металлургией Англии и Франции лишь только их разбег примет значительные масштабы? Случится то, что они столкнутся на очень узкой площадке, ибо все соображения о том, что большая часть европейских рынков покупать не может, а заморские рынки (Китай, Индия) сами начали обзаводиться промышленностью или завязывать связи с Америкой—правильны.

Из всех тенденций к преодолению кризиса сильнее всех действовала в 1921—22 г.г.—увы!—только тенденция к сокращению производства в Европе и Америке, то-есть та, которая есть тавтологическое выражение кризиса. *Прочие тенденции имели самое незначительное развитие, в особенности две самые важные: восстановление обмена с деревней и удешевление производства путем технических улучшений.* Из всех же «сознательных стремлений» наиболее сильно действовало только насаждение *протекционизма,* запирающего рынки, с одной стороны, да стремления, являющиеся продолжением прежней войны («иными средствами») и прологом к новой войне—*ограбление* побежденных стран. Тов. Варга забыл упомянуть об этом средстве, которое для *отдельной* страны, как Франция, *может* составлять исход и которым она широко пользовалась, но которое невероятно обостряет основные противоречия в целом.

Изменилось ли с начала кризиса что-либо в основных его причинах (а по нелепой терминологии Фалькнера, в дополнительных факторах)?

Ответ на этот вопрос из предыдущего ясен. Всего резче его можно сформулировать, поставив в ответ другой вопрос: а осуществились ли в какой

[1]) Расчет этот совершенно вероятен, т. к. в прошлом году сбор был значительно меньше.

нибудь степени либерально-пацифистские чаяния и предложения? Ответ на этот вопрос, а следовательно, и на первый, опять-таки ясен.

Вот почему мы говорим: что ожидает это оживление даже в недалеком будущем—большой вопрос. Оно очень скоро может натолкнуться на исключительно, небывало-узкий базис под ногами.

С другой стороны, вера в непоколебимость капиталистического строя действительно потеряна рабочими массами. В их среде быстро складываются первые надежные кадры коммунистического авангарда. Кризис 1920—21 г. капитализм пережить мог, но второй или третий приступ такого потрясения может вновь перейти в комбинированный кризис, во второй апоплексический удар, который чаще всего кончается смертью.

В сущности говоря, создавшаяся передышка есть немалый плюс и для революционного пролетариата. Организационно он был в 1918—19 г.г. безусловно неготов к правильному и стройному разрешению задачи.

Весь вопрос, поскольку он сводится к силе сопротивления противников рабочего класса, состоит в следующем: *научит ли их опыт нового кризиса* (предполагая, что этот новый кризис еще не развяжет всей революционной потенции, всей свернутой мощи рабочего класса) и *укрепится ли к этому моменту их интернациональная спайка* (путем переливания капиталов из страны в страну) настолько, чтобы они сумели достаточно широко и глубоко разрешить хотя бы самые острые противоречия, раздирающие хозяйство мира. *Научит ли их грядущий новый кризис* (в узком смысле слова) *хотя бы разрешить вопрос о Центральной и Восточной Европе, связанный с вопросом о репарациях и долгах?*

Если да,—они смогут в меру широты и глубины разрешения этого вопроса оттянуть решение судьбы капитализма; если нет,—то сроки исполнятся скоро. Но что очень показательно, мы не видим в их среде *людей, которые смогли бы это сделать.*

Во всех случаях вредно создавать себе иллюзии и тешить ими других. Пример проф. Кондратьева достаточно поучителен. Но самое трезвое обозрение ситуации заставляет нас сказать, положа руку на сердце, что появление вновь комбинированного, хозяйственно-социально-политического кризиса не только не снято с очереди, но может в значительной мере застать нас врасплох.

Великим историческим долгом рабочих всех стран является поэтому, не на йоту ничего не форсируя, энергично готовиться к разрешению революционной задачи, долг же рабочих красной России—удержать, укрепить, развить занятую ими крепость, чтобы сделать ее надежной стратегической базою грядущей мировой борьбы.

Великая историческая проверка.

А. Мартынов.

Часть II [1]).

Наши разногласия в эпоху первой русской революции (1901—1910).

ГЛАВА I.

Старые разногласия в свете современных событий.

Раскол русской социал-демократии на две фракции—большевистскую и меньшевистскую—произошел *формально* в 1903 году на 2-м (лондонском) с'езде партии, хотя элементы для раскола партии по этой линии имелись в ней уже в 1901 году с самого начала возникновения старой «Искры», сразу занявшей определенно «большевистскую» позицию (что меньшевики неосновательно оспаривали). Начавшись с расхождения по организационным вопросам, на первый взгляд маловажным—о том, как определить членство партии и как организовать редакцию Ц. О.,—разногласия между большевиками и меньшевиками с 1904 года—с начала спора по поводу «земской кампании»—распространились на всю область тактических вопросов, а затем, в 1905 г., привели к расхождению во взглядах на самый характер русской революции и задачи социал-демократии в ней.

С первого момента раскола и до образования двух партий не было ни одного нового вопроса в партийной жизни, по которому не возникло бы ожесточенных споров между большевиками и меньшевиками. К каждому вопросу партийной жизни большевики и меньшевики подходили с двух различных точек зрения. И все-таки, в эпоху первой русской революции, именно потому, что это была революция не полная, не законченная, не дошедшая до драматической развязки—до низвержения старой власти,—ни большевики, ни меньшевики, ни тем менее сторонние наблюдатели их фракционной борьбы с западно-европейского далека, не отдавали себе еще полного,

[1]) Часть I—„Мои украинские впечатления и размышления"—напечатана в январско-февральской книжке „Красной Нови".

ясного отчета в том, как глубоки эти разногласия, как далеко в будущем должны разойтись пути этих двух фракций. Это об'ективно подтверждается тем, что обе фракции, имея все время фактически свои отдельные административные центры, свои отдельные центральные органы, свои отдельные кассы, все же в течение десяти лет не решались сжечь соединяющие их мосты, все ж продолжали десять лет жить под одной партийной крышей, то порывая друг с другом связи, то ища сближения и соглашения, то расходясь, то вновь сходясь на общие партийные с'езды и конференции, решения которых обе фракции считали для себя формально обязательными, хотя каждая из них, конечно, истолковывала их по-своему. Только в 1912 году, уже в обстановке нового, второго революционного под'ема пути обеих фракций расходятся окончательно.

Беспримерная в истории по трудности и сложности задача, которая стояла перед нашей партией в эпоху первой революции, незрелость этой революции и неясность российских революционных перспектив, с одной стороны, порождали и питали разногласия между большевиками и меньшевиками, с другой стороны, не давали им дозреть до полного разрыва. История в то время не ставила еще партию перед окончательным испытанием и потому сплошь и рядом наблюдалась одна и та же картина. Выдвигался какой-либо вопрос. Сейчас же разгорался горячий спор. Затем жизнь вносила поправки к позиции, занятой той или иной фракцией; в результате достигалось как бы минутное единомыслие; но сейчас же выдвигался новый вопрос, а вместе с ним и новые разногласия в том же направлении. Получалось впечатление, что «то сей, то оный на бок гнется», как выразился Плеханов на 2-м с'езде. Так обстояло дело, например, с вопросами—предпочитать ли игру в парламентаризм или непосредственные боевые выступления, предпочитать ли выборы в думу или бойкотировать ее. Когда революционная стихия разыгралась, доктринеры парламентаризма— меньшевики—летом 1905 г. принимали такое же активное участие в вооруженных выступлениях на Кавказе, в Севастополе, в Одессе на «Потемкине», как большевики в Москве в декабрьские дни. И наоборот, бойкотистски настроенные большевики в конце концов принимали такое же активное участие в выборах во 2-ю и 3-ю думу, как меньшевики в 1-ую.

Периодически повторявшаяся ликвидация фракционных споров по частным вопросам в эпоху первой революции питала иллюзии, что большевизм может быть раньше или позже окончательно примирен с меньшевизмом. Еще больше питала эти иллюзии как-будто бы полная солидарность обеих фракций в вопросах, волновавших международную соц.-демократию, ибо на Западе в первое десятилетие XX века не было еще не только условий для полноценной революции, но даже для революции вообще, и споры в Интернационале поэтому велись там еще совсем не в той плоскости, что в России.

Когда в России возникла «искровская» организация, II Интернационал не только оборонялся против *ревизионизма справа*, против критики справа «старой, испытанной, увенчанной победами тактики» (Die alte bewährte, gekrönte Taktik); в то время во Франции велась еще борьба против

жоресизма, министериализма, против «блокистской» политики, а в Германии—против бернштейнианства. В этом споре меньшевики, так же, как и большевики, стояли твердо на стороне Гэда, Каутского, Бебеля, против Жореса, Бернштейна, Фольмара и др. Меньшевик Плеханов был даже одним из главных застрельщиков в этой борьбе. Поэтому меньшевики считали себя с глубоким убеждением такими же ортодоксальными марксистами, как большевики, каким себя считал также Каутский и каким все без исключения тогда признавали его. Только после того, как цикл первой русской революции закончился и под ее непосредственным влиянием, только приблизительно в 1907 году в западно-европейской соц.-демократии началась *критика II-го Интернационала слева,* началась борьба Парвуса, Люксембург, Радека и др. против германского с.-д-ого центра. Это уже были споры в плоскости наших российских разногласий. Это уже было начало борьбы большевизма с меньшевизмом в мировом масштабе. К несчастью для II-го Интернационала эта многообещавшая, плодотворная борьба очень скоро оборвалась с мировой войной, как оборвалось ею новое революционное наступление в России, начавшееся в 1911 году.

Мировая война, поставившая ребром вопрос—склониться перед единым фронтом буржуазии или восстать против него,—великой ценой полного банкротства II-го Интернационала внесла ясность в положение. С этого же момента начинается окончательное испытание—великая историческая проверка для меньшевизма и большевизма. Не случайно, конечно, половина меньшевистской партии, несмотря на наши революционные традиции, очутились в 1914 г. в лагере социал-патриотов, заодно со всем 2-м Интернационалом; не случайно во время февральской революции за оппортунистическую коалиционную политику до последней возможности цеплялись не только откровенные меньшевики—социал-партиоты, но и значительная часть меньшевиков, которые считали себя «циммервальдийцами»; не случайно, наконец, после октябрьского переворота уже все меньшевики, включая определенных интернационалистов, очутились по ту сторону баррикады. С другой стороны, не случайно то, что большевики, устояв против всех оппортунистических соблазнов в эпоху войны и февральской революции и не погасив, таким образом, своего революционного огня, под конец осмелились в крайне тяжелых, в небывало тяжелых условиях взять государственную власть в свои руки и сумели удержать эту власть против целого мира врагов. Теперь, когда история подвела итог большевизму и меньшевизму, рассеивается туман, обволакивавший наши старые фракционные споры. Теперь ясно, что даже первый, на вид маловажный фракционный спор—о членстве партии—имел в себе уже зародыш будущих глубоких принципиальных разногласий. Теперь ясно, что тактика большевиков в эпоху первой революции прямым путем вела к их нынешней победе, что это была предварительная школа, вырабатывавшая в большевиках те качества, без которых они теперь не могли бы победить. Точно так же ясно, что тактика меньшевиков в эпоху первой революции уже всецело предопределила их нынешнее поражение.

Значит ли это, что меньшевизм уже в эпоху первой революции не имел

крупных исторических заслуг, что он уже тогда был с точки зрения интересов пролетариата исторической ненужностью, что он уже тогда был балластом, замедлявшим поступательный ход рабочего движения? Значит ли это, что большевизм уже тогда, в свой отроческий период, шел твердой поступью от победы к победе, не спотыкаясь, не делая крупных ошибок, не воспринимая ничего положительного от своего фракционного противника?

Утвердительный ответ на этот вопрос был бы грубым искажением истории, приблизительно таким же искажением истории, как если бы мы теперь, после явного банкротства 2-го Интернационала, заявили, что он с самого начала был, с точки зрения интересов пролетариата, исторической ненужностью. Ведь надо помнить, что, когда старая «Искра», родоначальница большевизма и меньшевизма, взяла в 1900 году в свои руки бразды правления с.-д-ой партией, наш рабочий класс ходил еще в детских башмачках, что тогда наше рабочее движение еще страдало крайней элементарностью и узостью («экономизмом»); ведь надо помнить, что в то время перед нашим рабочим движением стояла еще двойная задача—усвоить опыт и методы борьбы современного западно-европейского соц.-демократического движения, о чем усиленно заботились меньшевики, и в то же время—преодолеть ограниченность этого опыта, его половинчатость, его недостаточную революционность, о чем прежде всего и преимущественно заботились большевики. Ведь надо, наконец, помнить, что если меньшевики в то время готовы был «развязывать революцию» при непременном условии, чтобы она не вышла за буржуазные пределы, то и большевики себе ставили еще тогда утопическую задачу—непременно добиться диктатуры в революции, «сохраняя ее буржуазный характер». Ввиду всех этих противоречий между меньшевиками и большевиками часто устанавливалось своеобразное разделение труда: инициатива необходимых реформ и новшеств (в стиле германской соц.-демократии) в нашей партийной жизни весьма часто исходила от меньшевиков при недоверии и сопротивлении большевиков, а плоды этих реформ сплошь и рядом пожинали большевики. В виду этого противоречивого положения большевики, еще только нащупавшие верную дорогу, не могли избежать ошибок, односторонностей, перегибаний лука и вместе с тем избежать необходимости выпрямлять лук, исправлять ошибки, менять диспозиции.

Социализм для нас теперь уже не икона, справедливо сказал недавно закаленный в боях Ленин. И история русского коммунизма, прибавлю я, не должна быть для нас текстом из «свящ. писания» или «житием святых». Большевики не были б згрешны. Они могли бы избежать ошибок лишь в одном случае—если бы они были безжизненными доктринерами, если бы они не окунались в гущу жизни, если бы они строили секту, а не партию. Но большевики, к счастию, при всей своей крайней революционной непримиримости, никогда не были сектантами—в этом было отличие между большевизмом и гэдизмом и в этом был секрет их успеха.

Пушкин говорил: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю». В этой шутке больше психологического смысла, чем сам автор, вероятно, в нее вкладывал. И во всяком случае, если

это есть художественное преувеличение в применении к «грамматическим ошибкам», то политических ошибок и прегрешений никакая живая партия не может избежать. В данном случае весьма полезно вспомнить, как Ф. Энгельс отзывался в 1874 г. о попытке бланкистов канонизировать (причислить к лику святых) Парижскую Коммуну:

«Известно,—писал Энгельс,—что весь социалистический пролетариат, от Лиссабона и Нью-Иорка до Пешта и Белграда сейчас же принял на себя огулом (en bloc) ответственность за деяния Парижской Коммуны. Этого для наших бланкистов недостаточно: «что касается нас, то мы претендуем взять на себя нашу долю ответственности за те смертные приговоры, которые (при Коммуне) поразили врагов народа (следует перечисление расстрелянных), мы претендуем взять на себя свою долю ответственности за те поджоги, которые уничтожили орудия монархического или буржуазного угнетения или оградили борцов».— Во время революции неизбежно совершается множество глупостей, точно так же как и во всякое другое время, и когда, наконец, опять настолько приходишь в себя, чтобы быть способным критически мыслить, то непременно приходишь к заключению: мы многое делали, чего лучше бы не делать, и многое упустили, что нужно было бы сделать, и поэтому дело хромало. Какой же недостаток критики обнаруживают те, которые об'являют Коммуну святой и непогрешимой и которые утверждают, что каждому дому, который сожгли, что каждому заложнику, которого расстреляли, именно так и полагалось, что им отмерено было по справедливости с абсолютной точностью, до последней иоты» [1]).

Повторяю: большевики не имеют никакой нужды утверждать, что они родились на свет во всеоружии знания, опыта и ясновидения, подобно богине Минерве, вышедшей во всеоружии из головы Юпитера. Они не имеют никакой нужды отрицать, что они делали ошибки, очень много ошибок, так же как их делали меньшевики. Но и я, как бывший меньшевик, не могу отрицать, что ошибки ошибкам рознь. Ошибки большевиков заключались всегда в том, что они переоценивали силы революции, ошибки меньшевиков—в том, что они их недооценивали. Меньшевики были Гамлетами русской революции, что не мешало им, как не мешало Гамлету, в *порыве увлечения* браться за рапиру и наносить удары. Но в таком случае, скажут, большевики были Дон-Кихотами революции? Нет, это неверно. Рыцарь без страха Дон-Кихот был смешон, потому что он явился на свет, когда представляемый им класс рыцарства умирал, сходил со сцены, и потому он по необходимости воевал с ветряными мельницами. Большевики же выступили вооруженные светочем марксизма, опираясь на класс, которому принадлежит будущее, и выступили на заре целой эпохи революционных бурь и катастроф с неизбежными приливами и отливами. Поэтому они, совершенно чуждые ползучей трезвенности, были тем не менее весьма трезвыми политиками; поэтому они, делая ошибки и

---

[1]) Friedrich Engels. Internationales aus dem Volkstaat. S. 47, 48.

терпя поражения, не обескураживались и, в конце концов, хорошо научились маневрировать—когда нужно своевременно отступить, когда нужно—стремительно итти вперед.

ГЛАВА II.

Большевизм и меньшевизм в международном масштабе.

Один из нынешних видных теоретиков меньшевизма, Д. Далин в своей книге—«После войн и революций», изданной в Берлине в 1922 г., пишет:

«Если б первая германская революция не закончилась так скоро контр-революцией; если б реформы, произведенные ею, оказались глубже, а народное движение сильнее, если б «крайняя левая» пришла к власти и вынесла вверх Маркса, как своего вождя,—он попытался бы осуществить социализм в Германии и *проделал бы весь большевистский опыт с начала до конца* (курсив автора. А. М.), с неизбежным террором, с изгнанием буржуазии, с войной против крестьянства, с экономической катастрофой и с неизбежным затем поражением. Его «программа коммуниста» и его восхищение перед деятелями 93 г. не оставляет на этот счет никаких сомнений. Да, в 40-х годах Маркс был большевиком. Большевизм вовсе не чисто русское явление. Он появляется на сцену всюде в момент революции, как движение наиболее придавленных слоев, соединяющих крайнюю политическую революционность с крайним экономическим утопизмом» [1]).

Дальше автор доказывает, что «экономическим утопизмом» страдал не только Маркс в 40-х годах, что им также все время страдали и Энгельс, и Лассаль, и Бебель, и Каутский (до недавнего времени). Казалось бы, что Далин, пришедший к убеждению, что Маркс в эпоху победоносной революции действовал бы точно так же, как большевики, должен был бы призадуматься: не значит ли это, что в меньшевистском царстве что-то гнило? Но Далин сделал противоположный вывод: значит, что-то гнило в марксовой теории социальной революции, значит, в нее нужно внести существенные поправки.

В мою задачу не входит критика книги Далина. Но на «открытии», которое Далин сделал в вопросе о социальной революции, я должен хотя бы бегло остановиться, потому что это «открытие» бросает свет на самую суть современных разногласий между большевизмом и меньшевизмом в международном масштабе, потому что Далин логически додумал до конца нынешнюю международно-меньшевистскую теорию социальной революции.

Далин так же, как и Каутский, так же как все другие современные русские и западно-европейские меньшевики, хочет социальной революции, но без режима диктатуры, без гражданской войны и связанных с ними экономических потрясений. Отсюда его новая якобы тоже материалистическая и марксистская теория социальной революции. Социальная революция, говорит

---

[1]) Д. Далин, „После войн и революций", Берлин 1922 г., стр. 177—178.

Далин, сможет быть осуществлена с успехом и безболезненно лишь тогда, когда капитализм себя изживет, когда он перестанет играть экономически-прогрессивную роль, когда буржуазия превратится в чисто паразитический класс и когда элементы коллективного производства вполне созреют уже в недрах буржуазного государства, как созрели элементы буржуазного хозяйства в недрах феодального общества накануне буржуазных революций. Какие же нужны условия для этого созревания? По мере того, говорит Далин, как крупная промышленность будет постепенно шаблонизироваться, индивидуализм, конкуренция и личная предпринимательская инициатива будут терять свою прогрессивную роль. По мере этой шаблонизации промышленности одна отрасль ее вслед за другой будут постепенно выкупаться буржуазным государством, будут постепенно национализироваться или муниципализироваться (как теперь уже национализируются железные дороги). И вот, когда большинство предприятий будут таким образом уже находиться в руках буржуазного государства и когда вся почти буржуазия превратится в паразитов, в рантьеров, в держателей государственных процентных бумаг, эту буржуазию без труда можно будет «отпилить», как отпиливают от дерева засохшую ветку. Это и будет социальная революция! Когда же этот радостный день наступит? Очень не скоро, говорит Далин,—«ибо теперь шаблонизировались и созрели для национализации еще очень немного отраслей промышленности—железнодорожный транспорт, добыча угля и руды, производство электрической энергии». Даже в самой капиталистически развитой стране—в Германии, для национализации сейчас созрели, по расчету Далина, лишь 10% предприятий [1]). Когда же вся промышленность в Европе для этого созреет? Лет через 200! (над нами не каплет!):

«Если через двести лет,—пишет Далин,—после нас перед человечеством еще будет стоять вопрос о рациональной, т.-е. наиболее производительной, организации своего хозяйства,—оно отвергнет частную собственность [2]).

Итак, капитализм будет еще прогрессивен лет 200! Наш мудрый экономист, живя в Берлине, в кунсткамере мирового капитализма, слона не заметил. Он не заметил, или забыл, или притворяется, что забыл, что «прогрессивный» капитализм уже с 90-х годов прошлого века вошел в фазу, связанную с возвратом к монопольному хозяйству и крайнему протекционизму, связанному со стремлением к сокращению внутреннего рынка и расширению внешнего, связанному с непрерывным ростом дороговизны и чудовищным ростом вооружений; он скидывает со счетов маленький факт, что «прогрессивный» капитализм роковым образом привел к небывалой в мире военной катастрофе, совершившей колоссальные экономические опустошения. О[н] как будто не замечает, что уже в течение четырех лет после прекращен[ия] мировой войны, мировой капитализм беспомощно и бесплодно бьется на ко[...]

[1]) Ibid., стр. 198, 213, 214, 216, 218, 220.

[2]) Ibid., стр. 201.

ференциях—в Вашингтоне, Генуе, Гааге, Лозанне над неразрешимой задачей—как сохранить «прогрессивный» (согласно Далину)—фактор экономической конкуренции между государствами и в то же время избегнуть второй мировой войны, которая будет неизбежно могилой для капитализма. Наш чуждый утопизма экономист как будто не замечает даже, что в той самой Германии, где он теперь делает «открытия», «прогрессивный» мировой капитализм для своего самосохранения сейчас беспощадно разрушает вконец самую классическую, самую развитую в мире промышленность!

Далин не видит тех груд развалин, которые нагромождал и нагромождает в настоящее время «прогрессивный» капитализм, того моря нищеты и голода, которым он затопил мир: зато он приходит в умиление и прямо в поэтический восторг от тех чудных благ, которые сулят еще человечеству в течение многих и многих поколений—простор для личной предприимчивости, свобода конкуренции и экономический индивидуализм. Послушайте этого соловья:

> «Второй пример: изготовление платья, в частности, дамского платья. Огромная индустрия, в которой заняты сотни тысяч рабочих рук, вероятно не меньше, чем в железнодорожном транспорте. Много ли здесь шаблону, однообразия! Мода вносит такой шаблон, но как он индивидуализируется!.. Конфекционные магазины создают свои образцы, но сколько сотен таких образцов на протяжении каждой страны!.. Может ли государство организовать такого рода хозяйство? Управится ли оно с такими задачами? Нет, вся эта работа государственной машине совершенно не подходит... Социалистическое хозяйство, как и всякое другое, не должно суживать потребности—*хотя бы и не очень разумные* (!)—а должно стремиться удовлетворить их возможно полнее, но одеть дамскую половину человечества куда труднее, чем ее раздеть. Эта задача, которая не по плечу самому мудрому из мудрых правительств» [1]).

Итак, голодайте работницы еще 200 лет, хороните своих погибающих в бойнях во славу капитала мужей, пока модные дамы не столкуются на счет введения небольшого числа однообразных фасонов шляпок!

Таково последнее слово галантного марксиста Далина. Вот до какой пошлости договорился сейчас меньшевизм из своей ненависти к революционной диктатуре, из своей боязни гражданской войны!

Далин пишет: «Да, в 40-х годах Маркс был большевиком». Из этих слов можно заключить, что, по мнению Далина, Маркс после 40-х г.г. перестал быть «большевиком», т.-е. что он после 40-х г.г. в большей или меньшей степени отказался от своих якобинских взглядов на методы доведения революции до конца. Ленин уже показал, что это неправда. В своей чрезвычайно ценной и поучительной книге—«Государство и революция»—Ленин вытащил на свет почти все последовательные высказывания Маркса и Энгельса по этому вопросу в разное время и, проанализировав их, совершенно неоспоримо доказал, что они оба не только не отказались никогда от своих старых

---

[1]) Ibid., 192, 193.

взглядов на революционную диктатуру пролетариата, но, наоборот, с течением времени все больше уточняли и конкретизировали эти взгляды. Ленин совершенно верно излагает, как развивались взгляды Маркса и Энгельса по этому вопросу; в его изложение, однако, вкралась одна ошибка, которая, хотя и не имеет принципиального значения, все же заслуживает того, чтобы ее отметили.

Ленин указывает на следующие этапы развития взглядов Маркса и Энгельса на социальную революцию: 1) В 1847 г. и во время революции 1848 г. они стояли на точке зрения своего «Коммунистического Манифеста», что «первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии», понимая это «завоевание демократии» в том смысле, как ее завоевали якобинцы в 1793 г. 2) После революции 1848—1851 г.г. они пришли к заключению, что все предыдущие революции (включая великую французскую) лишь усовершенствовали и укрепили тот громадный военный и бюрократический аппарат государства, который служит орудием угнетения труда, и что поэтому задача пролетариата в революции заключается не только в том, чтоб завладеть властью, но еще и в том, чтоб сломать, разбить эту старую государственную машину, и построить новую, дабы таким образом выбить оружие из рук контр-революции и подавить ее сопротивление. 3) В 70-х г.г., после восстания Парижской Коммуны, которая именно эту задачу уничтожения старого угнетательного бюрократического аппарата выполнила, они пришли к заключению, что Парижская Коммуна была «открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда». Таким образом Маркс и Энгельс в 70-х г.г. *противопоставляли* Парижскую Коммуну, как специфическую форму диктатуры пролетариата, всем прежним демократическим республикам, как государственным формам, сохранившим и укрепившим аппарат, угнетающий рабочий класс.

До сих пор изложение Ленина совершенно верно передает и освещает эволюцию взглядов Маркса и Энгельса... Но, цитируя более поздний отзыв Энгельса о демократической республике из его критики проекта эрфуртской программы, написанной 29 июня 1891 г. и об'ясняя эту цитату, Ленин делает ошибку. Он толкует ее в том смысле, что «демократическая республика есть ближайший подход к диктатуре пролетариата. Ибо такая республика, нисколько не устраняя господства капитала, а следовательно, угнетения масс..., неизбежно ведет к такому расширению... борьбы, что и т. д.» [1]). Это толкование явно натянутое. Энгельс совершенно ясно и недвусмысленно говорит в цитируемом месте: «Эта последняя (демократическая республика) является даже специфической формой для диктатуры пролетариата» и прибавляет— «как показала уже великая французская революция [2]). Очевидно, что в 1891 г. демократическая республика являлась для Энгельса уже не только «ближайшим подходом к диктатуре пролетариата», но и формой, в которую

[1]) См. Н. Ленин. „Государство и революция“, 1919 г., стр. 91.

[2]) См. Ibid., стр. 90.

выльется сама диктатура, подобно тому, как в великой Французской Революции демократическая республика была не только ближайшим «подходом» к диктатуре якобинцев, но и формой самой якобинской диктатуры. Однако, в том же 1891 г. Энгельс в 3 предисловии к «Гражданской войне во Франции» по-прежнему пишет: «Немецкий филистер недавно опять в ужас пришел от слова диктатура пролетариата. Ну, хорошо, господа, хотите вы знать, как выглядит эта диктатура? Присмотритесь к Парижской Коммуне. Это была диктатура пролетариата» [1]). Сравнивая эти два отзыва Энгельса, относящиеся к одному и тому же 1891 г., нельзя не притти к выводу, что Энгельс в 1891 г. уже ***перестал противопоставлять*** демократическую республику Парижской Коммуне, как принципиально отличную от последней форму государства. Чем же об'яснить эту перемену во взглядах? Ключ к об'яснению нам дает сам Энгельс. В книжке Маркса—«Разоблачения о Кельнском процессе коммунистов», изданной в 1885 г., мы встречаем весьма интересное примечание Энгельса к «Обращению Правления Союза коммунистов» от марта 1850 г. В «Обращении» говорилось: «Как во Франции 1793 года, и в Германии теперь проведение строжайшей централизации является задачей истинно революционной партии». Энгельс по этому поводу пишет в примечании: «Теперь я должен сказать, что это место основано на недоразумении. Тогда (т.-е. в 1850 г. А. М.)—благодаря бонапартистским и либеральным фальсификаторам истории—считалось доказанным, что французская централистическая бюрократическая машина создана была во время Великой Революции и что она именно Конвенту служила в качестве незаменимого и имеющего решающее значение оружия для подавления роялистской и федералистической реакции и для победы над внешним врагом. Но теперь общеизвестный факт, что вся администрация департаментов, округов и общин состояла в течение всей революции до 18 Брюмера из чиновников, которые выбирались самим населением и которые пользовались полной свободой в пределах общих законов; что как раз это провинциальное и местное самоуправление, напоминающее американское, стало сильнейшим рычагом революции, до такой степени, что Наполеон сейчас же после своего государственного переворота 18 Брюмера поторопился заменить его хозяйничаньем полицейских префектов, которые и поныне сохранились, и стало быть с самого начала были специальным орудием реакции. Но точно так же местное и провинциальное самоуправление не противоречит национальной централизации, оно отнюдь не должно быть непременно связано с тем ограниченным кантональным и коммунальным эгоизмом, который производит на нас такое отвратительное впечатление в Швейцарии и т. д. [2]).

Итак, мы видим, почему Энгельс переменил взгляд на демократическую республику. После поражения февральской революции и Маркс, и он думали, что бюрократическая машина угнетения была создана во время Великой Французской революции; поэтому они в 52 г. пришли к заключению,

---

[1]) Der Buergerkrieg in Frankreich, 1891 г., стр. 14.

[2]) См. Enthuellungen ueber den Kommunistenprozess zu Köln von Karl Marx, 1885 г., стр. 82.

что *никакая* демократическая республика не пригодна для диктатуры пролетариата. В 80-х г.г. Энгельс узнал, что они были плохо осведомлены, что Великая Революция не только не создала бюрократическую машину, но, напротив, ее уничтожила, что ее восстановил лишь Наполеон. Поэтому он перестал противопоставлять демократическую республику Парижской Коммуне. Но он перестал противопоставлять Коммуне не всякую демократическую республику, а именно ту, которая существовала во Франции во время Конвента, во время диктатуры якобинцев, и, говоря в 1891 г. в критике Эрфуртской программы, о демократической республике, как о «специфической форме для диктатуры пролетариата», он тут же подчеркивает, что он имеет в виду французскую республику 1793 г., а не современную французскую демократическую республику.

Через год, в 1892 г. Энгельс опять дал понять, что он представлял себе диктатуру пролетариата сходной с диктатурой французских якобинцев. Говоря о том, как будут вести себя германские социалисты в случае нападения на Германию Франции и России, которые только что заключили свой союз, Энгельс пишет в статье «Социализм в Германии», первоначально напечатанной в Almanach du Parti Ouvrier: «Если завоевательные стремления царя и шовинистическое нетерпение французской буржуазии задержат победоносное, но мирное поступательное движение германских социалистов, то последние—положитесь на это—готовы миру доказать, что нынешние германские пролетарии достойные собратья французских санкюлотов и что 1893 г. может стоять рядом с 1793 годом...

Короче говоря: мир обеспечивает победу германской соц.-демократической партии приблизительно через 10 лет, война принесет ей или победу через два—три года или полный крах по меньшей мере на 15—20 лет» [1]).

Итак, мы видим, что Энгельс в 90-х г.г., будучи лучше осведомленным об истории Конвента, чем в 70-х г.г., изменил свое отношение к Республике *того времени*, т.-е. 1793 г. Но своего взгляда на современные демократические республики и на характер пролетарской диктатуры он и в 90-х г.г. по существу ни в чем не изменил по сравнению со своим взглядом в 70-х г.г., и потому он бы в 90-х г.г., наверно, повторил буквально то, что он писал Бебелю в 1875 г.: «Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство, как таковое, перестает существовать» [2]). Поэтому и ошибка Ленина в изложении взглядов Энгельса в 90-х г.г. отнюдь не имеет принципиального значения. Ленин, впрочем, и сам, повидимому, не придавал этому вопросу принципиального значения. Так, споря с Каутским, в той же книге—«Государство и революция», он писал: «Суть дела вовсе не в том, останутся ли «мини-

---

[1]) См „Neue Zeit“ 1891—1892 г. Fr. Engels. Der Socialismus in Deutschland, с. 586. Нужно иметь в виду, что Энгельс говорил здесь о революционной оборонительной войне против России, когда центр социалистического движения был в Германии и когда Россия еще была очагом реакции, а не очагом революции.

[2]) См. Ленин, „Государство и революция“, стр. 83—84.

стерства», будут ли «Комиссии специалистов», или иные какие учреждения, это совершенно не важно. Суть дела в том, сохраняется ли старая государственная машина (связанная тысячью нитей с буржуазией и насквозь пропитанная рутиной и косностью) или она разрушится и заменится новой» [1]. Точно также совершенно правильно и вполне в духе Маркса и Энгельса Ленин писал через год, в 1918 году, в другой книге, направленной против Каутского: «Вопрос об ограничении избирательного права есть национально-особый, а не общий вопрос диктатуры... Было бы ошибкой заранее ручаться, что грядущие пролетарские революции в Европе непременно дадут, все или большинство, ограничение избирательного права для буржуазии. Это может быть так... это, вероятно, будет так, но это необязательно для осуществления диктатуры» [2]. Это тем более необязательно, прибавлю я, что, как мы знаем из опыта Конвента, конституция может *формально* включить всеобщее избирательное право, а диктатура, когда это требуется интересами борьбы с контрреволюцией, может его *фактически* упразднить.

Взгляды Маркса и Энгельса на основные принципы революционной тактики пролетариата и на пролетарский метод осуществления социалистической революции,—взгляды, которые Далин называет большевистскими и которые Ленин называл «разговором по-французски», составляют существенную часть учения Маркса. Они были выкованы основателями научного социализма на основании богатого опыта французских революций 1789—1793 г.г., 1848—51 г.г. и 1871 г., на основании опыта страны, которая справедливо названа была классической страной революций, ибо в ней революции доводились до «логического конца». От этих взглядов и поныне марксисты не имеют ни малейшего повода отказываться, ибо как раз теперь они выдержали двойное испытание: в 1914 г. верность их была подтверждена доказательством от противного, в Октябрьскую революцию—прямым доказательством.

Значит ли это, что сказанное Марксом и Энгельсом по этому вопросу в период 1847—1875 г.г. *исчерпывало* вопрос, что дальнейшая практика рабочего движения ничего существенно нового и ценного не *прибавила* к французским методам пролетарской борьбы? Конечно, не значит.

Как раз тогда, когда закончился восьмидесятилетний цикл французских революций, дополненный переворотами сверху, которые завершили процесс образования национальных государств в центральной Европе, как раз тогда создались благоприятные политические условия для нового, небывалого расцвета капитализма в рамках национально об'единенных государств. С этого именно времени, с момента образования Германской империи, Европа с Германией во главе вступает в новую эру капиталистического накопления, которое в течение 15 лет от средины 80-х до конца 90-х г.г.—прошлого века—не прерывалось никакими потрясениями, ни промышленными кризисами, ни революциями, ни войнами. В течение всей этой мирной «органической» эпохи гегемония в европейском социалистическом движении принадлежала уже не

---

[1]) См. ibid., стр. 144, 145.

[2]) См. Н. Ленин, „Пролетарская революция и ренегат Каутский", стр. 41—42.

Франции, а Германии, и тут, под знаменем марксизма, выковывались новые оружия для освобождения рабочего класса. Что же нового положительного дала эта «немецкая метода», или, употребляя выражение Ленина, этот «разговор по-немецки»? На этот вопрос ответил Энгельс перед смертью, в 1895 г., в своем знаменитом предисловии к книге Маркса: «Борьба классов во Франции» [1]). Суть этого ответа сводится к следующему: Слабость пролетарского революционного движения во Франции до 1871 г. включительно заключалась в том, что французский пролетариат в ту эпоху еще не обособился от мелко-буржуазной массы и шел в бой лишь инстинктивно, стихийно следуя за вождями, не имея ни прочной классовой организации, ни ясного сознания целей движения, ни освещенного теорией научного социализма и парламентской практикой понимания природы буржуазного общества, природы его классов и законов его развития. Вследствие этих пробелов массовый революционный под'ем рабочих сменялся обычно разочарованием и распылением пролетарских сил. В результате пролетариат не умел пользоваться плодами своих героических атак и побед и плоды их пожинали в конечном счете буржуазные партии.

Эти пробелы старых французских методов пролетарской борьбы восполняла (или, вернее, стремилась восполнить, скажем мы теперь. А. М.) соц.-демократия 2-го Интернационала, во главе которого шла германская социал-демократия. В эту эпоху сложились во всех странах независимые профессиональные организации пролетариата, сплачивавшие миллионы рабочих, оборонявшие их от наступления капитала, ограждавшие их от физического вырождения и дававшие им первоначальную классовую выучку. В эту эпоху сложилась всюду широко разветвленная социал-демократическая политическая организация пролетариата, руководившая выборными кампаниями социалистического пролетариата и осуществлявшая его представительство в парламенте, в областном и городском самоуправлении. Эта политическая парламентская деятельность демонстрировала перед массами глубоко различное отношение социал-демократической партии и разных буржуазных партий ко

---

[1]) Автор этого знаменитого предисловия, к сожалению, испортил его рассуждениями о якобы устарелости уличных, баррикадных боев,—рассуждениями, которые подсказывались автору общими условиями, в которых находилась Германия в ту эпоху, и специальными условиями момента—подготовлявшимся в то время в Германии контр-революционным законопроектом (Umsturzvorlage) и неуверенностью автора в том, что немецкие соц.-демократы в этот момент сумеют ответить на государственный „переворот сверху", на coup d'Etat,—„по-французски". Это видно из того, что Энгельс писал Каутскому как раз перед тем, как он написал свое „Предисловие": „Я как раз читаю книгу Гардинера „Personal governement of Charles I" („Личный режим Карла I"). Дела часто до смешного совпадали с тем, что происходит в современной Германии... Если б Германия была романской страной, революционный конфликт был бы неизбежен, но у нас—темна вода во облацех („nix gewisses—weiss man nicht"), как говорит Жолимайер". Энгельс, впрочем, с возмущением протестовал против того, что это место его предисловия было истолковано в смысле его отказа от революционных методов борьбы, см. K. Kautski, „Der Weg zur Macht", 1920 г., S. 54, 55, 56.

всем текущим вопросам политической жизни, содействуя таким образом росту классового самосознания в широких рабочих массах и их ознакомлению с социальной природой современного общества и его классов и с хитрой механикой буржуазного государства. Этой же цели служила богатая социал-демократическая печать, освещавшая текущие события с марксистской точки зрения. Все это вместе взятое создавало тот великий культурный и духовный под'ем рабочих масс, который всем нам представлялся, как и Энгельсу в 1895 г., под'емом чисто пролетарской политической культуры, — под'емом той самой умственной культуры, которой не хватало французским рабочим предыдущей эпохи и без которой, как теперь всем ясно, пролетариат никогда не может возвыситься до роли господствующего класса.

Таков был тот богатый вклад, который «немецкая метода» стремилась внести и, как нам казалось, действительно внесла в социалистическое движение.

Противоречила ли эта метода *по своим заданиям*, по мысли старых практических вождей германской социал-демократии—Вильгельма Либкнехта, Бебеля и др., прежней «французской методе»?

Отнюдь нет! Она, напротив того, должна была впервые подвести прочный фундамент под «французскую» тактику. Практические и теоретические вожди германской социал-демократии, правда, не рекомендовали непосредственных революционных методов действия, потому что ситуация была в Германии еще не революционная, но они были убеждены, что мирным победам социал-демократов в недалеком будущем будет поставлен предел и что это приведет к социальной революции, которая представлялась им не мирным преобразованием общества, а социальной катастрофой (Der grosse Kladaradatch).

Так истолковывалась «немецкая метода» ее творцами, но не таковы, к сожалению, были в действительности ее плоды.

Об'ективные исторические условия, помимо сознания старых вождей социал-демократии, как будто подменили душу в том детище, которое эти вожди в течение многих и многих лет с великой любовью и с великим терпением вскармливали и воспитывали. «Die Stute ist schön, aber sie ist todt» («Эта кобыла прекрасна, но она мертва!»)—выразился весьма удачно революционный марксист Франц Меринг по поводу красивых писаний оппортунистического редактора Vorwärts'а («Вперед»), Курта Эйснера. Такой же «прекрасной, но мертвой кобылой, оказалась германская соц.-демократия (и весь руководимый ею 2-й Интернационал). Ее многочисленные победы, вместо того, чтобы стать рычагами для низвержения буржуазного государства, превратились в цепи, которые приковывали ее к этому государству; то, что казалось великим под'емом пролетарской духовной культуры, оказалось на поверку на добрую половину расцветом мещанской культуры в пролетарской среде.

Две об'ективные исторические причины содействовали извращению и вырождению «немецкой методы». С момента об'единения Германии в ней создались настолько благоприятные условия для пышного экономического расцвета, что от германской буржуазии и мелкой буржуазии сразу отлетел дух оппо-

зиции; они вступили в союз с юнкерством и с монархией и образовали более или менее «сплошную реакционную массу». Это обстоятельство, равно как и чудовищный рост германского милитаризма, превратило германскую империю в буржуазно-помещичью крепость, казавшуюся совершенно неприступной для пролетарских революционных атак. Это была первая причина возникновения немецкого оппортунизма. Вторая заключалась в том, что германский пролетариат, пользуясь в этой устойчивой и железом окованной германской империи всеобщим избирательным правом и частичными свободами (после падения закона против социалистов), сумел в ее пределах развить огромную организационную и просветительную работу, сумел непрерывно расширять свои профессиональные и политические организации и группировать вокруг своего социал-демократического знамени все большее и большее число избирателей. В результате взаимодействия этих двух причин, у германской социал-демократии выработался принцип—«Только не давать себя провоцировать!» («Nur sich nicht provozieren lassen!»), иными словами,—только не выходить из рамок легальности! В результате взаимодействия этих двух причин у германской социал-демократии начала складываться иллюзия, что ей удастся *прокрасться* в царство социализма без великих потрясений (только бы как-нибудь уничтожить трехклассную систему выборов в прусский ландтаг, в этот очаг реакции!). Мало того, в тайниках ее души стал укрепляться германский патриотизм и национализм—любовь к тому самому полицейскому государству, к той самой вольной тюрьме, которая дала ей возможность «нагулять себе красные щеки», одержать столько блестящих парламентских побед, создать величайшие в мире пролетарские организации с богатейшими кассами и с многочисленными органами печати. В тесной связи с этим рос у социал-демократии государственный фетишизм: подобно тому, как у французских социалистов демократическая республика превращалась в эпоху 2-го Интернационала в фетиш, в самоцель, в какую-то абсолютную и надклассовую государственную форму, у германских (и австрийских) социал-демократов в такой же фетиш, в такое же абсолютное благо превращалось всеобщее избирательное право. Все это означало превращение революционного марксизма в вульгарный, сантиментальный, социал-патриотический демократизм.

Маркс и Энгельс не дожили до того момента, до конца 90-х г.г., когда эта тенденция выявилась наружу в открытом разрыве известной части французских и немецких социалистов с принципами классовой борьбы; они не дожили до мильеранизма и бернштейнианства, проповедывавших открытое сотрудничество классов. Но этот открытый бунт против революционного социализма скоро был подавлен, когда в первые же годы XX века вопреки пророчествам Бернштейна о якобы наступившем вечном благополучии и вечном мире разразился промышленный кризис и началась новая эра войн—англо-бурская, китайская, испано-американская, русско-японская. Но гораздо опаснее, чем открытый и откровенный ревизионизм Мильеранов, Фольмаров, Шиппелей, Вольфгангов Гейне, Бернштейнов и др., было то разжижение марксизма розовой водичкой, то незаметное выветривание революционного духа мар-

ксизма, которое совершалось в умах и сердцах ответственных вождей и теоретиков 2-го Интернационала и германской социал-демократии, формально продолжавших соблюдать все марксистские «обряды» и об'являвших себя правоверными марксистами и охранителями—«старой, испытанной и победами увенчанной тактики». Маркс и Энгельс, повторяю, не дожили до явного упадка революционного духа 2-го Интернационала. Тем не менее от их острого взора не ускользнул начавшийся процесс оскопления их революционного учения. Следя с гордостью за блестящими успехами боровшейся под их знаменем германской социал-демократии, они в то же время замечали, что в ней проявляются некоторые весьма опасные уклоны. Это побудило Маркса в 1875 году чрезвычайно резко выступить против проекта Готской программы партии, а Энгельса в 1891 г. так же резко выступить против проекта Эрфуртской программы. Но эти сердитые предостережения «стариков» не дошли до масс, их скрывали и замалчивали вожди германской социал-демократии. Письмо Маркса к Бракке по поводу Готской программы, написанное в 1875 г., было опубликовано только в 1891 г., письмо Энгельса к Каутскому по поводу Эрфуртской программы, написанное в 1891 г., было опубликовано в 1901 г.; а письмо Энгельса к Бебелю по поводу Готской программы, написанное в 1875 г., было напечатано только в 1911 г., т.-е. через 36 лет!

Но шила в мешке не утаишь! Когда разразилась мировая война, обнаружилось, что германская соц.-демократия страдала гораздо более тяжкой болезнью, чем это могли подозревать самые решительные ее критики. Обнаружилось, что этот гегемон 2 Интернационала гораздо теснее и интимнее связан со своим буржуазным государством, со своим буржуазным «фатерляндом», чем с этим пролетарским Интернационалом. Мало того, эта партия, которая так научно и так красноречиво доказывала в течение ряда лет, что мы идем навстречу не национальной, а империалистической войне, когда эта война разразилась, не постыдилась заявить устами своей парламентской фракции, что Германия (под началом кайзера!) ведет священную оборонительную войну против русской реакции, как будто она не знала, как мила сердцу русская реакция ее «кайзеру», как будто она не знала, как этот «кайзер» поддерживал русскую реакцию против русской революции в 1905 году!

В день об'явления мировой войны закончилась вторая глава современного социалистического движения. Первую главу писала Франция, вторую—Германия, третью пишет Россия. Россия, впрочем, начала писать ее задолго до официальных похорон 2-го Интернационала—еще в 1905 году. Но тогда, в эпоху первой русской революции, примеру России последовали только народы востока—Турции, Персии, Китая, у которых революции имели, конечно, не социалистический, а национально-освободительный характер. На Западе первая русская революция отразилась еще сравнительно слабо—ее отражением были там: завоевание всеобщего избирательного права в Австрии, революционное движение в Венгрии, приятие германской социал-демократией всеобщей забастовки (в принципе!), уличные демонстрации в Берлине и т. д. Но, испытывая некоторый под'ем революционной бодрости под впечатлением

русской революции, 2-й Интернационал продолжал итти по проторенному пути под руководством германской соц.-демократии, и свое падение в 1914 г. он тоже совершил по ее примеру. Только по окончании мировой войны и после октябрьского переворота Россия стала фактически центром международного революционно-социалистического движения, возрождающегося или зарождающегося под знаменем III Интернационала и под гегемонией Москвы.

Какое же новое слово сказал III Интернационал? Он сочетал «немецкую методу» со старой «французской методой», *подчинив первую второй*. III Интернационал—это большевизм в международном масштабе, и тактика III Интернационала логически и последовательно вытекает из того положения, которое вождь большевиков—Ленин—высказал еще в 1904 г. в брошюре—«Шаг вперед, два шага назад»: «Якобинец, неразрывно связанный с *организацией* пролетариата, *сознавшего* свои классовые интересы, это и есть *революционный* соц.-демократ» (курсив автора) [1]. Расшифровать эту формулу теперь не трудно: *Организацией* пролетарских масс и пропитанием их *классовым сознанием* путем агитации и пропаганды и путем постоянного противопоставления задач пролетарской партии задачам буржуазных партий в повседневной, будничной политической жизни, в области парламентской и всякой другой партийной деятельности занималась германская соц.-демократия; это была «немецкая метода». Якобинизм же, т.-е. стремление партии монополизировать в своих руках руководство всенародным революционным движением, вести борьбу за власть путем насильственной ломки государственного строя и диктаторски подавлять всякое сопротивление при достижении власти—это была старая «французская метода». Подчинение первой методы второй, т.-е. ведение «по-немецки» организованного и политически просвещенного пролетариата «по французскому» революционному пути—это и было в общем то, что рекомендовал Ленин в 1904 году—и это есть та большевистская «русская метода», которую сейчас на практике с успехом применяет III Интернационал.

Однако, как я уже говорил, еще не обстреленный в боях большевизм, наметивший в лице Ленина с самого начала этот верный путь, в эпоху первой революции несся по этому пути еще со стремительностью молодого савраса без узды, спотыкаясь и отступая, моментами пытаясь не только подчинить немецкую методу французской, но и совсем упразднить «немецкую методу», как якобы пригодную *только* в упадочное время. И бесспорно: в упадочное время приходится говорить с «немецким» акцентом: во время революционного под'ема есть *возможность* говорить с несравненно более резким «французским» акцентом. Но разве еще до поражения нашей первой революции выборы и участие в беспартийном Совете Рабочих Депутатов (по старо-немецки), а потом выборы и участие в Гос. Думе (по ново-немецки)—разве эта тактика, которая в обоих случаях *вначале* встречена была большевиками недоверчиво, не сыграла крупную революционную роль? Разве она не стала в их же руках сильным революционным оружием? И наоборот, когда революция

[1] См. Вл. Ильин (Н. Ленин). „За двенадцать лет“, стр. 367.

1905 года потерпела уже явное поражение, когда наступило упадочное время «столыпинщины» и когда Ленин возвестил: «мы говорили по-французски, теперь мы должны научиться говорить по-немецки», разве в это контр-революционное время большевики не сохранили с огромной пользой для дела весь свой «по-французски» построенный нелегальный централизованный партийный аппарат рядом с легальным аппаратом?

Вот эти скачки, эта невыравненность линии еще молодого проходившего свою первую революционную школу большевизма, давала в то время, в эпоху первой революции, историческое оправдание существовавшего на-ряду с ним *осмотрительного и осторожного меньшевизма, который был ничем иным, как попыткой применения и приноровления к русским условиям «немецкой методы» (т.-е. методы II Интернационала) со всеми ее положительными и отрицательными сторонами.* Я не буду здесь разбирать вопроса, как и почему могло у нас в социал-демократии возникнуть и на долгие годы укрепиться меньшевистское течение, которое специализировалось на применении «немецкого» легального или полулегального парламентского шаблона к русской бурно-революционной обстановке; я, с другой стороны, не буду здесь разбирать вопроса, почему большевикам, взявшим с самого начала в общем правильную линию, нужны были годы, чтобы выравнять ее, чтобы научиться синтезировать правильно «французскую методу» с «немецкой». Об этом речь будет в следующей главе. Здесь же я хочу только твердо установить факт, что меньшевизм был «немецкой методой», перенесенной на русскую почву.

Истинным основоположником русского меньшевизма был П. Б. Аксельрод, а не Мартов, как принято считать в широких социалистических и коммунистических кругах. Мартов руководил политикой дня меньшевистской фракции, он был творцом ее расплывчатой организации, он был ее лучшим публицистом и фракционным «бойцом». Но он, в отличие, например, от Ф. Дана, никогда не отличался последовательностью и твердостью в проведении меньшевистской политической линии (отчего, впрочем, его политическая деятельность чаще всего только выигрывала). П. Аксельрод же, хотя и редко выступал, но зато каждый раз говорил какое-нибудь «новое слово» в меньшевистском духе и на каждом этапе движения именно он намечал общую линию поведения меньшевиков [1]). Не даром поэтому патриот меньшевизма А. Н. Потресов писал про него в 1914 году: «В этой области (тактики. А. М.) Аксельрод подлинно творческий ум, в этой области он не знает себе равного в русской социал-демократии [2]).

Какова же была (и осталась) политическая физиономия П. Б. Аксельрода? Уже характерно, под какими впечатлениями и влияниями складывалось его мировоззрение в ранней юности, в гимназические годы. В то время, рас-

[1]) Из этого отнюдь не следует, что меньшевики всегда действовали „по-аксельродовски“: меньшевистская фракция всегда была менее оформленная и всегда давала больше простора разным индивидуальным отклонениям, чем большевистская.

[2]) См. А. Н. Потресов, „П. Б. Аксельрод (45 лет общественной деятельности)“, 1914.

сказывает П. Б. Аксельрод, «идеи, понятия... и стремления развивались и формировались в моей голове под влиянием Белинского, Тургенева, Берне, *отчасти* Добролюбова, *но не Чернышевского* (курсив мой. А. М.), с сочинениями которого я познакомился уже после того, как начал революционную пропаганду, *а также не Писарева* (курсив мой. А. М.), которого я только впоследствии начал ценить» [1]. Итак, первые произведения, наложившие свой отпечаток на юношескую восприимчивую душу П. Б. Аксельрода, имели характер либерально-демократический, гуманитарный и идеалистический (Белинский, Тургенев), а отнюдь не революционно-материалистический (Чернышевский) и не «нигилистический» (Писарев)! Далее он рассказывает нам, что первое, что обратило его в социалистическую веру, когда он был еще студентом первого курса, были речи Лассаля (опять-таки наполовину идеалист!), поразившие его ум «грандиозной перспективой освобождения всего человечества от бедности, рабства и невежества и великого освободительного движения рабочего класса» [2]. Наконец первое, что глубоко заронило в его душу симпатии к социал-демократии, когда он еще был бунтарем-анархистом, были собрания берлинских рабочих, которые он посещал в 1874 году [3]. С этого времени он не перестает интересоваться германским социал-демократическим движением. Ему он посвящает в 1876 году в «Работнике» свою *первую* пробу пера, о нем он пишет в 1878 году в «Общине», а в 1885 году в петербургской газете «Рабочий»; ему же, наконец, он посвящает в 1890—92 г. серию статей в «Социал-Демократе» под заглавием «Политическая роль социал-демократии и последние выборы в германский рейхстаг», при чем последние статьи обнаруживают такое проникновение в смысл и значение германского соц.-дем. движения, что германские товарищи находят нужным перевести их на немецкий язык и поместить в «Neue Zeit»—в научный орган германской социал-демократии.

Ставши таким образом типичным немецким социал-демократом с большой примесью гуманитарного идеализма, П. Б. Аксельрод начинает применять «немецкую методу» к русскому революционному движению. Уже в 1887 году в гектографированной брошюре «Ответ» П. Б. Аксельрод, отмечая «огромное воспитательное значение», которое «имел для германского пролетариата сравнительно короткий период пользования общим избирательным правом и далеко не полной политической свободой», намечает, с этой точки зрения, цель для русских социалистов: «завоевание возможно более демократической конституции». Но для достижения этой цели, говорит он, нужно отказаться от народовольческого предрассудка, будто роль революционных партий сводится к «физическому акту низвержения»: «У нас упускают из виду, что окончательный удар враждебному режиму наносит чаще всего сила или события вне власти действующей партии... От кого бы и откуда бы непосредственно ни исходил последний удар врагу, историческая роль революционно

---

[1] См. ibid., стр. 9.
[2] См. ibid., стр. 11.
[3] См. ibid., стр 14.

партии будет достойно выполнена, если она в процессе борьбы против него подготовит общественное самосознание настолько, что удобная минута не будет упущена в интересах создания таких учреждений, которые бы сделали невозможным возврат к старому режиму» [1]).

Эти чрезвычайно характерные цитаты не требуют комментариев. Здесь с классической ясностью противопоставляется «немецкая метода» «методе французской»; здесь ни слова нет об условиях и методах непосредственной подготовки «последнего удара», ибо он якобы совершенно вне власти партии, задачей которой является *только* развитие «самосознания» для *использования* об'ективно создавшейся революционной ситуации!

Несравненно более исторически-конкретно развивается П. Б. Аксельродом в применении к русским условиям «немецкая метода» в двух замечательных его статьях, написанных в 1897—1898 годах и напечатанных в 1899 г. в «Работнике»—«К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов» и «Историческое положение и взаимоотношение либеральной и социалистической демократии в России», из которых вторая, что опять-таки весьма характерно, первоначально написана была им на немецком языке и предназначалась для немецких читателей. Во второй статье впервые в нашей литературе подробно обосновывается идея, что русская социал-демократия сможет и должна будет взять на себя роль гегемона в русском освободительном движении. В этой статье автор указывает, что положение России принципиально отличается от положения Германии. Там социал-демократия изолирована и имеет дело с почти «сплошной реакционной массой буржуазии»; у нас же она может рассчитывать на многочисленных союзников в борьбе с царским самодержавием. Соответственно с этим главная задача русской социал-демократии в отличие от германской заключается в том, чтобы, ставши центром национального освободительного движения, привлечь на свою сторону союзников из либеральных и демократических слоев буржуазии. Подчеркнувши таким образом (в общем правильно *для того времени,* для 90-х годов) различие между задачей русской и германской социал-демократии, П. Аксельрод все же рекомендует в указанных двух статьях для осуществления русских задач исключительно «немецкую методу» действия. В первой статье он, предостерегая товарищей от одностороннего увлечения экономическими стачками,—«этим новым видом бунтарства», рекомендует им использовать для политического развития пролетариата и для революционизирования страны «зачатки конституционализма» и парламентаризма, имеющиеся в России:

«Наши земские собрания и городские думы, их прения и ходатайства перед правительством, наши разнообразные с'езды и общественные собрания, наша либеральная печать и другие легальные органы общественной самодеятельности представляют собой лишь частички конституционной жизни, разведенные бочками воды... Однако, как они ни слабы,

[1]) См. ibid., стр. 27—28.

и эти зародыши... могут послужить опорными точками и двигателями для пробуждения и воспитания русского пролетариата... Несмотря на свою телесную слабость, они заключают в себе огромную революционную силу, находящуюся теперь еще в скрытом... состоянии, но легко могущую превратиться в живую, действующую под влиянием энергичной работы социал-демократов среди рабочих. Можно даже сказать (с известными оговорками), что *зачаточные* элементы конституционной жизни в современной России непосредственно заключают в себе больше революционного духа, чем развитые конституционные формы на Западе» [1]).

Это, как читатель видит, настоящее преклонение перед чудодейственной силой парламентарной тактики. Во второй статье, предостерегающей товарищей от того же увлечения «стачкизмом», П. Б. Аксельрод писал: «Две крайности» могут угрожать нашему рабочему движению: «Во-первых, если бы это движение не вышло из колеи частных столкновений рабочих с отдельными предпринимателями,—это лишило бы его всякого политического интереса... но, быть может, еще хуже была бы другая крайность. Я имею в виду тот случай, если бы наше рабочее движение, увлеченное бакунистским и бланкистскими течениями, поставило бы своей *непосредственной* практической целью анархическую или коммунистическую революцию. На практике оно выразилось бы тогда в беспорядках, легкомысленно вызываемых стачках, сопровождающихся насилиями, и силы пролетариата были бы таким образом растрачены понапрасну... что касается первой крайности, то от нее мы застрахованы нашим царским режимом. А предохранить наше рабочее движение от влияния бакунистов и бланкистов есть прямая обязанность господствующих в нем социал-демократических элементов» [2]).

В приведенных мною цитатах из статей П. Аксельрода конца 90-х годов мы имеем уже развернутую платформу всего будущего меньшевизма и пророческое предсказание всех будущих споров между меньшевиками и большевиками.

Предыдущее изложение, я думаю, ясно показало, что свое идейное начало меньшевизм взял в столице II Интернационала—в Берлине, равно как там же, на берегах Шпре, он нашел свой конец, свою могилу. Борьба между большевизмом и меньшевизмом в пределах России в эпоху первой русской революции была таким образом прелюдией к будущей борьбе между III-м и II-м Интернационалами или, иначе говоря, к борьбе между Горой и Жирондой во всем социалистическом мире, которую первый предсказал Г. В. Плеханов еще в феврале 1901 года:

«И может быть революционная борьба XX века приведет к тому, что можно будет mutatis mutandis назвать разрывом социал-демократической Горы с социал-демократической Жирондой» [3]).

[1]) „Работник" № 5—6, стр. 22.

[2]) См. стр. 61.

[3]) См. „Искра" № 2: „На пороге революции".

Когда Г. В. Плеханов это писал, он, увы, не подозревал, что, когда этот разрыв произойдет, он сам очутится в лагере жирондистов!

ГЛАВА III.

Российские корни нашего долголетнего партийного раскола.

В настоящее время их нетрудно раскрыть: русская социал-демократия ставила себе противоречивую задачу—осуществить гегемонию пролетариата в буржуазной революции. Выяснить же себе неразрешимость этой задачи наша соц.-демократия долгие годы не была в состоянии, ибо революция 1905 г. не могла быть доведена до логического конца при тогдашних международных условиях. Русская революция 1905 г. не могла победить, ибо ее победа неизбежно должна была вынести к власти пролетариат и вызвать небывалое в истории вторжение в право частной собственности уже хотя бы одним решением аграрного вопроса—два обстоятельства, достаточные для того, чтобы потрясти до основания весь капиталистический мир, связанный тысячью финансовых, экономических и идейных нитей с Россией. Но капиталистический мир, до того, как империалистическая война нанесла ему неизлечимые раны, имел еще достаточно жизненных сил, чтобы финансовым, а при нужде и военным способом подавить локализированную, не поддержанную западно-европейским пролетариатом русскую революцию, раньше чем она примет угрожающие размеры. Французские миллиарды, как известно, это и сделали, а ерманские штыки, как тоже известно, стояли наготове у польской границы, тоб сказать свое слово, если это понадобится. Но это не понадобилось, ибо ранцузский заем, выпрошенный Витте—Коковцевым, и «рыцарское обещание» Вильгельма были на первый раз достаточны, чтоб вдохнуть силу и бодость в поставленное на колени царское правительство. Революция 1905 г. е дошла и не могла дойти до логического конца. При таких условиях ни дна из наших двух фракций, подходивших каждая с своей точки зрения к ешению неразрешимой задачи, не могла найти в опыте русской революции остаточно убедительного для всего русского пролетариата в целом аргуента в пользу своей правоты, и спор затягивался на долгие годы.

Когда и как стала обнаруживаться противоречивость задачи, которую ебе поставила наша партия? Когда «Группа Освобождение Труда» в среине 80-х годов прошлого века положила основание русской соц.-демократии, леханов твердо заявил: *Русская революция будет буржуазная*. «Связывать одно два таких существенно различных дела, как низвержение абсолюизма и социалистическая революция...—значит отдалять наступление и того, другого». И надо сказать, что в то время, 40 лет тому назад, Плеханов поавил вопрос совершенно правильно—ведь тогда русский капитализм был це очень слабо развит, ведь тогда еще нужно было доказывать народникам, о в России неизбежно развитие капитализма, и что *поэтому* центр тяжести волюционной пропаганды должен быть перенесен в рабочую среду, ведь гда признание буржуазного характера русской революции было еще необ-

ходимой предпосылкой и единственным аргументом в пользу основания соц.-демократической партии.

Через несколько лет, в начале 90-х годов, Плеханов и Аксельрод, убедившись после неудачной попытки коалиции с народовольцами на почве борьбы с голодом в том, что народовольчество погибло безвозвратно, поняли, что наша революция еще не скоро наступит. Когда они, в связи с этим и в связи с первыми симптомами пробуждения русского пролетариата, пришли к убеждению, что в долгий предреволюционный период русский пролетариат сможет доразвиться до роли *гегемона в будущей революции*,—это *тогда*, в 90-х годах, еще нисколько не противоречило другому их убеждению,—что русская революция будет буржуазная. «Гегемония пролетариата» в русской революции и «буржуазный характер» этой революции—эти две идеи в 90-х г.г. отлично еще могли уживаться друг с другом в голове Плеханова и Аксельрода, потому что им, как и всем без исключения русским соц.-демократам, в то время размах будущей русской революции представлялся еще очень скромным. Никто тогда еще не помышлял даже о русской республике. Требование республики, насколько мне известно, впервые предложила ввести в нашу программу группа «Борьба» в 1901 г. П. Б. Аксельрод, в конце 90-х г.г., как я уже упоминал выше, говорил только о завоевании «возможно более демократической конституции». Ленин в брошюре—«Задачи русских социалистов», написанной в 1897 г., говорил в том же духе: «Практическая деятельность социал-демократов ставит себе, как известно, задачей руководить классовой борьбой пролетариата... в ее обоих проявлениях: социалистическом... и демократическом (борьба против абсолютизма, стремящаяся к *завоеванию в России политической свободы и демократизации политического и общественного строя России*» [1]) (курсив мой. А. М.). Та же скромная «демократическая конституция» или «демократизация» России была написана на платформе польской партии «Пролетариат» и польской соц.-демократической партии, руководимой Розой Люксембург. Только правое, националистическое крыло польских социалистов—партия P. P. S.—говорила тогда о республике, но о республике не русской, а польской, которая будет завоевана путем польского мятежа против русского засилья. Такая скромная программа революции предполагала, что она при ближайшем под'еме подымется только на первую ступеньку, что царское правительство под революционными ударами, характер которых никто еще не решался предугадывать [2]), октроирует, т.-е. даст демократическую конституцию. При таких условиях гегемония соц.-демократии в революционном движении не могла еще привести к господству пролетариата, не могла еще представить серьезной угрозы для буржуазии и не могла еще нарушить буржуазного характера революции. Ввиду этого не удивительно.

---

[1]) См. Влад. Ильин (Н. Ленин), „За 12 лет“, стр. 141.

[2]) Ленин в той же статье 1897 года писал: „Рассуждать же наперед о том, к какому средству прибегнет эта организация для нанесения решительного удара абсолютизму, предпочтет ли она, наприм., восстание или массовую политическую стачку или другой прием атаки—рассуждать об этом наперед и решать этот вопрос в настоящее время было бы пустым доктринерством“ (см. ibid., стр. 151).

что П. Б. Аксельрод в цитированной выше статье, которая была написана в 1898 году и в которой впервые рисуется картина, как наша социал-демократия сможет завоевать себе гегемонию в русском освободительном движении, говорит только о том, как она сможет привлечь на свою сторону союзников из буржуазного лагеря и совершенно не заикается о конфликтах, которые могут возникнуть в процессе революции между социал-демократией и буржуазными либералами. Это, правда, можно было бы об'яснить оппортунизмом П. Аксельрода, его излишней склонностью к коалициям с буржуазией. Отчасти это об'яснение верное. Мартов, например, в своих воспоминаниях рассказывает, что, познакомившись с этой статьей П. Б. Аксельрод в ссылке, он неприятно был поражен советом Аксельрода приурочивать тактику нашей партии к использованию борьбы цензовых органов самоуправления с бюрократией и отодвигать на задний план непосредственную стачечную борьбу рабочих с эксплоататорами. Но весьма характерно, что когда Мартов поделился по этому поводу своими впечатлениями с Лениным в письме, заявив, что он намерен отвечать Аксельроду в защиту партии, Ленин посоветовал ему не выступать в печати против Аксельрода, а списаться с ним и с Плехановым [1]). Ленин, в то время лучше связанный с Россией и лучше осведомленный, чем Мартов, о том, что там делается, очевидно понимал, что, при отсталости нашего соц.-демократического движения и при развивавшемся в нем в конце 90-х годов, «экономизме», статья Аксельрода (он сам впрочем тогда еще ее не читал), который как никак все же рисует перед нашей социал-демократией более широкие политические перспективы, делает шаг вперед, а не назад.

Ситуация круто изменилась в начале 900-х годов, когда во всей Европе разразился промышленный кризис, выведший европейский капитализм из долголетнего равновесия и сразу создавший в России революционную обстановку. Тут почти сразу обнаружилось, как беспочвенна была идиллия, которая мерещилась еще недавно Аксельроду, когда он писал свою статью—«Историческое положение и взаимоотношения либеральной и социалистической демократии в России». Статья эта была глубоко продумана; в ней дан был тончайший анализ всей современной *внутренней* социально-политической жизни России. Но в ней был один «маленький» недостаток. П. Б. Аксельрод рассматривал Россию, отвлекаясь от ее современной международной обстановки. Он не учитывал той тесной интимной связи, которая существовала между экономическими интересами и идеологией русской буржуазии и буржуазии зап.-европейской, насквозь проникнутой ненавистью и страхом по отношению к поднимающему голову пролетариату. И что же оказалось? Еще не успели засохнуть чернила автора, написавшего свою статью о способах привлечения к себе буржуазных союзников, как из легального марксизма стал вылупляться новый русский буржуазный либерализм, который первой своей задачей ставил—сломить идейное оружие пролетариата—революционный марксизм; а когда в 1901 году разразился промышленный кризис и занялась заря революции, сразу зашевелилась мелко-буржуазная радикальная

[1]) См. Ю. Мартов, „Записки соц-демократа", книга 1-я, 1922 г., стр. 399—402.

интеллигенция и она под флагом эс-эров поставила себе ту же задачу. Таким образом стала накопляться масса конфликтного материала между соц.-демократией и пытавшейся у нее отбить все завоеванные ею позиции либеральной и мелко-буржуазной демократии. Таким образом начало выявляться, как трудно примирить задачу осуществления гегемонии пролетариата с задачей соблюдения буржуазного характера революции. Это и привело вскоре к расколу нашей партии на две фракции, из которых одна исходила во всей своей тактике из идеи гегемонии пролетариата, а другая—из того, что мы должны всячески остерегаться перешагнуть через границу буржуазной революции.

Я в партии был первый, который забил тревогу против нарождавшегося в русской социал-демократии якобинизма, высказав это в весьма туманной и беспомощной форме в 1901 году, когда я еще сидел в редакции «Рабочего Дела», а дух большевизма, точнее дух Ленина, уже царил в редакции «Искры» (старой), а затем в очень ясной и отчетливой форме в брошюре «Две диктатуры», в 1904 году, когда партия уже успела расколоться на две фракции и когда я (при посредничестве Л. Троцкого) вступил фактически в новую, меньшевистскую редакцию «Искры». Ввиду того, что мне первому довелось дать в «Двух диктатурах» точную и правильную формулировку (и весьма неправильное истолкование!!) основного разногласия между большевиками и меньшевиками, формулировку, которая в дальнейшем нашла себе полное подтверждение в жизни,—я считаю не бесполезным рассказать здесь, как я до этого дошел. Но для этого я должен сначала рассеять одну легенду на мой счет (лучше поздно, чем никогда!), которая утвердилась среди «искровцев» с прочностью предрассудка.

С того момента, как я в «Рабочем Деле» выступил с первой своей статьей против старой «Искры», я был зачислен в число «экономистов». Это была очень неправильная квалификация, очень неправильное определение.

Я, благодаря недавнему возвращению из долголетней ссылки (я двенадцать лет провел в тюрьме и ссылке), имел в 1901 году еще много пробелов в марксистском образовании. Но, как бывший народоволец, воспитанный в старых революционных традициях и начавший свою эволюцию к марксизму еще в 1885 г., я, по возвращении из ссылки в 1899 г., сразу же выступил в социал-демократии против «экономизма» и против «оппортунизма». Сразу же по возвращении в Россию, я в Чернигове перевел (вместе с И. Биском) и распространил в *гектографированном виде известное письмо Каутского против* Бернштейна. Там же, в Чернигове, я написал большую статью против оппортунистической теории кризисов Струве и Булгакова (статья, к сожалению, не была напечатана; она затерялась у Туган-Барановского, и я ее не восстановил благодаря моему аресту) [1]. Затем, в 1900 году, в Екатеринославе, я

---

[1]) Я говорю, что моя статья „к сожалению" не появилась в печати потому, что в то время в споре о теории кризисов Маркса ни один русский марксист (ортодоксальный в том числе) не показал, как можно примирить знаменитые схемы во втором томе „Капитала" Маркса с тем, что кризисы непосредственно вызываются „перепроизводством", т.-е „противоречием между производством и потреблением рабочего класса". Ключ к решению этой задачи я, насколько мне представляется и теперь, дал в своей стать

противовес крайне узкой и абстрактной постановке кружковой пропаганды стал читать рабочим лекции по русской истории в марксистском духе (они впоследствии были изданы в виде книжки — «Очерки русской истории»). Там же, в Екатеринославе, я, вступив в редакцию «Южного Рабочего», настаивал в редакции на том, чтобы в газете печатались статьи, выходящие за узкие пределы популяризации «частичных требований» (наприм., о голоде среди крестьян). Приехав затем после освобождения из тюрьмы в 1901 г. за границу и вступив в «Союз русских социал-демократов», я начал с того, что (совместно с Базаровым) выступил в поход против «экономизма» редакции «Рабочего Дела», и, в качестве условия моего вступления в эту редакцию, я потребовал помещения в «Рабочем Деле» моей статьи—«Очередные вопросы» (она была помещена в № 9 «Рабочего Дела»), в которой я критиковал пресловутую «теорию стадий», доказывая нелепость представления, что рабочие принадлежат к несуществующей породе «экономических людей», и нелепость теории «частичных требований», доказывая утопизм взгляда, будто рабочие могут «для себя» завоевать «частичную свободу», не вызвав движения других классов и не сломив всего самодержавного строя. Я же, наконец, будучи в меньшинстве на рабочедельской конференции, ультимативно потребовал и добился формального отказа конференции от платформы «частичных требований», чем вызвал упрек бундовцев, участников конференции, в том, что я ее «изнасиловал».

Как читатель видит, я в 1901 году был не «экономист», а совершенно определенный «политик». Но я был за «демократизм», я был против искровского «раскольничества» и «крайней нетерпимости», против «бюрократического централизма», «бланкизма» и т. д. и т. д. Я был словом, против всего того, против чего после воевали меньшевики, требовавшие снятия «осадного положения» в партии, и как такой, так сказать, «будущий меньшевик» (Menschewik im Werden) я выступил в «Рабочем Деле» резко против «Искры», являвшейся в то время уже зародышем всего будущего большевизма. Этим своим выступлением я, рабочедельский «политик», сознательно содействовал срыву соглашения между рабочедельцами и искровцами, которое уже было заключено в июне 1901 г. на женевском совещании, заведомыми рабочедельскими оппортунистами и экономистами—Кричевским и Акимовым (или Иваншиным?), благодаря их покладистости!

Из этой, восстановленной мной в настоящем свете, картины моего конфликта с «Искрой» в 1901 году вытекает, между прочим, поучительный вывод: *те старые искровцы,* которые впоследствии стали лидерами меньшевиков и которые в 1901 году страстно боролись со мной, как с «экономистом», сами того не ведая, боролись со своим собственным будущим, ибо я в 1901 г.

(О том, в каком направлении я решал этот вопрос, я мельком указал в своей статье—„Главнейшие моменты в истории русского марксизма". См. „Общественное движение в России в начале XX века", 1910 г., том II, часть II, стр. 307—308.) В той же статье я указал еще на вторую причину экономических потрясений в капиталистическом обществе, вытекающую из эволюции ренты, из растущего противоречия между городом и деревней.

был отнюдь не «экономист», а лишь прообраз будущих меньшевиков. Но это между прочим.

В то время, в 1901 г. я, повторяю, еще смутно понимал, что несет собой нового большевистское, или по-тогдашнему, «искровское» направление. В ярком свете оно предстало передо мной лишь тогда, когда я прочитал знаменитую брошюру Ленина «Что делать?», вышедшую в феврале 1902 года. Эта брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление, настолько сильное, что я поколебался — не перейти ли мне в лагерь «нечестивых», и поэтому я, несмотря на настойчивые и назойливые приставания моих коллег по редакции «Рабочего Дела»—ответить на брошюру, так резко нападавшую на меня лично, хранил упорное молчание. Но одно обстоятельство устранило мои колебания—это именно те «перегибания лука» (главным образом в вопросе об отношении социализма к стихийному рабочему движению), которые бросались мне в глаза в брошюре Ленина, которые впоследствии, на лондонском с'езде, признал сам Ленин и которые мне тогда представлялись полным извращением марксизма. Благодаря этим полемическим «перегибаниям лука» в ленинской брошюре, я, в конце концов, еще больше укрепился в своей позиции.

Через год после этого, в 1903 году, я был выбран делегатом на лондонский с'езд. Этот с'езд еще гораздо сильнее, так сказать, ошеломил меня, чем знаменитая брошюра Ленина. В Лондоне мне представлялось, что я присутствую на историческом маскараде, что я на скатерти-самолете вдруг перенесся в обстановку французского конвента 1793 года,—до такой степени поведение делегатов с'езда напоминало мне поведение «монтаньяров». Тут же, на с'езде, я поставил себе вопрос: может ли в России в начале XX века повториться история французского Конвента конца XVIII века? Чтобы ответить себе на этот вопрос, я после с'езда занялся обстоятельным изучением истории французского Конвента. Результатом этого изучения и явилась моя брошюра «Две диктатуры», изданная в 1904 г., которая очень была одобрена Плехановым и другими меньшевиками и которая одновременно, увы, заслужила весьма нелестной для меня похвалы либерала П. Б. Струве, который заявил в печати, что это одно из лучших, или лучшее (точно теперь не помню) произведение социалистической литературы за последний год! Эта похвала Струве была весьма знаменательна для меня и для всех меньшевиков!

В брошюре—«Две диктатуры» я прежде всего установил, что политика Ленина неизбежно приведет его к идее осуществления революционной диктатуры в русской революции (это предсказание через полгода оправдалось). Затем, проанализировав «диктатуру общественного спасения» 1793 г., я показал, что она возможна была в условиях буржуазной революции XVIII века, но что повториться она сможет только в условиях социалистической революции (и то в измененной форме). А так как русская революция будет буржуазная революция, в чем никто, ведь, не сомневается, то мы, соц.-демократы, можем себе ставить только одну задачу—играть в ней роль «крайней революционной оппозиции», не стремящейся к захвату власти. Если же ленинцы попытаются в русской буржуазной революции повторить историю француз-

ских якобинцев, и если при известном стечении обстоятельств им удастся захватить власть, то в результате, писал я, получится не повторение истории Конвента, а карикатура на нее. Если им это удастся, то с ними случится то самое, о чем говорил Ф. Энгельс в «Крестьянской войне в Германии» [1]):

«Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладания властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. Возможное для такого вождя зависит не от его воли, а от уровня, достигнутого противоположностью интересов различных классов, уровня, в свою очередь зависящего от степени развития материальных условий существования, отношений производства и обмена. С другой стороны, то, что такой вождь *должен* делать то, чего требует от него его собственная партия, также зависит не от него, но в то же время и не от степени развития класовой борьбы и не от ее условий; он остается связанным своими прежними доктринами и требованиями, которые также вытекают не из взаимного положения общественных классов в *данный момент*, не от *временных*, более или менее случайных отношений производства и обмена, но обусловливаются способностью этого вождя к пониманию общих результатов социального и политического движения. Таким образом перед ним неизбежно вырастает неразрешимая дилемма: что он может сделать—противоречит всем его предыдущим поступкам, его принципам и непосредственным интересам его партии, что он должен был бы делать—оказывается неисполнимым. Словом, он вынужден будет отстаивать не свою собственную партию, не свой собственный класс, а тот класс, для господства которого уже созрело движение. Он должен будет в интересах именно этого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и отделываться от своего класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными. Кто раз попал в это ложное положение, тот погиб безвозвратно».

Смысл этой цитаты в ее применении к русским условиям не подлежал для меня ни малейшему сомнению: если социал-демократия очутится у власти в нашей экономически отсталой стране, то она *сможет* осуществить только буржуазную революцию, а *должна* будет осуществлять революцию социалистическую, а так как она не сможет сделать того, что она будет обязана делать по отношению к пролетариату, то она неизбежно обанкротится. Как большевики вышли из этого затруднения, мы теперь знаем; об этом я уже говорил в первой части книги, и об этом я буду еще говорить не раз впереди. Теперь же перейду к истории развития наших разногласий.

[1]) См. А. Мартынов, „Две диктатуры", 2-е издание, 1918 г., стр. 72—73. Я привожу эту большую цитату из Энгельса целиком, потому что она имеет очень большое принципиальное значение: не выяснив себе, каким образом русская революция преодолеет указанные Энгельсом противоречия, невозможно было правильно решить вопрос о характере этой революции.

Моя брошюра «Две диктатуры» была издана в 1904 г., а через полгода, как я уже говорил, мое предсказание насчет того, до чего договорятся большевики, уже сбылось. Весной 1905 г. на III (большевистском) с'езде партии принята была платформа, которую докладчик Ленин истолковал, как путь к «диктатуре пролетариата и крестьянства». Эта диктатура, впрочем, намечалась не как ближайшая задача дня, а как общая директива. И весьма любопытно, как Ленин на этом с'езде обосновывал эту новую платформу.

«Моя задача,—говорил Ленин в своем докладе,—изложить постановку вопроса об участии с.-д. во Временном Революционном Правительстве. На первый взгляд может показаться странным, что подобный вопрос возник. Можно подумать, что дела с.-д. обстоят великолепно, и вероятность ее участия во Временном Революционном Правительстве очень велика. На самом деле это не так. Обсуждать этот вопрос с точки зрения ближайшего практического осуществления было бы дон-кихотством. Но вопрос этот навязан нам не столько практическим положением дел, сколько литературной полемикой. Необходимо всегда иметь в виду, что вопрос этот первый поднял Мартынов еще до 9-го января». Излагая затем мою постановку вопроса, Ленин продолжает:

«Такая постановка вопроса невероятна, но фактически она такова: Мартынов находит, что если бы мы очень хорошо подготовили и двинули восстание, то очутились бы в отчаянном положении. Мартынов, а вслед за ним Плеханов бросают нам вызов—смеем ли мы победить? Они нас пугают перспективой, нарисованной Энгельсом, которую они истолковывают по-филистерски. Мы им ответим: вы нас не запугаете. Да, мы смеем победить до конца, вплоть до установления «диктатуры пролетариата и крестьянства!» [1]).

В моих «Двух диктатурах» была выявлена самая суть разногласий между большевизмом и меньшевизмом на всем протяжении их двадцатилетнего спора. Большевики приняли всерьез идею гегемонии пролетариата в русской революции и держали курс на решительную победу этой революции вплоть до установления диктатуры класса-победителя, не взирая на то, что они долго считали нашу революцию буржуазной. Меньшевики, исходя во всех своих построениях из того, что наша революция — буржуазная, боялись итти до конца—к власти, чтобы не скомпрометировать себя и всего дела социализма. Поэтому они, «взявшись за плуг, всегда оглядывались назад». Поэтому они всегда гамлетизировали; поэтому они присягали в верности «парламентскому демократизму», ибо ясно, что это—наиболее выгодная форма правления для пролетариата, поскольку не он, а буржуазия находится у власти; поэтому они всегда предпочитали «немецкую» методу парламентаризма и «давления» снизу «французской» методе «насильственного низвержения»; поэтому они при всех условиях и всяческими заклинаниями старались выдвинуть вперед революционную буржуазную демократию, чтобы подталкивать ее сзади, и

[1]) См. Третий очередной с'езд Р.С.Д.-Р.П. Полный текст протоколов, Женева 1905 г., стр. 162, 163 и след.

когда таковая не обнаруживалась, старались ее выдумать, готовые на худой конец и оппозиционных либералов, всегда *боявшихся* революции, перекрестить в «движущую силу революции». Правда, меньшевики, насколько мне помнится по инициативе Ф. Дана, выдвинули в 1905 году лозунг—«развязывать революцию», но за этим лозунгом скрывалось не столько «развязывание» пролетарской революционной стихии, сколько развязывание обще-демократической стихии, в которой пролетариат мог бы играть роль толкача; правда, меньшевики в 1905 году дали лозунг образования «революционных коммун»,—но не случайно они употребляли это выражение всегда в множественном числе, ибо, готовые брать власть на местах для «развязывания революции», готовые взять ее где-нибудь в Тифлисе, или в Гурии, или в Севастопеле, — они боялись ее взять в центре, в Петербурге. Правда, меньшевики на майской общепартийной конференции 1905 г. предусматривали случай, когда социал-демократическая партия вынуждена будет взять власть, и тогда, говорили они, мы постараемся перенести революцию на Запад, чтобы зажечь пожар западно-европейской социалистической революции. Но этот случай меньшевики рассматривали, как «несчастный случай». Вот что, например, я лично по этому поводу говорил на Стокгольмском с'езде партии:

> «Нам теперь указывают, что в эти дни (в «дни свободы». А. М.) меньшевики и большевики действовали вполне солидарно. Это более или менее верно; мы говорили себе: «Le vin est tiré, il faut le boire» («вино налито—надо его выпить»). Когда наступил решительный момент, надо действовать решительно, тогда уж поздно рассуждать о благоприятности или неблагоприятности условий борьбы; разница заключалась в том, что мы считали наше положение вынужденным, большевики же к такому положению стремились и считали его нормальным» [1]).

Далеко не все, впрочем, меньшевики так рассуждали, как я: очень и очень многие меньшевики думали, что даже тогда, когда «наступил решительный момент», нужно было действовать *нерешительно*... Когда я в момент высшего под'ема революции в 1905 г., заодно с Троцким, в «Начале» писал о «перманентной революции», Плеханов и Аксельрод по этому поводу пришли в большое негодование, а меньшевики, жившие в России, шутили над нашей газетой: «Начало помчало!». И когда, наконец, революция 1905 г., благодаря тогдашней еще устойчивости мирового капитализма и сравнительной еще молодости нашего рабочего движения, потерпела поражение, меньшевик А. Череванин в книге—«Пролетариат и русская революция», переведенной на немецкий язык, в книге, за которую мы, левые меньшевики, *краснели*, об'явил, что революция потерпела поражение благодаря нашей собственной вине, благодаря нашему «безумию», благодаря «ошибкам» нашей партии в лице обеих ее фракций и благодаря «ошибкам всего русского пролетариата, не учитывавшего, что наша революция—буржуазная. Череванину надо было еще прибавить—«и благодаря ошибке всей истории»!

---

[1]) См. Л. Мартов, „История российской социал-демократии“, 1922 г., стр. 186.

Было ли на стороне меньшевиков то преимущество, что их тактика была более «реалистична», более «исторична», более «почвенна», чем тактика большевиков? Никоим образом! Когда я еще в 1917 г. перечитывал свои «Две диктатуры», мне бросилось в глаза одно обстоятельство. В первой главе книги, где я даю анализ истории французского Конвента 1793 г., мое изложение прямо выхвачено из жизни; это литературное отражение французской революции во всей ее плоти и крови,—и если б я сейчас взялся об этом писать, я бы эти главы написал точно так же, как в 1904 г. Во второй же половине брошюры, где я стараюсь начертать нашу тактику в современной русской революции (тактику партии «крайней левой оппозиции»), мое изложение становится бледным, бесцветным, абстрактным, схематичным. Тут я оперировал с чисто головными, алгебраическими формулами, пригодными (или непригодными) для всякой «буржуазной революции», где бы она ни происходила—в России или в Японии, в начале XIX или в начале XX века.

Этот «литературный» недостаток был отнюдь не случайный. Поскольку меньшевики старшего поколения не писали тактических директив, не *делали современную* русскую историю, а пытались добросовестно и вдумчиво изучить и *описать* ее *прошлую* историю, они умели писать живо, красочно и исторически конкретно; но тут, на беду свою, как раз они давали такой анализ русской истории, из которого вытекала не меньшевистская, а большевистская тактика. В своей популярной книжке—«Очерки русской истории», которая была составлена в 1899 г. и впервые издана в 1901 г. и которая излагала русскую историю до освобождения крестьян включительно, я доказывал, что крупная капиталистическая промышленность современного европейского типа развивалась у нас под усиленным покровительством царской власти в обстановке чрезвычайной экономической отсталости, в стране мужицкой, деревенской, в которой не было такой резкой классовой дифференциации, какая существовала на Западе, в которой не было *экономически сильной* городской демократии, в которой не было многочисленных крупных городов с богатыми традициями политической борьбы против феодалов, в которой либерализм не имел даже решающего значения, как «движущая сила», когда у нас проводились либеральные реформы 1861 года, в которой государственный строй время от времени потрясался только крестьянскими восстаниями, но эти «бунты» не отражались на направлении политического развития страны, потому что крестьяне, придавленные крепостным правом помещиков или гнетом государства, живя в условиях полупатриархального, натурального хозяйства, проникнуты были царским фетишизмом, и неспособны были играть *самостоятельную* политическую роль. Выход из этого исторического тупика, заключал я, сможет найти только один класс—пролетариат. Если бы я в книжке излагал дальнейшую историю России после реформ 1861 года, я, продолжая ту же нить рассуждения, сказал бы: после освобождения крестьян наша крупная капиталистическая промышленность расцвела пышным цветом в связи с тем, что в деревню быстро стало проникать денежное хозяйство. Это привело к сильному развитию деревенского кулачества, но это, подчиняя деревню «власти денег», власти де-

нежного капитала, и увеличивая тягу крестьян в города, отнюдь не было тождественно со сколько-нибудь широким развитием мужицкого сельскохозяйственного капитализма; это чаще приводило к пауперизации, к равномерному обнищанию крестьян, чем к их превращению в сельско-хозяйственных батраков, ибо остатки крепостничества во всем государстве чрезвычайно сильно препятствовали развитию высших форм капитализма в деревне. Это (благодаря господству экстенсивного крестьянского хозяйства) должно было вызвать у крестьян сильнейшую жажду «земли» и (благодаря гнету полукрепостнического государства) сильнейшую жажду «воли». Но эту «землю» и эту «волю» крестьяне могли получить, только поддерживая своим восстанием революционную борьбу пролетариата, ибо на самостоятельную политическую борьбу крестьянство не было способно, как показала вся прошлая история нашего крестьянства.

Такова была моя точка зрения на наше историческое наследство (с которой я в одном пункте—в вопросе об экспроприации земли—на один момент, в 1901 году, к сожалению, сбился под влиянием нашей экономической литературы 90-х годов). Такова была с давних пор точка зрения на прошлую русскую историю Плеханова, которую он развивал во всех своих произведениях по данному вопросу в 80-х и 90-х г.г., а впоследствии в I томе своей «Истории общественной мысли в России». Ту же оценку *прошлого* давал П. Аксельрод в 90-х г.г. в своей статье—«По поводу одного народного бедствия». Те же взгляды в специальной области наших аграрных отношений подробно развил П. Маслов в своей книге — «Аграрный вопрос в России». с которой все меньшевики были всецело согласны, за исключением той части книги, в которой П. Маслов крайне неудачно «исправлял» теорию ренты Маркса.

Что же вытекало из этой, можно сказать, меньшевистской концепции русской истории, которая, впрочем, отнюдь не была «открытием» меньшевиков?

Во-первых, то, что в России еще есть большой простор для развития капитализма, что тормозом для его развития являются остатки крепостничества во всем государственном строе, ложащиеся огромным бременем на крестьянство, и что великая буржуазная революция, которая решит радикально аграрный вопрос, сможет дать огромный толчок капиталистическому развитию в деревне. Этот вывод твердо усвоили меньшевики и приняли его не только к сведению, но и к руководству. Но из указанного взгляда на наше историческое наследство вытекал еще другой, не менее важный вывод: *Если у нас разыграется великая народная революция, то единственной ее движущей и направляющей силой будет пролетариат*, ибо капиталистическая буржуазия. часть которой, кстати, всегда наживалась на великодержавной политике царизма (тяжелая индустрия), испугавшись глубокого социального содержания революции, поторопится ее ликвидировать сделкой с монархией и с помещиками, ибо городской буржуазной демократии, имеющей собственный экономический фундамент в городе, у нас не существует, ибо крестьяне на самостоятельную роль не способны и способны итти только за наиболее близко

стоящим к ним городским революционным классом. Это значит, что если в России разыграется *народная революция*, то она уже по одним внутренне-русским условиям, не говоря уже о современных международных условиях, *либо будет подавлена, либо вынесет к власти пролетариат.* Л. Троцкий в 1905 г. к этому выводу и пришел (заодно с Парвусом) именно как бывший меньшевик, исходивший из господствовавших в меньшевистской фракции взглядов на русскую историю, и очень удачно это обосновал [1]), но мы, все остальные меньшевики, с этой «ересью» Троцкого, с этим его «отступничеством» от меньшевизма никак примириться не могли, ибо мы как будто дали клятву в верности до гроба нашему застывшему и закостеневшему взгляду, что русская революция должна быть *чисто*-буржуазной. И до такой степени мы были под гипнозом этой злополучной идеи, что когда в 1905 г. по всей России разлилось широкой волной крестьянское движение, что совершенно соответствовало нашему меньшевистскому взгляду на русский аграрный вопрос и весьма мало соответствовало тому, что писал о крестьянстве в своей книге—«Развитие капитализма в России» Ленин, как раз Ленин и большевики вскоре выдвинули революционный аграрный лозунг—«национализация земли», а меньшевики, даже вопреки явно выразившемуся уже тогда настроению крестьян, выставили по инициативе П. Маслова (нашего главного «аграрника»!), энергично поддержанной Плехановым, половинчатый лозунг «муниципализации земли» (а кое-кто из меньшевиков еще прибавлял—с выкупом). Чем это об'яснялось? Тем, что большевики, веря в широкий размах революции, смотрели вперед—на грядущую «диктатуру пролетариата и крестьян», в то время как меньшевики, робко оглядываясь назад, «веря» в поражение революции, искали в «муниципализации» средство против *полной* реставрации царизма и связанного с ним идеала царской национализации земли, т.-е. черного передела по монаршей воле!

Перейдем теперь из меньшевистского лагеря в большевистский. Как и почему большевизм в лице Ленина пришел к истолкованию гегемонии пролетариата в смысле якобинском, в смысле курса на диктатуру пролетариата в русской революции? Многие меньшевики склонны были об'яснить это властностью характера Ленина, его крепким «кулаком». Именно поэтому они его считали, как и весь буржуазный мир его считает, «злым гением» русской революции. Отсюда должен был вытекать вывод, который и делали в октябрьский период, хотя, конечно, не меньшевики, но зато все Черновы, все Савинковы, все Алексинские,—что если бы удалось «убрать» этого «злого гения», то все пошло бы в России по-хорошему, по-благородному. Нужно ли сказать, что с точки зрения марксистской это величайший вздор?! Ленин бесспорно играл и играет великую ни с кем не соизмеримую роль в русской революции и в русском социалистическом движении, тем более великую роль, что, когда он выступил на сцену, наша партия была еще по своему составу интеллигентская, наш рабочий класс был еще очень мало сознателен и мало организован,

[1]) См. Л. Троцкий, „1905", стр. 1—62, 259—286. В тогдашних рассуждениях Л. Троцкого, поскольку он спорил не с нами, а с большевиками, была, впрочем, тоже ошибка, противоположная ошибке меньшевиков. Но об этом после.

и наша политическая жизнь вообще была еще очень мало политически дифференцирована. При таких условиях «роль личности в истории» нашего социалистического движения была более велика, чем где бы то ни было. Но с нашей марксистской точки зрения величие исторической личности *при всех условиях* заключается не в том, что она может по своему произволу поворачивать колесо истории, куда ей заблагорассудится, а в том, что она, верно угадав, что история собирается «родить», твердой рукой направляет ее «роды» и тем самым ускоряет их и облегчает муки родов истории. Поэтому мы вправе сказать себе: не в личном лишь характере Ленина, а в русской и международной обстановке должны были быть какие-то глубокие причины, которые породили у нас на пороге XX века якобинизм в социал-демократии и дали ему надолго утвердиться. Какие же это причины?

В 1902 г. в своей знаменитой брошюре—«Что делать?» Ленин, возражая против требования «свободы критики» в партии, писал:

> «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда итти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не отступать в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдемте в это болото! А когда их начинают стыдить, они возражают:... и как вам не совестно отрицать за нами свободу, звать вас на лучшую дорогу!» [1]).

О каких это многочисленных врагах, окружавших революционную социал-демократию «со всех сторон», говорил здесь Ленин? Царизм был не враги, а враг, а помимо царизма нашу социал-демократию, как мы незадолго, за четыре года до этого, слышали от П. Б. Аксельрода, окружали не враги, а союзники или готовые стать ее союзниками в борьбе за освобождение России, и когда П. Аксельрод нам это рассказывал, почти никто, и в том числе Ленин, против него не возражал. Что же случилось в России за этот короткий промежуток времени? Что в ней изменилось?

Изменилось очень многое! В 90-х годах, когда Аксельрод об'яснял, как мы можем привлечь к себе союзников, наша социал-демократия была один воин в поле, без соперников. В то время наш рабочий класс своими первыми грандиозными стачками доказал, что народилась, наконец, та сила, которая способна будет пошатнуть царскую твердыню, тем самым оправдав предсказания социал-демократов. В то же самое время марксизм вышиб из седла народничество и безраздельно царил над умами демократической интеллигенции. Однако уже к концу 90-х г.г. положение начало меняться. В тесной связи с бернштейнианской критикой на Западе русский легальный марксизм стал поворачивать к идеализму, к кантианству, стал со всех концов подтачивать революционное учение Маркса. На-ряду с этим и в «любовной связи»

---

[1]) См. Вл. Ильин (Н. Ленин). „За 12 лет"—„Что делать?". стр. 199.

с этим, как разоблачил Плеханов в своем Vademecum'e, в социал-демократии расцвел «экономизм». Все это вместе взятое означало—зарождение нового либерализма, но не такого невинного, каким себе представлял его П. Аксельрод в 1897 г., не либерализма, ограничивающего свою сферу влияния буржуазией, а либерализма, направленного против революционного социализма, либерализма, который под quasi-марксистской маской старается наложить свою руку на рабочее движение, старается подчинить его своему влиянию и свернуть его с революционного пути. Это был первый «враг», на которого намекал Ленин, первая контр-революционная ласточка из буржуазно-либерального лагеря. В 1901 г., после того как в связи с промышленным кризисом у нас стала накаляться революционная атмосфера, появились новые враги—союзники революционной социал-демократии. Возродилось в новом, чрезвычайно испорченном, издании давно похороненное революционное народничество, возродился террор, появились эс-эры, которые опять-таки отнюдь не склонны были ограничивать свою сферу влияния крестьянством (в этом не было бы беды), которые в то время даже вовсе не работали еще в деревне, а шли по пятам за социал-демократией в интеллигентскую и рабочую среду и, подделываясь под марксизм, дополняя извращенный, оппортунистический, берштейнианский марксизм интеллигентским индивидуальным террором, вносили в эту среду мелко-буржуазный разврат. В результате получилось вовсе не то, на что рассчитывал П. Аксельрод, рисовавший в 1897—98 г.г. свои идиллические перспективы. Он думал, что социал-демократы, ставши авангардом общедемократического движения, будет привлекать к себе симпатию и поддержку со стороны либеральных и буржуазно-демократических слоев населения и что между ними и социал-демократией будет царить мир да лад. А оказалось, что эти «союзники» не только не склонны были бороться под гегемонией социал-демократии, но, напротив того, всячески старались вырвать пролетариат из-под влияния социал-демократии и подчинить его своей гегемонии (а в какую колчаковскую яму эти «гегемоны» повели бы пролетариат, показал впоследствии опыт февральской и октябрьской революций!). Это побудило революционную социал-демократию забить тревогу: «Наше социал-демократическое отечество в опасности!» И тем более нужно было в 1901 г. забить эту тревогу, что время было горячее, что тогда уже запахло революцией, что нужно было быстро строиться к бою и укреплять свои позиции. Именно для того, чтобы быть способным нанести сокрушительный удар царизму, не озираясь на его явных и тайных друзей, полудрузей и боязливых врагов, нужно было выдвинуть на первый план социалистическую задачу, нужно было об'явить беспощадную войну всем разновидностям буржуазной идеологии, нужно было оградить от ее тлетворного влияния свою собственную партию, нужно было железной метлой выметать ее из рядов своей партии, нужно было собрать свою партию в кулак, нужно было ввести в ней строжайшую дисциплину. Так, уже в эпоху старой «Искры», выковывался беспощадный, непримиримый большевистский якобинизм. Из этого видно, как глубоко фальшива была оценка, которую П. Аксельрод дал в новой «Искре» большевизму, что

это, мол, старая якобинская буржуазная демократия под флагом ортодоксального марксизма. Как раз наоборот! Федот, да не тот! *Большевистский якобинизм был революционный марксизм, ополчившийся на непримиримую войну с идеологией буржуазной демократии и в этой борьбе закалившийся.* Эти условия возникновения большевистского якобинизма весьма знаменательны: Они показывают, что в XX веке в Европе не может уже зародиться великая народная революция, которая бы не стала под знак революционного социализма, которая бы не породила острой борьбы с буржуазией, хотя бы в начале в области чисто идеологической, даже в том случае, когда вожди ее думают, что делают революцию буржуазную (германская революция этому как будто бы противоречит, но она не была ни великая, ни народная).

Почему именно Ленин выдвинулся сразу, как призванный вождь нашего марксистского якобинизма? Мартов в своих «Записках социал-демократа» пишет, что уже первая отгектографированная брошюра Ленина, которую он прочитал, обнаруживала, что автор «соткан из материала, из которого создаются партийные вожди» [1]. Этого мало; он соткан из материала, из которого создаются вожди плебейских, якобинских партий. Откуда же он впитал в себя этот «материал»? Об этом я могу судить только на основании его собственных литературных произведений. В «Что делать?» Ленин так характеризует социал-демократов периода 1894—1898 г.г., к которым принадлежал и он сам:

> «Многие из них начинали мыслить, как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы... Борьба заставляла учиться... Воспитанный на этой борьбе социал-демократ шел в рабочее движение, «ни на минуту» не забывая ни о теории марксизма, озарившей его ярким светом, ни о задаче низвержения самодержавия» [2].

Кто же были эти террористы-семидесятники, которые производили такое обаятельное впечатление на Ленина и его друзей? Они были «либералы с бомбой», подобные их эпигону Бурцеву?! О, нет! Они начали свою карьеру как пламенные социалисты, они весь свой героизм черпали из веры в близость социальной революции, про которую они до конца 70-х г.г. «ни на минуту» не забывали так же, как Ленин не забывал «ни на минуту» «теории марксизма». В той же брошюре Ленин, критикуя Надеждина за его рабское, карикатурное подражание Ткачеву, пишет:

> «Подготовленная проповедью Ткачева и осуществленная посредством «устрашающего» и действительно устрашавшего террора попытка захватить власть была величественна» [3].

Ради чего же Ткачев, проповедь которого так пленяла Ленина, хотел захвата власти? Ради учреждения буржуазно-демократической республики.

---

[1] См. Ю. Мартов, „Записки соц.-демократа". 1922, стр. 287.

[2] Н. Ильин (Н. Ленин), „За двенадцать лет", — „Что делать?", стр. 313.

[3] См. ibid., стр. 308.

ради установления либерального режима?! Нет, для социальной революции для установления социалистической диктатуры, о которой Ткачев буквально вот что писал:

«Все усилия современного общества должны быть направлены к возможно большему уменьшению числа тунеядцев и отнятию у них всяких прав, всякого общественного значения. Работники действительно должны сделаться единственным центром социального порядка; кроме них никто не должен быть терпим в обществе; им принадлежат все права, и кроме них, никто не может иметь никаких прав»[1].

Не узнаете ли вы, читатель, тут сходства двух портретов? В ранней своей статье против Струве, написанной весной 1895 г., Ленин говорил: «Нельзя не признать поэтому справедливости утверждения Зомбарта, что «в самом марксизме от начала до конца нет ни одного грана этики»: в отношении теоретическом, «этическую точку зрения» он подчиняет принципу причинности; в отношении практическом—он сводит ее к классовой борьбе»[2]. Что означала эта тирада? Конечно, не отрицание пролетарской. социалистической этики! Это было резкое, лапидарное выражение для отрицания «абсолютной», общей для всех классов, общечеловеческой этики, это означало сожжение всех мостов, соединяющих пролетариат с буржуазным миром. Эта тирада дышит ненавистью к буржуазному миру. Но совершенно подобные же рассуждения мы найдем и у Ткачева[3], и не только у Ткачева, а у очень многих, у большинства наших революционных разночинцев 60-х г.г. и прежде всего у русского великого предшественника революционного марксизма, у Н. Г. Чернышевского. Недаром Чернышевский так жестоко издевался над нашими либералами и над всеми идеалистическими и этическими ризами, которыми они прикрывали свою буржуазную наготу. Не даром либеральный социалист Герцен в статье «Very dangerous» («Очень опасно!»), помещенной в «Колоколе», так желчно упрекал Чернышевского и Добролюбова за их травлю либералов в «Свистке», говоря, что, «идя по этой скользкой дороге, можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею»![4]—Как известно, Чернышевский «досвистался» не до «Станислава на шею», а до каторжных работ: видно Александр II считал его опаснее Герцена.) Но совершенно так же нынешние либеральные социалисты обвиняли Ленина, что он работает на благо немецкого кайзера и русской черной реакции, и с тем же основанием!

Якобинизм Ленина питался традициями наиболее ярких представителей русского революционного социализма 70-х и 80-х г.г.; поэтому мы видим на нем «с головы до пяток русский отпечаток». Но не надо забывать, что в конечном счете все это шло к нам с Запада и только переделывалось на

---

[1]) См. Б. Козмин, „П. Н. Ткачев", Москва, 1922 г., стр. 111.

[2]) См. В. Ильин, „За двенадцать лет"—Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве, стр. 65.

[3]) См. Б. Козмин, „П. Н. Ткачев", стр. 85

[4]) См. „Колокол". Избран. статьи А. И. Герцена, Женева 1887, стр. 157.

русский лад; не надо забывать, что первый основоположник этого направления в России—Н. Г. Чернышевский стоял наиболее близко к марксизму и что он пил из того же источника, из которого пил Маркс, что он так же, как Маркс воспитывался на Фейербахе, на Гегеле, на Фурье, на английской политической экономии и на идеях великих французских материалистов и революционеров XVIII века.

Ленин был не единственный якобинец в старой «Искре», и это тоже не мешало бы помнить всем, которые считают его «злым гением» русской революции. И Плеханов, учившийся на Чернышевском (а не на Белинском, как П. Аксельрод), воспитывавшийся на французских материалистах и революционерах XVIII века так же, как на Марксе и Энгельсе, был задолго до Ленина определенным марксистским якобинцем. Я помню курьезный инцидент, как Плеханов в Женеве сдал в типографию статью, в которой он. как якобинец, из «четыреххвостки» (всеобщее, равное, прямое и тайное голосование) сознательно выпустил слово — «тайное»; как наборщики, считая это опиской, вставили слово, и как они затем, когда автор настаивал на сохранении этой «описки», взбунтовались против него. Я помню, как Надеждин возмутился Плехановым, когда тот заявил, что мы, победив царизм, публично на Казанской площади казним Николая II; я помню, как Плеханов на реферате в Женеве (уже после раскола, когда он уж стал на сторону меньшевиков), в пламенной и блестящей речи отстаивая принцип «революционной целесообразности» в марксистской политической этике, взял под свою защиту итальянского патриота Маккиавели, как это, впрочем, делали очень многие революционные разночинцы 60-х г.г. Известно, наконец, как Плеханов на лондонском съезде партии, в 1903 г., резко возражая против «абсолютной ценности демократических принципов», говорил: «Гипотетически мыслим случай, когда мы, соц.-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежавших к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права» [1]). Плеханов в то время был большевиком, и в одном вопросе — об организационном централизме и о необходимости борьбы с организационной расплывчатостью—он навсегда остался таковым. В этом вопросе он никогда не мог примириться с меньшевиками. Он порвал с большевизмом только благодаря своему окаменевшему взгляду, что русская революция—буржуазная, и что наша тактика должна к этому приноровиться, благодаря своему взгляду, который в 80 и 90 г.г. имел полное историческое оправдание, который сослужил Плеханову блестящую службу в его борьбе с народничеством и который, чего он не заметил, уже в 900-х годах, терял под собой историческую почву. Второй камень преткновения, о который споткнулся Плеханов в 1914 г., свалившись в болото самого вульгарного социал-патриотизма, был такой же застывший взгляд его, что мы в обстановке войны должны следовать старой тактике, начертанной Марксом и Энгельсом, тактике, которая

[1]) Вл. Ильин (Н. Ленин). „За двенадцать лет", стр. 329.

имела глубокий смысл в эпоху национальных войн и которая потеряла всякий смысл в нынешнюю эпоху империалистических войн). Плеханов дважды своей жизни, к великому ущербу для себя, забыл гегелевскую истину, которую он так часто повторял: «Vernunft wird Unsinn, Woltat—Plage» («Разумное становится безумным, благодеяние—проклятьем»)...

И Мартов был до лондонского с'езда 1903 г. марксистским якобинцем и у него якобинизм был заполнен глубоким социалистическим содержанием. Достаточно вспомнить его блестящую статью «Всегда в меньшинстве!» [1], которая на момент даже открыла глаза некоторым крайним «экономистам» (Лохову). К сожалению, Мартов, вращавшийся в орбите Ленина до лондонского с'езда, тут сорвался с этой орбиты и поплыл за П. Аксельродом...

Как же наши марксистские якобинцы из старой «Искры», и прежде всего Ленин, думали примирить свой социалистический якобинизм с тем, что наша революция будет буржуазная, в чем тогда никто из них не сомневался? Предполагали ли они, что наша буржуазная революция произведет такую глубокую социальную ломку в аграрной области, что она совершит такое вторжение в право частной собственности, что это нас непосредственно приведет к порогу социалистической революции? Ленин этого во всяком случае в то время не мог думать, гораздо меньше, чем Плеханов и Аксельрод. Ленин, как и большинство марксистов девятидесятников, в то время сильно переоценивал размер экономически-прогрессивных форм нашего крестьянского сельско-хозяйственного капитализма. Поэтому он еще в 1896 г. по вопросу о хлебных ценах выступил против П. Маслова и, заодно со Струве и Туган-Барановским занял очень одностороннюю позицию, что нам желательны высокие цены на хлеб, ибо низкие цены, дескать, подорвут основы нашего аграрного капиталистического хозяйства [2]). Ленин еще в 1895 году в своей цитированной выше статье против Струве утверждал, что «основным доминирующим фактором нашего народного хозяйства «является то, что крестьянство, как целое, есть фикция», а затем в своей книге—«Развитие капитализма в России», вышедшей в 1899 г., доказывал, что «в России уже повсеместно 20% крестьянских дворов должны быть зачислены в буржуазию, а 40% дворов пролетаризированы». Соответственно с этим он выдвинул свою аграрную программу, которая была принята партией на лондонском с'езде 1903 г. и которая требовала возвращения «отрезков», при чем Ленин усматривал в этом максимум того, что революция может дать крестьянам, не нарушая интересов капиталистического развития России и не отбрасывая нас назад: «Наши крестьянские требования...,—писал он в № 4 «Зари»,—должны быть сообразованы не с тем, *достижимы* ли они при данном соотношении сил, а с тем, *совместимы* ли они с существующим общественным строем и способно ли проведение их облегчить классовую борьбу пролетариата»; «в крестьянских требованиях наше дело определить на основании научных данных—*максимум* (курсив Ленина) эти

---

[1]) См. Мартов, „Всегда в меньшинстве!"—„Заря".

[2]) См. Ю. Мартов, „Записки соц.-демократа", кн. I, стр. 327—330.

требований» [1]). Ленин, таким образом, еще в 1903 г. (во время лондонского с'езда партии) полагал (в отличие от Плеханова), что полная экспроприация всей помещичьей земли была бы мерой экономически-реакционной. В то время он еще не только не рассчитывал на широкое крестьянское движение, но даже как будто опасался его возможных экономически реакционных последствий (другие большевики еще весной 1905 г. на III с'езде партии высказывали эти опасения). Соответственно с этим в тот период «старые искровцы» строили свою тактику. Ведя ожесточенную войну с тогдашними главными соперниками социал-демократами—с социал-революционерами за гегемонию, они в то же время пытались искать поддержки революции со стороны либералов, хотя Ленин, очень скоро убедившийся в невозможности вдохнуть революционный дух в дряблый русский либерализм [2]), в конце концов, сузил задачу либеральной поддержки чисто технической и денежной помощью революционной борьбе социал-демократии.

Как же, повторяю я, Ленин и «старые искровцы» думали примирить это свое представление о сравнительно скромном и скудном социальном содержании надвигающейся русской «буржуазной» революции с тем социалистически-якобинским курсом, который они взяли? *Никак*. Во-первых, они тогда еще не сказали своего последнего слова—диктатура! Во-вторых, они, очевидно, говорили об: довлеет дневи злоба его! Они взяли якобинский курс, потому что этого непосредственно требовали интересы охраны революционной гегемонии пролетариата, без которой невозможно было бы нанести сокрушительного удара царизму, не оглядываясь по сторонам. А что даст русская революция, когда она победит, и как будет поставлен вопрос об организации власти, когда эта победа станет фактом, они тогда не загадывали, ибо до этого было еще далеко. Чтобы об'яснить себе их тогдашнюю позицию, нужно помнить, что в то время очертания русской революции были еще для всех окутаны туманом. Ленин уже тогда помнил твердо, что «вооруженное восстание должно определить характер и формы нашего движения». Но когда он пытался ответить на вопрос, как «политически» будет подготовлено это восстание, он давал ответ еще чрезвычайно упрощенный, приноровленный к тогдашней очередной, «ударной» задаче—организовать распространение «Искры» и листков: «Наладить, сорганизовать,—писал он,—дело быстрой и правильной передачи литературы, листков, прокламаций и проч., приурочить к этому целую сеть агентов, это значит сделать бо́льшую половину дела по подготовке в будущем демонстраций, или восстания» [3]).

Ситуация резко изменилась, когда, благодаря разгоревшейся русско-японской войне, революционная стихия разыгралась, когда вслед за 9-м января 1905 г. революция перешагнула в деревню и по всей России прокатилась волна крестьянских «беспорядков», которые, впрочем, еще в 1903 г.

---

[1]) См. А. Мартынов, „Главнейшие моменты в истории русск. марксизма"—Обществ. движение в России в начале XX века", стр. 310, 311.

[2]) См. Н. Ленин, „Гонители земства и Аннибалы либерализма" — „Заря" № 2—3 901 г.

[3]) См. Ленин, „Письмо к товарищу".

охватили Харьковскую и Полтавскую губернии. Тут очертания русской рев люции и ее социальное содержание стали, наконец, выясняться.

«Один шаг действительного движения стоит больше дюжины программ: говорил Маркс. Бернштейн из этого положения делал оппортунистически выводы. Ленин в 1905 г., как и не раз впоследствии, сделал из него выводы р волюционные. Прежний экономический анализ русского аграрного вопроса Л нина был в общем менее правильный, чем анализ, который делали меньшевист ские теоретики, и он отличался от последнего не в пользу крестьянского движе ния. Наша аграрная программа с возвращением «отрезков» была его специал ным изобретением, и Плеханов в свое время счел нужным в «Заре», в коммен тарии к нашей программе, скрыто полемизируя с Лениным, оговорить, что м в случае «изменения соотношения сил», т.-е. в случае возникновения широ кого крестьянского движения, должны будем изменить эту программу и заме нить возвращение «отрезков» полной экспроприацией помещиков. Несмотр на все это, когда крестьяне действительно начали восставать, Ленин, как ге ниальный, гибкий и смелый тактик, быстро улавливающий всякую перемен ситуации и не застывающий никогда на рутине, выбросил за борт свои ст рые опасения и вычисления и пошел навстречу крестьянскому движению го раздо дальше, чем пошли меньшевики, что доктринерам меньшевикам и сознаюсь, мне в том числе дало повод шутить, что у Ленина нет «принци пов», что у него все зависит от «ситуации». В 1905 г. Ленин в «Двух такти ках» уже писал вопреки своей старой аграрной теории: «Даже перераспреде ление всей земли в интересах крестьянства и согласно его желаниям («чер ный передел» или что-нибудь в этом роде) нисколько не уничтожит капита лизма, а, напротив, даст толчок его развитию» [1]). И в то время, как меньше вики, в ответ на крестьянское движение, по инициативе Ф. Дана, выставил требование образования в деревнях «обще-демократических комитетов» (ма ленькие парламенты или дискуссионные клубы!), Ленин противопоставил и чисто боевые, крестьянские комитеты для развязывания аграрной революци

Крестьянское движение побудило большевиков весной 1905 г. перестроит всю свою тактику и принять на 3-ем (большевистском) с'езде партии т политическую и тактическую платформу, которая определила их деятель ность на долгие годы и которая провела резкую, ясно-очерченную гран между ними и меньшевиками. На этом с'езде, в 1905 г., большевики ещ остались на старой общепартийной позиции, что наша революция—буржуаз ная, и Ленин со всей свойственной ему резкостью и категоричностью это высказал: «Только самые невежественные люди могут игнорировать буржу азный характер происходящего демократического переворота; только самы наивные оптимисты могут забыть о том, как еще мало знает масса рабочи о целях социализма и способах его осуществления. А мы все убеждены, что освобождение рабочих может быть делом только самих рабочих; без созн тельности и организованности масс, без подготовки и воспитания их откр той классовой борьбой со всей буржуазией о социалистической революц

[1]) См. Ильин (Ленин), „За двенадцать лет“, стр. 433.

может быть и речи» [1]). Наша революция—буржуазная, говорили большевики; но перед ней лежат два пути: она может закончиться «выкидышем», по-прусски»,—сделкой самодержавия с либеральной буржуазией, к чему последняя всячески будет стремиться; либо же она окончится полной победой, «по-американски», общими усилиями пролетариата и крестьян. Но для достижения этой победы необходима «диктатура пролетариата и крестьян», для подавления неизбежного отчаянного сопротивления буржуазных и феодальных элементов общества. Выбор между этими двумя путями для нас не подлежит никакому сомнению. Мы должны взять твердый курс на второй путь, на «диктатуру пролетариата и крестьян». Из этого намеченного пути вытекала определенно тактика по отношению к разным классам и партиям, тактика, коренным образом отличающаяся от тактики старой «Искры», и на этот вопрос третий (большевистский) с'езд в своих разолюциях ответил совершенно ясно и недвусмысленно. В отношении либеральной буржуазии с'езд постановил: «Раз'яснять рабочим анти-революционный (еще пока не говорится «контр-революционный». А. М.) и противопролетарский характер буржуазно-демократического направления во всех его оттенках, начиная с умеренно-либерального, представляемого широкими слоями землевладельцев и фабрикантов, и кончая более радикальным, представляемым «союзом освобождения» многочисленными группами из свободных профессий». С другой стороны, в отношении крестьян, «социал-демократия ставит себе задачей самую энергичную поддержку всех революционных мероприятий крестьянства вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и удельных земель». Кроме того, ввиду того, что эс-эры перенесли центр своей деятельности с начала возникновения аграрного движения в крестьянство, с'езд постановил «в случае надобности входить во временные боевые соглашения с организациями соц.-революционеров, при чем местные соглашения могут заключаться лишь под контролем Центрального Комитета» [2]). Это была определенная тактика «левого блока», которую большевики во всю эпоху первой революции, начиная с весны 1905 г., сознательно с успехом применяли и на путь которой меньшевики против воли всегда вставали, тем самым подтверждая невольно ее правильность.

Гораздо труднее было с'езду решить вопрос об организации власти, тем более, что сам докладчик по этому вопросу, Ленин, признал, что вопрос этот еще не стоит непосредственно на очереди дня. Ввиду этого резолюция по вопросу об организации власти была принята еще весьма осторожная: «В момент появления временного правительства пролетариат требует от него осуществления своей программы-минимум». Затем «в зависимости от соотношения сил и других факторов, не поддающихся точному предварительному определению, допустимо участие во временном революционном правительстве уполномоченных нашей партии в целях беспощадной борьбы со всеми контр-революционными попытками и отстаивания самостоятельных интересов рабочего класса». Наконец, «независимо от того, возможно ли будет участие

[1]) См. ibid., стр. 419.

[2]) См. III очередной с'езд Р. С.-Д. Р. П. Полный текст протоколов, Женева 1905 г.

соц.-демократии» в нем, пролетариат должен оказывать на него «постоян давление» [1]). Резолюция таким образом говорила пока что только о «до стимости участия», но статьи в большевистском органе «Вперед» перед с' дом, но докладчик Ленин на с'езде и он же в своей брошюре «Две тактик после с'езда определенно говорят, что партия должна стремиться к это участию во временном правительстве «для осуществления революционно-де кратической диктатуры пролетариата и крестьян», что она при решительн победе революции будет «неизбежна», что в случае решительной побе революции «мы разделаемся с самодержавием по-якобински, или, если хоти по-плебейски», что такая революция, хотя и не выйдет из пределов буржу ной революции, «сможет перенести революционный пожар в Европу» и ч «значение такой победы будет гигантское для будущего развития России всего мира» [2]).

Итак, весной 1905 г. большевистский якобинизм поставил, наконец, точ над i и определенно заговорил о революционной диктатуре: Ту беспоща ную борьбу, которую старые «искровцы» в 1901—1903 г.г. вели с идеологи буржуазии во всех ее разновидностях, их прямые наследники—большеви собирались теперь, в 1905 г., в случае победы революции превратить в *физ ческую,* так сказать, борьбу с самой буржуазией. Тот режим диктатуры, ил как выразился Мартов, то «осадное положение», которое «старые искровц установили в 1901—1903 г.г. внутри с.-д-ой партии для ее ограждения буржуазных идеологических влияний извне и для ее лучшего приспособлен к бою, их преемники—большевики—собирались в 1905 г. в случае победы р волюции превратить в диктатуру, в «осадное положение» внутри всей стран т.-е. в самый бой.

Выставив лозунг «диктатуры пролетариата и крестьян» в буржуазн революции, пытались ли большевики ответить на тот вопрос, который я по нял в 1904 г. в своей брошюре «Две диктатуры»? Пытались ли они об'яснит как они избегнут тех огромных затруднений, на которые указывал Энгел в своей книге «Крестьянская война в Германии»? Да, они на это отвечал сначала подробно в двух номерах своего органа «Вперед» [3]), и затем Лен говорил об этом более кратко, но повторяя по существу то же самое, в свое докладе на III-ем с'езде партии и в своей брошюре «Две тактики». Они отв чали; но ответ их был неубедительный. Они, с одной стороны, с явной натя кой, чисто «рационалистически» истолковывали слова Энгельса и чисто «р ционалистически» решали вопрос; они, с другой стороны, в страстных, увл кательных, пламенных выражениях апеллировали к вере в революционно творчество. Суть их возражений сводилась к следующему: Энгельса нужн понимать в смысле «гибельности *непонимания* (курсив автора фельетон «Вперед») действительных исторических задач переворота». «Энгельс указ вает на опасность непонимания вождями пролетариата *непролетарского* (к

---

[1]) См. ibid.

[2]) См. Ленин, „Две тактики"—„За двенадцать лет", стр. 439—441.

[3]) См. „Вперед" № 13, 5/IV (23/III) 1905 г. и № 14, 12/IV (30/III)—„Социал-де кратия и временное революционное правительство".

ив автора) характера переворота». Какое же, говорили они, это имеет отношения к нам, когда мы с самого начала отдаем себе ясный отчет, что мы обираемся сделать демократический переворот, а не социалистический, не ролетарский; когда мы с самого начала открыто и определенно об этом аявляем, и когда мы к тому же «отгораживаемся и программой, и тактикой, организацией от революционной демократии»?! Правда, «при быстром ходе перед труднее отличить верный путь и быстро решить сложные и новые опросы», но нужно быть филистером, чтобы этого путаться и т. д. Теперь ама жизнь показала, как нужно толковать слова Энгельса. Теперь, особенно еперь, всякому ясно, что Энгельс говорил не о последствиях плохого «понимания» вождей, как писал «Вперед», а о последствиях их трудного «положения». Ведь большевистская партия до октября 1917 г. хорошо «понимала» на своей апрельской конференции говорила, что у нас возможны только первые шаги к социализму»; однакоже, придя к власти, она «должна» была ибо пойти к коммунизму, либо делать то, что она экономически «может», тогда бы она сейчас же лишилась революционной опоры в пролетариате. Вот это, именно, Энгельс и имел в виду, когда он совершенно ясно, черным о белому писал: «*Возможное* для такого вождя зависит не от его воли... другой стороны то, что такой вождь *должен* делать... также зависит не т него»... Другой вопрос: прав ли был Энгельс абсолютно или был только тносительно прав? Октябрьская революция показала, что Энгельс был прав, о лишь условно, относительно. Она показала, что при *известной исторической ситуации* партия, очутившись в таком трудном положении, какое описывал Энгельс, может, потерпев сильные аварии, все же выбиться на дорогу. Но не будем забегать вперед и вернемся к историческому прошлому.

Особую позицию в этом споре между большевиками и меньшевиками аняли в 1905 г. Л. Троцкий и Парвус. Исходя из анализа классового и экономического строения России, из анализа, как я уже говорил, сходного с тем, оторый меньшевистские теоретики давали *до революции*, они пришли к выоду, что соц.-демократия в случае победы *вынуждена* будет взять власть, бо пролетариат есть единственная движущая сила русской революции. Поскольку они согласны были с большевиками. Но, говорили они, и тут начиалось их расхождение с большевиками, придя к власти, социал-демократия е сможет удержаться в рамках буржуазной революции; логика положения революционные требования рабочих вынудят соц.-демократию выйти за ределы буржуазной революции, ибо «политическое господство пролетариата е совместимо с его экономическим рабством». Поэтому диктатура пролетариата *и крестьянства неизбежно приведет к гегемонии пролетариата* над рестьянством, к чисто социалистической диктатуре, которая «сотрет грань» ежду программой-minimum и программой-maximum. Но социалистическая революция в одной только России невозможна: «Без прямой государственной поддержки европейского пролетариата рабочий класс России не ожет удержаться у власти и превратить свое временное господство в длиельную социалистическую диктатуру. В этом нельзя сомневаться ни одной инуты, но, с другой стороны, нельзя сомневаться в том, что социалистическая

революция на Западе позволит нам непосредственно и прямо превратить временное господство рабочего класса в социалистическую диктатуру» [1]).

Л. Троцкий в 1905 г. рассуждал логичнее и последовательнее, чем большевики и меньшевики. Но недостаток его рассуждения заключался в том, что он был «слишком последователен». Та картина, которую он рисовал, весьма точно предвосхитила большевистскую диктатуру в первые три года октябрьской революции, которая, как известно, пришла в тупик, оторвав пролетариат от крестьянства, в результате чего большевистская партия вынуждена была отступить далеко назад. Но, ведь, надо еще иметь в виду, что Л. Троцкий предлагал эту тактику не в 1917 г., а в 1905 г., когда наш пролетариат был еще несравненно менее зрел и опытен и когда международное положение тоже еще гораздо менее созрело для социалистической революции, чем теперь. Если поэтому Троцкому и Парвусу удалось правильно указать большевикам на слабое место их платформы, не учитывавшей, что пролетариат неизбежно будет играть первую скрипку в революционном правительстве, и что он неизбежно будет стремиться к непосредственному осуществлению социализма, то большевикам, в свою очередь, нетрудно было указать Троцкому и Парвусу, что они не учитывают факта, что крестьянство у нас составляет огромное большинство населения, и что оно не позволит пролетариату проделать над собой социалистический опыт. Вот что по этому поводу писал большевистский орган «Вперед» в 1905 г., разбирая теорию Троцкого и Парвуса: «Неверны... положения Парвуса, что «революционное временное правительство в России будет правительством рабочей демократии», что социал-демократическое временное правительство «будет целостное правительство с соц.-демократическим большинством». Этого *не может быть*, если говорить не о случайных мимолетных эпизодах, а о сколько-нибудь длительной, сколько-нибудь способной оставить след в истории революционной диктатуре. Это не может быть, ибо сколько-нибудь прочной (конечно, не безусловно, а относительно) может быть революционная диктатура, опирающаяся на громадное большинство народа... Чтобы стать великой, чтобы напомнить 1789—1793 г.г. ...и превзойти их, она (революция) должна поднять к активной жизни, к героическим усилиям, к «основательному историческому творчеству» гигантские массы, поднять из страшной темноты, из невиданной забитости, из невероятной одичалости и беспросветной тупости. Она уже поднимает, она поднимет их, ...но, разумеется, о продуманном политическом сознании, о соц.-демократическом сознании этих масс и их многочисленных «самобытных», народных и даже мужицких вожаков не может быть и речи. Они не могут теперь же, не проделав ряда революционных испытаний, стать соц.-демократами не только в силу темноты (революция просвещает... со сказочной быстротой), а потому, что их классовое положение не есть пролетарское»... [2]).

---

[1]) Цитирую по ст. Радека в № 4 „Красной Нови" за 1921 г., стр. 167, 168.

[2]) См. „Вперед" № 14 2/IV 1905 г. „Соц.-демократия и временное революционное правительство".

Так наша партия билась над решением небывало трудной революционной проблемы, покуда, в конце 1906 года, не явился, наконец, Колумб, который открыл путь, или по крайней мере направление, по которому пойдет русская революция,—направление, лежащее как раз посредине между тем, которое намечали большевики, и тем, которое намечали Троцкий с Парвусом. Этим Колумбом, сделавшим счастливое открытие, был... Каутский, который находился в то время на крайней точке своего левения под впечатлением русской революции и под впечатлением той тактической линии, которую большевики взяли в этой революции. Когда сопоставляешь те прекрасные статьи, которые писал тогда Каутский после первого штурма русской революции с теми пошлостями, которые он пишет теперь, после первого штурма революции в Германии, то невольно приходишь к заключению, что Каутский способен воодушевляться революцией и рождать смелые, внешаблонные мысли, когда революция совершается далеко, в чужой стране, и что он, напротив, теряет ясность мыслей и впадает в малодушие, когда революция совершается у него дома и когда шум ее врывается в его тихий ученый кабинет.

Пути русской революции Каутский в то время, в 1906 г. определил в двух статьях. Одна из этих статей—«Движущие силы и перспективы русской революции» была ответом на анкету, разосланную Плехановым видным европейским социалистам, весьма коварно построенную (с наводящими вопросами) в расчете, что европейские социалисты смогут дать на нее только один ответ: так как русская революция буржуазная, то русская социал-демократия должна поддерживать оппозиционную буржуазию в ее борьбе с самодержавием. Вот что ответил на эту анкету Каутский [1]):

«Эпоха буржуазных революций, т.-е. революций, движущей силой которых являлась буржуазия, прошла, и для России прошла. И там пролетариат больше не придаток и орудие буржуазии..., а самостоятельный класс с самостоятельными революционными целями. Где пролетариат выступает таким образом, буржуазия перестает быть революционным классом. Русская буржуазия, поскольку она вообще ведет самостоятельную классовую политику и является либеральной, правда, ненавидит царизм, но еще больше ненавидит революцию, и ненавидит она царизм прежде всего за то, что видит в нем основную причину революции... постольку теперешняя русская революция не может быть названа буржуазной. Но из этого не следует, однако, что ее можно без дальнейших рассуждений назвать социалистической. Она ни в коем случае не может привести пролетариат к самостоятельному господству, к диктатуре (это слово и тогда уже Каутскому не нравилось! А. М.). Для этого пролетариат в России слишком слаб и неразвит. Во всяком случае весьма возможно, что в ходе революции победа будет на стороне соц.-демократической партии, и соц.-демократическая партия поступает очень правильно, воодушевляя своих сторонников уверенностью в победе, ибо невозможно бороться с

---

[1]) Karl Kautsky, „Triebkräfte und Aussichten der russischen Revolution", „Die Neue Zeit" 1906–1907, 1 Band, S. 331, 332, 333.

успехом, если с самого начала не рассчитываешь на победу. Но соц.-демократическая партия не в состоянии будет с одним лишь пролетариатом без помощи другого класса одержать победу... На какой же класс может опереться русский пролетариат?.. Общность интересов может быть прочной на все время революционной борьбы у пролетариата только с крестьянством и она должна послужить основанием для всей революционной тактики русской соц.-демократии... без крестьян мы скоро в России победить не можем. Нельзя, однако, ожидать, чтобы крестьяне стали социалистами... Социализм слишком противоречит условиям мелкого хозяйства... Теперешняя революция в деревне могла бы привести только к созданию крепкого крестьянства на основе частной собственности на землю... Конечно, могут быть сюрпризы. Мы не знаем, как долго еще протянется русская революция. Судя по формам ее, она так скоро не окончится. Мы не знаем так же, как она повлияет на зап. Европу»...

В заключение Каутский говорит: *«Мы сможем понять русскую революцию и ее задачи, если будем ее рассматривать не как буржуазную в обычном смысле слова, а как также не как социалистическую, но как своеобразный процесс на рубеже буржуазного и социалистического общества, который способствует разложению первого и подготовляет образование второго»...*

Другая статья Каутского—«Аграрный вопрос в России», написанная немного раньше, в самом конце 1905 г., конкретно иллюстрирует, какие экономические завоевания может сделать русская революция. Мы приведем и из нее несколько характерных выдержек [1]):

«Пролетарии и крестьяне слишком познали свою мощь, чтобы добровольно опять подползти под старое иго. И в данный момент не существует такой силы, которая могла бы их к этому принудить. Пока дело обстоит так, не может быть речи, чтобы Россия у международного денежного капитала опять получила кредит... Гораздо скорее, чем нового займа, можно ожидать противоположного—отказа от платежа старых государственных долгов... Это бы означало немедленное огромное облегчение для русского народа... Крестьяне говорят о том, чтобы отнять у монастырей их земельную собственность. Но революция, гонимая нуждой, на этом не остановится. Монастыри богаты золотом, серебром и драгоценными камнями, которые бесполезно скрываются в их сокровищницах... Крестьяне говорят о национализации царских и удельных земель. Но эти господа имеют не только земельные владения, у них есть также огромные богатства другого рода... Наконец, в России есть целый ряд капиталистических отраслей промышленности, которые фактически уже стали монополиями. *Если государство будет демократически преобразовано, то не будет никаких политических соображений против того, чтобы эти частные монополии уже сейчас не превратить, при сохранении капиталистического хозяйства, в государственные...* Но хотя эти меры еще не являются социалистиче-

[1]) См. K. Kautsky, „Die Agrarfrage in Rusland", „Die Neue Zeit" 1905—1906, S. 421—422.

скими, хотя они вначале приведут лишь к поднятию крестьянского хозяйства и капиталистической промышленности России на высшую ступень— *во всяком случае на ближайшую ступень к социализму*,—то их все же, тем не менее, может осуществить только социал-демократия, классовая организация сознательного *промышленного пролетариата*, ибо это меры *революционные*... Поскольку аграрные вопросы являются только вопросами о земле, можно и должно предоставить их решение самим крестьянам... Но, чего крестьяне не могут видеть... это связь между этими вопросами и всем процессом производства, их отношение к промышленности и промышленному пролетариату... Надо поэтому крестьянам это раз'яснить, или показать, что их положение еще очень мало улучшится от одной нарезки земли, что они должны требовать гораздо большего, но что они этого большего смогут добиться только через пролетариат, который один только сможет проявить необходимую беспощадность по отношению к имущим классам».

Из приведенных выдержек ясно видно, как Каутский в 1905—1906 г.г. себе представлял развитие руской революции: *Это будет революция на границе между буржуазной и социалистической; союз пролетариата и крестьян под гегемонией первого в борьбе с соединенными силами капиталистов и помещиков совершит буржуазную революцию в деревне и сделает первые шаги к социализму в городе, а там остановка будет за западно-европейским пролетариатом.* Сейчас же, как эти статьи появились, большевики приняли формулу Каутского, который в то время и в их глазах был еще первоклассным марксистским авторитетом, и таким образом одна половина нашей партии окончательно рассталась с той старой плехановской формулой русской революции, которая некогда сослужила огромную службу русской социал-демократии, но уже в 1905 г. стала тормозом для ее развития. Вооруженные этой новой формулой, большевики в 1917 г. готовились брать власть и к ней же они большим окольным путем опять вернулись в 1921 г., вложив, впрочем, в нее гораздо большее революционное содержание, чем вкладывал в нее Каутский. Но ведь надо иметь в виду, что с тех пор, как появились статьи Каутского, до поворота большевиков к «новой экономической политике» прошло 15 лет, и каких лет!

В заключение еще несколько слов об одном вопросе. Имели ли право большевики взять курс на «диктатуру пролетариата и крестьян» весной 1905 г., т.-е. еще до того, как они восприняли новую формулу революции, когда они еще были твердо убеждены, что наша революция будет буржуазная, и только буржуазная? Не было ли это с их стороны революционным авантюризмом? На этот вопрос, собственно, уже дал почти исчерпывающий ответ Ленин в своем докладе на III (большевистском) с'езде партии, когда он, возражая на статью Плеханова, сравнивал наше положение с положением союза немецких коммунистов во главе с Марксом в 1850 г., после поражения революции 1848 г. Проанализировав написанное Марксом в 1850 г. «Обращение» Главного Правления Союза Коммунистов, Ленин об'яснил на с'езде, почему мы в 1905 г. не мо-

жем и не должны рабски копировать то, что Маркс с полным основанием пре лагал делать коммунистам в 1850 г.: *В протекшей революции 1848 г. демо краты сорганизовались, сплотили свои силы, а коммунисты их растеряли.* По этому Маркс, ожидая в близком будущем нового под'ема революции в Герма нии, был уверен, что он вынесет к власти демократов. Соответственно с эти Маркс рекомендовал коммунистам заняться собиранием сил и их организацие и при ближайшем этапе революции не выходить из рамок крайней левой опп зиции демократам, стоящим у власти; лишь тогда, когда демократы себя ско прометируют, говорил Маркс, нужно будет их опрокинуть, выкинув флаг с циалистической революции. У нас, в 1905 году положение было противопо ложное: *наши демократы, поскольку они вообще существовали, представля бессильную, распыленную массу; единственной организованной силой бы соц.-демократия.* При таких условиях решительная победа революции мог вынести к власти только соц.-демократию. Должна ли была она отказывать от этого, а заодно отказаться и от доведения революции до победного кон из одного только опасения, что ей с властью трудно будет справиться в усл виях буржуазной революции? Не было ли бы это величайшим филистерство Ленин был прав. Большевиков можно было бы обвинять лишь в том случае авантюризме, если бы они непосредственно стремились к диктатуре прол тариата в условиях, когда есть на-лицо другая, более созревшая для власт сила, способная двигать революцию вперед, и когда лозунг диктатуры прол тариата только бросал бы палки под колеса революции. Но этого не был поэтому большевики обязаны были выставить этот крайний революционны лозунг, противопоставляя ожидающим их впереди большим затруднениям сво большой революционный энтузиазм и свою веру в творческую силу марксис ского разума, и мы убедились в эпоху октябрьской революции, что марксист ский разум большевиков действительно указал им, как обойти те затрудне ния, о которых говорил некогда Энгельс.

В описанном мною споре 1905 г. между меньшевиками и большевикам выявились две тактики. Для меньшевиков—в начале бе слово. Таким «сло вом» для них была, например, тактическая платформа Маркса средины про шлого века, а наипаче старое «слово» Плеханова о «буржуазной революции» Для большевиков, рвавшихся вперед с необузданностью молодых варваров— с начала было дело! (Im Anfang war die That!) и, делая это дело революции они в процессе борьбы учились (и учились часто у самих меньшевиков, как русский «варвар» Петр учился у «европейцев» шведов) и, учась, находил в себе при помощи диалектики марксизма подходящие для момента новые «слова» [1]).

(Продолжение следует.)

---

[1]) В следующей главе я покажу, как большевики в школе первой революции об чались тактическому искусству часто при активном или пассивном содействии их фра ционных противников. Там же я укажу, на какую социальную базу опирались больш вики и меньшевики на последовательных этапах своего развития.

Либерализм—царизм—революция.

Какова роль русского либерализма в судьбах русского царизма? В ка-
ких отношениях находился он с дворянско-бюрократическим самодержа-
ем? С кем, как и во имя чего боролся русский либерализм? Как он отно-
лся к революции? В частности, какую позицию занимал либерализм в пе-
од, когда революция окончательно ликвидировала российскую монархию?

Необходимо точно установить исторические факты и представить в
тинном свете взаимоотношения между либерализмом, царизмом, револю-
ей,—на протяжении 1905—1917 г.г. Это нам нужно для того, чтобы мы
авильно могли ориентироваться в недавнем прошлом России, это нам не-
ходимо для уяснения себе дальнейших судеб русского либерализма.

I.

Русский либерализм был вызван к политической жизни и деятельности
шь в результате массового революционного движения. Если на Западе
берализм начинал борьбу с царизмом, втягивал в эту борьбу массы, руко-
дил ею и подчинял ее своему влиянию, то в России, наоборот, борьба ра-
чих и крестьянских масс толкала либерализм на борьбу с абсолютизмом.
м энергичнее действовали массы, тем громче кричали либералы о необхо-
мости уступить... им, создать единый фронт «правительства и общества»,
обы общими силами утвердить «порядок».

Либерализм оформился в виде политических партий во время первой
волюции. Он имел две основных партии: 1) «Конституционно-демократи-
ская партия (народной свободы) (кадеты)» и 2) «Союз 17-го октября (ок-
бристы)». Кадетская партия представляла собою *левое* крыло либерализма,
тябристская партия—*правое*, консервативное крыло либерализма, точ-
е—национал-либерализм. Другие либеральные партии и группы (мирно-
новленцы, партия правового порядка, прогрессисты, партия демократиче-
их реформ и т. д.) не играли в политической жизни страны существенной
ли, примыкая в основные моменты то к кадетам, то к октябристам.

На какие социальные слои опирались эти партии?

Начнем с *кадетов*. Их социальная база это *среднее, отчасти крупное
млевладение, средняя, отчасти крупная буржуазия*. Кадетская партия со-

ставилась из группы «земцев-конституционалистов» и «Союза освобожде ния». Оба эти об'единения вышли по-преимуществу из земско-дворянско среды. Наглядное представление о социальной природе кадетской парти дают данные о составе кадетской фракции 1-й государственной думы. *Дво ряне в ней составляли более 60%. 73% членов фракции являются земл владельцами,* при чем 41% членов фракции имеет более 100 десятин каж дый, 32%—более 500 десятин каждый, 7%—от 2.000 до 10.000 дес. каждый *Половина всех крупных землевладельцев, выбранных в думу, вошла в соста кадетской фракции.* Городская буржуазия почти целиком отдала свои голос кадетам.

На-ряду с этим кадетской партии, обладавшей широкой политическо прессой, легальным партийным аппаратом и значительными силами для ве дения избирательной кампании, удалось привлечь на свою сторону известны круги мелкой буржуазии, верхушки торгово-промышленных служащих т. д. Но это обстоятельство, разумеется, ни в какой степени не меняло клас совой сущности кадетской партии. Она оставалась партией буржуазно помещичьей коалиции. Эти два слоя в партии постоянно «чувствовались». По мещичьи элементы занимали в ней правое крыло, ими возглавлялись таки столпы либерального дворянства, как Петрункевич, Родичев, Набоков. Бур жуазные, городские элементы в партии стояли в центре и на левом фланге Их вожди—Милюков, Винавер, Колюбакин, Мандельштам,—впоследстви Шингарев, Некрасов.

Присмотримся теперь к партии *октябристов.* Она, как и кадетская пар тия, была в социальном отношении коалиционной—одновременно опиралась на элементы помещичьи и буржуазные. Ее основой было *крупное землевла дение,* но видную роль в ней играла и крупная торгово-промышленная, по преимуществу московская, буржуазия. По землевладельческой линии ее вождями были Хомяков, Шипов, Родзянко, по крупно-буржуазной—Гучков и Крестовников.

Во второй Государственной Думе около 80% октябристских депутатов были избраны от землевладельцев, остальные—от городской буржуазии.

Социальный характер русских либеральных партий и определял их от ношение к царизму и революции. Как в различные периоды складывались эти отношения?

* * *

В XX век Россия вступила в качестве капиталистической страны. Но развитие капитализма в России встречало на своем пути серьезнейшие пре пятствия в политическом строе государства, в политическом и социальном положении трудящихся масс, прежде всего крестьянства. Царизм означа сохранение бесчисленных остатков крепостничества в деревне, прежде всег сохранение в руках кучки дворянства огромного количества земель. Кре стьянство было связано по рукам и ногам, оно задыхалось от земельно нужды, его разоряла политика царизма. При таких условиях крестьянств не могло создать мощного внутреннего рынка для капитализма, деревня н

могла быть вовлечена в полной мере в капиталистический кругооборот. Интересы дальнейшего развития России требовали раскрепощения крестьянства, демократического решения вопроса о земле, ликвидации политического и экономического господства дворянства.

Русский либерализм понимал необходимость изменения политического и социального режима в стране. Среднее и отчасти крупное землевладение понимало необходимость постановки помещичьего хозяйства на новые, европейские, аграрно-капиталистические рельсы. Буржуазия понимала, что для развития производительных сил в стране необходимо снять с нее крепостнические путы. Но, понимая все это, либерализм тем не менее не решался на серьезную борьбу с царизмом. В течение десятилетий дальше просьб, ходатайств, всеподданнейших адресов и либеральных резолюций—дело не шло. Если бы судьба самодержавия зависела от либерализма,—трон царя и по сие время был бы не поколеблен.

Бессилие и безволие либерализма об'яснялось, разумеется, его собственной социальной природой. Помещичье крыло либерализма являлось частью российского дворянства. Дворянское землевладение опиралось на монархический строй. Можно и нужно было, с точки зрения либерализма, вносить «поправки» в этот строй, но «подрывать основы», «колебать устои» он считал совершенно невозможным.

Буржуазия также не могла вести более или менее серьезной борьбы с царизмом по целому ряду причин. *Во-первых, социально и экономически она* была крайне слаба,—господствующей силой в российской промышленности был иностранный капитал. Во-вторых, русская буржуазия в значительной мере экономически зависела от правительства. А затем,—и либеральное дворянство, и буржуазия смертельно боялись «улицы», боялись развязывания революции, решительного выступления на историческую арену рабочего класса. Наши капиталисты и помещики не могли не учитывать опыта революций девятнадцатого века, которые неизменно сопровождались революционным выступлением рабочего класса со своими классовыми требованиями. Наши капиталисты и помещики, конечно, великолепно знали, какую силу в себя представляет российский рабочий класс, уже имевший сравнительно большой опыт массовой революционной борьбы с царизмом и буржуазией.

В пятилетие 1903—1907 гг. буржуазно-помещичья Россия очутилась,—помимо своей воли, разумеется,—между двумя активно действующими силами: революционным рабочим классом, с одной стороны, и царизмом,—с другой. Революционное движение в известных пределах было на руку либерализму постольку, поскольку оно позволяло ему шантажировать царизм, требуя от него уступок для себя, настаивая на разделе власти между ним и реакционным дворянством. Но одновременно царизм был абсолютно необходим либеральной буржуазии и либеральному дворянству, поскольку он охранял их имущественные права и привилегии от посягательств рабоче-крестьянской массы, поскольку царизм являлся наиболее мощным оплотом против слишком широкого размаха революционной волны.

Перед лицом все нараставшего народного движения либерализм став себе задачей—добиться осуществления необходимых, с точки зрения буржуа ного развития России, реформ, путем парламентарного, легального, «зако ного» *давления* на царизм. В 1904—1905 г.г. либерализм мобилизует всю зе ско-городскую, т.-е. высоко-цензовую дворянскую, торгово-промышленн Россию для того, чтобы побудить царизм пойти навстречу требованиям «о щества». Вождь либерализма Милюков убеждал имущие классы «выск заться решительно и определенно» за реформы, за конституцию, «чтобы дать жизни сделать их дело как-нибудь стихийно без них». Иными слова гр. Милюков уговаривал либеральных помещиков и капиталистов добиться царя уступок без революции, до революции. Он, конечно, понимал, что ес вопрос о власти и связанные с ней вопросы будут решены «стихийно», пут революционным, то это неизбежно повлечет за собою покушение на «св щенную частную собственность», это поставит под вопрос политическое экономическое господство имущих классов.

И нужно сказать правду, в течение 1904—1905 г.г. имущая Россия пр явила совершенно несвойственные ей энергию, настойчивость и смелость,- в пределах «законности и порядка», разумеется. На целом ряде с'ездов, банкетах, в бесчисленных резолюциях, адресах, депутациях, газетн статьях буржуазия и либеральное дворянство убеждают дворянского ца стать «царем всея Руси», дать обществу конституцию, т.-е. допустить к вл сти буржуазию. Насколько необычайна была эта словесная борьба для либ рализма, видно из того, что гр. Милюков свой сборник статей этого перио озаглавил: «Год борьбы»! И здесь, в одной из своих статей, уже в нача 1906 года, он говорил буквально следующее:

«*Редкое, героическое время!* Скоро, быть может, оно кончится, тем больше мы должны дорожить его последними минутами».

Либералу удивительным героизмом казалось его собственное верноподда ническое выступление перед царизмом с ходатайствами о замене реакционн зубодробительного режима скромненькой монархической конституцией,— правами и свободами для социальных верхов! Героического не было ничего борьбе либерализма, хотя бы потому, что этот «героизм» был вынужденны подневольным: либералы боролись под непрерывным фактическим давление революционной «улицы». Стихия по-своему шла к решению основного для Ро сии вопроса о царизме, и буржуазии поневоле приходилось торопиться, чтоб до победы революции наладить сделку с царизмом, дать царизму новую, боле широкую, чем реакционное дворянство и бюрократия, опору, дабы, в случа продолжения революционного движения, обрушиться на него всей силой «обно вленной» власти.

Либерализм готов был помириться на малом, он соглашался на саму куцую конституцию. Летом 1905 года он с восторгом приветствовал зако совещательную булыгинскую думу и готовился устроиться под ее крыш «в серьез и надолго». В вопросах земельном и рабочем его программа бы более чем скромна. Но по мере усиления и расширения революции и пр грамма либерализма постепенно расширялась, принимая все более «прил

ный вид», все более «демократический вид». Разумеется, правый фланг либерализма менее охотно и с большим опозданием, чем его левый фланг, соглашался на «демократическую» программу, но в конце концов революционное движение и на него производило достаточно сильное впечатление, чтобы заставить его признавать, с теми или иными ограничениями, основные требования трудящихся.

Чем сильнее росла волна революции, тем больше либерализм ощущал в себе потребность разыгрывать из себя приверженца и друга народа. Наиболее энергично политику словесного приспособления к революции проводила кадетская партия. Высшей точки эта приспособляемость достигла в знаменитые октябрьские дни 1905 года. Как раз в эти дни в Москве заседал первый учредительный с'езд кадетской партии. Он прошел под знаком приветствий и сочувствий к рабочему классу за его героическую борьбу С'езд выразил свое сочувствие октябрьской забастовке, как *мирной* революционной форме борьбы! Но одновременно с'езд высказался против «детских» лозунгов вооруженного восстания и демократической республики. С'езд принял «радикальную» рабочую программу и высказался за принудительное отчуждение земель. Но отчуждение должно было сопровождаться выкупом по справедливой оценке. Насколько «справедлива» могла быть эта оценка, видно из того, что, согласно внесенного впоследствии в думу кадетского законопроекта, *помещики за «свою» землю должны были получить около шести миллиардов рублей*, при чем около трех миллиардов из этой суммы должно было достаться 9.500 крупнейшим помещикам! Таким образом, на практике кадетское «принудительное отчуждение» означало бы *превращение помещиков в буржуа*—за счет крестьянства. В конце концов, помещик от этой операции, разумеется, ничего бы не потерял.

Но вернемся к тактике кадетской партии в октябрьские дни. Продолжая словесное приспособление к революции, гр. Милюков в тот период декламировал:

«Мы не принадлежим к числу тех, которые ставят на одну доску «тиранию революции» с «тиранией самодержавия»... Мы хорошо понимаем и вполне признаем *верховное право революции*, как фактора, создающего грядущее право в открытой борьбе с историческим правом отжившего уже ныне политического строя».

Но, признавая «верховное право революции», «сочувствуя» «мирной» всеобщей забастовке, кадеты одновременно и неуклонно ведут политику *примирения и соглашения с царизмом против революции.* Гр. Милюков убеждает главу царского правительства Витте «не упускать дорогое время», не отклонять от себя протянутую руку либерала, итти с ним на соглашение. Уговаривая царское правительство, одновременно либералы уговаривают революционеров не вести вооруженной борьбы с царизмом, не ставить в порядок дня революционного свержения самодержавия, а ждать, пока либералы сторгуются с правительством «его величества». После манифеста 17 октября, т.-е. после того, когда, по мнению либералов, Россия уже стала кон-

ституционной и парламентарной страной, революционную борьбу они в ос
бенности считали «безумием» и «преступлением».

За октябрьской забастовкой последовала ноябрьская забастовка, а з
тем и декабрьское вооруженное восстание в Москве. На местах широко ра
лились аграрные волнения, в ряде мест вспыхнуло восстание солдат и м
тросов. Одновременно рабочий класс в Петрограде поставил в порядок д
осуществление 8-часового рабочего дня революционным путем. Либер
лизм увидел, что начинается *новый этап революции,* что массы продолжаю
борьбу за более радикальное разрешение вопросов революции, чем того ж
лают имущие классы. И вот в течение ноября-декабря *либерализм поворач
вает резко направо.* Подавляющее большинство кадетов обещает правител
ству широкое содействие и поддержку «общества» в деле борьбы с револю
цией. Московские баррикады вызывают взрыв злобного бешенства в ряд
этой дворянско-буржуазной партии. *Правый либерализм именно под вли
нием ноябрьских событий обособляется в особую политическую парти
17-го октября.* Лидер партии *Гучков* заявляет, что их задача *поддержат
правительство в борьбе с революцией.*

Правый либерализм считал, что манифест 17 октября это именно т
что нужно буржуазно-помещичьей верхушке, что дальше ни шагу не следуе
сделать вперед. Революция должна быть решительно прекращена, и для это
необходим *полный, неразрывный союз с царизмом.* Таким образом, *прав
либерализм перестает быть оппозиционным по отношению к царскому пр
вительству течением и целиком переходит в его лагерь.*

Кадетская партия сохранила за собой звание «ответственной» оппоз
ционной партии. Но она отныне считала своей обязанностью бороться
против царизма, а все свои силы направляла против революции. В эпоху пе
вой думы она надеялась стать у власти. Она считала, что правительств
царя сдержит данное в октябре слово, исполнит манифест 17 октября и те
поставит Россию на правильные рельсы буржуазного развития. Кадеты н
позволяли себе ни одного резкого жеста, ни одного «грубого» слова в отн
шении царизма. Они олицетворяли собой преклонение перед «конституцио
ной законностью» и «нарождающимся парламентаризмом». Они оказывал
решительное противодействие всякой попытке левых фракций думы опе
реться на массовое революционное движение в борьбе с царизмом.

В итоге либерализм оказал царизму неоценимую услугу,—можно даж
сказать—он *спас царизм в революции 1905—1906 г.г.,*—спас тем, что бо
ролся с массовым революционным движением, систематически угашал в на
роде дух борьбы, сеял конституционные иллюзии, возбуждал совершенн
неосновательные парламентские надежды, обелял царизм перед Европой (
России парламент, в России конституция). Не будь такой поддержки со сто
роны либерализма, оставаясь лицом к лицу с рабочим классом и все бо
поднимавшимся на борьбу крестьянством, царизм вряд ли избегнул бы сво
гибели еще в 1905—1906 г.г.

* * *

3 июня 1907 г. царизм разгоном второй думы и изменением избирательного закона, передающего «народное представительство» в руки буржуазно-капиталистической верхушки, закрепил за имущими классами, и прежде всего за дворянством, победу над революционными низами. Победив революцию, царизм поставил себе задачу—разрешить поставленные историей на очередь дня вопросы *сверху*, по дворянски, по бисмарковски. Среди таких вопросов первое место занимал земельный вопрос. Царизм решил этот вопрос решить двумя путями: *разрушением общины*, выделением из нее «крепких», зажиточных слоев на отруба и хутора и *переселением* безземельных и малоземельных крестьян в Сибирь. Таким путем царское правительство думало создать внутренний рынок для капитализма. Одновременно царизм ставил своей задачей расширение внешних рынков путем более *энергичной внешней политики* прежде всего на Ближнем Востоке,—в Турции и Персии. Не оставляло царское правительство без «внимания» и рабочий класс, для которого была выдвинута система «рабочего законодательства»,—прежде всего законы по *страхованию* от болезней и несчастных случаев.

Программа, выдвинутая и проводимая царизмом под руководством первого министра *Столыпина*, была весьма далека от программы либерализма. Но либерализм сам охотно отказывался от всей той программы, которую навязала ему революция. Кадетская партия, после того как победа столыпинской реакции стала бесспорной, выкинула вон «принудительное отчуждение» земель, раз'яснив, что этот пункт был принят в свое время партией под давлением «чрезвычайных обстоятельств». В земельном вопросе кадеты в основу приняли столыпинскую программу ставки на «крепкого», хозяйственного мужика, и кадетские публицисты (Изгоев, Струве, Трубецкой) стали мечтать о том, как Столыпин им подготовит новую социальную базу, опираясь на которую, кадетская партия станет могущественной. В области рабочего вопроса кадетская партия фактически отказалась от всей своей «демократической» программы, прежде всего от 8-часового рабочего дня. В области внешней политики кадетская партия целиком стояла на позиции крайнего империализма,—в этом отношении она свою «оппозиционность» проявляла в том смысле, что требовала от царизма возможно более энергичной и последовательной политики захватов.

Позиция правого, октябристского, либерализма за рассматриваемый нами период сливается с позицией столыпинского правительства.

В общем, за период 1907—1910 г.г. мы имеем фактически блок Столыпина—Гучкова—Милюкова, т.-е. *блок дворянства, бюрократии и буржуазии*. Платформа блока: 1) *додушение революции*, устранение опасности новых революционных взрывов («предупреждение и пресечение»); 2) *разрешение земельного вопроса сверху* (созданием хозяйственно-мощной мелкой собственности открыть дорогу капитализму в деревню, одновременно выбрасывая в город необходимые промышленности свободные рабочие руки); 3) *расширение внешних рынков* (проливы, Персия, Галиция и т. д.).

Однако в течение 1911—1914 г.г. блок этот постепенно расстраивается, перед войной мы среди имущих классов имеем полный раскол. *Инициатива*

в расколе все время принадлежит царизму,—это он фактически постепен отталкивает от себя хоть сколько-нибудь либерально настроенные сл имущих классов и все более резко поворачивает *вправо.*

В 1910 г. правительство «создает» в думе партию националистов, главе с реакционными помещиками Крупенским и Балашовым. Октябрист получают «отставку»—правительственной партией в думе становятся н ционалисты. Политика правительства все более окрашивается в черны цвет, столыпинская программа постепенно отходит на задний план,—рук водящая роль постепенно переходит к откровенным крепостникам, «зубрам «диким помещикам». Для крестьян выдвигается «новая программа»: т *лесное наказание, розги* «за хулиганство», т.-е. за малейшее проявление н довольства. Предводители дворянства и земские начальники наделяют «чрезвычайными полномочиями» в деле борьбы с крестьянством. Нажим н земские и городские самоуправления усиливается. Националистическая по литика проводится бешеным темпом: царизм набрасывается на Финлянди и ликвидирует ее конституцию, набрасывается на Польшу и выделяет и нее Холмщину. Преследования «инородцев» принимает дикие формы. Евре обвиняют «в употреблении христианской крови», и в Киеве создается гну нейший *процесс Бейлиса.*

Одновременно во внешней политике за весь послеиюньский период ц ризм терпит ряд крупнейших дипломатических поражений. На мировой аре царская Россия уже не может командовать.

За период 1912—1914 г.г. либерализм мог констатировать следующи печальные для себя факты: 1) *Революция поднимает голову,*—рабочий клас снова появился на историческую сцену, он начинает борьбу, имея за собо богатейший опыт 1905—1907 г.г. 2) *Земельный вопрос не решен,* столы пинская отрубно-хуторская политика ничего существенного не дала,—бе помещичьей земли удовлетворить крестьянство не удалось. А оно начинае волноваться и прислушиваться к голосу революционных рабочих. 3) *В внешней политике царизм бессилен,* подготовка к войне ведется плохо (дан ные думской военной комиссии). 4) *В стране нет ни конституции, ни парла мента,* ни свобод, ни прав... Россия как бы вернулась к тому пункту, от ко торого она отправилась в 1905—1906 г.г.

От царизма начинается постепенный *отход* различных политически течений, раньше *целиком* его поддерживавших. Прежде всего *раскалываютс октябристы,*—левое буржуазное крыло октябризма во главе с Гучковым пе реходит в оппозицию. Правительство вместе с националистами некоторо время поддерживает дворянский октябризм,—так наз. «земцы-октябристы» в главе с Родзянко. Но вскоре «в оппозицию ушли» не только земцы-октябри сты, но даже часть националистов, так наз. «прогрессивные националисты во главе с Шульгиным и Савенко, даже часть правых, так наз. «умеренн правые», во главе с знаменитым Пуришкевичем. С правительством остала кучка крайних правых во главе с Марковым и Замысловским.

Дума начала решительную... словесную атаку против правительст Вождем и фактическим руководителем думской оппозиции выступал, ра

умеется, гр. Милюков. Правительство вместе с кадетами «громили» и октябристы, и «прогрессивные националисты», и «умеренно-правые». Фраза о «министерской чехарде» была пущена в ход накануне войны... Пуришкевичем. Дума дошла до такой степени оппозиционной «смелости», что отклонила бюджет министерства внутренних дел,—вещь, совершенно неслыханная в истории третьеиюньского «парламентаризма»!..

Но «смелость» вновь нашедшего себя русского либерализма об'яснялась, конечно, тем, что рабочий класс вел энергичную борьбу за революционное решение поставленных историей задач. Не желая революции, либерализм, как и в 1905—1906 г.г., требовал уступок для себя, выдвигал старый лозунг о «примирении власти с обществом»...

Что дала политика либерализма за 1905—1914 г.г.? На этот вопрос гр. Родичев—один из вождей кадетской партии—ответил кратко, но исчерпывающе. В 1913 г. в одной из своих речей он заявил:

— *Мы остались в дураках!..*

Но и после такого ценного признания кадетская партия, а вместе с ней и все другие право- и лево-либеральные течения, продолжали свою старую «дурацкую» политику уговаривания царизма. Иной политики они, очевидно, вести не могли.

II.

Началась мировая война, и произошло «чудо»: либерализм моментально забыл все преступления царизма, забыл об его гнилости и бездарности и единодушно об'единился вокруг него «в борьбе с внешним врагом». В воинственном опьянении он выразил царизму полное и безусловное доверие, прекратил всякую борьбу с ним, установил «священное единение» между «властью и обществом».

В первые недели войны правительство облегчало задачи либерализма тем, что само говорило о «доверии» и «единении». Но вскоре слова об «единении» были забыты, а в стране господствовал чудовищный белый террор. Рабочий класс был совершенно придавлен военно-полицейской машиной. Дабы окончательно обезглавить пролетариат, правительство в ноябре 1914 года арестовало и сослало в Сибирь большевистскую фракцию Государственной Думы...

Либерализм молчал. Он заговорил только тогда, когда начались катастрофические неудачи на фронте. За год с небольшим он проделал следующие этапы:

1) весна 1914 г.—европейский политический горизонт безоблачен; он ведет борьбу за власть; 2) лето 1914 г.—в Европе бушует стихия войны; он отказывается от борьбы за власть, об'единяется с реакционным правительством и дает обет молчания; 3) январь 1915 г.—разгул реакции принимает опасные для внешней борьбы размеры, он начинает волноваться и в думе «по секрету» «убеждает» правительство отказаться от реакционной политики; обет молчания соблюдается настолько свято, что *думская левая не может внести запроса по поводу ареста рабочих депутатов: либералы не*

дают своих подписей; 4) весна 1915 года—под влиянием внешних неудач он нарушает обет молчания и начинает «говорить». Мало-по-малу в движение приходит вся буржуазная Россия; 5) лето 1915 года—все аграрно-буржуазные фракции об'единяются на требовании министерства аграрно-буржуазного—сиречь—«облеченного доверием народа»... Буржуазия силой вещей возвращается к той тактике, которую проводила до войны...

Наибольший интерес представляет последний этап, явившийся преддверием февральской революции.

События шли с головокружительной быстротой. Падали крепости, оставлялись целые провинции, терпели страшные поражения армии, победоносно двигался неприятель все вперед и вперед... Правительство растерялось. Правительство испугалось результата своей преступной деятельности. Была созвана дума. Министры заговорили в немножко ласковом и благожелательном тоне, печать получила небольшое облегчение, «обществу» обещали «доверие», его «содействие» признали нужным и полезным.

Государственная Дума выставила следующие требования: «внутренний мир», «благожелательное внимание власти к интересам всех верных России граждан», «примирение и забвение старой политической борьбы», «тесное единение со всей страной правительства, пользующегося полным ее доверием».

Правительство выслушало требование думы и... «перешло к очередным делам». В России все осталось по старому. Вместо нового правительства, вместо полного обновления власти, на посты товарищей министров получили назначение члены думы октябрист Мусин-Пушкин и националист Волконский. Однако даже этот незначительный факт привел в восторг наших либералов. 2-го августа в честь ново-назначенных товарищей министров был дан банкет. Гр. Милюков на банкете радовался тому, что «*мы приближаемся» к ответственности министров!* Это приближение гр. Милюков увидел в назначении чиновниками октябриста и правого депутата!

Однако буржуазии в целом положение представлялось не в таких светлых красках, как гр. Милюкову и его друзьям. Она волновалась, выносила резолюции, произносила горячие речи, просила и умоляла отдать власть в ее руки. Но правительство оставалось глухо к ее голосу. Между тем, либерализм был убежден, что достаточно вотума думы, чтобы правительство сдало все свои позиции. Он и мысли не допускал о том, что правительство может и не считаться с думой 3-го июня, с думой, не имеющей за собой никакой реальной силы, чуждой и враждебной народным массам, бессильной предпринять что-либо решительное, смелое, опасное для старой власти. «Страна,—писала кадетская «Речь» в номере от 10 августа 1915 года,—*страна ожидала, что с созывом гос. думы, как-то само собой изменится решительно и политика кабинета».*

Конечно, так наивна была не страна, а господа либералы. Страна прекрасно понимала что дума не сможет заставить правительство уйти. Впоследствии это стало ясно и для г.г. либералов. Но тогда они считали думу органом, безусловно способным дать России обновление. Они возмущались и

негодовали на деятельность левых партий. В только что цитированной статье «Речь» горько жаловалась на то, что думская *«левая обращается к стране и смотрит на гос. думу не как фактор положения, а только как на средство воздействовать на страну»*. Кадет Маклаков заклинал *«вести борьбу не только с верхами, но и с низами, так как пробудились уже темные духи в этих низах»*. Гр. Алферов, представитель кадетов в городском союзе, восставал *против «возможных эксцессов черни и усиления крайних левых тенденций»...* Третьеиюньский «фактор положения» они противопоставляли стране, демократии, народным массам,—единственно страшным старой России.

В борьбе с вооруженной от головы до пяток старой властью они опирались на... силу слов прогрессивно-октябрьско-националистических депутатов. Но, борясь с демократией, выступая против пробуждавшегося революционного духа, ослабляя силу революции, либерализм ослаблял и свою силу в борьбе со старой властью. При отсутствии массового революционного движения, правительству ничего не стоило либеральный «фактор положения» превратить в фактор либерального поражения.

В средних числах августа в Москве состоялось совещание либерально-консервативных депутатов, промышленников, купцов, профессоров, земских и городских деятелей. Результатом совещания явился приговор московской городской думы о правительстве, пользующемся доверием страны. Приговор встретил единодушный отклик во всей буржуазной России... «По русской земле началась взаимная перекличка живых центров народной силы»,—писали по этому поводу кадетские «Русские Ведомости». «Заговорила не Москва, а в Москве заговорила вся Россия»,—вторило общему хору суворинско-меньшиковское «Новое Время».

Увы!—то была не подлинная народная Россия, то был не пролетариат, не крестьянство,—в Москве шумела цензовая Россия...

В гос. думе либерализм трудился над осуществлением буржуазно-аграрных лозунгов дня. Как трудился? Лейб-орган либерализма «Речь» 21 августа об этом сообщала следующее:

«Идет столь непривычная для нас *работа парламентских соглашений*. Будут ли результаты ее в полном соответствии с ожиданиями общества, в частности с ожиданиями Москвы? Мы не знаем, но этот опыт должен быть сделан. *В нем госуд. дума даст все, на что она в данную минуту способна»*.

Вы видите, 21 августа 1915 г. либеральный орган полон сомнений, он не знает, удастся ли наладить удовлетворительный «прогрессивный блок», и если удастся, то выйдет ли что из этого. «Фактор положения» уже не дает ему уверенности в победе. Но во всяком случае он считает необходимым сделать опыт».

Но у реакции не было никакой охоты ждать результата либеральных «опытов». Она призывала к действиям смелым, решительным, энергичным. Того же 21 августа издающаяся на казенные деньги черносотенная «Земщина» писала:

«Настала минута, когда нужно бросить бредни либерализма. Настала пора, когда насилие должно быть подавляемо силой, террор—террором».—«Раздать патроны солдатам!»—делала газета «практическое предложение».

И знаете, как на это заявление официозной газеты ответила «Речь»? Она не нашла ничего лучше, как поплакать о том, что против думы восстала *«черная и красная анархия»*. А через несколько дней гр. Милюков с думской трибуны стал распространяться о *«черно-красном блоке»*...

В момент, когда реакция апеллирует к силе штыка, либерализм клевещет на народ.

23 августа был окончательно сформирован «прогрессивный блок», и либерализм снова окрылился надеждой. Правительство, заявив, что не может взять на себя проведение в жизни программы блока, за разрешением вопроса о дальнейшей политике власти решила обратиться к царю.

«Совершая этот шаг (т.-е. обращение к царю), *министерство, несомненно, оказывает стране величайшую патриотическую услугу»*,—писала «Речь» по этому поводу в № от 29 августа. *Газета не сомневается, что царь согласится на образование нового кабинета министров* и что, таким образом, «величайшая патриотическая услуга» царских министров принесет России обновление. Она заботится теперь о другом, ее тревожит *«вопрос о выборе лица»*. Газета понимает, какой это важный вопрос, как здесь нужно остерегаться всякого «риска»... В длинных и туманных выражениях она намекает, что блокистский кандидат в премьер-министры—председатель общеземского союза *Г. Е. Львов.*

Однако вся эта история кончилась тем, что 3-го сентября дума была распущена, кабинет Горемыкина остался у власти. «Величайшая патриотическая услуга» оказалась бесплодной.

На с'ездах обще-земского и обще-городокого союзов 7—9 сентября была сделана последняя попытка *«об'единения царя с народом»:* было решено послать к нему *депутацию*. Известный либеральный земец *Е. Н. Трубецкой*, горячо настаивая на обращении к монарху, заявлял:

«Пусть весь мир увидит, что *не порвалась связь народа с царем в это тяжелое время. Мы будем лояльны и не пойдем мимо верховной власти, не станем на путь революции, когда страна в опасности»*.

А Г. Е. Львов, говоря о том единении, которое, по его словам, существует в стране, указывал, что *«это—единение не только общественных сил, но и единение царя с народом. Царь ждет этого единения, и мы идем с этим единением к нему»*.

Земско-городская депутация не была принята. Царь этим показал, что он совсем не желает того «единения», о котором говорили господа либералы.

Таким образом «фактор положения»—дума,—а с ней вместе вся буржуазная и земская Россия потерпели в борьбе с реакцией жестокое поражение. Черносотенное дворянство и бюрократия одержали полную победу над либералами по всей линии. Власть осталась в «твердых» руках. *Либерализм еще раз остался в дураках.*

* * *

6-го июня 1905 года русский царь любезно разговаривал с земско-городской депутацией, требовавшей конституции. В сентябре 1915 года царь уже не желал слышать либеральных речей о конституции—земско-городская депутация не была им принята. А 2-го марта своим *последним* указом царь «назначил» премьер-министром главу земского союза кн. Львова. Ясно для всякого, что различное отношение царя к либералам в различные моменты находилось в зависимости от того, *угрожала ли монархии опасность со стороны революции?* В 1905 году свистели ветры революции, и *поэтому* с либералами считали небезвыгодным разговаривать. В 1915 году масса революционной борьбы не вела, и царизму не было необходимости торговаться с либералами. В феврале 1917 года, в разгар революции, царь с величайшим бы удовольствием об'единился с либералами, да было уже поздно...

Однако, когда в сентябре 1915 года «протянутую руку отклонили»,—что же предпринял либерализм? В августе 1914 года было установлено «священное единение». Но вот Набоков в своих воспоминаниях пишет буквально следующее:

«К весне 1915 года обнаружилось, что *поддерживать Сухомлинова, Маклакова и Щегловитова* -*значит вести Россию сознательно к поражению и катастрофе.* И началась борьба».

Мы видели и начало, и конец—позорнейший конец—этой «борьбы». Ну, а после того, как царизм отверг «единение с народом», как же все-таки либералы думали спасти Россию от катастрофы? В данное время мы располагаем достаточным количеством данных, чтобы дать точный ответ на этот вопрос.

В течение зимы и лета 1916 года либерализм, можно сказать, находился в состоянии прострации. Он растерялся, но не знал, что делать, куда итти. Но к осени почувствовалось горячее дыхание революции. «Низы», возможное пробуждение которых приводило в ужас господ либералов, угрожающе подняли голову. Наметилась фактическая, настоящая ликвидация царизма со всеми его гнусными привесками, союзниками и защитниками. И вот, с отчаяния, в противовес революции снизу, либерализм выдвигает идею «революции сверху», попросту дворцовый переворот. На этот счет к настоящему моменту накопилось уже значительное количество материала. Начнем с «Истории» г. Милюкова. Он пишет:

«Испытав безрезультатно все *мирные пути,* общественная мысль получила *толчок в ином направлении.* В начале тайно, а потом все более открыто начала обсуждаться мысль о необходимости и неизбежности *революционного исхода».*

Но какие конкретно планы намечались? Гр. Милюков дает следующие сообщения:

«В обществе широко распространилось убеждение, что следующим (после убийства Распутина, И. В.) шагом, который предстоит в бли-

жайшем будущем, *будет дворцовый переворот при содействии офицеров войска.* Мало-по-малу сложилось представление и о том, в чью пользу будет произведен этот переворот. *Наследником Николая II называли его сына Алексея, а регентом,* на время его малолетства—*в. к. Михаила Александровича.* Из сообщения М. И. Терещенко после самоубийства *ген. Крымова* стало известно,что этот «сподвижник Корнилова» был самоотверженным патриотом, который *в начале 1917 г.* обсуждал *в тесном кружке подробности предстоящего переворота.* В феврале уже намечалось его осуществление. В то же время *другой кружок, ядро которого составили некоторые члены бюро прогрессивного блока с участием некоторых земских и городских деятелей, ввиду очевидной возможности переворота,* хотя и не будучи точно осведомлен о приготовлениях к нему, обсуждал вопрос о том, какую роль должна сыграть после переворота гос. дума. Обсудив различные возможности, этот кружок также остановился на *регентстве в. к. Михаила Александровича,* как на лучшем способе осуществить в России *конституционную монархию. Значительная часть членов первого состава временного правительства участвовала в совещаниях этого второго кружка;* некоторые, как сказано выше, знали и о существовании первого»...

Сообщение о кружке Крымова подтверждает в своих воспоминаниях Родзянко (см. «Архив революции», кн. VI). Деникин в своих «Очерках русской смуты» удостоверяет, что «в Севастополь к больному Алексееву (тогда нач. штаба верховн. главнокомандующего, И. В.) приезжали представители некоторых думских и общественных кругов и совершенно откровенно заявили ему, что *назревает переворот».* Далее Деникин указывает, что «думские и общественные круги подготовлены были к перевороту, а не к революции».

Но в каком виде предполагалось провести самый переворот? Целый ряд данных свидетельствует о том, что наиболее вероятным было *убийство Николая II.* Во всяком случае *планы цареубийства у господ либеральных заговорщиков были.* Милюков ничего не говорит о способе устранения Николая. Но вот другие данные. В № 1 «Научных Известий» наркомпроса В. Сторожев в статье о февральской революции, составленной по архивных материалам пишет:

«Еще 16 января сэр *Дж. Бьюкенен* «лично и секретно» телеграфировал А. Бальфуру из Петербурга о том, что «*генералы открыто говорят, что они более не желают государя*», что «в течение ближайших недель *что-нибудь произойдет или в форме дворцового переворота, или в форме убийства»,* и что *«последнее считается более вероятным».* Около 11 февраля Петербург был полон слухов о беспорядках».

Наконец, сообщение Набокова. В своих воспоминаниях, напечатанных в № 1 «Архива революции», покойный лидер кадетской партии писал:

«Милюков... *боролся за министерство общественного доверия за изолирование и обессиление царя* (раз выяснилось, что ни в како

случае и ни при каких условиях царь не может стать положительным фактором в управлении страною и в деле ведения войны), за возможность активного и ответственного участия творческих сил в государственной работе. Думаю, что *в течение зимы 1916—1917 г.г. для него выяснилась необходимость более решительного переворота собственно в отношении Николая II.* Но я полагаю, что он, как и многие другие, представлял себе *скорее нечто вроде наших дворцовых переворотов XVIII века и не отдавал себе отчета в глубине будущих потрясений*».

Мы, разумеется, ни в малейшей степени не огорчены тем обстоятельством, что «его величество» хотели «вывести в расход» люди, еще вчера клявшиеся ему в «лойяльности». Мы хотим тут обратить внимание читателя на другой момент. Летом 1918 года, окруженная со всех сторон врагами, революция ликвидировала Николая Романова и все его гнездо. И какой взрыв негодования пронесся по всему миру! Как возмущались все сторонники «права и справедливости»,—от истеричного ханжи Мартова до черносотенных погромщиков включительно! Какими только словами ни клеймили «большевистских варваров»! А теперь выясняется, что «культурнейшие», «корректнейшие» господа либералы сами собирались уничтожить «помазанника божия», чтобы заменить его другим более подходящим «помазанником», исправив таким образом совершенно очевидные с точки зрения либералов ошибки божества...

Но вернемся к вопросу о перевороте. Николай не мог стать «положительным фактором», говорит Набоков. Николай, в сущности, мешал успешному ведению войны. Заменить его Михаилом,—и все пойдет хорошо. Произвести наверху незначительную *передвижку фигур*, но так, чтобы система, чтобы «основы» и «устои» не поколебались, чтобы рабоче-крестьянская масса не сдвинулась с места, чтобы только экономически господствующий класс усилился и политически.

Заговор либералов был направлен против данного негодного монарха, *но за монархию, за царизм.* Другой, более широкой своей стороной *заговор направлялся против трудящихся.* Ведь переворот должен был снять гнилую верхушку с монархии, заменив ее новой,—следовательно, более сильной и прочной. По векселю истории либерализм хотел расплатиться такой мелкой монетой, как голова Николая II... Либеральная хитрость не удалась даже в самом узком смысле слова: они просто не успели предупредить революцию снизу. Но если б даже заговор против Николая удался, то неужели умницы либерализма серьезно думали, что дело могло ограничиться передвижкой пары фигур на верхах? Милюков,—свидетельствует Набоков,—«не отдавал себе отчета в глубине будущих потрясений». Милюков—бесспорно самый выдающийся человек буржуазной России—оказался таким ограниченным в политике. Милюков-историк—оказался таким не историчным. Орудиями XVIII века думал он разрубить сложнейший узел в двадцатом веке...

III.

Накануне революции либерализм сделал все возможное, чтобы предотвратить ее. В этом отношении об'единились целых три вида либерализма: дворянский, буржуазный и... рабочий. Ведь с призывами к «спокойствию», с предостережениями против «провокаторов» выступали не только Родзянко, Гучков, Милюков, но и меньшевик Гвоздев—в то время вождь «рабочего либерализма»...

Но революция все же произошла. Как к ней отнесся либерализм? Он до последней возможности цеплялся за самый последний обломок престола. Он сделал все возможное и даже, казалось, невозможное в дни революции, для того, чтобы спасти царизм, хотя бы в сильно ущербленном виде. Начиная с 26-го февраля до 2-го марта включительно, либерализм, в лице Родзянко, Шульгина, Гучкова, находился в сношениях с Николаем, сначала «умоляя» его «даровать» стране ответственное министерство, а затем, когда старое правительство было ликвидировано, продиктовав ему отречение в пользу Михаила, назначение верховным главнокомандующим Николая Николаевича и председателем совета министров—кн. Львова! Ведь это же замечательно—первый премьер «революционного правительства» имел в кармане мандат от «его величества»!..

Торгуясь с уже низложенным царем, выдумывая с ним всяческие комбинации, имевшие основной целью спасение династии, *одновременно* вожди либерализма—тот же Родзянко, Милюков, Гучков—ведут переговоры с Советом рабочих и солдатских депутатов об образовании первого революционного правительства. Но все же, принимая продиктованную советом революционно-демократическую программу, соглашаясь на всяческие свободы, вождь либерализма Милюков не хотел уступить в одном пункте: он во что бы то ни стало *и после революции хотел сохранить монархию*, правда, конституционную, парламентарную... 2-го марта Милюков на громадном митинге в Таврическом дворце об'являет, что наследником будет Алексей, регентом Михаил. Его заявление вызывает бурю негодования во всем революционном Петрограде. Милюков вынужден взять свое заявление обратно: это, мол. не мнение правительства, а мое личное мнение. Михаил отрекается. Монархия ликвидирована. Но она была ликвидирована не так просто, как это кажется широкой публике. *Либерализм хотел сделать последнюю отчаянную попытку сохранить трон силою штыка, уже после того, как революция разломала его на куски.* Остановимся на этом моменте несколько подробнее.

Родзянко в своих воспоминаниях сообщает любопытный факт. Осенью 1916 года, накануне открытия думской сессии, Родзянко собрал представителей блокистских партий и предложил им —

«Испросить коллективный доклад у верховной власти, в составе собравшихся представителей партий, в присутствии которых я бы вновь повторил все свои доводы и указания на *необходимость уступок...* Но этому воспротивились представители кадетской партии в лице ее лидера,

члена думы *Милюкова*, который находил, что *такое действие было бы актом неконституционным»*.

Обратите внимание, Милюков не хочет акта «неконституционного», и одновременно подготовляет убийство «конституционного» монарха. В чем тут дело? Коллективный доклад—это акт публичный, здесь «конституция» нарушается на виду у всех. Следовательно, подрывается авторитет «закона». Убийство царя—это, очевидно, акт непубличный, оно производится за кулисами, его можно соответственно об'яснить, а на сцене будет уже новая коронованная фигура... Толпе остается только поражаться ловкости господ Милюковых и награждать бурными аплодисментами их патриотизм. *«Народу» нужен символ,*—вот главный мотив либерализма. Нельзя публично посягать на этот символ, массы его должны почитать священным и неприкосновенным. Ибо за символом прячутся реальнейшие интересы имущих классов...

Н. Суханов, в своих «Записках о революции» сообщает, будто в ночь на 27 февраля на «указ о роспуске Госуд. Думы», сама «дума ответила *отказом разойтись*, избрав временный «комитет». Это было бы актом явно «неконституционным», даже, если хотите, революционным». Но на деле *ничего подобного не было*. Вот показания авторитетнейших свидетелей. Милюков сообщает:

> «Вместо зала заседаний Таврического дворца, члены госуд. думы перешли в соседнюю полуциркульную залу (за председательской трибуной) и там обсудили создавшееся положение. Там было вынесено, после ряда горячих речей, постановление *не раз'езжаться из Петрограда (а не постановление «не расходиться» гос. думе, как учреждению, как о том сложилась легенда)*. Частное совещание членов думы поручило вместе с тем своему совету старейшин выбрать временный комитет членов думы и *определить дальнейшую роль Гос. Думы* в начавшихся событиях».

Родзянко в своих воспоминаниях пишет:

> «В ночь с 26 на 27-ое февраля мною был получен *указ о перерыве* занятий Государственной Думы, и, таким образом, *возможности мирного улажения возникающего конфликта был положен решительный предел, и тем не менее дума подчинилась закону*, все же *надеясь найти выход* из запутанного положения, и никаких постановлений о том, чтобы не расходиться и насильно собираться в заседании, не делала».

Какой выход надеялись найти Родзянки и Милюковы? С одной стороны, они всем *вынужденным актам* последнего царя придавали форму «добровольного волеиз'явления» монарха. Об этом особенно заботились в Пскове Шульгин и Гучков, когда они в вагоне Николая давали ему на подпись различные документы (об отречении, назначениях и пр.). Все должно было носить такой внешний вид, будто просто у «помазанника божия» настроение переменилось, и он решил осчастливить «свой» народ. С другой стороны, *планы о перевороте сверху не оставлялись до последней возможности*. Вот сообщение Родзянко:

«25 февраля я по телефону в Гатчину дал знать великому кня Михаилу Александровичу о происходившем и о том, что ему сейчас нужно приехать в столицу, ввиду нарастающих событий.

27 февраля великий князь Михаил Александрович прибыл в Петр град, и мы имели с ним *совещание* в составе председателя государствен ной думы, его товарища Некрасова, секретаря государственной ду Дмитрюкова и члена думы Савича. Великому князю было во всей подро ности доложено положение дел в столице и было указано, что еще во можно спасти положение: *он должен был явочным порядком принять себя диктатуру над городом Петроградом, понудить личный состав пр вительства подать в отставку и потребовать по телеграфу, по прямо проводу, манифеста государя императора о даровании ответственно министерства.*

Нерешительность великого князя Михаила Александровича спосо ствовала тому, что *благоприятный момент был упущен*».

Таким образом, 27 февраля, в самый разгар революции, либерализм по готовляет «новую» *романовскую диктатуру* над Россией. Опираясь на «отве ственное министерство» буржуазии, Михаил Романов должен был потопи в крови рабоче-солдатское восстание... Но либерализму и тут не повезл После этой неудачи и после того, как к движению присоединился ряд полко и Петропавловская крепость, лишь после всего этого, в ночь на 28-ое февра либералы заявили представителям совета, что они «берут власть в свои руки Между советом и думским комитетом начинаются переговоры о составе пр вительства. Но *подготовка военной диктатуры продолжается.*

28-го февраля Родзянко делает попытку фактически *обезоружить солд* и снова отдать их в руки старого офицерства. И здесь неудача: на попыт либералов революция отвечает знаменитым приказом № 1-ый, закрепляющ за солдатами победу первых дней революции...

Николай отрекся «в пользу» Михаила. Мы знаем, что это именно т о чем мечтали либералы. Но мечта осуществилась слишком поздно—*тро уже нет*. Его нужно еще воссоздать, собрав отдельные кусочки и склеив народной кровью. Михаилу предстоит «принять» корону, которой нет, к торую нужно еще раздобывать. Народ и слышать не хочет о монархии. О может утвердиться лишь против воли всего восставшего народа, после тог как этот восставший народ будет вооруженной рукой раздавлен.

Два руководителя либерализма—Милюков и Гучков—решительно выск зались *за гражданскую войну в пользу монархии*. На совещании у Михаи Романова, где представители думы, в том числе и гр. Керенский, решали в прос о том, садиться Михаилу на престол или нет, Милюков говорил:

«Сильная власть, необходимая для укрепления народного рядка, нуждается в опоре привычного для масс символа власти. Врем ное Правительство одно, без монарха, является «утлой ладьей», кото может потонуть в океане народных волнений, стране при этих ус виях может грозить потеря всякого сознания государственности и п

ная анархия, раньше чем соберется Учредительное Собрание; *Временное Правительство одно до него не доживет».*

Люди менее решительные, чем гр. Милюков, указывали ему на опасности. Храбрый вождь либерализма отвечал:

«Хотя и правы утверждающие, что принятие власти (Михаилом) грозит риском для личной безопасности князя и самих министров, но на риск этот надо итти в интересах родины... К тому же *вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты в. князя».*

И историк Милюков грустно добавляет: *«Поддержал П. Н. Милюкова один А. И. Гучков».* У буржуазии не хватило смелости броситься в отчаянную схватку с народом, в которой им почти наверняка была обеспечена гибель. Ни «великий князь», ни «сами министры» не хотели подвергать риску свою «личную безопасность». О, у этих людей, у этого класса были самые кровавые мечты, самые подлые желания, но не было отваги, не было решимости жертвовать собою ради хотя бы своего общеклассового дела. Буржуазия всегда чужими руками делала свое классовое дело. На этот раз эти «чужие руки» взялись за *свое* дело, и потому «собрать военную силу» для защиты князей было уже невозможно.

Очень много внимания этой последней попытке либерализма спасти царизм уделяет в своих воспоминаниях покойный Набоков. Его сообщения и размышления на этот предмет весьма ценны. Набоков пишет:

«Была ли возможность предотвратить катастрофу, если бы и в самом начале Вр. Правительство поставило вопрос о *власти ребром, оперлось на госуд. думу,* не допустило бы политической роли Совета и Исполнительного комитета и, в случае *сопротивления, арестовало бы главарей?.. Милюков* утверждал, что в *первые дни переворота гарнизон* был в *руках гос. думы,* и если бы этот первый *момент* не был *упущен,* положение могло быть спасено... *Если бы династия удержалась на троне,* власть и ее престиж были бы сохранены».

Да, все было бы хорошо, но—одна беда:

«Вр. правительство не чувствовало реальной силы. Ибо с первых же дней его существования началась та борьба, в которой на одной стороне стояли все *благоразумные и умеренные, но—увы!—робкие, неорганизованные, привыкшие лишь повиноваться, неспособные властвовать элементы общества,* а на другой—организованные ракальи со своими тупыми, фанатическими, а порою бесчестными вожаками».

В другом месте своих воспоминаний Набоков пишет:

«Несомненно, для укрепления Михаила потребовались бы *очень решительные действия, не останавливающиеся перед кровопролитием, перед арестом Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских депутатов, перед провозглашением, в случае попытки сопротивле-*

ния, осадного положения. Через неделю, вероятно, все вошло бы в над жащие рамки. Но для этой цели недели надо было располагать реальны силами, на которые можно было бы безоглядно рассчитывать и безуслов опереться. *Таких сил не было».*

К этим ценнейшим признаниям прибавить нечего. Картина соверше ясна. Скрепя сердце, Милюковы, Набоковы и Гучковы манифест о восшест на престол переделали на манифест об отказе от престола, но средакти вали его так, чтобы можно было в любую минуту самым конституционн путем посадить на шею народа нового «помазанника божия»...

А гр. Милюков в своей «Истории» по поводу «отречения» Михаила е более грустным тоном пишет:

«Так совершилась первая капитуляция русской революции. Предс вители «думы третьего июня», в сущности, решили вопрос о суд монархии».

И опять же ужасно не исторично рассуждает историк Милюков! «От чение» Михаила—это именно капитуляция *перед революцией,* перед наст шей, народной, исторической революцией. «Отречение» Михаила это кр нелепейшей идеи «дворцового переворота»... «Дума 3-го июня» ничего решала,—все было *предрешено* рабоче-солдатским восстанием. Вообі основной вопрос о власти решался не тогда, когда Романовы бумажки п писывали, а тогда, когда рабочие и солдаты на улицу выходили, когда окру ный суд и охранка горели, когда над Петропавловской крепостью крас знамя поднимали. 3-го марта—день «отречения» Михаила—ничего особенн не произошло. Просто лишний раз либерализм остался.. в дураках.

* * *

Какова действительная роль госуд. думы, т.-е. русского либерализма, февральском перевороте? Милюков уверяет, что до вмешательства ду «движение продолжало быть бесформенным и беспредметным (?!), ч только дума дала ему «знамя и лозунг», что только *дума «превратила в стание в революцию».* Все это, разумеется, сплошные пустяки. Движение бы революционным восстанием против царизма, оно имело и «знамя и лозун и когда гр. Милюков попытался навязать ему свой лозунг о регентстве, встр тил решительный отпор. Думский либерализм вынужден был свои лозунги сколько отодвинуть в сторону и принять лозунги «беспредметного» дв жения.

Но когда и как вмешалась дума в ход революции? Вот несколько це нейших сообщений фактического свойства. 2-го марта Гучков говорил колаю перед подписанием бумаги об отречении:

«*Движение вырвалось из самой почвы и сразу получило ана ческий отпечаток, власти стушевались.* Я отправился к замещавш генерала Хабалова генералу Занкевичу и спрашивал его, есть *ли у*

какая-нибудь надежная часть или хотя бы отдельные нижние чины, на которые можно было бы расчитывать? Он мне ответил, что *таких нет и все прибывшие части тотчас переходят на сторону восставших.* Так как *было страшно, что мятеж примет анархический характер,* мы образовали так называемый временный комитет государственной думы и *начали принимать меры, пытаясь вернуть офицеров к командованию нижними чинами;* я сам лично об'ехал многие части и убеждал нижних чинов сохранять спокойствие. Кроме нас, заседает в думе еще *комитет рабочей партии, и мы находимся под его властью и его цензурой»* (См. В. Сторожев, «Научные Изв.» наркомпроса № 1).

Кажется, ясно? И роль Гучкова достаточно определенная? А Милюков довольно ловко дурачил меньшевиков 27—28 февраля, уверяя их, что *Гучков на улицах Петрограда организует оборону революции!* И меньшевики, развесив уши, верили кадетскому соловью-разбойнику! Ох, если б от Гучкова с Милюковым зависела оборона революции,—она живо была бы с'едена волками царистской реакции! А меньшевики даже не догадались бы, как это случилось... Но революцию обороняла восставшая масса, «улица», «стихия». И обороняла превосходно.

Послушаем теперь другого достоверного свидетеля, по иронии судьбы попавшего в либералы и чуть не в революционеры—Шульгина. Обращаясь к «его величеству», он говорил:

«*26-го вошла толпа в думу и вместе с вооруженными солдатами заняла всю правую сторону, левая сторона занята публикой, а мы сохранили всего две комнаты,* где *ютится так называемый комитет.* Сюда тащат всех арестованных, и еще счастье для них, что их сюда тащат, так как это избавляет их от самосуда толпы; некоторых арестованных мы тотчас же освобождаем. *Мы сохраняем символ управления страной, и только благодаря этому еще некоторый порядок мог сохраниться;* не прерывалось движение железных дорог. Вот при каких условиях мы работаем; *в думе ад, это сумасшедший дом. Нам придется вступить в решительный бой с левыми элементами, а для этого нужна какая-нибудь почва»* (В. Сторожев, там же).

Опять-таки, все ясно: революция бурным потоком ворвалась в думу, оттеснила в дальний угол вчерашних господ положения («мы сохранили всего две комнаты»), цитадель либерализма превратила в сборный пункт восстания. Когда говорится, что «дума» в эти дни была центром революции, то это верно только в том смысле, что *здание Таврического дворца,* где раньше заседала госуд. дума, стало центральным местом восстания. Здесь, в этом бывшем думском здании утвердился новый хозяин: *Петроградский Совет.* Это он стал фактическим и формальным, политическим и техническим центром восстания. Это он представлял собою первую фактическую власть революции. На этот счет довольно любопытные признания делает *А. Пешехонов* в своих недавно опубликованных за границей вос-

поминаниях (см. сборник «На чужой стороне»). А. Пешехонов, между прочим пишет:

«В думском комитете вопрос об организации власти на местах даже не поднимался... Для меня все яснее становилось, что *Совет рабочих депутатов решительно опережает думский комитет...* Когда последний еще обсуждал вопрос, принимать или не принимать власть, *Совет уже распоряжался,* у него был организован ряд комиссий, были назначены некоторые комиссары и т. д.».

Но вернемся к роли думы в революции. Весьма характерны рассуждения Родзянко. В своих воспоминаниях он пишет:

«Государственной думе *ничего не оставалось другого, как взять власть в свои руки* и попытаться хотя бы этим путем *обуздать нарождавшуюся анархию* и создать такую власть, которую бы послушались все, и которая способна была прекратить нарождающуюся беду.

Конечно, можно было бы государственной думе отказаться от *возглавления революции,* но нельзя забывать создавшегося полного отсутствия власти и того, что при самоустранении думы сразу наступила бы полная анархия и отечество погибло бы немедленно.

Дума была бы арестована и перебита в полном составе бунтующими войсками, и *власть сразу очутилась бы у большевиков,* а между тем. *думу надо было беречь,* хотя бы как фетиш власти, который все же сыграл бы свою роль в трудную минуту».

Пешехонов сообщает, что Родзянко окончательно решил «взять власть» после того, как по телефону позвонили в думу из Павловского полка и Петропавловской крепости и донесли о присоединении этих весьма крупных боевых единиц к революции. Конечно, Родзянко прав, когда говорит, что только «возглавление революции», т.-е. фактически только признание революции и словесное присоединение к ним спасло господ либеральных контр-революционеров от заслуженной ими расправы со стороны восставшего народа. Родзянко имел все основания получить пулю за свои изменнические сношения с Николаем и Михаилом, за все попытки революционному восстанию противопоставить белую диктатуру. Известно, что февральская революция была весьма «добродушной» революцией. Высшей точкой ее «добродушие» достигло тогда, когда господа Милюковы вместо «стенки» поставлены были во главе первого «революционного» правительства России.

И каким это издевательством над историческими фактами звучат слова о «возглавлении» либералами революции! Странное дело: неужели перед революцией только и было выбора—либо быть задушенной, либо быть «возглавленной» всеми этими буржуазно-помещичьими холопами монархии? Господа Родзянки и Милюковы *не возглавили, а попали в плен к революции.* А наивные «вожди» революции, вместо того, чтобы, по крайней мере, посадить достойных смерти пленников в революционную Петропавловку,—наградили их министерскими портфелями, т.-е. позволили им в результате народной

революции получить то, чего они хотели получить путем соглашения с царизмом!

Либерализм был пленником революции! Это подтверждают все без исключения факты и прежде всего «показания» Гучкова, Шульгина и Родзянко. Этот последний в другом месте своих воспоминаний пишет:

«Даже зданием и помещением государственной думы сразу же в первый день овладели вооруженные рабочие, чему воспротивиться было уже невозможно».

Кажется, ясно? А между тем, первая глава «Истории» гражданина Милюкова носит такое замечательное название: *«Четвертая гос. ду' i низлагает монархию!».* Чувство смешного потерял кадетский историк! Дума ведь пыталась *спасти монархию.* Это не удалось ей сделать по ому, что монархия была *низложена революцией,*—низовой, рабоче-солдатской, «стихийной», «уличной» революцией, той самой, которой либерализм всегда боялся больше всего на свете, против которой боролся он и в годы первой революции, и в годы реакции, и в дни могучего народного взрыва в феврале-марте 1917 года...

Чтобы покончить с вопросом о роли думского либерализма в революции, остановимся еще на одном ценнейшем документе, характеризующем состояние думы в решающий день 27-го февраля. Документ этот—протоколы частного совещания членов думы 27 февраля 1917 г. Они напечатаны в эс-эровской газете «Воля России», от 15 марта 1921 года. Вот картина, рисующаяся протоколами.

Совещание открывает *Родзянко* в 2 ч. 30 мин. дня. Он указывает на необходимость принятия какого-либо решения, но тут же замечает, что *«нам нельзя еще высказаться определенно, так как мы еще не знаем соотношения сил».*

Слово получает кадет *Некрасов.* Он говорит:

«У нас теперь власти нет, а потому ее необходимо создать. По моему, было бы правильно передать эту власть какому-либо пользующемуся большим доверием человеку вместе с несколькими представителями гос. думы. Таким лицом, по его мнению, был бы *генерал Маниковский».*

Прогрессист *Ржевский* указывает, что «медлить нельзя, народ ждет. Окружный суд уже взят, нужно скорее действовать». Он предлагает организовать комитет для сношения с армией и народом.

Трудовик *Дзюбинский* предлагает взять власть думскому сеньорен-конвенту.

Керенский просит собравшихся уполномочить его вместе с Чхеидзе об'явить восставшим войскам, что дума с ними солидарна и готова их поддержать.

Чхеидзе, поддерживая предложение Керенского, настаивает на необходимости уничтожения старой власти и замены ее новой.

Кадет *Шингарев,* отвечая Чхеидзе, замечает:

«Неизвестно, признает ли народ новую власть».

Выступает *Милюков.* В протоколах его речь записана следующ образом:

— «У нас здесь три предложения о власти: 1) Комитет из 10 лиц, но я не могу признать, что такой комитет мог бы диктаторст вать над всеми, в том числе и над нами; 2) Некрасовское—тоже п знаю неудобным. Чхеидзе и Дзюбинского—*создание новой власти нев можно,* так как для этого еще не настал момент. *Лично я не предлаг ничего конкретного.* Что же нам остается делать? Поехать, как предл гает Керенский, и успокоить войска, но вряд ли это их успокоит, *на искать что-нибудь реальное».*

Что именно? На заседании об этом лидер кадетов, судя по протокола ничего не говорил. Он был очень, очень осторожен, он отвергал все предл жения, в том числе предложение о поездке к войскам. Он, как и Родзянк считал еще лишним «высказываться определенно».

Проходит 40 минут. Заседание, повидимому, с небольшими перерывам продолжается. *Дзюбинский* предлагает *об'явить думу учредительным собр нием.*

Октябрист *Савич возражает:*

«*Толпа дать власти нам не может.* Дума для народа представля последнее убежище, и если она сделает какой-либо *незаконный ша* то она не может быть законодательным учреждением, тогда она больш не дума».

Шульгин подчеркивает, что

«*Мы не можем быть солидарны во всем с восставшей частью нас ления.* Представьте, что восставшие пожелают *окончить войну.* Мы н это *согласиться не можем»...*

Родзянко просит *торопиться.* Он считает, что «промедление времени— смерти подобно». Совещание кончается тем, что думскому сеньорен-ко венту поручается образовать Особый Комитет. Для чего, с какими целями Этого не знал никто...

Вот она, четвертая дума, «низложившая» монархию! Разве что-либо б лее жалкое, бессильное, безвольное можно представить? Дух смерти реял на русским либерализмом в день, когда погибала от ударов революции монар хия! Только обреченный класс мог иметь такое трусливое и ограниченн тупое «народное представительство»! Ни одной живой мысли, ни одного ж вого слова! Полная неспособность разобраться, понять, осмыслить проис дящее... Как хорошо, что сохранился документ, дающий фотографическ снимок русского либерализма в день, когда умирала навеки старая и рож лась новая Россия!..

IV.

Временное правительство было типичным буржуазно-помещичьим правительством. Такое правительство—справедливо рассуждал гр. Милюков—существовать без монарха не может. Монарх—глава дворянства. Русская буржуазия без дворянства, без старого бюрократического аппарата, без поддержки со стороны—как говорили в 1905 году—«исторической власти» сохранить за собою господство не сможет. С другой стороны, либерализм должен был отстаивать необходимость сохранения монархии еще и потому, что, как мы видели выше, помещики-дворяне играли в русском либерализме, особенно в его правом крыле, преобладающую роль.

Гр. Милюков оказался пророком: правительство буржуазии «потонуло в океане народных волнений», до учредилки оно «не дожило». Бесспорно, с точки зрения интересов буржуазии и дворянства, Милюков был прав, когда готов был итти на любой риск во имя сохранения монархии. Но бесспорно и то, что трудящиеся России с точки зрения собственных интересов так же были правы, когда уничтожили царизм—оплот векового рабства.

После укрепления февральской победы трудящихся либерализм «забыл» о монархии и поспешно встал под знамя республики. В конце марта кадетская партия на своем с'езде пересмотрела программу и внесла в нее требование республики. Около того же времени партия октябристов перекрасилась в «национально-демократическую республиканскую партию». Излишне говорить, что здесь мы имели просто перемену тактики, грубую попытку словесного приспособления к революции. На практике «республиканский» либерализм в течение весны и лета 1917 г. цеплялся за госуд. думу—этот жалкий обломок третьеиюньского режима—и *всеми силами противился провозглашению в России республики*. Русские меньшевики и эс-эры лишь под давлением событий 3—5 июля решились на «героический» шаг и уничтожившую царизм Россию об'явили республикой!

Да, написав на своем знамени «республику», либерализм все же ни на минуту не оставлял мечту о монархии. Впоследствии, уйдя в стан Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича,—либерализм уже откровенно работал на монархию, переходной ступенью к которой должна была послужить *единоличная военная диктатура*. Программа либерализма была в этот период ясна: восстановление полного экономического и политического господства дворянства и буржуазии посредством беспощадного подавления трудящихся масс, фактическая, а затем, при монархии, и формальная отмена основных завоеваний масс в революции.

Крушение белого движения вызвало *раскол в либерализме*. Поражение белых означало окончательную ликвидацию дворянского землевладения,—следовательно, и самого дворянского сословия. Чисто буржуазные элементы либерализма (группа Милюкова—Винавера—Коновалова), отсюда сделали вывод о необходимости разрыва с крахнувшим дворянством и «ориентации» на сторону того «крепкого» мужика, который должен народиться на очищен-

ной от дворянства земле. Правый фланг либерализма—от Гессена до Гучкова-остался на старой позиции буржуазно-дворянской монархии. Здесь «барс фон-Грюнвальдус, известный в Германии», прочно сидит на «историческом «камне» и ждет «Амальи». Он будет ждать годы и годы, ибо ведь другог пути все равно нет у него!

Не ждать, а активно хочет жить и действовать «левый», милюковски либерализм, «окончательно», «бесповоротно», «честно» ставший на позици «демократии», «республики», «народовластия». С гражданином Милюковым-вечным, казалось, хранителем знамени монархизма—этот замечательны поворот случился лишь после того, как на русской земле не осталось почт ни одного белого солдата. *Теперь* он готов молиться богу республики, ка молился всю жизнь богу монархии.

Для либерализма—это целая революция! Но для России вся эта «новая и «новейшая» тактика г.г. Милюковых — разговоры *вчерашнего* историче ского дня. Со своим «республиканизмом» либерализм находится на таком ж расстоянии от революции, на каком находился он в свое время со своим мо нархизмом. Буржуазная республика реакционна для современной Росси так же, как была реакционной буржуазная монархия для России вчерашнег дня...

Но каковы перспективы «левого» либерализма на его «новой», республи канской основе? Удастся ли ему распространить свое влияние на крестьян ские верхи, к чему так горячо стремится он и для каковой цели фактическ об'единяется с правыми эс-эрами? Нет, не удастся, ибо ведь всякому известн что *поворот Милюковых не программный, а тактический. Знамя республик они выкинули во имя монархизма, во имя реакции.* Во всем мире буржуази находится в союзе со всеми реакционными слоями, ибо иначе она власти н удержит. Тем более буржуазной республике Милюкова. потребуется возоб новление прочного союза с дворянством и закрепление этого союза под зна менем монархии.

«Республиканизму» «левых» кадетов никто, кроме вечно жаждущи «возвышающего обмана» правых эс-эров, не поверит. И не имеет права пове рить, ибо совсем еще недавно гр. Милюков очень вразумительно в свое «Истории» писал:

> «Суть правильной политики, приспособленной к действитель ному уровню массы, должна, пользуясь выражением Гладстона, заклю чаться в *«доверении к народу, ограниченном благоразумием».* Эта фор мула, разумеется, *не мирится с формулой полного и неограниченног народовластия.* Это надо ясно усвоить, определенно сказать себе и *сде лать отсюда надлежащие политические выводы.* В политике не сущ ствует абсолютных рецептов, годных для всех времен и при всех обсто тельствах. *Пора понять, что и демократическая политика не составля исключения из этого правила.* Пора усвоить себе мысль, что и в ее л зунгах не заключается панацей и лекарств от всех болезней».

Надо полагать, гр. Милюков целиком сохранил «благоразумие». И если он теперь поет хвалы «неограниченному народовластию», то всякий понимает, что это тоже своеобразное проявление... «благоразумия». Ибо ведь «в политике не существует абсолютных рецептов, годных для всех времен». Политика для гр. Милюкова—это дипломатия, т.-е. прежде всего *обман*. Цель обмана ясна. Тут уж господа либералы никого не... обманут...

Монархия и дворянство, старый либерализм и старая буржуазия неразрывно были связаны друг с другом. В основе это был единый фронт против народа. Под обломками старой России революция их всех похоронила вместе. Кончено! История сказала свое решающее слово. «Приговор окончательный, обжалованью не подлежит».

Этюд о К. Тимирязеве.

(К. Тимирязев как проповедник естествознания).

Мих. Завадовский.

„Им не нужны фиговые листки прекраснодушных людей. Великие люди велики и без них. Мы ценим их и ставим памятники. И ставим потому что ценим творчество. Такова живая жизнь, и мы е приемлем.

Когда вы всмотритесь в детали линий, по которым прошел резец Родена, вы различите и резки и угловатые черты... но в целом то, что делает ег бессмертным".

Из писем к слушателям.
„Высшая Школа" 1920 г.

Более талантливого и яркого проводника идей естествознания в широкие круги общества русская литература не знает.

Климент Тимирязев силен тем, что он был не только ученым, но и художником. Он относился к числу тех, кто умеет вкладывать в слова такую силу мысли, веры и чувства, которые не только убеждают, но, быть может, прежде всего и подчиняют. Тимирязев не только доказывал, но и внушал. Цельность натуры, глубокая уверенность в своей правоте и неизбежно вытекающая отсюда яркость чувств и речи роднит его с людьми, которые, подобно вихрю, увлекают за собою молодое, не окрепшее.

Мало сказать, что Тимирязев был блестящим популяризатором естествознания, его сила в том, что блестящая речь таила в себе веру и убежденность проповедника. Красота научного метода для Тимирязева была почти предметом культа, а пропаганда—миссией жизни. Вот почему все его статьи несут на себе след не только ума, но и художественной цельности, законченности и яркости. Слова и фразы спаивались единством чувства огневой натуры.

Единство мысли и чувства—тайна его влияния на молодые умы в прошлом и настоящем.

Людей с подобным устремлением мы называем гениями и талантами.

Сила их мысли едина с силой их гипнотизирующей воли и веры.

В каждой книге, в каждой статье и даже фразе К. Тимирязева сквози *свое*, продуманное и проработанное, одобренное и самоутвержденное.

Он не писал по заказу. Все его статьи согреты пламенем настроения.

Ключ к Тимирязеву я вижу в его речи — «Луи Пастёр» (или: Значение науки).

В ней сквозит такая полнота понимания научного творчества, такая стремительность мысли и чувства, и знание существа естественно-научного метода, какие только и могли обеспечить мощь его слов. Они проливают свет на источники его достижений. Такая сила чувства доступна лишь тому, кто сам принимал участие в создании предмета культа.

Анализ гениального творчества Луи Пастёра мог быть под силу лишь тому, кто мыслит и чувствует с ним в унисон.

Есть два типа ученых. Одни, даже обладая гением, создают поразительные лишь в своих частях формы, но целое труда жизни прихотливо и сумбурно.— Целое лишено идеи. Направление их усилий часто диктуется линией наименьшего сопротивления, или определяется случайностью. Слабый из их числа оставляет после себя лишь названия.

Другие строят, двигаясь неутомимой поступью от одной проблемы к другой, с железной логикой развивая в последующей работе то, что вытекает из предыдущих.—Сооружение их жизни поражает цельностью. Человек с художественным чутьем не может не преклоняться перед гением, творящим подобные формы,—перед гением, превращающим труд своей жизни в художественное произведение, прекрасное в частях и в целом.

Таков гений Пастёра. Он вел его от проблемы к проблеме. Он пренебрегал гранями наук, дерзко ставил вопросы, где их ранее не было, и давал на них глубокие ответы. Химик-кристаллограф шел от привычной ему с молоду науки в область биологии, а затем и медицины. Пробивая новые пути, он оставлял за собою яркий след новых проблем и методов. От него зачаты целые главы медицины, техники, земледелия. Начал он с изучения кристалла, а кончил гениальными методами борьбы с болезнями человека.

Его начало и конец так мало похожи, но как просто и неизбежно конец вытекал из начала.

Его дерзость была удивительна, но она была аргументирована. В аргументированной же смелости—тайна гения.

Девиз жизни Пастёра—«мало высказать красивую мысль, главное её доказать».

Изложив в сжатой и удивительно яркой форме историю научных исследований и исключительных практических достижений Пастера, Тимирязев спрашивает:

«Какому же выдающемуся качеству этого могучего ума, какой его fakulté maitresse, как выразился бы Тэн, следует приписать тайну его (Пастёра) успеха». И отвечает: «Самой выдающейся его способностью была не какая-нибудь исключительная прозорливость, какая-нибудь творческая сила мысли, угадывающая то, что скрыто от других, а, без сомнения, изумительная его способность, если позволительно так выразиться, «материализировать» свою мысль, выливать ее в осязательную форму опыта,—опыта, из которого природа, словно стиснутая в тисках, не могла ускользнуть, не выдав своей тайны.

Это был гений или само воплощение экспериментального метода. Вс деятельность его была блестящим опровержением знаменитых, так част упоминаемых и подвергшихся многочисленным толкованиям, слов Гёте:

Geheimnissvoll am lichten Tag
Lässt sich Natur des Schleier nicht berauben
Und was sie deinem Geist nicht ofenbaren mag
Das zwingst du ihr nicht ab mit Habeln und mit Schrauben *).

В этих словах выражалось целое миросозерцание, в основе враждебно экспериментальной науке; в них высказался, как известно, не столько Гёт Фауста, сколь Гёте Farben lehre,—Гёте, воображавший, что своим умствен ным оком, обращенным на природу, как она есть, он проник в сущность явле ний света гораздо глубже, чем Ньютон, пытавшийся вымучить у природы е тайну в темной комнате, при помощи какой-то призмы и узкой щели».

Пастёр показал, чего можно достигнуть при помощи этих ненавистны Гёте Habeln und Schrauben, и если кто желает научиться этому величайшему из искусств, искусству допрашивать природу и выпытывать ее тайны, над ко торыми глумился Гёте, тот найдет в трудах Пастёра редко досягаемые об разцы экспериментальной логики,—этой логики в действии. А те, кто все еще полагают, что intellectus sibi permissus может с пользой громоздить сис темы над системами и в витиеватых или неуклюжих периодах что угодно опровергать, что угодно доказывать,—пусть научатся у него, что значит на языке точной науки это слово доказать.

В трудах Пастера Тимирязев находит лучшее воплощение тех путей исследования, которыми он шел сам, и пропаганде которых в широких кругах служил всю жизнь.

Пропаганда естественно-научного метода, через ворота которого,—выражаясь словами Пирсона,—лежит единственный путь к познанию мира, составляла альфу и омегу всей проповеднической деятельности К. Тимирязева. В них основной лейт-мотив всех его статей и книг.

Поразительные результаты каузального метода исследования не переставали его приводить в восторг до конца жизни:

«Мочь и предвидеть—дар чудодействия и дар пророчества,—вот о чем с самой своей колыбели мечтало человечество, наделяя ими своих мифических и сказочных героев. Эти два дара принесла ему наука, и только ежедневная привычка к ее чудесам мешает нам это ясно сознавать. Младенец Геркулес задушил руками змея, а в другом месте, в другой век, ребенок одним пальцем вырвал подводные скалы со дна моря и разметал их по воздуху. Соловей-разбойник оглушал прохожих своим свистом, а в другом месте, в другой век, человек говорит, не возвышая голоса, и его речь разносится на сотни верст. Что здесь миф, что сказка, что действительность? Оракулы древности, говорят, порою прорицали и впопад, но их прорицания бледнеют в сравнени

*) Средь бела дня полна таинственными снами
Не даст тебе природа покров с себя сорвать,
И то, что разуму сама не может передать,
Тебе не выпытать у ней ни рычагами, ни тисками.

: пророчествами науки наших дней. Леверье и Адамс предсказывают, что в темной бездне мировых пространств *должна* быть видима никому не видимая планета и, послушная их слову, она является в указанное время, на указанном месте. Дмитрий Иванович Менделеев об'являет ученому миру, что где-то во вселенной, может быть на нашей планете, а может быть и в иных звездных мирах, *должен* найтись элемент, которого не видал еще человеческий глаз, и тот элемент находится, и тот, кто его находит при помощи своих чувств, видит его на первый раз хуже, чем видел своим умственным взором Менделеев,—это ли не пророчество?».

Течения мысли, которые шли вразрез с каузальным анализом явлений,— попытки воскресить дух телеологии и витализма, даже в скрытой их форме, встречали в нем строгого обличителя и ядовитого противника. Его сокрушительная острая критика не щадила «заслуженного» и «выслуживающегося». Его меткий язык попадал в самые больные места.

В пропаганде естественно-научных методов Тимирязев видел свою обязанность гражданина, которую он остро сознавал со студенческих лет до смерти.

«Если в XVIII веке наука завоевала уже салон, проникла, пожалуй, и в будуар, если за веселым ужином между философской тирадой и куплетом можно было блеснуть рассказом об открытии Франклина или опыте Лавуазье; если между пудрой и румянами на столике иной маркизы можно было наткнуться на ботанические письма Руссо, то в настоящем только веке наука стала достоянием всех и каждого, заговорила вполне доступным языком, а вместе с тем утратила последние следы той чопорности, той исключительности, в которой прежде замыкалась, ревниво охраняя себя от прикосновения с толпой. Многие и теперь еще не могут примириться с этим фактом, видя в нем какое-то падение, какое-то унижение науки. Достойно, впрочем, замечания, что подобные сетования несутся не с той именно стороны, которой наука обязана своим наибольшим успехом. Славнейшие двигатели науки XIX века — Гельмгольцы, Мейеры, Клод-Бернары, Дарвины, Максуэлли — являются в той или иной форме и ее проводниками в общество. Если только это временное увлечение, то оно во всяком случае всеобщее».

«Но едва ли можно защищать мысль, что это только модное увлечение: мне кажется, не трудно убедиться, что это стремление к широкому разливу знаний является делом необходимости и даже требованием справедливости».

«Homo sum, humani nihil me alienum puto—учит школа. А жизнь говорит другое: не homo ты, а ботаник, и не ботаник, а ботаник-физиолог; пожалуй, даже не ботаник-физиолог, а специалист по какой-нибудь одной главе физиологии. А ты должен им быть и остаться, иначе в общей скачке останешься за флагом. Как согласовать эти противоположные и, однако, одинаково настоятельные требования. Мне кажется, что и здесь сама жизнь нашла исход: если специализация научного труда может быть сделана безвредною путем его ассоциации, то против еще более широкого разделения труда, вызываемого требованиям жизни, приходится бороться путем популяризации знаний».

«Безнадежно состояние науки,—говорит он в другом месте,—когда она находится в положении искусственно насажденного оазиса—среди безграничной пустыни всеобщего равнодушия. Безнадежно положение ученого, сознающего, что окружающая среда его терпит, и только».

«Сделаем еще шаг и мы очутимся перед самой широкой, пред самой современной задачей популяризации науки. Наука, проникающая до самых низших ступеней общественной лестницы, научные истины, ставшие доступными пониманию простого рабочего,—это уже исключительное явление новейшего времени и, быть может, одно из могущественных орудий борьбы против тех вредных последствий крайнего разделения труда, того одичания среди цветущей цивилизации, призраком которого не напрасно пугают нас экономисты».

«Та мысль, что вся цивилизация возникла на почве неравенства, что в своем течении она еще закрепляла это неравенство, увеличивая пропасть между двумя половинами человечества, между представителями умственного и физического труда. Конечно, если так было, то, видно, не могло быть иначе; это факт исторический, естественно-исторический, один из актов исторической драмы, название которой «борьба за существование». Но не был ли то ее последний акт? Не чудится ли порою, что человечество стоит где-то на перевале между двух течений. Если уходящая во мрак прошлого история повествует о своей задаче,—о создании цивилизационного неравенства, то не дает ли угадать уходящее в туманную даль будущее свою задачу—восстановление равенства усилиями цивилизации. Конечно, не на почве общего неравенства совершится это примирение, а путем справедливого раздела плодов этой цивилизации, добытых общими усилиями».

Гражданский мотив и необходимость демократизации знаний звучат повсюду.

Тимирязев всесторонне аргументировал необходимость популяризации, хорошо зная нередко отрицательное отношение к этому делу в правоверных ученых кругах.

Однако, несомненно, что его увлекали к популяризации не только «холодного разума сознание», но и талант, успех. Тимирязев писал потому, что писалось, как можно петь потому, что поется.

С особенной любовью и разносторонностью К. Тимирязев пропагандировал учение Дарвина о естественном отборе, развертывая его в необыкновенно богатое полотно, украшая его блестками остроумия, исключительной эрудиции и логики.

С полным правом К. Тимирязев представил Россию на 100-летних Дарвинских торжествах в Кембридже, как один из наиболее талантливых проводников идей Дарвина в широкие круги общества мира, и безусловно первый среди дарвинистов России.

Перечитывая его 35-летнюю борьбу «За Дарвина», не можем не удивляться той острой продуманности, которая писанное более трех десятков лет тому назад делает современным.

К. Тимирязев с поразительной проницательностью сумел выделить существенное от несущественного и наметить действительные грани приложения Дарвинова учения. Он сумел после 30 лет дать ответ тому, кто возражает Дарвину в настоящее время.

К. Тимирязева увлекала поразительная общность и широта применения идей Дарвина к существующему миру явлений в индивидуальной и общественной жизни животных, людей и растений и глубина проработки теории в трудах английского естествоиспытателя.

Оценка идей Дарвина может быть передана сильными словами самого Климента Аркадьевича Тимирязева.

«Что говорит в пользу этой теории?»—спрашивает он, и отвечает:—Все. «Что говорит против нее?»—Ничего. «Что можно ожидать от нее?»—Многого...

Блеск и глубина популяризаторского таланта Тимирязева с необыкновенной силой выявились в его «Жизни растений». Это безусловно классическая работа в строгом смысле этого слова, и тому есть об'ективные данные. Ничто так быстро не старится, как наука в ее популярных изложениях. Наука с необыкновенной скоростью накапливает новый материал и дает все новое и новое освещение, вот почему 10—15 лет жизни популяризации можно сказать предельный срок ее жизни. «Жизнь растений» Тимирязева имеет 35-летнюю давность, но ее содержание не требует омоложения. Оно свежо и сильно, как в дни рождения.

Тайна вечной молодости этого труда в его могучей логике, единстве задания, гармоничности форм и стремительности воли и чувства, проступающие через все страницы этого художественного творения. Тайна молодости его в том, что ученый-художник на первом плане дает не содержание науки, а ее метод, который вечен, как само естествознание.

Только лицо, воплощающее естественно-научный метод в себе, может оставаться само собою во всех работах, которые стройной чередой набросаны его пером.

Другой момент, организующий его пропагандистскую деятельность—борьба с близорукой недооценкой так называемого теоретического знания, нередко противополагаемого знанию прикладному.

«Вот еще сторона дела, на которой нельзя достаточно часто останавливаться при разумной популяризации науки,—говорит он.—Нельзя достаточно отстаивать во всех слоях общества прав чистого знания, нельзя достаточно бороться против того узко-материального прикладного направления, в котором с самых противоположных точек зрения желали бы сузить свободное течение научной мысли».

«Мне кажется, что с гораздо большим правом можно утверждать прямо обратное, что наука девятнадцатого века привела к тем небывалым результатам в материальном, утилитарном смысле именно благодаря тому, что приняла и принимает все более и более отвлеченно-идеальный характер.

Здесь, как и в области этической, оправдалось правило: ищите истины, «а сия вся приложится». Ослепляющие нас приложения посыпались, как из рога изобилия с той именно поры, когда они перестали служить ближайшей целью науки. Только с той поры, когда наука стала сама себе целью—удовлетворением высших стремлений человеческого духа, явились как бы сами собою и наиболее поразительные приложения ее к жизни. Это самый общий, самый широкий вывод из истории естествознания.

Вспомните историю химии: она ли не стремилась в начале к непосредственно утилитарным целям. Служила она и искателям золотого и философского камня; была она и на послугах металлургии и на послугах медицины; была она и алхимией и иатрохимией, пока не стала просто химией, т.-е. самодовлеющей чистой наукой, и с той минуты посыпались щедрой рукой ее бесчисленные применения и, конечно, если бы только возможно было подвести им итоги, то они стоили бы, в конце концов, открытия золота и философского камня. А медицина? Сколько тысячелетий стояла она перед своей непосредственной задачей—целением больного организма, пока не убедились, что надо повести дело издалека, что, прежде чем целить, нужно еще знать, что происходит в организме здоровом и больном. А современная агрономия? Не служит ли она еще более свежим доказательством, что практические приложения являются только результатом успехов чистых знаний... Не в поисках за ближайшими приложениями возводится здание науки, а приложения являются только крупицами, падающими с ее стола.

Я позволяю себе утверждать,—гремит Тимирязев,—что как для успешного развития точного знания, так и для возможно плодотворного приложения его к жизни нельзя достаточно часто, достаточно громко—особенно при случаях, подобных настоящему, возвышать голос против упорного, широко распространенного предрассудка, будто общественная польза, народное благо требуют, чтобы науки постоянно имели в виду непосредственные житейские цели, что особенного поощрения заслуживает только научная деятельность, непосредственно осуществляющая эти практические задачи».

Со всей силой своей экспрессии он обрушивается и теснит как близоруких дельцов-администраторов и государственных деятелей, мотивирующих свою позицию государственными и общественными соображениями, так и моралистов во главе с Толстым. Позвольте привести страничку из лучшего его создания—«Луи Пастёр».

«В воображении невольно возникает такая картина. Лет сорок тому назад на чердачек Ecole normale проникает один из таких негодующих моралистов и, застав там бледного больного человека, окруженного бесчисленными колбочками, разражается красноречивыми обличениями.

«Стыдитесь,—говорит он ученому,—стыдитесь, кругом вас нищета и голод, а вы возитесь с какою-то болтушкой из сахара и мела. Кругом вас люди бедствуют от ужасных жизненных условий и болезней, а вас заботит мысль, откуда взялась эта серая грязь на дне колбы. Смерть рыщет кругом вас, уносит отца, опору семьи, вырывает ребенка из об'ятий матери, а вы ломаете себе голову над вопросом, живы или мертвы какие-то точки под вашим микроскопом.

Стыдитесь, разбейте скорее ваши колбы, бегите из лаборатории, разделите труд с трудящимися, окажите помощь болящему, принесите слово утешения там, где бессильно искусство врача».

«Красивая роль, конечно, выпала бы на долю негодующего моралиста и ученому пришлось что-нибудь пробормотать в защиту своей праздной эгоистической забавы».

«Но как изменились бы зато эти роли, если бы наши воображаемые два лица встретились снова через сорок лет. Тогда ученый сказал бы моралисту приблизительно следующее: «Вы были правы, я не разделял труда с трудящимися,—но вот толпы тружеников, которым я вернул их миллионный заработок; я не подавал помощи больным, но вот целые населения, которые я оградил от болезней. Я не приходил со словами утешения к неутешным, но вот тысячи отцов и матерей, которым я вернул их детей, уже обреченных на неминуемую смерть». А в заключение наш ученый прибавил бы со снисходительной улыбкой: «И все это было там, в той колбе с сахаром и мелом,—в той серой грязи на дне этой колбы, в тех точках, что двигались под микроскопом». Я полагаю, на этот раз пристыженным оказался бы благородно негодовавший. но близорукий моралист».

«Да, вопрос не в том, должны ли ученые и наука служить своему обществу и человечеству,—такого вопроса и быть не может. Вопрос в том, какой путь короче и вернее ведет к этой цели. Итти ли ученому по указке практических житейских мудрецов и близоруких моралистов, или итти, не смущаясь их указаниями и возгласами, по единственному возможному пути, определяемому внутренней логикой фактов, управляющей развитием науки; ходить ли упорно, но беспомощно вокруг да около сложного, еще не поддающегося анализу науки, хотя практически важного, явления, или сосредоточить свои силы на явлении, стоящем на очереди, хотя с виду далеком от запросов жизни, но с раз'яснением которого получается ключ к целым рядам практических загадок. Никто не станет спорить, что наука имеет свои бирюльки, свои порою пустые забавы, на которых досужие люди упражняют свою виртуозность; мало того, как всякая сила, она имеет и увивающихся вокруг нее льстецов, и присасывающихся к ней паразитов. Конечно; но не разобраться в этом ни житейским мудрецам, ни близоруким моралистам, и, во всяком случае, критерием истинной науки является не та внешность узкой ближайшей пользы, которой именно успешнее всего прикрываются адепты псевдо-науки, без труда добывающие для своих пародий признание их практической важности, и даже государственной полезности».

Научная работа имеет свою прозу и свою поэзию. К одной из поэтических сторон научной деятельности относится то вселенское чувство, которое звучит, когда эхо от созданного рождается в отдаленных углах земного шара и, перекатываясь через грани, проведенные человеческой национальной ненавистью, рождает тесные интернациональные узы через головы правящих классов. Идея, брошенная в одном конце земной территории, подхватывается дру-

гими, третьими... десятыми, сотыми, проверяется, обосновывается или отвергается, и в результате коллективного творчества человечество расширяет свою власть над природой. Элементы близорукой оценки и несправедливости, которые всегда имеют место в замкнутых малолюдных кругах, нейтрализуются в этой вселенской кузнице мысли, ценное же и нужное находят свое место в мировой лаборатории.

В строках Тимирязева звучит это вселенское чувство, рожденное научно-литературной и личной связью с лучшими представителями естествознания мира. Пастёр, Бунзен, Кирхгоф, Гельмгольц, Бертло, Дарвин, Томсон и многие другие для него не книжные образы, а живые люди, давшие ему много минут радости в личной встрече.

Яркие образы, залитые лучами энтузиазма молодого чувства или согретые теплотой любви и уважения зрелого возраста, еще долго будут воодушевлять и радовать молодого и старого.

Знакомство с избранным кругом законодателей в естествознании об'ясняет ту высокую требовательность, которую Тимирязев проявил к коллегам у себя на родине. Его эталон измерения был слишком велик, когда он пробовал подойти с ним ко многим отечественным деятелям, особенно тем, кто силен честолюбием и влиятельностью, но слабоват содержанием.

Сцены из жизни Пастёра, Дарвина, Бунзена, Бертло и многих других, схваченные в его скитаниях по загранице, дают больше, чем иная биография.

Тимирязев брал науку не в отвлеченной схеме, она жила для него в образах, идеи были неразделимы с их носителями. В нем никогда не угасало око художника, воспринимающее ученого и его труды, как целое.

Вот почему его критика не щадила с ложной идеей и стоящего за нею человека.

В этом безусловно его сила и слабость. Сила—потому, что его письмо от этого жило живою жизнью; слабость—от того, что неприязнь к человеку лишала его об'ективности исследователя.

Учение Дарвина и необыкновенные по красоте исследования Пастёра звёздно искрились под пером Тимирязева, открытия же Менделя, разгоревшиеся ярким пламенем в науке, гасли в его руках, отчасти от недоброжелательного чувства к пропагандисту менделизма—Бетсону.

Тимирязев, как критик текущей научной мысли, заслуживает особого внимания.

«Кроме открытия новых и по необходимости чаще мелких, чем крупных, фактов,—говорит он,—для научной деятельности в настоящее время представляется и другое, не менее полезное поприще,—в широком применении научной критики, отсутствием которой, за недосугом, в погоне за приобретением эмпирических фактов, так страдает наша наука».

Сам Тимирязев с вдохновением отдался этому делу. Лица, интересующиеся естествознанием, с глубоким интересом брались за номера толстых журналов, в которых значились обзоры успехов естествознания за истекший год. Острота и глубина мысли, на-ряду с доступностью и живостью изложения, приковывали к себе внимание.

Редкая эрудиция и строгая логическая мысль, на-ряду с тонким художественным чутьем, обеспечивали высокое качество его работы на этом поприще.

Он один из первых в России с самоотвержением учел всю глубину и широту идей Дарвина. Тимирязев же первым горячо приветствовал первые проблески той науки, которая рекой разлилась уже за гранью XIX века. Я имею в виду экспериментальную морфологию, которая яркий образец своих успехов дает в произвольном превращении признаков самца в признаки самки и обратно.

«Мы, биологи, питаем особенно нежные чувства ко всему молодому, зарождающемуся, только вступающему в жизнь,—говорит он на VIII с'езде естествоиспытателей в 1889 году.—Для нас особенно ценны начальные стадии развития. Мирбелевское «voir venir» давно стало нашим лозунгом. А в настоящем случае мы действительно присутствуем при зарождении новой отрасли науки.

Четверть века назад наш глубокоуважаемый председатель Андрей Николаевич Бекетов учил нас, что задача морфологии — «исследовать законы и причины форм», но еще десять лет тому назад возможность исследовать причинность органических форм отрицалась даже такими учеными, как Клод Бернар. «Физиолог, — писал Клод Бернар, — констатирует морфологические законы, но не изучает их. Эти законы зависят от причин, которые лежат вне его власти», и далее: «Мы должны провести *абсолютную границу* между феноменологией живых существ, составляющей предмет физиологии, и морфологией организмов, *законы которой изучают ботаники и зоологи, но которая* вне нашей власти и ускользает от экспериментального изучения». Абсолютная граница, о которой так недавно говорил Клод Бернар, для ботаников по крайней мере исчезает. Форма, несомненно, начинает признавать над собою нашу власть и подчиняться нашим экспериментальным методам. Рядом с физиологией процессов уже зачинается физиология форм, рядом с экспериментальной феноменологией возникает *экспериментальная морфология*».

Тем более кажется непонятным, что умный человек, столь чутко умевший угадывать будущее по первым «еще робким шагам», оставался глух и слеп даже к очевидным перспективам закономерностей, которые были открыты Менделем в области наследования.

Он упорно твердил, что менделизм—это искусственно раздутая, по существу очень скромная глава учения о наследовании.

Я вижу два источника этого упорства. Первый источник в существе метода гибридологии (менделизма). Последний, по существу, носит формальный характер и не вскрывает *каузальных* связей. Тимирязев, воспитанный на воодушевлявших его каузально-аналитических методах физиологии, естественно, отнесся сдержанно к смелой пропаганде менделистов.

Второй источник в том, что наиболее яркие пропагандисты менделизма исповедывали антидарвинистическую веру и не чужды были витализма (Бетсон), который рождал вспышку у Климента Аркадьевича Тимирязева даже в ничтожных дозах.

Когда же широкий опыт оправдал в начале слабую, но смелую, основну гипотезу Менделя (о чистоте гамет, на которой строится все здание менде лизма)—было слишком поздно.

— Тимирязев уже произнес свое острое слово—«он в споре высказалс слишком категорично, чтобы затем услыхать слабый голос чутья»,—сказа Оствальд по поводу Берцелиуса, упорно отрицавшего теорию Либиха.

То же, очевидно, было с Тимирязевым. Боевой темперамент природного полемиста перемахнул через край.

На вопрос—что необходимо, чтобы сделать писателем—Вересаев дает за мечательный по лаконичности и точности ответ:—всегда быть самим собою В этом ответе пропасть смысла. Ничто мы так не ценим в писателе, худож нике, ученом, как оригинальность, которая есть в любой непосредственной цельной личности. Но увы, на людях лишь немногие остаются сами собою дерзают говорить, как они думают, как чувствуют и хотят. Источники робо сти—в традициях воспитания.

Глядит ребенок наш кругом,—
Пред ним знакомый отчий дом.
С рожденья слышать он привык
Вполне сложившийся язык.
На ближнее он кинет взгляд,—
Ему про дальнее твердят.
Растет,—не дав передохнуть,
К добру готовый кажут путь.
Вот это—очень хорошо,
А это—плохо и грешно,
И сам он должен тем-то быть.
Как нужно жить, творить, любить,—
Все это писано давно,
И хуже,—в книжках уж дано.
И вот, затерянный навек,
Стоит наш юный человек.
Все для него предрешено:
Пред ним дороги лишь такие,
Какими раньше шли другие.

(Гете).

Психология среднего человека—быть как все; на людях держать себя как принято. Оригинальное и самобытное подстригается, углы стираются даже там, где есть физиологические предпосылки для оригинальности.

Таким способом создаются те, о ком «ни сказки никто не расскажет, ни песни никто не споет».

На путях к самоутверждению и обретению себя лежит долгий пут борьбы с порабощающими силами авторитета: родителей, воспитателей, книг ученых руководителей.

Авторитет вяжет крылья, путает ноги.

Смело можно сказать, что рождение человеческой личности следует счи

тать со дня разрушения авторитета родителей и воспитателей, так как лишь в этих условиях создаются предпосылки для самостоятельной ориентировки в мире.

Чуткий Лесгафт с присущей ему экспрессией требовал от слушателей прежде всего недоверия к авторитетам.—«Долой авторитетов»! Дух сомнения и вера в свои силы—главнейшие предпосылки для успешной работы в высшей школе.

Смелость сомневаться даже в словах уважаемого учителя давали основание Оствальду заключать, что именно из этих его учеников выйдет толк.

В науке, как и в искусстве, тот может быть ученым, кто умеет быть самим собою. Хотя, на путях науки, пожалуй, труднее всего сохранить себя. В ученой среде, более чем где-либо, молодым людям внушается необходимость почтения к авторитету старших, и преследуется смелость иметь свое мнение.

Тимирязев преодолел все трудности пути, избрав себе учителями тех, «кто умел хорошо писать, так как они учились из опыта».

Он умел говорить свое и от себя.

Его легко узнать и в жизни, и в письме. Он занимал свое место, так как он же его и создал.

Тимирязев из тех, кто, как вихор на голове, упорно торчит в свою сторону.

Таков он в науке, таков в своей проповеди — популяризации, таков и в жизни.

Наивны те, кто думает, что пути последних лет жизни Климента Тимирязева таят свои источники в старческой атрофии его ума. Тимирязев должен был стать на левом крыле революционной бури. Ему было не по пути с либеральной интеллигенцией. Он решительно порвал с ней еще в 1918-м году. Этот шаг был логичен, как и все его творчество. Он в нем, как Толстой в своем «уходе». К нему привели его долгие годы жизни борьбы и его темперамент.

Деревенская пестрядь.

Ив. Вольнов.

I. Зимний вечер.

— Пишешь?

— Пишу.

— Пиши.

Черными, потрескавшимися пальцами мужик долго ловит по столу папиросу.

Вертит ее перед лампой:—штучка!—и вдруг заливается тоненьким детским смехом.

— Ни шута из твоево писанья не выйдет!.. Читали!.. Таня, баня, Катерина, Мамачка... Созонт Шавров ударил по голове колом Пахома Кривоухого, Пахом Кривоухий заголил Овдотью Рыбину... ежа дохлого с'єли... проткнули лошади вилками пузо... Так, шут тебя знает, что набираешь, абы деньги платили... А там, дураки, верят... про орловских мужиков писанье...

По грязно-серым, взмокшим стенам избы трепетно прыгают тени. Под столом чавкают и рвут лапти сосунки-поросята.—«Кш-ш, сволочи, оголодали!» Жужжит веретено. В углу, на куче смрадного тряпья, бредит больной ребенок в скарлатине.

— Жив еще?—кивает мужик в угол.

— Жив.

— Угаснет. Готовь доски.

Вечер томителен и тих. Снежная улица пустынна. Изредка щелкнет щеколда. Шаркнет впотьмах рука, отыскивая заиндевевшую скобу. Из сеней, с навоза, в раскрывающиеся двери обдает сырым холодом.

Изба постепенно наполняется рваными полушубками, самодельными папахами в мякине и отрубях, кашлем, удушающим дымом домашней махорки.

— Сидите?

— Сидим.

— Сиденье вам.

Ко мне:

— Пишешь?

— Пишу.

— Пиши. Бумаги не жалко.

Садятся на полу, на лавках, у шестка. Лезут на голобец. Позевывают. Подолгу и крепко чешутся. С матерщиной бьют на столе насекомых.

— Чем писать-то—аппарат бы приладил. Ты, небось, мастер на это: во всех землях был.

Захлебываясь:

— По чибарушечке!.. Одной, другой, девятой!.. Эх. и разговор бы у нас сейчас вышел!

— Первый!

С восторгом:

— Смеху!.. Драки!.. Всю деревню бы перевернули...

Будто кто сдернул маску с угрюмых, свалявшихся лиц. Сопят, возятся, громко хохочут.

— Теперь на нас, на эту канпанию, да если при хорошей закуске!.. Василий Павлыч, сколько на нас при такой канпании? Ух, и много выжрали бы!.. Ед-ди твою барыню!..

— А дома? А? Штоб я пропал, ни одной бабы не осталось бы в избе! Не правда?..

Сосед раздраженно смотрит мне в лицо:

— Не веришь? Что большевики—равноправие? Да я первый своей скулы на затылок своротил бы!..

С глубоким, непередаваемым презрением:

— Равнопра-вие!.. То-то у тебя ни чорта и нет по хозяйству, — тот из именья себе лошадь стащил, тот—корову, у того—плуг исаковский, соха, борона, кобыла ворона, а ты с своей соплей возишься, не знаешь, на какое место посадить: «Товарищщы, как у нас окончена гражданская война и женчина есть наш товарищщ, то чтобы етого не было—в морду!»... Эх, ты—писарь!..

Собравшееся в десятки ядовитых морщинок широкое обветренное лицо его расправляется, он заливисто хохочет, снисходительно хлопая меня по спине...

Болезненно и громко плачет ребенок.

— Ну, пойдемте,—заглянув в тряпье, говорит сосед:—умирать сейчас будет.

С презреньем и жалостью ко мне:

— Ведь, небось, и досок-то нет на гробишко?.. Эх. вы, говоруны!..

Хочет скрыть свои доподлинные чувства, поласковее как-нибудь сказать то, что, очевидно, накипело в груди—не может, не умеет: больно уж он прост, непосредственен.

— Пятнадцать годов ты маялся, конуры не видел... тюрьмы прошел... Самые раэмолодые, распрекрасные годы ухлопал... учил мир, как надо жить... А сам живешь хуже последнего побирушки, чурок на гроб нету... Чи-тарь!.. Ты на меня сердишься?..

— Сержусь.

— За живое взяло?

— Нет, не поэтому. Темен ты, глуп...

— Нет, тебя за живое взяло!—возбужденно кричит сосед...—Правд глаза колет!.. Ну, слушайте, ребята, ну, пожалуйста, выслушайте нас, как ест дело!..

Он приникает вплотную ко мне, кладя крепкую, волосатую руку на плеч Пониженно, почти шопотом, странно волнуясь:

— Мы, например, пашем, сеем, молотим... по глотку живем в земле, н возе... кормим себя, скотину, стариков, сирот убогих... На нас,—сам же гов ришь!—испоконь веков ездят... их тоже, стало-быть, кормим...

Громко, уверенно:

— Всю землю кормим!..

Ревматичный стол качается и стонет от удара.

— Это—худо?.. Без нас все подохли бы, как мошки!..

Близко-близко к лицу:

— Ну, а—ты?.. ты вот хорошо обучен, грамотный, в газетах, книжка пишешь... Кому ты дал хоть полынный кусок хлеба,—зачем ты живешь?..

Он порывисто выдергивает у меня из-под рук лист бумаги,—читает н распев, с заминками:

— «Словно необозримое море, раскинулись хлеба; словно мачты далек кораблей, темнели на рубежах одинокие деревья. Радостно горели и улыбалис звезды. Страдание ли в мертвой хватке душит землю, кровавая-ли распря г рячо кропит лицо ее, мор, голод, стихийные ли бедствия опустошают ее,— звездам, холодным, улыбчивым стекляшкам,—все равно: в дни тяжких бе ствий, в минуты маленькой, скудной радости земли — они одинаково пр дажно-приветливы»...

Долго, пристально, молча смотрит на меня.

— Зачем это?

— Не знаю. Так написалось.

— «Так напи-салось»? Кому написалось? На что?.. Ребята, поняли, пр что писано?.. Никто?.. И я не понял... Поповнам написалось!.. Городским, к торые на вострых копытцах... Там тебя поймут—страдание, любовь, лицо кр пит, она ему, он ей... А нам твое писание ненадобно—пустое, глупое...

Устало вытирает вспотевший лоб, мнет шапку-капелюху.

В избе душно. Рустом течет вода с оттаявших подоконников. Меркн светец.

— Шли бы, мужики, домой, уж надоели,—говорит невестка:—тары-бар четыре пары... из пустого в порожнее переливаете...

— Ладно, сейчас отправимся, вот покурим, да ночь делить с курами.

Через минуту изба по матицу наполняется чадом. Бабы чихают.

— Ну, пиши теперь своим вострокопытым,—говорит сосед, подтягива опояску:—расскажи им, как граф Монтекрист прилюбил барыню Милитрис какие соловьи свистели... тебя похвалят за это...

— Я напишу им, как вы живете, хуже животных, — раздраженно кр я:—Как вы темны, дики, как тускло течет ваша мученическая жизнь...

— Слыхали!.. Знаем!.. То-то там расплачутся в три ручья!.. Нам в Курске шестеро утонули в слезах... нынче хоронят с военной музыкой...

— Как вы жадны и подлы, жалкие рабы, как за медный пятак вы продаете революцию, как вы пьянствовали, когда города вымирали от голода, на последние рубахи меняли рабочим дохлых поросят и птицу!..

— Валяй, валяй... гни дугу в оглоблю!.. За это тебя еще больше похвалят... об именьях не забудь—как именья грабили... Про винные заводы,—про все пиши им.. Бей мужика, у него спина дубовая!.. Рви удилами рот, чтобы кровью захлебывался!..

II. Самогонщики.

В старом вдовьем амбаре, пустом, где мыши подохли от тоски, поставлен аппарат: два чугуна с просверленными днищами, деревянная трубка, продолговатый деревянный холодильник, набитый снегом, — раньше в нем давали корм поросятам. Жестяная самодельная топка под чугунами. А у холодильника—моргасулька с конопляным маслом. Вдова дает амбар, караулит от милиции. Ей платят от затора: карман пшена с головы. Захватят самогонщиков; их ответ, вдова тут не при чем — амбар за гумнами, раскрыт, разве за каждым дьяволом усмотришь?.. А коли сумеют — разбегутся от милиции, в амбаре никого не окажется, только гарь, запах сивушный, вдова скажет начальству:

— Я варила, душа пить-есть хочет... Хотите—стреляйте из пустарета, хотите—в острог отправляйте, я не могу пропитать себя по старости годов... моих старых...

Заторы готовят дома,—у вдовы избенка мала, печь плоха, на печи места мало. А надо, чтобы заторы укисали в порядке. Хлопотливо трут сахарную свеклу, кормовой бурак, картофель, грушу, яблоки. Реже, но не редко, варят из муки.

От моргасульки в амбаре полутемно.

Слабое, красноватое пламя подтопки трепетно освещает полудетские и детские лица. Десяти, двенадцати, пятнадцати лет. Взрослые боятся: с них, в случае чего, больше спросят. А эти—народ никудышный: их и в тюрьме-то стыдно держать. Одни колят щепки, другие шевелят в подтопке, третьи носят снег, воду, заторы,—мало ли работы? И когда барда в чугунах закипит и тоненькой струйкой зазвенит в бутылку «первак», дети радостно потирают руки. Как взрослые. Как типичные алкоголики. Хотя они еще не алкоголики. Но, несомненно, будут.

«Первак», самый крепкий и ядовитый, достается детям: они пробуют. Чайной чашкой поровну размеривают водку и первые глотки тянут со стиснутыми зубами, насильно, задыхаясь, извергая обратно. Закусывают припасенным хлебом с луком. Не пить нельзя, это значит не быть взрослым, а двенадцати, пятнадцатилетние ребята считают себя взрослыми: солидно разбирают качество выгнанной водки, ее привкус, крепость; свободно говорят о женщинах, мечтают о том, где и как бы за полпуда муки, несколько фунтов украденного мяса проникнуть в тайны «будуаров» деревенских гетер с прова-

лившимися носами. Среди них уже имеются вкусившие сладость грехопадения: с чувством превосходства, чаще — с едва скрываемым стыдом бахвалятся перед приятелями своими похождениями. А те завистливо молчат.

Желтая, мутная, отдающая подгорелой свеклой водка быстро действует на неокрепшие головы. Долго и беспричинно смеются. Потом поют песни— нескладные, бессмысленные, срамные. Затем—дерутся и плачут.

Если «первак» во-время захватят взрослые, его отнимают, и дети довольствуются «друганом» и ополосками. Но это случается редко: дети хитры и великолепно проводят старых воробьев.

Остатки пиршества,—ребята не в состоянии выпить всего выкуренного,— продаются по 8—10 «лимонов» за бутылку. Покупателей искать не приходится. Деньги идут на игру в карты: в очко.

Так текут зимние деревенские дни.

Дети—сколок со взрослых. Пьянство среди взрослых отвратительное. Пьют все и всё. Ухлопываются десятки пудов.

Школы стоят; на школу жалко полпуда—пуд зерна. Без стекол, с расшатанными крыльцами, упавшими трубами, ободранною тесовою подшивкой. Учителя батрачат, подшивают старые валенки. Учительницы на содержании у богатых деревенских хамов.

Больницы, амбулатории бездействуют. В деревне свирепствуют тиф, скарлатина, дифтерит, сифилис. Беспризорные мальцы гоняют собак, курят, ругаются хуже арестантов.

А между тем, на «курево» расходуется такое количество хлеба, что и половина бы его дала жизнь больницам и школам.

Милиция? Исполкомы?

Что могут сделать три—пять человек милиционеров на район в несколько волостей с населением в 20—35 тысяч жителей?..

В суде уже не раз разбирались дела о поголовном пьянстве целых деревень на сходах,—по-старинному. Приговоры выносились жестокие, но—бесцельные: пьянство усиливается.

Что делать?..

III. Трясучий департамент.

Сквозь узорные зимние окна в избу натужно ползет серый рассвет. Выявляет мокрые стены, грязный верстак, грубку с красноармейцем, нанизавшим на штык буржуя, заплесневелые углы и в углу—сундук с оторванною крышкой, полный «делами». Мальчик, хозяйский сын, Володька, приносит в избу кошелку мерзлого торфа, рубит его на мелкие кубики.

С печи за ним следит Никола-угодник.

— Ты Володька, подбирал бы мелкую торфу. Что ты каких глыбяхов натаскал?—скрипит он, хлипкий, в пестрядинной рубахе с открытым воротом.

Мальчик молча набивает железную печку кусками торфа, сует в подтопку соломы, и изба наполняется едким, раздражающим дымом.

Никола-угодник долго и надрывно кашляет, глубже забиваясь на печь, шуршит сухой соломой, лапотными колодками.

— Вот постоянно так... звереныш-мальчишка... хоть из своей хаты убегай...

Никола—глух.

— Папаш!—кричит ему Володька:—небось, голова трещит с похмелья?

— Трещит, сынок... все равно рашпилем по темю-то... и туды, и сюды... Там не осталось?..

Мальчик подметает пол: селедочные головы, окурки, конфетные бумажки, шелуху семячек.

— Там не осталось, мол?—скрипит угодник.—Ты, Володька, растешь супротивный, не в отца... Отец твой ласковый...

— И я ласковый, только ты мне надоедаешь,—сердито отвечает Володька.—Кабы была, я сам бы опохмелился.

Мальчик перешвыривает «дела», показывая отцу полдюжину пустых бутылок.

— Видишь: теленок языком вылизал.

— Да, пропасти на них нет, управились... Володька, ты хоть бы торфу-то поправил, а то ты меня уморишь.—Никола-угодник прикрывает рукою слезящиеся глаза и бессильно опускает голову на кирпичи.—Раньше лучше было, Володька, чичас мне не нравится жизнь.

Мальчик бежит за грубку и с жадностью допивает остатки самогона из бутылки, утаённой от отца.

— Пойдешь, бывало, к Роевской: одну, другую... раздавишь... ан и легче сердцу...—брюзчит Никола.

— Кому не нравится, а кому по душе,—говорит сын, принимаясь за веник.

— Тебе-ко по душе,—кряхтит старик.—С измальства привыкаешь пьянствовать. Плохой из тебя, Володька, мужик будет. Разве ты сравняешься с теми?—Никола-угодник кивает головой на пустой стол с конторскими счетами.

— Сравняюсь,—уверенно отвечает мальчик.

День розовеет. По скрипучему снегу большака ползут обозы со щепным товаром из Полесья. Широкобородые рослые полехи задорно хлопают рукавицами. Скрипит журавль колодца. Вскидывая задом, храпя, по улице играют выпущенные на водопой жеребята-третьяки. Приказчик потребиловки, угрюмый черный мужик в золотых лаптях, грохочет замками, открывая лавку. У коновязи уже трясутся две-три заиндевевших лохматых клячи с мешечками зерна в санях.

Трясущийся, больной, с седыми волосенками торчком, Никола-угодник свешивает с печки босые ноги в коротких портках. Ноги мертвеца: бледно-синие, волосатые, грязные, с изуродованными пальцами, на которых отросли кривые изжелта-серые звериные когти. Никола шаркает по печке пяткой, отыскивая горнушку.

В клубе хлынувшего в раскрытые двери морозного пара в избу входит потребиловец, член правления. Никола криво улыбается и подбирает под себя ноги. Член правления подходит к столу и перекладывает счеты.

— Вытри стол.

Мальчик берет тряпку и вытирает мокрые подоконники.

— Вытри стол.

Член правления бросает на стол лохматую папаху, перебитую снегом, и заглядывает в сундук.

— Кто трогал «дела»?

Мальчик кивает на печь.

— С-скотина!..

Трясущимися руками член правления расстегивает полушубок.

— Успел?—раздраженно спрашивает он Николу-угодника.

— Ась?—скрипит тот.—Ты это Володьке, али мне?

Мальчик неестественно хохочет.

Член правления садится за стол, кладет на руки голову и дремлет. Мальчик свертывается у грубки. Никола-угодник лежит на печи. Тишина. Тоненько, по-комариному, пищит железная печка. Рубинами горят падающие через решетку угли. В избе становится душно. Понемногу оттаивают промерзлые окна, и с них обильнее течет по подоконнику вода.

— Матюнин не приходил?—хрипло спрашивает член правления.

— Нет еще.

— Ась?—раздается с печки.

— Лежи, ну тебя в болото!—член правления опять подходит к сундуку и пересматривает бутылки.—Не найдешь?

— Нету,—говорит Володька.

— А к сапожнику не ходил?

— Нету.

Член правления с тоской заламывает руки.

— Фу, чорт тебя возьми... аж свет не мил!.. Ни с кем вчера не подрался?

— Ничего, по-хорошему.

— И посуду не бил?

— Посуду бил: чайником в председателя запулил... Папаш,—мальчик поворачивает голову к печке:—тебе вчера тоже попало?

— А? Мне-ко? За что меня трогать?.. Ты бы, сынок, хоть немного поискал... уважь старика... О, Хоспо-ди милостивый!..

Входят председатель и счетовод. Председатель обрюзгл и щетинист. Длинный и тощий счетовод во всей красе деревенского щегольства: галлифе с заплатой на сиденьи, фрэнч, городской выговор, об'емистый портфель под мышкой, на левой скуле синяк.

Молча здороваются.

Счетовод достает из сундука «дела» и раскладывает по столу. Председатель угрюмо сопит.

— Нет?—шепчет счетовод члену правления.

— Сухо дерево, завтра пятница.

Оба болезненно морщатся.

К лавке набираются мужики и бабы с мешочками зерна: соли, спичек, керосина, гвоздей на гроб, селедок хворому...

— Да ты тут не довесил, Василий Левоныч, я дома на кантырь-то—семь с четью выходило, а у тебя пять...

— Да что ты, милый, да ты окстись: греча-бисер, а ты—четыре фунта на сор!.. Налог повезешь—на сор, в потребиловку—на сор, а мы-то что же едим?.. нечищенные картошки... ведь этак силов не хватит!..

— Не хватит, забирай назад гречу!—кричит багровый от мороза и головной боли приемщик:—я тебя насильно не заставляю...

— Нужда к вам гонит!..

— Терпи нужду, пей мед.

Сквозь толпу протискивается тщедушный мужичонко в капелюхе. На ухо:

— Ну,—как?

Приемщик косится на карман.

— Подождешь до завтра.

— Мне беспременно—нынче!

Мужичонко отвертывает полушубок: из кармана торчит заткнутое замашным хлопком горлышко бутылки.

Лицо приемщика светлеет. Ловким движением бутылка перепрыгивает от мужика за пазуху приемщика. Наскоро царапается ордер на получение товара из лавки.

— На пятнадцать минут перерыв,—об'являет приемщик:—по случаю—сильный мороз. Кто не желает, может уходить...

Приемщик стремглав бежит в канцелярию. «Дела» лежат развернутыми. На лавке лежит член правления. Никола-угодник лежит на печи, страдальчески задрав пакольную бороду. Опустив голову на стол, лежит председатель. Счетоводу дурно. В избе запах торфяного дыма, перегорелого самогона, порченых селедок.

— Есть! — радостно кричит приемщик. Все, как по команде, вскакивают.—Соли! луку! хлеба!..

— Есть!—вторит звонко Володька.

Трясущимися руками все осторожно притрагиваются к бутылке. Член правления наливает чашку мутно-зеленой жидкости.

— Председатель, пей!

— Можете сами начинать...

— Да ну, не ломайся, ей-богу, только задерживаешь...

Медленно, сквозь зубы, председатель цедит водку, и с каждым глотком лицо его проясняется, становится осмысленнее. Оживают полуприкрытые глаза.

Председатель крякает и с минуту сидит неподвижно.

— Хорошо... градусов на семьдесят...—облегченно говорит он.

Жадно хрустит луком.

Один за другим чашку опрокидывают приказчик, член правления, счетовод, Володька, Николай-угодник. Зажав руками рот, счетовод опять бежит в угол. Сквозь пальцы брызжет извергаемый обратно самогон. Счетовод крутит головою, захлебывается.

— Ан-тилигин!—с презрением бросает член правления.

Минута веселых разговоров, воспоминаний о вчерашнем, и «дела» передвигаются с места на место. Председатель щелкает счетами. Володька раздувает самовар. Член правления суетливо наводит порядок по лавке, амбару, канцелярии.

— Надо, братцы, торопиться, скоро годовой отчет... делов! делов! делов!

В избу вбегает возбужденный приказчик. Шепчется с членом правления—с председателем.

— Крой!

— За селедками бежать?—догадливо спрашивает Володька.

— Беги!.. Луку больше. Масла. Иван Егорыч, напиши орден на девять аршин муслина... да штанной... ну, как его—молоскины?..

— Четыре аршина молескина... семнадцативершкового, куваевского... аванс в счет аренды амбара... под предполагаемую заготовку пеньки,—с удовольствием выводит счетовод.

— Напиши: пенька для губсоюза...

— Сойдет и так.

Мужик в свите с нахлобученной на нос шапкой ставит посредине избы серый мешок.

— Матушка!—умильно кричит Никола-угодник.—Гусынька?.. Землячок, с яичком гусыня-то?..

Из мешка высовывает голову четвертная бутыль с самогоном.

— Никого не пускать! распоряжается председатель.

Никола-угодник сам вскакивает с печи и запирает на клин двери.

— Чтоб ни одна душа—живая и мертвая,—говорит он Володьке:—понял. ай нет?

— Понял, понял, лезь на печку, не мешайся.

Залпом выпивают по чайному стакану. Жмурят от наслажденья глаза. Потом—по второму, третьему. Вперемежку пьют чай. Закусывают прямо руками разрывая ржавые в крупной соли-бузун селедки.

Словно не было унынья и тоски. Хороша жизнь, кто умеет жить. Милы люди, которые варят крепкий самогон...

Ж-жалобно стонет... в-ветер асенняй...
Ли-стьё кружатся... паб-блеклая...

Галлифе счетовода трепетно, в такт покачиваньям, мотаются заплатанной мотней. Он поет и прижимает к груди пальцы в фиолетовых химических чернилах. Чернилами испачкан его лоб. Фиолетов фонарь на скуле,—весь он праздничен.

Лица остальных—багровы, потны.

— Товарищ Тоичкин, а помните, как вы вчера вели себя промежду товарищей?

— Помню.—Член правления:—могу повторить. Дальше что?

Председатель:

— А дальше, что лавочный чайник стоит тридцать фунтов ржи.

— Что ж из этого?

— Ага, что из этого?.. А как, например, голову было этим чайником председателю?..

— Ну?

— Одни дураки так...

— А ты—вор!..

На печи, рыдая:

— Я не буду больше... она дюже в голову... Я умирать чичас буду... папаша! папаша!..

— Вот ты глупый... экий, право, ей-богу... суй в ротик пальцы... Эх, Володька—Володька!..

> **Сердце наполни-ялось щувством тамлений...**
> **Вспомни...лась време... утекшее...**

— Товарищи!—Из сеней приказчик.—Предлагают еще пару: за семь фунтов роксы...

— Крой!—нескладно два-три голоса.

— А в случае—если больше?

— Крой!—все хором.

А в окна уже ползут сумерки. Плач и рвота ребенка заглушает песни, брань, заунывные рулады счетовода — отпетого щеголя, и глухое, пьяное, ласковое бормотанье Николы-бобыля-угодника.

Литературные края.

Современная литература за рубежем.

П. С. Коган.

I.

«Особенно ценное качество их дружбы заключалось в полной откровенности. Как два открытых города посреди обширной равнины, их умы были открыты друг перед другом. И при этом не было того, чтобы он входил в ее ум, как победитель, вооруженный с головы до ног и не встречающий ничего, кроме лести. Равным образом и она не входила в его ум мягкой походкой королевы. Нет, они являлись энергичными серьезными путешественниками, занятыми пониманием того, что можно видеть, и отыскиванием того, что было скрыто...» и т. д., и т. д.

Речь идет о молодом человеке и молодой женщине, которые тянут длинную канитель якобы очень тонких и сложных душевных переживаний. Для чего-то героиня произносит: «да, вам нужно спешить», когда душа ее хочет крикнуть: «останьтесь, я умру с отчаянья без вас»—и все в этом стиле упрощенной опошленной шницлеровщины.

Я думал, что этот род литературы уже закончил процесс вымирания. В самом деле, можно ли представить, что в России кто-нибудь дерзнет сейчас изображать флирт праздной парочки, при том с серьезным видом, с убеждением, что он делает важные открытия в области психологии.

Много лет,—временами кажется, целая вечность, — пролетело с тех пор, как мы оторвались от запада и перестали получать оттуда книги. И вот теперь они приходят грудами.

Госиздат начал новое крупное предприятие: взял на себя дело ознакомления русской публики с новинками европейской и американской литературы. Пробегаю эти стопки романов, новелл, пьес и стихов. И первое, на что я наткнулся,—на повесть «Психология» Катерин Мэнсфильд, откуда заимствованы вышеприведенные строки. Автор пользуется успехом в Англии, и критика относится к нему с сочувствием.

Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты.

Так можно перефразировать известную поговорку.

Европейское и американское мещанство, повидимому, ни на шаг не подвинулось вперед в своих художественных вкусах и требованиях. Книжный рынок «цивилизованных» стран наводнен романами, пережевывающими сю-

жеты Поля Бурже, с претензией на тонкий художественно-психологический анализ. Фактически вся эта литература посвящена изображению традиционных перипетий, предшествующих не менее традиционному акту.

Препровождение времени мирового мещанства то же, что и десять лет тому назад. Война и революционные потрясения ничему не научили тех, чьи материальные идеалы сводятся к купонам и сейфам, а духовные—к кабаре и флирту.

Обзор, предлагаемый читателю,—результат коллективной работы. Передо мною не только разноцветные томики, но и готовые переводы и отзывы специалистов, приглашенных к участию в работе. Есть вещи, появившиеся до войны, но только теперь попавшие в поле нашего внимания. Есть повторные издания старых романов. Можно судить о том, что из произведений прошлого привлекает европейского читателя. Есть и модные новинки последней минуты—продукты творчества выдвинувшихся за эти годы беллетристов, и идейные творения глубокого ума и чуткой совести—симптомы сдвига, совершающегося в сознании передовых кругов западного общества.

II.

Рядом с Мэнсфильдом большим успехом у английской публики пользуется Мэкензи (Compton Mackenzie), автор серии романов, напоминающих не то «Похождения Рокамболя», не то пресловутые писания Вербицкой. Лорды, актрисы, сутенеры, студенты, проститутки, дамы полусвета, театры, рестораны, притоны,—все, что полагается в образцовом бульварном романе.

Герой первой части («Sinister street»)—Майкель Фэн—незаконный сын знатного лорда. С своей сестрой Стеллой он воспитывается в деревне, ничего не подозревая о своем отце, который погибает на войне в Трансваале. Далее: рассказ матери о тайне его рождения, студенческие годы, история любви к Лили, ее исчезновение, поиски пропавшей по различным притонам Лондона, картины трущобной жизни, отчаянье Майкеля и обращение его к католическому Риму за утешением. Эта первая часть представляет некоторый бытовой и этнографический интерес описанием школьной и студенческой жизни, изображением лондонского «дна» в духе Горького. В следующих томах нет даже и этого оправдания. Вторая часть—«The early life and adventures of Sylvia Scarlett»—посвящена изображению лондонского демимонда, куда попадает героиня романа Сильвия Скарлетт. События: брак Сильвии с «порядочным» человеком, джентльменом, бегство от мужа, возвращение в полусвет, скитания по разным частям света (Америка, Испания, Марокко и т. д.), необыкновенные приключения. В третьей части «Сильвия и Майкель. Позднейшие приключения Сильвии Скарлетт» («Sylvia and Michael. The later adventures of Sylvia Scarlett») героиня романа—уже кафешантанная певица. Накануне империалистской войны Сильвия попадает в Петербург. Перед нами пьяные русские офицеры, графы, гадалки, порою напоминающие о «развесистой клюкве». Кружным путем через Одессу и Румынию Сильвия приезжает в Сербию, где встречает раненого Майкеля, ухаживает за ним и быстро

сближается с ним. Роман кончается идиллией бегства Сильвии и Майкеля в какую-то Самофракию.

Первая часть романа появилась в 1913 году и с тех пор не уменьшается спрос на повторные издания. Автору совершенно чужды проблемы, сотрясшие весь мир за эти десять лет. Кровавые потрясения ничего не изменили в его представлении о жизни, как о сцеплении занимательных эпизодов. Ему ведомы только люди, ищущие пряных ощущений и острых впечатлений.

Менее шаблонно эти же сюжеты разработаны в двух томах рассказов известного итальянского драматурга Роберто Бракко: «Гримасы печальные и веселые» («Smorfie gaie et Smorfie triste»), написанных в духе Мопассана и Марселя Прево. Изменяющая жена, изменяющая любовница, обманутый или обманывающий муж, располагаемые в различных комбинациях, часто неожиданных и столь же неожиданно разрешающихся. Любовь и ее спутницы, ревность, измена—предмет исключительного внимания автора. Интереснее других—рассказ «Борьба». Опьяненная восторгами любви пара, достигшая пределов счастья на земле. Неожиданно землетрясение погребает под развалинами часть населения. Юноша убит. Молодая женщина и старик нищий лежат живые под обломками. Если помощь опоздает, развалины станут их могилой. Страх смерти и надежда сблизили этих двух людей. Люди извне проламывают отверстие. Но стенки его вот-вот рухнут, и спасти с уверенностью можно только одного, так как своим движением он обрушит обломки. Завязывается борьба. Старик побеждает. Он спасен, а молодая женщина погибает заживо погребенная. Это лучший из рассказов Бракко.

Пробежим еще несколько произведений, предназначенных для того, чтобы содействовать пищеварению буржуа.

В романе Кока («Pamela herself». By Desmond Coke, London 1922) жена директора гимназии, мечтательная аристократка, скучающая в деловитой атмосфере, окружающей мужа, убегает с воспитанником его школы, раненым на войне.

В повести Заудека «Дипломаты» выведен австрийский посол в Голландии. Он и его любовница-графиня интересуются графологией. Их секретарша тоже постигает это искусство. Со всевозможными трудностями (в этом главное содержание романа) добывают они автографы Вильгельма, Гинденбурга и других «великих людей» и определяют по почерку их характеры. Вождям русской революции нет пощады от озлобленного реакционера-автора. В конце концов, не вынеся ужасов революции, посол и графиня умирают, оставив наследство секретарше, которая уезжает помогать Массарику в осуществлении его националистических намерений. Повесть проникнута шовинистскими и крайними националистскими тенденциями.

Вот группа неврастеников или помешанных в сборнике рассказов Берадта (Martin Beradt, «Die Verfolgten», 1919). Рассказ «Troll». Молодой ученый женится на молодой художнице. Опасаясь дурной наследственности своей, он уславливается с женой не иметь детей. Но не имея сил противостоять чувству материнства, она отдается какому-то здоровенному капитану. Рождается девочка. Благодаря любви, связывающей их, это событие не испортило

их отношений. Но так как в глубине души они мучаются, то молодая женщина чувствует потребность завести ребенка и от мужа. На свет появляется ребенок-кретин. «С тех пор, как я узнал в своем сыне кретина, я не могу больше любить его мать», замечает герой повести.

На эти же патологические темы написаны и все остальные рассказы. Почему сборник назван «Verfolgten» («Гонимые»)? Вероятно, замечает проф. С. Соболевский, это указывает на то, что героев преследует судьба, или они страдают душевной болезнью. Но почему немецкий читатель раскупает уже третье издание,—это его тайна.

III.

Оставим мертвецов говорить мертвым. Нет более верного показателя общественных сдвигов, чем литература. Бездарность авторов, берущихся за психологические темы, невыносимая банальщина! После Уайльда, Метерлинка, Гамсуна, Пшибышевского, недавних властителей дум, идеологов утонченных верхов европейского общества, расцветивших внутренний мир человека fin de siècle'я волшебными узорами эротики, мистики и фантазии, все эти эпигоны говорят об одном—что копающаяся в самой себе интеллигентская душа и душа праздного эпикурейца, владельца процентных бумаг, стала скучной и бесцветной, не рождает новых красок и звуков для поэтического вдохновения. Все уже сказано об истерии, все извлечено, что можно было извлечь из позолоченных форм разврата, из пестрых источников утешающего, развлекающего и щекочущего искусства. Обыватель довольствуется крошками, еще сыплющимися в изобилии из богатых сокровищниц недавнего великолепного модернизма.

Обратимся к произведениям, в которых отдаются раскаты, потрясающие мир,—предвестие невиданной бури, которой предстоит пройти по всему миру, очистить затхлую атмосферу и снести прогнившую до основания буржуазную культуру. К счастию, и в Европе и в Америке есть чуткие художники, которые поняли, что нечего жалеть о гибели так называемой христианской культуры. О чем жалеть, о какой цивилизации? Какая цена этому строю, в котором через каждые пять-десять лет истребляют десятка полтора миллионов людей, калечат женщин, детей, стариков, выжигают деревни и города, и все это для того, чтобы несколько десятков тысяч банкиров, фабрикантов и купцов могли стричь купоны и благодушествовать в своих отелях и виллах,—строю, в котором творческий гений, наука и искусство заняты страшной работой обоснования и оправдания этого «христианского» порядка.

В западной беллетристике отрезвление, несомненно, отразилось. И прежде всего прозрели люди благодаря империалистской войне. Нашумевшая книга Барбюса («Огонь») была первой ласточкой. Это одна из тех книг, которые немцы называют epochenmachend. Когда я читал эту удивительную эпопею, мне вспоминались все баяны войн от Тиртея до Пушкина и Лермонтова, с их полтавскими и бородинскими битвами, до патриотических немецких романистов, не щадящих красок для достойного изображения подвигов

храбрых лейтенантов. Барбюс сорвал романтическую маску с отвратител ного лица войны, разорвал все пестрые наряды ее и показал ее грязное, п крытое струпьями, тело. Он сказал, что война это—не красота, не блест щие колонны, рвущиеся в бой; война—это вши и клопы, голодные люди, в ляющиеся и умирающие от тоски и голода в окопах, грязные отрепья, прил пающие к гнойным ранам. Война—это не стихийный порыв любви к отеч ству и народной гордости, а подлая алчность корыстных негодяев, искусной сложной сетью обмана опутавших многомиллионное стадо несчастных пр стаков. Книга Барбюса, быть может, самая волнующая и нужная книга и всего, что появилось за эти годы войн и революций.

IV.

Рядом с ней прекрасная книга Рэмона Лефевра: «Губка с уксусом» В Париже в 1914 году в маленькой серой лавчонке «Книга труда» жил Пье Монат, редактор «Vie Ouvrière», разделяющий с Мергеймом часть первой фор мулировки протеста французского пролетариата против войны. «Росме поэт Мартине, Троцкий, Гильбо, Мергейм и двое или трое других, мы был носителями идеи будущего Интернационала... Мрачная гордость не покидал нас, гордость верных своим обетам, гордость устоявших против нахлынув шей глупости, в которой, кроме Ромена Роллана, захлебнулись в то врем самые могучие умы»,—рассказывает автор. Книга—ряд кошмарных картин образов. Мелькают сцены краткие, страшные, ничем не связанные, столь ж безумные, нелепые, как само это время. Кажется, будто мир вдруг лишилс разума, потерял человеческий облик и принял вид чудовищ из галлере Гойя. «Вчера был рыночный день, не видать больше краснощеких здоровяко в рубахах, множество стариков и детей в трауре; женщин на вид вдво больше прежнего. Я поделился грустными впечатлениями с старыми друзьями с друзьями моего детства, моих родителей. Они строго заметили: нужн отогнать все грустные мысли, пока мы не дойдем до Берлина». Книга напи сана кровью сердца. В одной сценке автор умеет показать бездонное море лжи, затопляющей Европу. Великолепны картинки из жизни «правящего класса», воспитания детей, пропитывающихся ядом национализма и шови низма чуть ли не с первых дней своей жизни. Великолепен этот разговор с каноником. «Что будет после войны? Подумайте о громадном численном пре обладании женщин над мужчинами. Европе от обезлюденья и смерти придется спасаться многобрачием, тайным и явным. Каноник испустил глубокий вздох: «Ничего не поделаешь, дитя мое... Из Священной Библии мы узнаем что племя Израилево не раз вынуждено было прибегнуть к подобным сред ствам, чтобы выжить после тяжелых побоищ. Если такова воля Господня, м узнаем об этом». Великолепен школьник, который на вопрос учителя о то с большой или маленькой буквы писать слово «Германия»,—ответил: «Эту г лость да с большой буквы. Разве Германия имя собственное (игра сло «propre» значит и чистый и собственный)? Родина того, кто убил мое папу». И ребенок растет с мыслью о мести. Так наша европейская цивил

зация, предмет гордости нашей, готовит новые пожары человечеству, новых убийц и палачей...

Жгучей ненавистью к империализму, острой сверлящей жалостью к жертвам войны проникнута книга Андреаса Латцко «Люди на войне». Книга великой скорби, глубоко проникающая во внутренний мир безвинных страдальцев, брошенных в кровавые об'ятья войны банкирами и торгашами. Отголоски военных событий слышатся в несколько схематичном романе Франца Юнга «Arbeitsfriede». Война дала толчок умственному развитию героя. Перед нами картина митинга рабочих, их схватки с солдатами, мечты о социальной революции, как единственном спасении от безобразной жизни.

Интересны рассказы Франца Бевка («Фараон» и др.), вышедшие в прошлом году в Триесте. Это ряд эпизодов из эпохи империалистской войны, души, отравленные ее ядом, разбитые семьи, поруганные чувства, растоптанные надежды. Сильное впечатление производит рассказ «Зов жены». После утомительного перехода по болотным трясинам отряд остановился в бараке в деревне на берегу реки. Ночью, когда все уснули, не спит один солдат. Его влечет в родные горы от потоков крови и мук. Там безвинно страдающее любимое существо. Хоть бы на день, на час туда. Но жесток Молох войны, отпуска не дали. Рыдания вырываются из груди солдата. Проснувшийся сосед-солдат советует ему спокойно смотреть в лицо смерти и не думать о жене, которая не долго будет помнить убитого. Герой рассказа не только не успокаивается, но в припадке безумия в нижнем белье бросается к выходу и без оглядки бежит в темную глухую осеннюю ночь под свист ветра, под шум разбушевавшейся реки, в потоках беспощадного ливня. Не менее тяжелое впечатление производят рассказы Бевка на тему о вернувшихся с войны: годы разлуки кладут глубокую борозду между когда-то близкими людьми, чуткость утратилась, и люди, понимавшие один другого с полуслова, глядят друг на друга чужими глазами. Еще трагичнее («Возвращение») сцена возвращения героя, мечтающего о радостной встрече и застающего картину полного запустения. За два с половиной года его отсутствия жена умерла, никого не осталось в доме. Сад пуст, на крыльце, где воображение рисовало ее, встречающую, ничего.

V.

Антимилитаристским и революционным пафосом проникнут Джон-дос-Пассос, автор интересного, хотя и растянутого романа «Три солдата». Это история трех американских солдат, принявших участие в европейской войне. Бессмысленный характер мировой бойни, безумие вырождающегося буржуазного мира получают своеобразное яркое освещение при столкновении живых человеческих индивидуальностей с режимом мертвящей муштры. Один из трех, простой парень Фузели, отправляющийся на войну, другой Эндрьюс, университетский человек, ищет военных потрясений для того, чтобы удовлетворить свое интеллигентское любопытство. Третий Кристофельд, прямой импульсивный фермер из Луизианы. Каждый по своему переживает ужасы войны. Кристофельд—с животным переутомлением, с диким страхом смерти,

с волчьей жаждой женщины. Фузели терпит фиаско, его карьера не удается, его невеста выходит замуж за другого, он попадает в рабочий батальон. Его исполнительность, готовность ласкового теленка, его мечты о женитьбе на случайной подруге-француженке,—все растоптано чудовищем войны, он кончает нравственным банкротством. Эндрьюс ранен. В госпитале его посещают благотворительные дамы, медоточивые пасторы. Он хочет уйти из своей части, обрести вновь свою измолотую душу, изучать музыку. Зачем, во имя чего исковерканы три человеческих существования? Каждая строка романа вопиет к человеческому сознанию. Эндрьюс—дезертир. Пред нами несколько сценок из жизни затравленных американских дезертиров, их тщетные надежды на революцию, подобную той, которая разразилась в России.

Крот истории роет хорошо. Читая эти романы, начинаешь понимать великую тайну могущества русской революции. Уже шестой год обедневшая, дезорганизованная, измученная Россия противостоит богатому организованному западному миру, и никакие усилия этого мира не могут погасить огня, загоревшегося в восточной части Европы. Не могут, потому что прикоснуться к пламени—это значит вспыхнуть самому. Русская революция—символ, в котором причудливо об'единяются чаянья всех прозревших, мечты угнетенных и эксплоатируемых всех видов.

Не раз в западной беллетристике звучит этот призыв к далекой России, зажегшей факел, угрожающий пожаром одичавшему миру. Из романистов, прямо и открыто исповедующих идеалы социалистической революции, первое место принадлежит Уптону Синклеру. Два его обличительных романа — «Джимми Хиггинс» и «Сто процентов» — хорошо известны русскому читателю. Они взбудоражили капиталистический мир Америки и Европы и вызвали взрыв ненависти к знаменитому писателю. Синклер—единственный чистый образец художника-публициста, бесстрашного обличителя эксплоатации. В его романах документы, данные судебных процессов, протоколы рабочих организаций, газетные разоблачения чередуются с придуманными сценами и вымышленными образами. И тем не менее романы эти обладают такой убедительной силой, производят такое неотразимое впечатление, что эта нескладная грубость может конкурировать с самым тонким мастерством. Синклер—величайший агитатор, естественный и значительнейший поборник идей и методов русской революции. Новый роман его, выпускаемый Госиздатом,—«Король Уголь»—изображает картину взрыва шахты. Сотни людей погребены под обломками. Многие из них еще могут быть спасены, но для этого необходимо немедленно приступить к работам. Целый ряд причин побуждает администрацию замедлить работы по раскопкам, так как владельцу угрожают большие убытки. Главный герой романа, молодой человек из светского общества, потрясенный катастрофой, ведет лихорадочную борьбу против администрации. Он спешит поднять на ноги суд, полицию, печать, проникает к сыну владельца копей, проходит все инстанции, использует все средства, которые демократическими законами предоставлены эксплоатируемым для защиты своих прав. Однако нечеловеческие усилия молодого человека терпят крушение. Все на службе капитала. И полиция, и суд, и печать призваны охранять

юрядок и спокойствие общества, т.-е. интересы капитала. Синклер до самых :крытых источников обнажает современную структуру общества. Все высокие слова: родина, общество, порядок, правосудие, свобода печати, избирательное право—все это орудия, которые капитал превосходно приспособил : своим интересам. Полиция, суд, армия, чиновники, ученые, инженеры, пиатели, журналисты, все—наемные слуги капитала, образуют дисциплинированную армию с строгим распределением функций, армию, неусыпно охраняющую все фронты, на которые может последовать нападение. Нет произведения, которое бы так убедительно доказало несостоятельность всякого соглашательства, иллюзорность всяких демократических верований, так блестяще правдало методы Октябрьской революции. От романа трудно оторваться. Чисто американская энергия, развиваемая героем романа, захватывает в конце концов и читателя. Вместе с ним носишься по всем учреждениям округа вместе с ним хоронишь все иллюзии на счет легальных и эволюционных путей развития общества. Вместе с ним познаешь, что нет примирения между двумя мирами, что только уничтожение одного из них откроет путь расцвету торого.

(Продолжение следует).

Лоскутья победы.

Сергей Бобров.

Где он—тот, который мог написать о войне веселую и кричащую книгу? О чудовищной войне 1914. Мы помним «манифесты» Маринетти, первые яростные стихи Маяковского, помним лица первых прапорщиков июля 1914, говоривших «расшибем в лучшем виде!», помним тысячные толпы, день и ночь плывшие по Москве перед началом военных действий... но где он, тот, который будет говорить теперь о войне без содрагания и инстинктивного страха. Может быть это—придет из Америки; но пока мы не знаем, как живет это стальное брюхо, набитое золотом. Постепенно открываются в Европе уста, залитые расплавленным свинцом военной цензуры. И проклятие за проклятием падает на пережитый потоп крови. Но и проклятия бывают разные.

Кто-то (Гинденбург, кажется) в начале войны сказал, что победа останется за тем, у кого будут крепче нервы. Если судить по роману Келлермана «Девятое Ноября», то немецкие нервы войны не выдержали. Это бешеное отчаяние, которым напоена книга Келлермана (неплохого писателя), эта истерика беспредметного кукиша [1]), показываемого в бессильной злобе всем вплоть до небес, эти руссо-измы положительной программы автора и занавес немедля вслед за революцией (важная бутафорическая подробность), — все это работа нервов, которые не оказались достаточно крепкими для требований Гинденбурга. Келлерману жалко разбитую страну, это понятно. Но ведь и за этой страной кое-что числится, но автор рассеянно забывает о Калише, Бельгии. Дело представляется ему детски простым: в Германии жили нехорошие себялюбивые старички, которые завели войну. Она велась лицемерно, а стратегия прихрамывала в самые важные моменты. Это-то и есть самый важный грех старичков, и центральный персонаж романа, генерал Хехт-фон-Бабенберг, умирает в начале революции не потому, что рушилось все, чем он жил, а потому, что вдруг понимает точный стратегический смысл последнего немецкого наступления,—немцев завлекли в колоссальную ловушку, дали оторваться от коммуникаций, а затем напустили на них сотни тысяч свежих американцев и—изжарили, как куропаток. И нарисовав такую картину, Келлерман кричит—это бессмыслица! Верно то, что концепция эт

---

[1]) Бернгард Келлерман, „9-ое Ноября", роман. Перевод с немецкого С. В. Крыленко под ред. В. М. Фриче. Мосгубиздат. 1922. М. 6.000 экз. Стр. 392.

бессмысленна, и можно опасаться, что когда-нибудь такой взгляд на вещи приведет Келлермана к требованию «реванша». Все это — только плохие нервы, и трагедия войны ничему не научила Келлермана, кроме розовенького демократизма, материала, как известно, ни на что не пригодного. Роман Келлермана написан отлично (в некоторых местах до странности напоминает «Петербург» Андрея Белого); но это обстоятельство еще более обнажает нищету его душевного наполнения. В конце концов любая тема может быть изложена тоном той же задыхающейся истерики и тогда ее можно будет приравнять—кошмару. Сущность же описываемого от этого нимало не изменится, как не изменится и наше внутреннее представление о сущности этой. А такой сущности Келлерман не задевает,—просто он расстраивает вас бесконечными, натуралистическими описаниями боев, голода—или противоположным: балами и дорого стоящим прожиганием жизни. Есть смертельная усталость, изношенность, истерика. Мы можем пожалеть беднягу,—но помочь не можем. И покуда он сам не встанет и не переварит войну, никто ему не в силах помочь. Этой наимрачнейшей истины Келлерман не понял. Он до нее еще не дожил.

Быть побежденным—вредно (нервы портятся, как у Келлермана), быть победителем—опасней во сто крат. Вид развевающихся штандартов и триумфальных арок плохо действует на умственные способности. Очевидно неглупый человек Р. Пуанкаре тому ясное доказательство.

Англия сравнительно мало пострадала от войны. Ей не пришлось ее вести на собственной территории, поэтому самого страшного она не видала. Цеппелины над Лондоном были разрекламированы обеими сторонами, и нападавшей и потерпевшей, со специальными агит-целями. Настоящего голода там не было. Флот работал до крайности осторожно (вспомните о битве адмирала Битти) и особых морских трагедий тоже не было. И все же, кое-кто в Англии сумел пережить войну глубже и существенней, чем те, у кого для этого было материала больше. Уже «Мистер Бритлинг», превосходный военный роман Герберта Уэллса, раскрывал перед читателем картину—переживаемой войны. Каждый шаг кровавого циклопа раскрывал глаза Уэллсу,—автор не стонал, не метался, не кричал на крик, не угощал нас всякими пикулями ужасов, а спокойно рассказывал. Рассказывал, что на Британских островах, далеко от войны, живет неглупый и достаточно тонкий человек, чуть тронутый легкомыслием мирного существования,—и он, далеко от городов, где-то в имении, в промежутке между попытками научиться управлять автомобилем, танцами в сарае, литературными разговорами и хоккеем—переживает трагедию войны так, как пережили ее немногие из тех, кто видел ее в глаза. Возможно, конечно, что зрелище войны слишком чудовищно для того, чтобы можно было, будучи его участником, говорить и думать о нем трезво, но както плохо верится в такое об'яснение. Война постепенно в'едается в Бритлинга; выясняется, что смысл слова «война» был потерян для европейца в июне 1914, Бритлинг его с ужасом и растерянностью находит, только тогда, когда в Англию мчится поток бельгийских беженцев. Но это не все, каждый новый день приносит новые разоблачения,—под их чудовищным гнетом Бритлинг

стареет, горбится. Вот трагедия человека,—всегда немножко мечтателя и теоретика,—когда ему приходится лицом к лицу столкнуться с действительностью.

Было бы, ясное дело, несколько курьезно сопоставлять писательские возможности Уэллса с Келлерманом. Мировая слава Уэллса—это не слава сочинителя фантастических романов (сравните, коли не верите, с известностью Конан-Дойля, Поля Леру и др.) и совершенно напрасно рассердился скромный Герберт на Чуковского, уверявшего его, что все грамотные дети России его читали,—это верно. «Тоннель» Келлермана недурная вещь,—но это литературка, постановка с массовыми сценами—и больше ничего. В его толпах нет ни одного живого человека. Но сопоставление это лишний раз говорит: вот что такое мировой писатель и вот кто литератор и беллетрист.

Уэллса любят в России. Но как-то нам, грешным делом, не довелось прочесть о нем ни одной дельной статьи. Вот что грустно. И сдается нам, что рядовой читатель знает об Уэллсе больше, чем критик и писатель.

Мы много говорим теперь о «приемах» и методологии литературного творчества. Небезызвестно даже из гимназических учебников, что и Сервантес в «Дон Кихоте» не ограничивался только описательством занимательных вещей, а делал и кое-что другое. Почему любят фантастические романы именно Уэллса, а не первого мазилы из железнодорожных сборников, где «интересного» тоже немало? Почему читают «Невидимку», а не «Монте-Кристо», ведь не так уж мы любим бензин, в конце концов?—вот здесь-то и начинается самое интересное.

В чем дело в «Невидимке»?—разве в том только, что это сделано блестяще, что Невидимка и все его преследователи ведут себя так, как будто они живые-разживые, что роман развертывается страница за страницей в бешеном аллюре, что там ряд рискованных, жутковатых положений вкрапливается в действительность, что поистине страшен блестящий револьвер, висящий в пустом воздухе перед врагом Невидимки, что вы дрожите вместе с доктором, когда видите, что ему не удается провести это интеллектуальное страшилище? Боже мой, если вы не слепы, то вы сообразите, что научная подоплека существования Невидимки не выше достоверности Шекспировских кораблей, пристающих к Богемии,—и почему же вы улыбаетесь наивности учителя физики указывающего вам, что Невидимка, разумеется, только сказка, ибо если бы он был таков, то он прежде всего не мог бы ничего видеть? В чем же дело—уж не в кинематографической ли драме с пятнадцатью ведрами крови, пролитыми Невидимкой?—надеемся, что наши читатели чуть выше таких соблазнов.

Что зовет и притягивает вас в «Войне Миров» с их марсианами: ужели наискромнейшие фокусы с стра-ашенными пушками, и аппараты, в которых передвигаются марсиане, об устройстве которых к тому же Уэллс скромно умалчивает? Да ведь у любого Стивенсона есть загогулины много более хитрые.

Нет. Везде и всюду у Уэллса под видом ли фантастического романа, под видом ли бытового («Мистер Льюистэм») или специально-коммерческого

(«Тоно-Бенге») вырастает трагедия человека-современника. Ее и не заметить, так далеко она в подпочве романа, но вы слышите ее дыхание, и это-то и зовет вас к Уэллсу. Коллектив—царь земли, говорит Уэллс,—ему не могут помешать ни марсиане, ни кометы, потому что только он сумел приспособиться к нашей планете и он останется ее повелителем. Уэллсово путешествие на луну—настоящий мизантропический роман типа Свифта, его «Машина времени»—напоминание коллективу о том, чему теперь мы являемся свидетелями. «Остров доктора Моро»—роман антививисектора и под видом угрозы восстанием животных Уэллс просит милости животным, хорошо понимая, что зрелище чужих страданий не может воспитать социально-полезную личность. Сила основной мысли, ее так сказать температура—и определяют всю колоссальную действенность Уэллсова творчества. Он потому хорошо пишет, что хорошо думает. Он знает человека со всеми его слабостями, видит и любит его: все его герои—люди со всеми недостатками своего типа, он нигде их не приукрашивает, но и не измывается над ними. Он идет вместе с ними через трагедии, муки, дрянь будней, но он вытаскивает их—к социально-полезному существованию, каких бы отказов и боли ни стоил этот поворот. Вот что любят в Уэллсе,—вот без чего не осуществим мировой писатель.

Эта трагедия железной трезвости вся пронизана сознанием,—что она воистину трагедия, ибо ее материал—живые люди. Ты обязан бороться с миром во что бы то ни стало, и обязан это делать не для себя. Вот куда показывает рука Уэллса, и у кого повернется язык сказать—что это пустяки!

«Неугасимый огонь»—замечательный роман. Мы всячески советуем прочесть его; это книга, с которой можно жить, и жить не один год. Привязываться к его будто бы «мистической» теме совершенно нечего, никакой мистики там нет и не было никогда. Читается же,—а за последнее время даже людьми лишенными и вкуса и морали,—у нас роман Честертона (почему его не издают, между прочим?) «Человек, который был Четвергом», где в детективный роман усажена чистейшая космогония — и никто не замечает там никакой мистики. Сюжет «Неугасимого огня» очень прост: — это история Иова наших дней.

Иов Уэллса претерпевает то же, что и Иов Библии, но в современных аспектах. Он болеет не проказой, а вещью тоже в той же мере приятной—раком, он теряет любимое дело, школу, где он насаждал идеи новой педагогики, его друзья начинают разуверяться в его способностях, сына его убивают на войне. Из довольного, сытого, уважаемого человека, он превращается в больную тряпку, которой друзья стараются «деликатно» выяснить, что она никуда не годится, а жена говорит ему это и показывает всеми своими действиями без стеснения в глаза. Он уезжает из своего любимого места от развалин сгоревшей своей школы в маленький городок, до сих пор славный своей дешевизной, куда его влечет внезапно выросшая до огнеопасных размеров экономия жены. Добрые утешения окружающих начинаются с первой страницы, если не считать пролога—разговора Бога с сатаной. Этот разговор ведется примерно в современной фразеологии, чуть не дословно повторяя по смыслу Библию. Но в Библии отсутствует декоративно-иронический элемент,

введенный Уэллсом в сцену с чрезвычайном мастерством. В этой декорации простота и легонький скепсис значительно облегчают читателю трудную задачу—вжиться в небесный пейзаж. Итак: ближние сочувствуют, они начинаются с хозяйки гостиницы, которая наставительно уверяет Иова Хасса, что надо смириться вообще. Добрая спутница его жизни, узнав о раке, рассматривает это происшествие, как нарочитую пакость на ее счет. Этим определяется ее поведение в дальнейшем развитии повести. Но Хасс связан с рядом людей, поддерживавших его школу. Все это очень милые люди по-своему нравственные и честные, даже сердечные, но они люди дела. История оборачивается так, что Хассу некого обвинять. Он отлично понимает, что жена его не хуже других женщин, что она способна на поддержку, ласку и прочие доблести,—что жизнь ее разрушена обстоятельствами, в которых никто не виноват. Он понимает с другой стороны, что хотя он во многом не сходится со своими друзьями, все же это люди достойные уважения,—но они деловые люди, и они не могут поддерживать существо, впавшее в ничтожество, человека, оказавшегося не на высоте положения, когда ему пришлось бороться,—бороться с обстоятельствами. Они хорошо знают цену жалобам на обстоятельства, и сам Хасс знает ее не хуже их. Они полагают, что могут рассчитывать на его благоразумие,—а он знает, на что они будут рассчитывать. Так вокруг Иова стесняется круг неразрешимостей, не оставляя ему даже и маршрута для жалоб—все произошло «само собой», и обвинять некого.

В Сандеринге на море сидит в волосяном кресле Хаас и мучится, как быть ему со своими надеждами и с тем Богом, которого он носит в своем сердце—в Лондоне трое его друзей кушают омара. Они говорят о пустяках главным образом потому, что все они любят Хасса, и им не хочется говорить о нем того, что они должны сказать. Но разговор неизбежен и выводы его: глупо поручать деньги адвокату, это неподходящий народ для хранения стоимости мира; несчастий, как таковых, не бывает, бывают ошибки; м-р Хасс увлекающийся человек, он увлекается—*теориями;* у него есть идеи, и кажется—он передает их своим ученикам. Вывод,—с'ездим, поговорим, как бы невзначай, там есть площадка для гольфа. Они едут трое, и один из них—враг Хасса, это Фарр, учитель его же школы, он метит на место Хасса. В разговоре в дальнейшем принимает участие доктор, пользующий Хасса. Операция назначена в тот день, когда приезжают друзья. До операции остается час. Но лондонская хирургическая знаменитость запаздывает и разговор затягивается. Сперва они говорят о школе и только о школе. Хасс горячо говорит о воспитании (больной вопрос Европы ныне, а тем более страны Кембриджа и Оксфорда), он говорит о жизни, о судьбе и о Боге, о Боге, который оставил его. Он задевает последние вопросы походя. Но взаимное понимание становится трудным, когда собеседники одушевлены прямо противоположными мыслями, патрону школы кажется, что основной пункт неправоты Хасса именно в его отношении к миру и Богу, и разговор перекочевывает в эти области. Хассу излагают здравые, трезвые и определенные вещи, излагаемые вообще на каждом шагу. Вывод один и тот же, не Провидение, а сам Хасс виновен в случившемся. Хассу же кажется: его несчастия—цепь не-

›смысленных катастроф, жизнь—ряд бесполезных и необ'яснимых страданий Хасс просит честности. Он требует, чтобы на мир глядели прямо без розовых очков,—его филиппики потрясающи и глубоки. Что такое мир, спрашивает Хасс,—мир, весь наполненный паразитами, мучающими своих хозяев, мир, весь наполненный жестокостью нападающего к его почти беззащитной жертве, с которой он разделывается с непостижимой безжалостностью. Этот мир—это ад, этот ад и есть мир, сотворенный Богом. Чем провинились мальчики, сгоревшие при пожаре его школы? Что может утишить миллионы страданий, переносимых животными?—а мы всегда и всюду сталкиваемся со зрелищем этих страданий. Даже самое нежное и прекрасное в природе все наполнено страхом, смертью и жестокостью. Ни одно животное не живет вне страха и невыясненных страданий. Человек пользуется этим в разных формах для своего обогащения—это называется коммерцией. «Что, кроме бунта, остается человеку перед лицом таких фактов?» спрашивает Хасс.

Спор идет и движется, Хассу говорят здоровые вещи, чуть подсоленные иронией автора в некоторый сентиментализм. На все бурно обрушивается Хасс своим мрачнейшим скептицизмом, цинический голос невера говорит в нем: нет ничего в мире, что было бы направлено с определенностью к добру. Все непостижно сложные процессы природы могут иметь своим результатом и добро и зло безразлично, но, как общее правило, скорее они идут на пользу мировому злу. Один из собеседников, исчерпав доводы, даже обращается к умилительному зрелищу своей души, которой нет основания отказываться от Бога и к теософии. Хасс отвергает это с презрением. Но неожиданно говорит он: человеческий дух исполнен неугасимым огнем, им познается смысл жизни и Бог—«я должен служить Ему». Наконец, он готов согласиться с рядом положений своих противников, все это правильно. Неправилен вывод, в котором основание — фатализм, все равно мистический комерчески-деловой, научный. Хасс борется с «Темной Силой мира, которая стремится раздавить всех нас... Это борьба против беспорядка в мире, отказ от покорности, на которую вы идете, полный отказ от добровольной смерти в жизни»...—«Я вижу свет над миром», говорит Хасс. Он говорит о войне. Это не истерики Келлермана, людей обозленных, потерявших равновесие и по существу не осведомленных по вопросу, о котором они говорят, и не раздумывавших о нем.

Уэллс переносит на людскую войну те соображения, что Хасс высказывает о вечной войне между животными. Он добавляет сюда еще одно обстоятельство. Он говорит еще о профессиональном травматизме войны. Военный не только убийца, он еще и самоубийца,—вот что всего ужаснее в войне. Его ухищрения по части изобретения приборов для умерщвления себе подобных роковым образом обращаются на него же: нет более тяжелого, трудного, неблагодарного и опасного (вне опасности быть убитым неприятелем) труда, чем труд войны. Остро и резко в иллюстрацию этого описана жизнь на подводных лодках, предмете особенной ненависти союзников во время войны. Экипаж подводных лодок недостоин ненависти, говорит Хасс,—это самые несчастные люди, которых только можно выдумать. И весь мир—такая под-

вочная лодка—бессмыслица, которая уничтожает себя самое своими же достоинствами. «Бог живущий в наших сердцах» заставляет нас воевать против таких положений, ибо—«нет никакого смысла, нет нигде ничего творческого, кроме неугасимого огня, кроме духа Божия в сердцах людей». Вывезем же, говорит Хасс, землю из положений, в которых нет и не было никакой внутренней необходимости»... В это время появляется оператор и разгоняет беседующих. Спор окончен. Хассу сказаны все гадости, услышать которые осужден человек, споткнувшийся на своем жизненном пути. Хасс идет на смерть—оперироваться от рака. С Хассом кончено. Но Хасс не сдается за минуту до появления хирурга, он повторяет вкратце все, что сказал.— Операция. Дух Хасса уносится неизвестно куда (уже использованный Уэллсом в одном из его ранних рассказов эффект: захлороформированный становится ясновидящим, это между прочим расходится с опытом людей, бывших под хлороформом: сознание тогда умирает на это время вовсе) и он видит старинный город Уц, себя на гноище, четырех друзей вокруг, они уже одеты в те одежды, которые им дала Библия. И вот он говорит с Богом и духом зла. Здесь находится исцеление от бед и зол. Здесь он слышит слова утешения. Эта глава написана с потрясающей силой. И на последний вопрос Иова: «Будет ли мне победа и власть?» его Бог отвечает ему: «До тех пор, пока длится твое мужество, ты будешь побеждать»...

Испытания Иова окончены. Он не сдался ни на какие страдания. Его мужество оказалось неизменным. И по Библии кончается роман Уэллса: операция удалась, это был не рак, он выздоравливает, получает наследство и свою школу обратно, так как находятся люди, которые его поддерживают. И последний отрывок последней главы своим лапидарным пафосом хватает читателя за горло:—это входит мистрисс Хасс и приносит телеграмму,—сын Джильберт, ее «маленький мальчик» жив, он в плену.

Итак, концепция Уэллса: нет творческого начала, морали и смысла в мире нигде, кроме как в человеке. Мир наполнен несчастиями, бедствиями и бессмысленными драками, которые пышно зовутся «защита отечества» только потому, что эти драки уснащены орудиями машинного истребления людей, орудиями настолько гнусными, что даже слабый намек на них в мирной жизни вызывает бурное негодование. Боритесь с этим,—говорит Уэллс,—помните, что вы одиноки в этой борьбе, как одиноки в мире, ибо мир не знает, что такое мораль и человечность. Покуда ваше мужество с вами, вы будете побеждать, как побеждали до сих пор. Не неистовствуйте, это грязно и бесполезно. Не отравляйте головы детей лицемерием воинствующей расы и ненавистью к людям, носящим платье другого покроя (нельзя даже сказать «говорящим на другом языке»: наши хохлы честно бились на австрийской границе с хохлами Червонной Руси). Не проклинайте людей за их слабости и сентименты, вы сами не можете ступить шагу без этих условностей и микроскопических удовольствий. Не воюйте с безвредным в человеке, в нем слишком много еще вредного. «Я слуга мятежного и отважного Бога», говорит Хасс. Этот Бог должен перестроить мир—или он же уничтожит его: мир станет самоубийцей, как он едва не стал во время этой войны.

Трагедия, созданная Гербертом Уэллсом не носит никаких пышных одежд. Но она и есть—огнь неугасимый. История Хасса—история воевавшего с 1914 года мира. Потерял ли мужество этот мир?—Если да, то его история кончена. Если он мыслит по Келлерману, о нем не стоит больше думать. Если он вылился в философию Освальда Шпенглера,—он уже пустыня. Потеряли ли вы мужество? спрашивает нас Уэллс.—Нет! ответим ему во весь голос.

Мир очинается с трудом от кровавых лет убийства и самоубийства. Но в нем еще остались люди, которые зовут к созидательной осмысленной работе. Один из них Уэллс. Пожмем его крепкую руку от всей души в благодарность за напоминание и ободрение. Всякий нуждается в этом теперь. И никто не должен чувствовать себя одиноким в деле восстановления мира.

Уэллс не знает штандартов победы, он не слышит их лицемерного шума,—но из лоскутьев победы он связал венок—мужеству и покоренного человека.

Алло, Джимми Хиггинс! ты, брат, единственный живой человек на войне! Плохо ли было мистеру Бритлингу отказываться от манеры сладкого позевыванья над миром, от своего гамака традиций и срединной успокоенности. Мистер Бритлинг хороший человек и его «здорово выкрутило» войной, как сказал бы Джимми, коли б знал его. Но все-таки мистер Бритлинг был тыловик, и у него было время и кое-какие удобства для того, чтобы осмыслить свое положение. А с Джимми мир обращался много менее вежливо. Джимми был: «дубина», так по крайней мере говорил о нем судебный следователь, который интересовался, каким образом залетел социалист и пацифист Джимми в компанию немецких шпионов, организовавших взрыв мунициюнной фабрики. Из этого расчета с Джимми не церемонились: он ведь был самой непоседливой личностью в своем Лисвиле. Немало сделал покойный Марк Твэн для того, чтобы У. Синклер мог написать своего Джимми Хиггинса,—то тут, то там вспоминаешь умных и благовоспитанных мальчиков—Тома Сойера и Гекклъбери Финна. И Джимми в этой личине влетает в его вихры так, что дай Бог всякому. Он сидит в тюрьме, где впервые знакомится с милым насекомым, которое стало таким популярным за войну, вся семья его в секунду покидает сей мир на основании взрыва поезда с огнеприпасами около его домишки, с горя он таскается по всей Америке и прочее. Долго прячется и хоронится Джимми от войны,—он ее *не признает*. Он честно и со всем азартом своей дубовой, но горячей головы повторяет словечки пацифистов, но у войны свои расчеты,—и она на этом-то именно основании запихивает Джимми в грязную историю с немецкими деньгами. Война лезет и прет неудержной лавиной в жизнь маленького пацифиста Джимми: «Какого же чорта прикажете тут делать?» А тем временем судьба подносит Джимми мрачноватенькую историю с насильственной кастрацией одного пышного юноши, который был почти его хозяином,—похоже, что и через золото слезы льются. И под конец товарищ Хиггинс не выдерживает, трясясь и дрожа, едет он во Францию, на фронт, хоть и не солдатом все-таки, но военным рабочим. Ему везет, этой пропащей голове, Хиггинсу, разумеется, он налетает на субмарину и этот

кроткий зверок пускает в него мину.—«Джимми Хиггинс принимает ванну», так называется глава. Чорт бы ее побрал, эту ванну в ледяной воде, вместе с субмариной и ее проклятым кайзером! Правда, субмарина честно идет к чорту после своего подвига, расстрелянная союзными контр-миноносцами, узнав о чем Джимми испытывает «трепет удовлетворения», как сие ни чудовищно для честного социалиста и пацифиста. Но зато, после ванны Джимми удостаивается в лазарете беседы с королем Англии: «Я социалист», выпаливает он. «Да что вы!» удивляется Его Величество. «Ей Богу!»—говорит Джимми. Он попадает на фронт. Участвует в бою (последнее наступление немцев, оно есть у Келлермана и у Уэллса) и смерть пляшет, визжит и разрывается под самым носом у него. Голубой немец уже поднимает свой штык над его пацифистской отпетой головой. «Он остановит бошей или сдохнет»—но в эту минуту выясняется, что, пожалуй, он скорее сдохнет, чем остановит эту публику. Но немец не ткнул его штыком, а свалился на него, как мешок,—Джимми минуту думает, что он уже инсталирован в лоне Авраамлем, но все ж выползает из-под своего приятеля. Кто-то бежит и стреляет сзади, кто-то старается за Джимми: «Американские солдаты!»—«Да, сэр, в воронке уже находились два американских солдата!» Так воюет пацифист и социалист Джимми Хиггинс, самый непоседливый человек в Лисвиле. Он ранен и попадает в тыл, где ему приходит в голову, что если бы он не палил как сумасшедший из автопистолета и французского пулемета, немцы бы прорвались, пожалуй, и Бог знает, что бы еще было с Парижем и мировой историей! Война это война—«что же прикажете делать с гуннами?»—и, чорт их всех побери, Джимми не сядет в калошу и не «покроет стыдом все социалистическое движение!»—не такой он человек. Приходится признать, что иногда надо и воевать и кое-кому не мешает время от времени получить «хорошую взбучку», как уверял Джимми в Америке ветеран войны за освобождение негров. Да, кинематограф Уптона Синклера устроен не для того, чтобы зря расстраивать читателя или тащить их за волосы в рай. Этот кино имеет информационный и деловой характер. И в порядке той же информации нелегкая несет Хиггинса к нам в Архангельск, где его милость, не снеся некоторых усовершенствованных способов снимать допрос с сержанта,—добросовестно и окончательно сходит с ума, Прощай, Джимми, единственный живой человек за войну!

Синклер не пожалел эффектов и метража, а все-таки его война, это дело, а не кровавая меланхолия Барбюса или убийственные туманы расстроенного генеральскими неприятностями Келлермана. Этот не устал, не испугался, не забыл. Даже Уэллс чуть бледнеет перед Джимми,—Джимми понюхал всего, чего только можно было понюхать за войну,—и не сдался. И—заметьте—он не разговаривал при этом, он делал свое дело,—и отправился за пределы здравомыслия пацифистом и социалистом. Мистеру Хассу надобно оправдывать перед собой свой переход.—Джимми оправдал его своей головой.

Но, сдается, можно помирить Джимми и Хасса,—они оба у цели, хоть бедный Хасс и очень расстроен, они оба за работой новому миру. Вот в чем дело.

Литературные отклики.

А. Воронский.

Об альманахах „Круга“.

Два альманаха издательства артели писателей «Круг» несомненно заслуживают того, чтобы на них остановить внимание. За исключением Евг. Замятина, которого тоже, впрочем, едва ли можно отнести к «старикам» в литературе, в альманахах приняли участие писатели, либо совершенно неизвестные читателю, либо выдвинувшиеся совсем недавно.

После зловещего молчания «большой» литературы, в первое революционное пятилетие, зловещего не для революции и искусства, а прежде всего для признанных художников, мы вступили в полосу довольно интенсивного литературного оживления, при чем заговорил в первую очередь литературный молодняк, племя молодое, незнакомое и довольно пестрое, выросшее как то неприметно, беспризорно, где-то сбоку. С другой стороны, большинство участников альманахов «Круга» пишут о революции, о России Советской, о быте, как сложился и складывается он в нашу эпоху катастроф, величайших разочарований и еще более великих упований, умираний веков и культур и алмазных отсветов будущего. Все это повышает и усугубляет интерес к молодому художественному слову, тем более, что его удельный вес, его влияние возрастают с каждым днем.

Наиболее значительными в альманахах и по об'ему и по содержанию являются: «Третья столица» Бор. Пильняка и «Мятеж» Сергея Буданцева.

«Третья столица» написана в обычной манере, усвоенной Пильняком за последнее время, повидимому, довольно крепко. Та же разбросанность, нумизматика слов, смешение места и времени действия, неожиданность переходов от одного к другому, смешение стилей А. Белого, Ремизова, Бунина, из чего, однако, получается свое, пильняковское, довольно причудливое словесное здание. Пожалуй, все это даже в сгущенной, конденсированной форме. «Места действия нет. Россия, Европа, мир, братство... героев нет. Россия, Европа, мир, вера, безверье, культура, метели, грозы, образ богоматери»... На титульном лице значится: повесть, неизвестно почему. Скорее полу-художественный, полу-публицистический трактат, в коем образы, герои, картины

эпизоды то и дело перемежаются с обширнейшими рассуждениями экономического и политического характера. Такую тягу писателя к темам общественным можно только приветствовать: это—здоровая тяга и в наше время единственно актуальная. В аспекте анти-общественных и иных подобных господствовавших в недавнем прошлом настроений, художественная публицистика Бор. Пильняка закладывает хороший фундамент, являя пример, которому всячески нужно подражать и следовать. Склонность у Б. Пильняка к темам общественным, и при том остро-современным, была и раньше: достаточно вспомнить его «Голый год». «Третья столица» в этом направлении идет гораздо дальше; в ней художественная публицистика преобладает над «чистым» художником. Для Пильняка это хорошо вдвойне: писатель-интеллигент до мозга костей, и все, чем жила наша интеллигенция в последние годы, ему родственно, понятно, оно при нем, в нем. Он—большой индивидуалист. И смертельное манит его, и голое тело женщины он любит по-арцыбашевски, и есть сирость и скорбь одиночки в его вещах. И когда художник находит в себе силы отойти, уйти от этого и пытается посмотреть на мир глазами публициста,—это—выход «из забора, торчащего в тоску», из малюсенького индивидуалистического мирка в поле, на люди, в то, что вихрится вихрями современности. Здесь—спасение от пустоты, топтания и бега на месте, обсасывания и возни с собой, похожей на пускание мыльных пузырей, моментально лопающихся. Нужно только помнить, что чем больше художник становится общественником, тем больше возрастают и не могут не возрастать к нему требования, особливо в наше время, насквозь общественное, перегруженное страстной, напряженной борьбой, напоенное кровью, трупным запахом, гулом и рыком орудий. Слово художника в таких условиях поистине становится делом; оно должно быть взвешено, отмерено, должно быть четким, ясным, ответственным.

Бор. Пильняк увидел в первой стадии русской революции торжество Коломны, Николы на Посадьях. Русская революция была оценена им как освобождение до-петровской, кононной, избяной Руси, придавленной самодержавием, городом, интеллигенцией, чиновниками, духовенством. В «Третьей столице» эту кононную, до-петровскую Русь Бор. Пильняк, кажется, потерял. Где-то развеялась, выветрилась она у него на путях от Себежа до Берлина и обратно. И сколько бы ни уверял Пильняк, что он по-прежнему романтик революции, в «Третьей столице» в образах и картинах, а не в декларациях, романтики древней Руси, освобожденной и выявленной якобы октябрем,—а это, конечно, сплошная романтика и при том реакционная,—ее нет там. Недаром также в образе интеллигента Разина он развенчал также пугачевщину и разинщину (интеллигентскую) в революции. Время пришло такое: деловое время, требующее внимания к деталям, к обыденному, когда вместо одной неотложной, «ударной» задачи встают десятки и сотни, требующих столь же настойчивого разрешения.

В «Голом году» Пильняк попытался дать Россию 1919 года. В «Третьей столице»—захват несравненно шире: Европа и мир противопоставлены Востоку, России. Мистер Смит по дороге в Сов. Россию пишет своему брату: «мы переживаем сейчас чрезвычайную эпоху, когда центр мировой цивилиза-

ции уходит из Европы и когда эта воля (воля хотеть, творить. А. В.) до судороги напряжена в России»... Об этом духовном тлении и распаде европейской цивилизации и написана повесть Пильняка. Сквозь внешнюю, показную комфортабельность, изысканность, благополучие, сытость Запада проступает иной его мертвенный лик, как у человека незадолго до смерти. Война унесла физически и духовно лучших, война вновь висит кровавой угрозой над миром. «В Европе не хватает моргов», «жуткое помешательство» на танцах дикарей, публичные дома с пятисотлетней давностью (культура!); публичные казни, на которые собираются отвратительные толпы зевак. Наконец, там те, «кто не хочет русской мути, метели и смуты, кто ушел из России», кто «вне России фактически. Имя им—изгои». Они—как шахматы без короля, потому что королем их заткнуто горлышко бутылки, потому что они забыли основной закон, «что родящими, творящими будут лишь те, кто связан с землей». И главное—в Европе нет воли жить, воли творить, хотеть. Рассказано об этом художником метко и сильно. Мистер Смит—современный Петроний Запада, насквозь проникнутый скепсисом бездеятельным, но без изящества, безмятежности римского Петрония,—тяжелый, деревянный, по-английски чинный и чопорный, пустой, без улыбки, неповоротливый, безразлично, холодно рефлексирующий; салон-вагон; американцы; русские эмигранты—полковник Саломатин, агент французской контр-разведки, князь Трубецкой, Лиза Калитина; морг; хорошо, местами мастерски написано. Тем, кто по старой привычке кривит язвительно губы при разговорах о распаде буржуазной цивилизации Запада («большевики выдумали»), очень полезна повесть Бор. Пильняка, писателя, находящегося от большевизма на дистанции, более чем приличной.

Европе Пильняк противопоставляет революционную советскую Русь. По старому, усвоенному Пильняком, обычаю он был бы должен вспомнить и соответствующим образом прославословить национальную, кондовую, избяную Русь и противоположить ее гнилому Западу. Так он и делал в «Голом годе» и в других своих вещах. Однако об этом автор в «Третьей столице» и не помышляет. Лейт-мотивом в изображениях Новой России является речь мужика на митинге в пограничном пункте, обращенная к американцам, переступившим русский рубеж:

«Этот митинг мы собрали, чтоб ознакомить вас, приехавших из Америки, где, сказывают, у каждого рабочего по автомобилю, а у крестьянина—по трактору. У нас, товарищи, скажу прямо, ничего этого нету. У нас, товарищи, кто имеить пуд картошки про запас,—спокойный человек... У нас—колосональная разруха. Ни-о,—товарищи,—нам это не страшно, потому что у нас наша власть, мы сами себе хозяева»...

Вшивая, голодная, мешечная, в лохмотьях и в лахурдах, разутая и раздетая, одурманенная самогоном, вываляннная в грязи, вороватая, нечесанная, дошедшая до людоедства новая метельная Россия у Пильняка,—где крадут ложки даже на советских вечерах в здравотделе, где мужчины ходят с поднятыми воротниками—лишняя гарантия, что не заползет вошь,—где собирают и охотятся на крыс и кольями дерутся у свежих могил, чтобы есть трупы.

Но здесь есть воля хотеть, творить, воля не видеть, не замечать убожест ужаса с тем, чтобы действовать, перекраивать, итти к лучшему, ибо в Росс революция, кожаные куртки, люди джек-лондонской складки. «За стен Кремле были люди, уверовавшие в Третий Интернационал... Кто знает?— тысячи лет назад тринадцать чудаков из Иерусалима перекроили мир. нечно, этому были и этические, и экономические предпосылки».

Думается, что Бор. Пильняк очень верно почувствовал и схватил в н торых существенных чертах различие между теперешней Европой и Со ской Россией. Буржуазная цивилизация Запада, в самом деле, в состояни мощности, паралича, неверия в свои силы. У нее нет воли хотения, тво ства, иссякают здоровые соки жизни. Недаром писатель дал фигуру со менного Петрония Запада—мистера Смита. Наоборот, в России, голодн колоссальной разрухой есть уже теперь некая устойчивость, есть перс тивы, какие-то более ясные и четкие очертания будущего, есть возможно есть вера, бодрость, свежесть и смелость дерзания, есть воля не видеть, мешает воле творить. Поэтому прав автор, когда пишет от себя: «Знаю, сия уйдет отсюда новой: я вот видел того дворника, который съел свою ж он не мог не сойти с ума, но мне не страшно это,—я видел иное, я м иным масштабом. Новая горит свеча Яблочкова, от которой рябит в зах,—шестой уже год. Знаю: все живое, как земля веснами, умирая, о вляется вновь и вновь»...

Но здесь уместно и необходимо сделать целый ряд примечаний.

Если бы Бор. Пильняк противопоставил Республике Советов буржуаз цивилизацию Запада—все бы было на месте. К сожалению, писатель раз нулся куда шире: Россию он противопоставляет миру, Европе вообще. Но какой Европы вообще нет. В Европе—две Европы: вторую Европу, Евр рабочих блуз, бунтов, стачек, восстаний автор почти не приметил. Она мая у него в повести где-то в туманах, она на задворках, ее еле-еле видно. Пи няк упоминает о ней: «рабочие, безработные, их матери, жены и дети— ними еретики, безумцы, поэты и художники... Одиночками, толпами, т чами,—обожженными глотками, винтовками, пистолетами, пушками—к чали—Третий Интернационал...—Но об этом упомянуто вскользь, ме прочим, это не показано, а сказано. Читатель не чувствует, не видит э Европы, он вынужден на-слово верить писателю. Вот о полковнике Салю тине, о Трубецком, о мистере Смите Пильняк пишет со всей тщательност подбирая мелочь к мелочи,—а о кричащих—Третий Интернационал—скупо предельности. Получается явно неправильная пропорция, искажение дейст тельности. Роль рабочих, безработных, безумцев, художников, поэто жизни Запада несравненно более значительна, чем это представляется Пильняку.

Есть еще одно обстоятельство.

Упомянутый выше мужик, между прочим, говорит на митинге: «у на теперь власть трудовых советов, а для заграницы у нас припасен Третий Ин национал». Выходит, что Россия идет своими особыми путями, совсем от ными от путей Запада, рабочие же и безумцы кричат о III Интернацио

словами в сущности чужими, «припасенными» где-то для них людьми себе на уме. Но III Интернационал колыбелью своей имеет Запад, его «припасали» рабочие Запада ни в какой мере не менее, чем русские рабочие.

Хорошо, что у Пильняка мужики заговорили о III Интернационале; раньше, хотя бы в «Голом годе» и в других вещах Пильняка они утверждали, что вообще никаких интернационалов и немца Маркса не надо. И с ними соглашался автор, определяя русскую революцию как явление исключительно национальное. Отбросив романтику до-петровской Руси, Пильняк не мог не сделать шага вперед, признав роль Третьего Интернационала. Это шаг вперед, но шаг неверный, колеблющийся, шатающийся, так как сюда вклинивается новая путаница о «припасенности» Интернационала хитроватым мужиком и «безумцем» Пильняком для каких-то простофиль Запада. От этого и получается неправильное, со славянофильской, устряловской отрыжкой противопоставление Европы России. Европу рабочих, безумцев, еретиков Бор. Пильняк видит плохо и говорит о ней глухо, мало, скупо. Отсюда у него—закат Европы по Шпенглеру.

Но так же неясно и неотчетливо он различает многое и в Сов. России. Метель до сих пор застит ему глаза. Он и здесь очень внимателен к отдельным случаям, фактам, бытовым мелочам. Подобно гоголевскому Осипу он ничем не брезгует: все пригодится в дороге. В бричке, в коей он путешествует по полям российской словесности, чего-чего только нет: и вагон детских сосок Внешторга, вместо которых оказалась другая резина, и баба, кричащая где-то: «Дунькя, Дунькя-а,—гуртуйси здеся», и стрелочник, занятый соединением Азбуки коммунизма с Евангелием, и «электризатор», обманывающий бессовестно мужика—и еще и еще многое другое собрано в бричке. Притом—свалено все в одну кучу без разбору: пусть разберется сам читатель. Но опять-таки Пильняк становится чрезвычайно скупым, как только дело касается подлинных, настоящих строителей Новой России. Их Пильняк берет в свою бричку не с очень большой охотой. Правда, в повести есть прекрасные, прочувствованные страницы о том, как в каждом уездном городишке открылись после октября газеты и в них писали миллионы,—как из Красной армии, из клубов культпросветов, из комсомолов вышли новые джек-лондонские люди. Есть также о Кремле и 13 чудаках, перекроивших мир, но все это только отмечено, намечено, набросано. А впереди, на виду—людоедство, тьма египетская, вошь, грязь, воровство. Поэтому заявление, что в России творится новая жизнь, остается только заявлением. По Шпенглеру получается не только Европа, но и Россия в сущности. Европа и Россия по Шпенглеру покрывает все энтузиастические декламации писателя, и впечатление двоится: как будто в глубине души своей автор—в плену шпенглеровских идей и относительно Европы и относительно России; делает усилие освободиться от этих мыслей, но оно—от ума, от рефлексии,—тогда следуют декларации о воле хотеть и воле не видеть, о солнечных днях и метелях.

Совершенно несносно литературное мещанничество Бор. Пильняка. Оно и раньше давало о себе знать. В «Голом годе» Бор. Пильняк взял, немного переделав, у т. Либермана (см. книгу «В угольном царстве») главу о работе

в шахтах. Теперь этот прием он, повидимому, пытается до известной степени легализовать: страницы из «Полой Аравии» Всев. Иванова, страницы из повести Бунина «Господин из Сан-Франциско» (это со ссылками); а без ссылок казнь Ландрю по Тургеневу, по Бунину—салон-вагон со Смитом. К чему все это? Талант у Бор. Пильняка—самобытен, свеж и по сути самостоятелен. Сквозит во всем этом величайшая неряшливость и небрежность к читателю: не разберет, мол,—все скушает. В оправдание можно сказать: повесть является художественно-публицистической вещью, в коей такие вставки и заимствования допускаются, так сказать, природой произведения. Но и с этим едва ли возможно согласиться уже по одному тому, что у автора в этих заимствованиях нет никакой умеренности.

Потом о метелях. В «Былье» о метелях, в «Голем годе» о метелях, в «Третьей столице» опять о метелях. «Ну, раз,—ну, два,—но нельзя же до бесчувствия». Повторяем: очень хорошо, что Пильняка тянет к широким общественным темам, хорошо что он начинает как будто забывать основательно свою до-петровскую Русь. Прекрасные страницы есть в повести. В частности. замечателен один из лейт-мотивов: «В России—великий пост—в сумерки, когда перезванивают колокола и хрустнут после дневной ростепели ручьи под ногами и т. д.—лучшее место в повести. Повесть несомненно свидетельствует о росте Пильняка как художника. Но... назвался груздем—полезай в кузов. Чтобы быть художником общественником, говорить об Европе, России и III Интернационале, чтобы быть проповедником,—нужно привести свои мысли, настроения в порядок. Этого порядка, контактного с эпохой, с революцией у писателя нет. Отбросив в сторону былую романтику избяной, древней Руси, Бор. Пильняк повис как бы в воздухе, в пустоте всесветного шпенглерианства. На этой позиции долго держаться нельзя в стране, где живут волей хотеть и творить. «Третья столица» в этом смысле—повесть переходная к чему-то иному. Очевидно, художнику нужно волю хотеть не только уловить сознанием, но и пережить и воплотить ее в живые образы. И еще нужно точно и ясно дать отчет, о какой Новой России идет речь, какую Россию желает автор. Все эти слова и словечки о метельной России, о том, что свет с Востока—явно устарели, не трогают, неубедительны, смутны, мутны, неопределенны.

Повесть С. Буданцева «Мятеж», занимающая половину второго альманаха, есть первая, если не ошибаемся, крупная вещь автора. Повесть написана в сгущенно-экспрессионистских приемах. Лицо свое писатель—не знаем, намеренно или непроизвольно,—старается скрыть, заслоняясь подробными выписками из протоколов ревтрибуналов, из газет, дневников, из писем и пр Едва ли это нужно. Если писатель не должен назойливо лезть с каждой страницы в глаза, то во всяком случае не следует прятаться настолько, чтобы читатель перестал его ощущать. Нужна мера. В художественном произведении

читатель переживает в сгущенном, сконцентрированном виде процесс творчества писателя, и с этой точки зрения нужно, чтобы читатель ощущал автора. Повесть Буданцева следовало бы озаглавить «Мятежи», так как рассказывается в ней о двух мятежах 1918 года в одном из губернских поволжских городов: о белогвардейском, поводом к которому послужило худое настроение крестьян, взятых по мобилизации в Красную армию,—и о левоэс-эровском. Главным действующим лицом является эс-эр Калабухов: сначала он подавляет мятеж в качестве командарма особой революционной армии, а потом сам поднимает восстание, сняв предварительно с чехо-словацкого фронта воинские части и обнажив его. Некоторые подробности дают полное основание думать, что канвой для повести послужило дело Муравьева, и читатель невольно ищет в Калабухове Муравьева. Автор, однако, весьма далек от исторической правды, но убеждаешься в этом окончательно только в конце повести. Вообще же Калабухов то и дело двоится, настойчиво напоминая о Муравьеве. Это мешает чтению. Разумеется, автор волен в художественном произведении как угодно распоряжаться с историей, но в данном случае следует помнить, что личность Муравьева слишком жива еще в памяти современников и именно это обстоятельство должно было бы заставить Буданцева позаботиться о том, чтобы читатель не обманывался, подставляя невольно под Калабухова—Муравьева. От этого рябит в глазах, стирается Муравьев, тускнеет Калабухов.

В повести много бытовых черт 1918 года: первый призыв в Красную армию, Кремль, восстание, заговор белых офицеров, уличные разговоры, вокзалы, рабочие. Все это—по большей части в плакатных формах, либо в остро экспрессионистских тонах. Но центр повести—в Калабухове, в его приятеле Северове и в матросе Болтове. Калабухов—левый эс-эр. Он вошел в революцию с болезненным эгоцентрическим сознанием. Он—индивидуалист, искривленный, издерганный. Он прошел все главные этапы, пережитые интеллигенцией в предреволюционное время. Прямой потомок и сверстник поколения с чрезмерным, раздутым до последних пределов культом своего «я». В революции Калабухов ищет утверждения своей индивидуальности—и только. «За историзм принятой позы я отдам жизнь, ибо это—единственный, известный мне на земле прорыв в бессмертие и вечность». Отсюда и драматизм положения Калабухова. Он не может сжиться, слиться с революцией и революция тоже не принимает его. В революции действуют массы, в огромном хаосе событий люди—как песчинки, и горе тем, для кого мир заключен в маленьком комочке, именуемом, человеческим «я».

«Человека не видно,—пишет в письме Калабухов,—мы захлебнулись «коллективами», массами... Остался *человек*... человек, написанный огромными прописными буквами»... В другом месте, в конце повести он кричит невесте: «я пришел тебе сказать, вот теперь, когда все рушится *мое* и подлежит разрушению... Ничего не слыхать. Орут миллионы, потому что они вершинами в волнении. Я проклинаю весь этот ревущий по пустякам человеческий бор»... Таков же и Северов.

Калабуховы и Северовы не понимают, что все дело в этом крике миллио-

нов «по пустякам». Калабуховы в революции хотели видеть прорыв в вечност в бессмертие, для них должна была быть особая революция, в новом, невиданно преображении,—второе воскресение из мертвых, страшный суд, времена апо калипсиса. Знакомо нам все это по Блоку, Андрею Белому, скифству и т. В первый период революции, когда все в хаосе, для Калабуховых еще был место. Но как только стало обнаруживаться, что революция—переход «от о ной хозяйственной формы к другой», что она требует деловой будничной ра боты, железной дисциплины, Калабуховы завопили истошными голосами «проклинаю»,—одни замолчали, сгорели духовно, как Блок, другие окончил предательскими обнажениями фронтов и гнусненькими историческими вод вилями

Калабухов храбр. Он пользуется симпатиями со стороны своих войс ему верят, у него есть свои верные люди. Но он бесконечно одинок и изоли рован. С ним шутя справляется матрос большевик Болтов. Почему? Авто дает хороший и верный ответ устами Силаевского, служившего у Калабухова *«Калабухов, Северов, он сам—связан с массой не внедряющейся в нее слож ной аппаратурой мелких начальников, а лишь непрочными, эфемерными нитям симпатии и непосредственного воздействия».* В лучшем, в самом надежно лево-эс-эровском полку имени Марата, на который в своих действиях опи рается Калабухов, нет эс-эровской партийной ячейки, но у большевиков та кая ячейка есть. У большевиков—связь не личная, не персональная, а внедря ющаяся в массы через ячейки, через сеть мелких начальников. Иначе и быт не могло: для одних масса—орудие «по пустякам», враждебное человеческо стадо, не бор даже, а сброд, для других—непосредственные интересы мас (пустяки) взяты за исходный пункт борьбы, работы. Матрос Болтов говори о Северове, идеологе Калабухова: «Северов—умница, а не понимает, за чт мы боремся. Когда будет жрать всем, все будем умными, не глупее Северов. А ему и поговорить не с кем»... Естественно, что Калабухов—мятежник, из гой, преступник, отщепенец, ибо у него нет почвы под ногами, а Болтов с своими «братишками»—подлинное воплощение воли миллионов людей.

Поводом для мятежа Калабухова служит расстрел большевиками при по давлении белогвардейского восстания отца Калабухова, старика-полковника Повод—внешний, незначительный, тем более, что для ликвидации восстани белых посылает с фронта воинские части некто иной, как Калабухов. Орга нической связи с мыслями и настроениями Калабухова здесь нет. И можно бы было обойтись и без этого повода. Повидимому, автор ввел его для сюжета для фабулы. Калабухов уже давно порвал связи свои с революцией, каки имел. Любви к отцу у него во всяком случае не было: он—актер, позёр, аван тюрист, игрок, а в конце повести—самодур.

Мятеж Калабухова в сущности не мятеж, а бессмысленное, жалкое, из мениическое дебоширство. Тут больше клиники, материала для психиатра, это оттого, что герой наш в своем эгоцентризме дошел до последней черты

Очень удачно дополняет Калабухова друг его Северов. Северов - морфинист, кокаинист и импотент. Он — тоже клинический геро Представляется, однако, непонятным дикое и бессмысленное выступление С

зерова на пленуме совета. Оно вклинивается в повесть своей ненужностью, неожиданностью и возбуждает недоумение.

Болтов намечен правильно, но как-то внешне, поверхностно.

Не со всем материалом справился удачно С. Буданцев в своей повести; много есть лишнего, многое дано в сыром, малообработанном виде, словно выхвачено из протоколов и с поспешностью перенесено в повесть. Эпизодична Елена, вяло и незначительно обрисовано собрание белогвардейских заговорщиков, мешает иногда клиника и т. д., но все-таки могла быть интересной повесть, как художественный документ о людях, у которых духовный максимализм и высокие слова о вечном и бессмертном скрывали маленькое, жалкое, непомерное, болезненное себялюбие, оторванность от настоящих биологических корней революции, беспутное дебоширство и самодурство.

К сожалению, автор напялил на себя маску какой-то об'ективности и читатель местами может потеряться: не то автор сам сочувствует Калабухову, не то он его осуждает. В наши дни об этом нужно писать резко и определенно, без всяких недомолвок и неясностей.

Дар изобразительный у Буданцева есть.

Повестью «Падение Даира» А. Малышкин—имя тоже свежее и новое в литературе—ставит себя в разряд писателей, за которыми нужно следить. Вещь—одна из лучших в альманахах и, может быть, единственная пока, отразившая в подлинной художественной форме нашу гражданскую войну. Автор взял один из самых крупных ее эпизодов—взятие Крыма и изгнание Врангеля. Повесть написана с какой-то особой натянутостью нервов, и вместе с тем автор сумел придать ей характер эпоса, отчего памятные дни уже уходят в седую быль прошлого, героического, уже окутанного дымкой легенд, саг и сказаний. Говоря словами писателя—в «Падении Даира» «затихли и стали времена в вещем напряжении» и уже обвеяны «невероятными легендами». Читается повесть нелегко и непросто. Стиль вычурный; много придуманного, с попытками новых словообразований и словосочетаний, далеко не всегда удачных: «осверканный», и «мутная обреченность площадей», «звенели несходными пространства гаснущего рая», «изнывая, смычки окутывали мир», «падали в зияние дорог автомобили»—все это искусственно, надумано, разбивает впечатление и следовало бы избегать. Не то Вербицкая, не то Андреев, скорее смесь того и другого. Но все же повесть относится к тем, которые перечитывают, и это не утомляет и с каждым новым разом в ней открываются новые достоинства.

Действующих лиц нет. Смутно намечены: командарм, красноармейцы, киевлянин и австриец Фриц; они сливаются с толпой, оттеняют ее; действуют скопища людей, множества, отдельные лица мелькнут и вновь пропадают во множествах.

Вражеские стороны отделяет терраса в узком и длинном перешейке, укрепленном иностранными инженерами. «Бросить массы за террасы уже значило победить». Страна требовала немедленного уничтожения противника,

потому что на севере был голод, стужа, дома, забиты наглухо. И вот множества кричат: «даешь Даир», «Становые орд, идущих завоевать прекрасные века»...

У Малышкина Даир (Крым) для красных множеств, брошенных на террасу волей страны, не только место, которое нужно очистить от врага, впившегося как досадная, мешающая заноза—нет—это земля обетованная, «брезжущий в потемках рай», текущий млеком и медом. Оттого это—не Крым, а туманный, далекий, чудесный, непонятный, неземной, волшебный Даир, блаженный остров счастья.

«Командарм подошел к костру... Полуголый рассказывал:

— Есть там жалезная стена, поперек в море уперлась, называется терраса. Сторона за ней Ярь-Пески, туманны горы. Разведчики наши там были, так сказывают, лето круглый год, по два раза яровое сеют! И живут за ней эти самые елементы в енотовых шубах, которые бородки конусами: со всей России туда набежались. А богачества-а-а! Что было при старом режиме — так теперь все в одну кучу сволокли!..

Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил, корчась в нагретой стуже:

— Боже ж, какая есть сторона!

— А, може, брешут,—хмуро сказал другой; оба легли на локтях, стали глядеть на огонь задумчиво и неотрывно»...

На митингах, в красноармейских клубах, в газетах изо-дня в день, трезво, деловито, упорно раз'ясняли, зачем, почему нужно взять Крым, а где-то внутри, незримо, массы, множества превращали Крым в чудесный Даир. Таков закон борьбы, закон революции, закон побед. Его творят в иллюзиях, в грезах о блаженных островах, о странах, где «счастье, хлеб и вечера, как золотеющая рожь». Без этого нельзя, не побеждают. И командарм молчит у костра и не отвечает на вопрос: правда ли! Он знает, что так надо, чтобы преодолеть «жуткую лютую грань, оплаканную матерями», чтобы победами пройти поле, где трупы... «трупы со вздутыми боками, с оскалами челюстей, за горизонтами опять трупы, недвижные, как вещи»... И есть ли в этих иллюзиях в конечном счете неправда, ложь? Или ложью и неправдой кажутся эти грезы только тем, кто не понимает, не способен познать и ощутить динамики эпохи, музыки веков, вещей поступи столетий? Ибо пройдут лета и творимая множествами легенда овеществится и станет плотью, и станет кровью, и станет явью. «И сие буди, буди».

Описание Даира, что лежит по ту сторону террасы, очень удачно. Официальные сводки еще успокоительны и победны: «наши части завершают перегруппировку, готовясь к очередному разгрому большевистских армий», но над городом, утопающим в блеске и пышности, уже навис рок, обреченность, зловещая тишина, панический шопот; уже платят безумные деньги, чтобы сесть на пароходы и «в кабинетах—в полузакрытых упоенных глазах, в об'ятьях последней ночи—были закаты гаснущих уходящих веков».

Помимо отмеченного в повести Малышкина много других запоминающихся мест. Вот картина смотра: «в командарма впивались огрубевшие от

боев и походов глаза—и в них было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное, как у него самого». Очень сильно и просто описано поле после сражения. Удачны, хотя и чересчур схематичны—командарм, Микешин, австриец Фриц и т. д.

Нужно еще раз пожелать, чтобы автор меньше прибегал к вычурным, изысканным, деланным выражениям. Если во дни Андреева они часто звучали надтреснуто и не трогали, то тем более теперь, в наше время, ибо революция научила нас словам простым, крепким и терпким. И если наша молодая литература бросается то к Белому, то к изысканному сказу, то к Ремизову, то следует сказать: может быть, это—необходимая стадия: нужно пройти известную школу, но едва ли из нужды надобно делать добродетель. Думается, что от изысков и манерности мы скоро перейдем к большей простоте, ибо этого требует настоятельно новый массовый читатель, который жадно набрасывается на свежую беллетристическую вещь, но часто вынужден с разочарованием откладывать ее в сторону, будучи угнетен сказами, стихами в прозе, словесными вывертами и вывихами. Об этом новом читателе следует основательно поразмыслить молодым нашим писателям.

—

Сказанное относится и к рассказу Н. Огнева: «Щи республики». Его небольшой рассказ талантлив, но написан как будто в полу-бредовом состоянии. Кроме того он чрезмерно аллегоричен, с недомолвками, неясностями. Читатель долго путается: не то, действительно, становье в лесу лешего, бабы-яги и кикиморочки, живущих в избушке на курьих ножках,—не то подлинная лесная сторожка с жадной черствой крестьянской семьей. В рассказе—русская сказка и реализм, даже быт. Но быт чрезмерно сказочен, а сказка—реалистична. Едва ли можно согласиться с основной мыслью автора. Взятая и понятая в ограниченном смысле она имеет под собой известную почву. В революции нашей не всегда варились удачно «щи республики» рабочими и крестьянами («вы мне щей, я вам соли»). Разное бывало. Случалось, что «боевая задача рабочих и крестьян»—их союз давал трещину, бывало, что 20 ф. соли обменивались на 20 ф. картошки, хотя в деревнях сидели без соли. Но бывало и другое. Красная армия—лучший символ и наглядный показатель союза рабочих и крестьян, когда в голоде и в стуже она шла от победы к победе, а крестьяне, испытав на деле другой союз в Сибири и иных местах, обращались к рабочим. Худо ли, хорошо ли, щи республики варятся, и есть основание полагать, что выйдут они не так уж плохи: будут и с солью и с мясом и хватит их и для рабочих и для крестьян. Трудное это дело, нелегкое, но отсюда пессимистические выводы делать рано.

Рабочий Петр Иваныч Борюшкин очень правдоподобен и удался автору. Очень было бы хорошо, если бы молодые писатели повнимательней стали присматриваться к Борюшкиным и взяли бы их, так сказать, в об'ектив своего художественного наблюдения: главный герой русской революции до сих пор почти не находит своих художников, тем более по-плечу.

О революции написан и рассказ Никитина «Ночь». Во-первых, он слабее других вещей Никитина. Постоянные отступления, неуместная лирика, лишние, невпопад, как будто невзначай, не во время подвернувшиеся, случайные слова, вроде: «над степью ленивое храпит небо—перекормленный сытый конь». И рядом сцены и фигуры, неплохо отделанные и выписанные: генерал в уборной, письмо Виктора Неледина и пр. Но основной недостаток — в каком-то шатком, реакционном в сущности настроении автора. «В душном пару варились ленинцы, генерал, и изюмья баба, и мышачья, ласковая грудка Лиды». Смотрит писатель на тех и на других и для него все они только варятся в душном пару. Ни смысла, ни цели не видно в их борьбе, в столкновении и в гибели двух бронепоездов: бронепоезда имени Корнилова и бронепоезда имени Бела-Кун. «Куда льетесь, брони—к чему быстрый дробот ваш, гул железных путей?» И отвечает: «об этом не надо. Это—не мое. Это было». Мало ли что было! Это еще не резон для художника, ибо он не летописец, а конструктор, творец, конденсатор. А что же «мое?» А вот: жизнь простая, несложная, где коровы, бабы, мужики, где едут с кавунами, где девичьи поцелуи, покос, травы, птицы. Эта жизнь—в образе Кузьмы Феногенова, которому все на пользу. От бронепоездов после сражения остались одни груды железа и пепел. Кузьма, мужик станичный,—приехал к месту гибели с подводой: «Нам все это на пользу. Железо у нас в цене»... Может быть. Но Кузьма «жаден, жилен и черен». Кузьма—кулак. А автор как будто сочувствует ему. Это уж совсем никуда не годится. Откуда сие? Знаем, что Никитин не реакционер, что по своему он любит русскую революцию, он к тому же талантлив. Откуда же такое мерзкое в сущности освещение революционной войны. Вот откуда. Никитин считает, что автор должен быть пред читателем в маске, не показывать своего лица. Если нужна иллюстрация, как подобные взгляды на искусство портят произведения, следует обратиться к «Ночи» Никитина: очень показательно и наглядно.

Рассказ Мих. Зощенко «Коза» написан в обычной его манере: рассказ занятен, умело стилизован. Тоже о современном: о горе и радостях маленьких людей в революции, об обескрыленных интеллигентах, сузивших свое гордое «я» до идеала: хорошая коза. Хорошая коза, а прочее все гиль. Много теперь таких.

В альманахах—три вещи, не имеющих отношения к революционной современности: «На куличках» Евг. Замятина, повесть Конст. Федина «Анна Тимофевна» и рассказ Каверина «Пятый странник». О повести Замятина нам уже приходилось говорить раньше. Теперь она не характерна для творчества Замятина: от борьбы с «уездным» он перешел к борьбе с русским коммунизмом, почему-то решив оставить в тени и «Уездное», и «Островитян», и «Ловцов человеков». Еще раз—можно обо всем этом искренно пожалеть, ибо от этого проигрывают: революция, писатель и искусство.

Повесть Конст. Федина свидетельствует о неуклонном и заметном росте

художественного дарования писателя. Федин не остановился, он развивается. юстижения его работы над собой в «Анне Тимофеевне» весьма ощутимы и бросаются в глаза.

Повесть написана в первых своих главах былинным сказом, но лишена всякой манерности, серьезна и читается легко. К теме, уже не новой, достаточно разработанной в русской литературе, К. Федин сумел подойти по своему, рассказать убедительно, по-новому, без кривляний, непретенциозно, тепло, искренно и спокойно. Повесть—об одинокой, незаметной женщине, над всей жизнью которой «тяготел суровый и загадочный рок». Пьяница муж псаломщик, затем вдовья жизнь в Епархиальном училище, дочь Оленька идиотка, мытарства с ней, смерть ее, новая жизнь, новая «семья», при чем Анна Тимофеевна всю теплоту сердечную, всю любовь свою отдает двум бездельникам—отцу и сыну, которые над ней смеются и издеваются; одинокий конец. Сколько любви, тепла, сердечности, самоотверженности, жертвенности пьянице, идиотке, беспутным бездельникам. Бесплодно все это пропадает, а все-таки бодро начинаешь думать о человеке, ибо велики и прекрасны потенции, заложенные в нем, хотя печальна, беспризорна жизнь Анны Тимофеевны. Очень удались писателю страницы, где он рассказывает об этих последних вспышках женщины в Анне Тимофеевне: вставные зубы, и эта шляпа, «пышная, кружевная, взбитая, как яичный белок, и ленты лиловые падают с примятых полей на плечи, точно кольчатые змеи. И такие роскошные вокруг тульи цветы!»... и накидка песочно-розового цвета—и этот гогот улицы:—«салоп, ходи к нам, хорошо купим...—бросила гостиницы, пошла по номерам»... и издевательства возлюбленного, облысевшего, опустившегося: — «Володька, хо-хо-хо! Володька, нет ты только посмотри на нее, хо-хо! Она пудрится! Ты посмотри, хо-хо, нос-то, нос! Ах, ты чучело»...—все это очень в'едается читателю в память своей спокойной, убедительной трогательностью, печальной правдой и лиризмом. Следует пожелать, чтобы автор скорее перешел к темам более злободневным и современным. Данные для этого у писателя есть хорошие.

Рассказ В. Каверина «Пятый странник» написан вполне гладким литературным языком, остроумен, выдержан в тоне. Это—сатира над фантазмами и приемах гофмановской фантастики. Схоласт Швериндох ищет подходящего духа для своего Гомункулюса в реторте,—сын стекольщика, прозрачный и невидимый отыскивает осязаемое ничто, доктор Фауст—свой философский камень и шарлатан Гансвурст—помет осла золотой и с драгоценными камнями. Странствования их и домогательства кончаются неудачно (еще бы!).

* * *

Общие выводы: в альманахах есть несомненно ценные, интересные произведения. Есть новые имена со своим, свежим словом. Альманах № 2 серей, суше, хуже подобран, чем первый. Нам, коммунистам, много здесь режет ухо, вызывает на резкие замечания. И прежде всего нужно нашим молодым некоторым литераторам покончить с мнимой об'ективностью, с теорийками, что

писатель должен надевать на себя маску и т. д. Все это—хлам, все это реакционно и никуда не годится и легко может привести к литературному двурушничеству, несмотря на отличнейшие суб'ективные, революционные настроения. С этими взглядами нужно вести непреклонную борьбу, терпеливую, без наскоков и истерики, памятуя о великом множестве всяческих интеллигентских предрассудков, которые выветриваются, но с большим трудом, опозданиями.

Между историей и политикой.

Ник. Иорданский.

Политическая драма современного мещанства[1]).

1.

Герцен когда-то писал об эмигрантах, оставивших страну не для какой-либо определенной цели, а вследствие победы противной партии, что «выходя из родины с затаенною злобою, с постоянною мыслью завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому»... Это наблюдение не утратило своей силы до наших дней и вполне подтверждается опытом многочисленной русской эмиграции.

Русские эмигранты упорно не замечают, что революционная волна смыла и старый порядок и формальную демократию временного правительства. Они не признают, что девятый вал выбросил их, как обломки когда-то гордых кораблей, на чужой берег. Они не понимают, что на родине новые люди творят новую жизнь. Они замыкаются в кругу превзойденных развитием революции идей, в мирке обветшавших воспоминаний. Они заново комбинируют факты и обстоятельства, которым никогда не суждено повториться. Они находят возбуждающее наслаждение в похвалах и в осуждениях отдельных лиц. Они дают уроки политической мудрости и провозглашают правила общественной нравственности, которые являются отражением изжитого исторического периода. И даже когда они пытаются сказать нечто новое, они повторяют уже использованное жизнью. Во всем и всегда они возвращаются к старому.

Люди с головою, вывороченною назад, естественно, мало пригодны для живой и активной политики. Но эта особенность эмиграции приносит одну несомненную пользу. Эмигранты двадцатого века, сосредоточивая свои духовные силы на явлениях невозвратного прошлого, не ограничиваются внутренними переживаниями, но создают обильную литературу мемуаров.

Эти мемуары — не история и не политика. Для истории они слишком свежи, слишком односторонни, слишком слепы, как отчеты участников о со-

---

[1]) Архив гражданской войны. Вып. I. Берлин. О событиях под Петроградом в 1919 году. Записка Н. Н. Иванова, б. члена северо-западного правительства. А. П. Родзянко. Воспоминания о северо-западной армии. Берлин. Л. А. Кроль. За три года (воспоминания, впечатления и встречи). Владивосток.

бытиях, совершавшихся только в поле их индивидуального достижения. Для политики они слишком отзываются исторической могилой, слишком сосредоточены на явлениях, которые изжиты вместе со старым порядком. Современные мемуары находятся между историей и политикой. В них — не только факты, которые подлежат исторической проверке, но и политические настроения и выводы, которые должны быть учтены в активной политике сегодняшнего дня.

Поэтому внимательное отношение к непрерывно растущей литературе эмигрантских мемуаров не составляет монополии историков. Публицисты также обязаны внести свою долю в изучение и освещение русской контрреволюции.

2.

Недавно в Берлине начал выходить «Архив гражданской войны», который не следует смешивать со старыми и солидными контр-революционными сборниками Гессена, именуемыми «Архивом русской революции». Первый выпуск нового издания содержит записки бывшего члена северо-западного правительства Н. Н. Иванова о событиях под Петроградом в 1919 году.

Иванов не принадлежит к числу крупных деятелей белого движения и не имеет политического имени. Он — один из многих «уездных министров» эпохи гражданской войны. Тем не менее он является своеобразной фигурой, которая не лишена поучительной типичности. Это — представитель обывательско-мещанского демократизма, ненавидящего коммунистический облик русской революции, но с опаскою смотрящего и на монархическое убранство русской реставрации.

Биография его чрезвычайно характерна для людей этого типа. Иванов настойчиво подчеркивает свое крестьянское происхождение. Но в мирное время он был присяжным поверенным в Петербурге и никакого отношения к политике не имел. В качестве общественного деятеля он выступает в годы мировой войны, когда вместе с братьями Сувориными, об'являет подписку на устройство «общественных заводов» для производства снарядов, при чем капитал должен был составиться из мелких «демократических» паев по 25 рублей. Крикливая затея общественных заводов кончилась только неприятными для Иванова письмами в газетах по поводу возвращения денег лицам, поторопившимся уплатить паевые взносы патриотическому предпринимателю.

Февральская революция не открыла для Иванова политической арены. После октябрьской же он скрывается, бродит где-то на Волге, возвращается в декабре 1918 года в Петроград, попадает под стражу, но бежит из заключения, в начале января 1919 года переходит финляндскую границу и начинает свою политическую работу в белых отрядах северо-западной области. Ему удается сблизиться с пресловутым Булак-Балаховичем и белыми эстонцами. Опираясь на них, он попадает в члены северо-западного правительства Лианозова, который, однако, быстро отделывается от него. Тогда он вместе с «балаховцами» становится в оппозицию Юденичу. После краха северо-западной армии и русско-эстонского мира Иванов оказывается в числе тех спекулян-

тов, которые заполняли тогда приемную советского представителя в Ревеле и продавали внешторгу всякую дрянь, наживая колоссальную прибыль. Теперь Иванов выплывает в Берлине, в качестве автора мемуаров.

Я останавливаюсь на этих биографических данных потому, что без них не будет достаточно понятна политическая позиция Иванова, как типичного представителя определенного течения в белом движении. Обыватель-патриот, адвокат-аферист, мещанский демократ, выбитый из колеи рабоче-крестьянской революцией, это—именно тот общественный элемент, из которого, при надлежащих условиях, вырабатываются фашисты «демократического» типа и вожди «республиканско-демократического» деревенского кулачества. Таким вождем Иванов и стремился сделаться. Но на его пути встали препятствия, которых он совсем не ожидал.

3.

Попав в Гельсингфорс, Иванов направился к Юденичу, которого незадолго перед тем переправили в Финляндию русские контр-революционеры для «возглавления» «русского национального движения» в северо-западной области. Иванов уверяет, что он был убежден в демократизме Юденича, и что он испытал глубокое и тяжелое разочарование, когда увидел перед собою тупого и упорного монархиста.

Позволительно усомниться в наивности Иванова, но одно совершенно ясно из его воспоминаний. Как деловой, энергичный и понимавший дух буржуазной революции человек, Иванов, несомненно, сразу сообразил, что Юденич и окружающая его компания черносотенцев и правых кадетов из бывших сановников и банкиров настолько политически невежественна и откровенно реакционна, что не сумеет даже надеть приличной маски, чтобы временно обмануть крестьянство в России и шовинистически настроенную буржуазию в новых окраинных государствах.

Между тем, без помощи белых армий Финляндии, Эстонии и даже Латвии и без сочувствия русского крестьянства предстоящий поход на Петроград был бы бессмысленной авантюрой.

Тогда Иванов спешно покидает Юденича и отправляется в Эстонию, где под начальством ген. Родзянко и Дерожинского вели партизанскую борьбу с советскими войсками отряды так называемого северного корпуса, остатки белых формирований, созданных немцами при очищении псковской области.

Здесь он нашел также мало утешительного. По его словам, символ веры нарвского штаба был очень ясен и прост: «раз я военный и в руках у меня есть оружие, то прежде всего надо бить, бить всякого, кто противостоит. Большевиков нет—есть мерзавцы. Социалистов нет—есть дураки. Штатских нет—есть шпана. И мерзавцев, и дураков, и шпану надо бить по чем попало и чем угодно вплоть до шомполов».

Однако Иванов решил преодолеть все препятствия. Во-первых, он рассчитывал на эстонцев. Эстония находилась тогда в войне с Советской Россией, то-есть, по определению другого мемуариста ген. Родзянко, грабила пограничные русские области и вывозила из них на бронированных поездах лен. Се-

верный корпус входил в эстонскую армию. Следовательно, эстонцы были заинтересованы в его поддержке. Во-вторых, в северном корпусе находился отряд Балаховича, в котором Иванов сразу почувствовал родственную душу.

Иванов энергично взялся за дело. Для эстонцев, боявшихся великодержавных взглядов русского командного состава и требовавших «признания» от каждого русского подпоручика, попадавшего на эстонскую территорию, Иванов открывает в Ревеле газету «Новая Россия». В ней он щедро раздает «признания» всем новым государствам. Как ни дешево стоили обещания Иванова, но они достигают цели, и он входит в милость к эстонской буржуазии.

Для русских Иванов сколачивает в Ревеле группу из нескольких человек и об'являет ее партией под характерным названием: «русская практическая народная партия». В своих воспоминаниях Иванов почему-то не счел нужным восстановить программу этой партии. А она не лишена интереса. Программу эту напечатал в своих мемуарах противник Иванова ген. Родзянко. Из нее следует, что практическая народная партия признает за Финляндией и Эстонией право на самоопределение (но не независимость), считает необходимым образование в области государственной власти в форме Народной Директории, обещает установить на местах власть народных депутатов, избираемых всем неопороченным населением, восстановить частную собственность и свободную торговлю, обеспечить лойяльное рабочее население государственными субсидиями и общественными работами, сохранить фактическое (т.-е. большевистское) положение в земельном вопросе впредь до выработки окончательного законодательства, ввести преимущественное обложение состоятельных классов и даже произвести разоружение военных сил России до необходимого для охраны страны минимума.

Те же обещания содержатся и в листках батьки Балаховича, образцы которых напечатаны в книге Родзянко.

Родзянко же свидетельствует, что кулаки-хуторяне доставляли некоторые пополнения в отряд Балаховича.

Обеспечив себя политическою программою и газетою и опираясь на Балаховича и эстонцев, Иванов сделал опыт проведения своих взглядов в жизнь. Когда белые заняли Гдов, Иванов самочинно захватил в свои руки гражданскую власть и организовал в Гдове «общественно-гражданский совет» из назначенных им лиц, стремясь создать «советы без коммунистов» и «противопоставить диктатуре пролетариата—власть крестьянства». Такой же строй был установлен им на некоторое время и в Пскове, когда этот город попал в руки белых. Помещичья земля и инвентарь оставлены были в распоряжение захвативших их крестьян, и отбирание их было воспрещено. Кроме фальшивых советов Иванов открыл в штабе Балаховича еще и печатание фальшивых денег, но об этом он скромно умалчивает в своих записках. Умалчивает он и о насилиях, грабежах, смертных казнях, еврейских погромах и других подвигах отрядов Балаховича, с которым Иванов был неразлучен и политически и персонально.

В деревнях Иванов образовал по волостям волостные гражданские советы. Название «советы» он сохранил, как он сам об'ясняет, «ввиду привычки

населения к советскому распорядку». В действительности, «абсолютно-демократические установления» Иванова не имели ничего общего с советскою властью. Они состояли из 5—6 человек и притом не выборных, а назначенных самим Ивановым. Впрочем, очень скоро Иванову пришлось отказаться от заманчивого названия. Реакционеры из штаба армии заставили его переименовать «советы» в «управления».

Вместе с организацией переходного управления Иванов пытается создать классовую милицию—«институт самоохраны, основу благополучия нынешней Эстонии и Финляндии». Напечатанное в записках положение о самоохране является более или менее точным воспроизведением устава финляндского шюдскора и эстонской самообороны,—первых фашистских организаций, образовавшихся еще до итальянского фашизма. Иванов и Балахович открыто ставили ставку на кулаков. «Крестьянин будет у нас первым хозяином земли и на почетном месте»—клялся в это время Балахович.

Для полноты характеристики Иванова и его единомышленников нужно прибавить, что они стояли за Учредительное Собрание и с большою недоверчивою осторожностью относились к Деникину и Колчаку. Иванов утверждает, что они «были готовы пронести свое знамя и сквозь огонь нового столкновения, если бы Колчак принес на Москву реставрацию или реакцию». Во всяком случае, один факт устанавливается документально. Декларация северо-западного правительства, написанная Ивановым, в своей части об отношении нового правительства к «Верховному Правителю» отличается необычною для белого движения того времени уклончивостью. Северо-западное правительство, как указывает Иванов, заявило не о подчинении своем Верховному Правителю, а только об об'единении в его лице с остальной Россией.

При всей туманности такой формулы под нею, очевидно, скрывались некоторые реальные разногласия, понятные для посвященных. В свою очередь Колчак отнюдь не был в восторге от образования в петроградском районе новой белой власти и не признавал северо-западного правительства, считаясь только с одним генералом Юденичем, несмотря на то, что последний формально был только военным министром северо-западного правительства.

4.

Так изображает Иванов свои цели и свою деятельность. Какое же отношение встретила она в военных, т.-е. в действительных руководителях белого движения, и в той гражданской среде, которая в качестве политической атмосферы окружала белых генералов?

Обильный материал для ответа на эти вопросы дают и сам Иванов и ген. А. П. Родзянко в своих «Воспоминаниях о северо-западной армии».

История отношений между Ивановым и штабами генералов Родзянко и Юденича поистине трагична. Прежде всего, как только выяснилось, что Иванов является противником военной диктатуры и мечтает о какой-то обще-

ственной власти («какая еще там общественность», «этак и до демократи докатимся»,—говорил Юденич), то он был об'явлен большевиком. Добр вольцы из офицерской молодежи предпринимали даже попытки ликвидир зать его. Старшие начальники действовали, конечно, более осторожно. Но они придавали большое и отрицательное значение фигуре бойкого петербур ского адвоката. По словам Родзянко, вскоре после появления Иванова генер был вызван на совещание старших военных чинов в Ревеле.

Важная цель, для которой командующий должен был покинуть фронт, з ключалась в обсуждении поведения присяжного поверенного Иванова, обв няемого в зловредной агитации среди армии. Мудрое совещание предложил Родзянко и графу Палену, будущему организатору савинковских отряд во время русско-польской войны, разобрать в качестве судей дело Иванов После обстоятельной беседы с Ивановым, Родзянко убедился, что никаки данных для пред'явления обвинения не имеется. Однако Иванов был раз-н всегда признан подозрительным, и все его попытки вмешаться в политик нарвского штаба или отклонялись, или приводили не к тем результатам, к торых он добивался. Так однажды он,—по его словам, с согласия Родзянко, по словам Родзянко без согласия,—напечатал от имени Родзянко приказ том, что северный корпус идет в Россию с лозунгами: «Учредительное Собр ние, гражданские свободы и земля народу». Но после того, как часть листк была распространена, Родзянко лично обрезал на оставшихся свою подпис

Все другие предложения Иванова также не находили отклика ни у ког за исключением Балаховича. Наоборот, все генералы старались от него изб виться. И в то время, когда Иванов живописует свое пребывание в Гдове, ка осуществление им всей полноты демократической власти, когда он с горд стью рассказывает о введении им чуть ли не свободных советов, о закрепл нии за крестьянами помещичьих земель и проч. и проч., генерал Родзянк сухо и деловито описывает славную деятельность Иванова в несколько ино виде. «11-го мая,—говорит Родзянко,—без моего на то разрешения вдруг п явился в штабе г. Иванов со своим братом и г. Сиверсом. Я приказал пор чику Видякину немедленно же удалить его из пределов корпуса в Нарву». «Приехав в Нарву, я случайно узнал, что в штабе полковника Балахович вновь появился г. Иванов, во время приездов моих в Гдов тщательно та скрывавшийся; оказывается, поручик Видякин не отправил его в Нарву... и с своими средствами добрался до Гдова, где и начал очень энергично проявлят свою деятельность: издавал и распространял какие-то постановления, печата прокламации и т. д., дошел даже до того, что выпустил какие-то проклам ции от моего имени. С этим надо было во что бы то ни стало покончить и я приказал немедленно удалить г. Иванова из Гдова... г. Иванов скрылся и Гдова в Юрьев».

Нельзя не сказать, что полнота власти председателя Гдовского общ ственно-гражданского совета была весьма условной.

Столь же печально кончилась попытка Иванова создать под своим ру водством «зачатки общенародной власти» в городе Пскове. По словам Р зянко, после занятия Пскова эстонцами и прихода туда отряда Балахови

опять явился на сцену г. Иванов, привезенный в Псков эстонцами еще до ступления в него отряда Балаховича. Иванов начал издавать свою газету в сковe, печатал и распространял прокламации, собирал какие-то заседания бщественных деятелей и стал во главе гражданского управления Пскова, и го окрестностей. Я приказал полковнику Балаховичу удалить его».

Иванов и Балахович пробовали сопротивляться, но на стороне Родзянко ыла сила. Положение Иванова стало неудобным, и он вынужден был укрыться од покровительство эстонцев. Эстонское военное судно вывезло его в Юрьев.

Дальнейшая карьера Иванова не принесла ему утешения. Он утверждает, то именно ему принадлежит честь убедить английских генералов Гофа и ларча образовать северо-западное правительство из демократических элеентов для укрощения Юденича и вообще военной реакции. Так это или не ак,—разрешит историческое исследование, но во всяком случае воплощение деи Иванова разочаровало его. Состав правительства Иванов находил слаым, чуждым белому движению и вообще не соответствующим своему наначению.

Ограничение военной диктатуры не удалось. Генералы твердо вели свою инию. По словам Иванова, члены северо-западного правительства «полили, что это для них, для их власти, Юденич прокладывает дорогу и усердно лужили ему и были врагами его врагов. Эти государственные умы... вообраали, что Юденич возьмет Петроград и с почетом доставит их туда—праить и володеть. Они вовсе не предвидели, что уже в Гатчине лелеемый ими диктатор» применит к ним операцию коленка и даже главу кабинета Лиаозова будет принимать на-ряду с прочими просителями».

С другой стороны, и правительство не было удовлетворено Ивановым, и он как-то незаметно исчез из числа министров кабинета Юденича—ианозова. Вскоре северо-западная армия была разбита, Эстония заключила ир с Советской Россией, надобность в русских правительствах на эстонской ерритории миновала, и Иванов сошел с политической сцены. Но как ни была оротка и мала его крикливая борьба с военной диктатурой, она представляет сторический эпизод общеполитического значения.

5.

Рассказы Иванова о своих подвигах и его похвалы собственным гражданским добродетелям, разумеется, имеют весьма относительную достоверность. есомненно, в действительной жизни очень многое происходило совершенно наче. Благородные декларации основателя «практической народной партии» редставляют значение не потому, что они были или не были осуществлены . Н. Ивановым, а потому, что они весьма ярко отражают настроения и стреления многочисленных ивановых той эпохи, когда разночинный обыватель ыл вырван революционным вихрем из насиженного гнезда и вынужден был ринять участие в треволнениях гражданской войны.

Политический багаж обывателя был до убожества ограничен. Он заклюался в ненависти к царской монархии, в мещанском демократизме, несколько

оформленном расплывчатыми лозунгами февральской революции, и в классовой враждебности суровой диктатуре пролетарской власти. Грозный натиск коммунизма заставил демократическое мещанство искать спасения по ту сторону революционных баррикад, где сосредоточилась монархическая реакция, плохо замаскированная фразами о народовластии и социальных реформах. Но демократическое мещанство не без борьбы склонилось пред вчерашними хозяевами жизни, ставшими руководителями «белого народного движения».

Вследствие своего социально-географического положения в соседстве с верхними слоями деревни, оно чувствовало и понимало, что, если еще возможно спасение мелко-буржуазного демократизма, то оно заключается в сближении с крестьянскими массами на почве земельной революции. Помещичья земля получила значение того балласта, который незаинтересованное в нем демократическое мещанство готово было выбросить крестьянам для спасения от коммунизма буржуазного строя в целом.

Значительное влияние на демократическую контр-революцию оказывал и пример Эстонии и Латвии, где собственническое крестьянство в союзе с городской буржуазией сумело подавить коммунистическое рабочее восстание, сохранив, однако, республиканско-демократическую форму государственного строя.

В социально-политической идеологии ивановых и в их партизанской тактике поэтому намечаются уже все основные черты того движения верхних слоев деревни, которое впоследствии получило название «зеленого», в смеси с чертами нарождавшегося в Прибалтике крестьянского фашизма.

Но ивановы не были способны понять, что прибалтийский демократический фашизм не имеет шансов на успех в России.

Передача земли крестьянам, провозглашенная коммунистическою партией, отнимала почву у всякого другого претендента на уловление крестьянских душ. Крестьянские массы были, во всяком случае, нейтрализованы. Кулачество же не могло составить достаточной силы в атаке на советскую власть.

Демократическое мещанство волею-неволею вынуждено было искать союза в лагере черной реакции, но союз этот был внутренне противоречив и непрочен. Если демократия могла спасти себя, выбрасывая помещичью землю и закрепляя незыблемость нового порядка политическою властью крестьянства, то реакция и реставрация могли спасти себя, только сохраняя помещичью землю и обеспечивая себе политическое преобладание устранением демократии. Получалось безвыходное противоречие, которое было не разрешено, а разрублено мечом реакционной военщины. Демократическое мещанство должно было, после безуспешной борьбы, по примеру Иванова и ивановых, отказаться от гегемонии, передав ее монархической реакции

Теперь политическая физиономия любимых вождей—не тайна даже для ивановых.

«Две разновидности монархической психологии наблюдались в северо-западном командовании. Органически непримиримая в отношении новых требований жизни, тупая в понимании очевидных вещей, нагло-жадная, звериио-самодержавная, тяжеловесная, противо-народная—одна половина, что

от членов государственного совета народоненавистников, но в провинциальном масштабе; и неприкрыто ограниченная, вульгарно-солдатская, поразительно непросвещенная, логически противоречивая и внутренне безалаберная—другая, что от неудавшихся дворян. Эти две разновидности одного устремления притянули к армии наиболее отвратительные прихвоски царского строя». «Патриотизм» вождей «был очень дешев: он сводился к провозглашению по занятии Петрограда Кирилла Романова самодержавным царем и к установлению нового беспощадного террора». «В роли пожарских шли сумасшедшие люди—с горячим стремлением отхлестать Россию за «бунт» каторжною плетью и шомполами, и не как-нибудь, а непременно «по морде».

Теперь это понимают даже ивановы, но немногие из них оказываются способными сделать правильные выводы из пережитого.

6.

Воспоминания Иванова заканчиваются восклицанием, которое производит даже трогательное впечатление.

«Уже все давно прошло, но и посейчас я с удивлением слышу и читаю, что дело Юденича, дело Родзянки—это и было белое дело. Выходит, что все наши идеалы, наши мечты о независимой, свободной, народной, дружно трудовой России—все это и отстаивали Юденичи и Родзянки. Какое заблуждение! Какой поклеп!

Ивановы испытали столько разочарований и огорчений, что с покорностью судьбе должны перенести еще одно. Никакого заблуждения в том, что белое дело б[illegible] Родзянок и Юденичей нет, как нет поклепа в том, что «мечты и идеалы» ивановых нашли защитников, лицемерных, конечно, только в рядах контр-революционеров.

Вот в чем обще-политический урок записок бывшего уездного министра. Они раскрывают современную политическую драму демократического мещанства, бессильного создать свою власть и обреченного собственными телами заполнять ров, через который проходит путь к господству монархической реакции.

Дело не в том, что ревельский Иванов был несомненный проходимец и подвижник палача Балаховича, а гельсингфорский Юденич—тупой и лукавый себялюбец. Будь они образцами всех личных и общественных добродетелей,—смысл их борьбы не изменился бы. Беспомощность мелко-буржуазной демократии, ее неспособность удержаться на самостоятельной позиции, неизбежное подчинение ее реакционным силам показывают, что серьезными противниками в борьбе за власть являются только коммунизм и монархизм. Первый—потому, что он последовательно защищает революционные завоевания рабочих и крестьянских масс, второй—потому, что последовательно об'единяет все реакционные слои буржуазного мира для подавления, при благоприятных условиях, всех трудящихся классов. Промежуточные элементы в этой борьбе не могут играть самостоятельной роли.

Заслуживает внимания, что к такому же выводу пришел не социалист и не коммунист, а левый кадет с серьезным политическим опытом Л. А. Кроль. Его интересная и по фактам и по мыслям книжка «За три года», вышедшая в 1922 году во Владивостоке, заканчивается следующим меланхолическим признанием:

«Одни из нас пошли общим фронтом с реакционерами, считая, что жертвуют своим «я», своими требованиями народоправства во имя высшей цели одоления большевиков, хотя бы путем диктатуры; другие пошли совместно с социалистическими группировками на борьбу за народоправство; третьи положили все силы на то, чтобы повлиять на правых, внушая им необходимость демократического, а не реакционного курса. И все эти карты были биты! Приходилось признать, что народ не сознает, что мы ему нужны, а навязываться ему безнадежно».

Кроль об'ясняет это грустное для «демократов» явление тем, что «массы не осознали насущной необходимости для них подлинного демократизма».

Было бы более правильно предположить, что ненужность мещанской демократии в эпоху социалистической революции происходит именно потому, что массы осознали и то, насколько необходим им *подлинный* демократизм, и то, кто может обеспечить осуществление в жизни этого, а не формального демократизма.

Кроль, наверно, знаком с тем фактом, который отмечает в своих записках Иванов и который известен всем, изучавшим белое движение. Всякий, кто на белой территории выдвигал хотя бы элементарные демократические требования, считался и назывался «большевиком», несмотря на то, что не имел ничего общего с коммунизмом.

В языке отражаются реальные жизненные отношения. И обозначение демократической борьбы против реакции словом «большевизм» говорит о том, что по воле истории коммунизм оказался не только вождем социалистической революции, но и действительным проводником в жизнь начал подлинного демократизма.

Критика и библиография

Ефим Зозуля. Том первый. Изд. «Круг». Москва—Петербург 1923.

В некоем городе некий Ак избран председателем президиума «Коллегии Высшей Решимости», на обязанности которой лежит произвести отбор годного и негодного к жизни «человеческого материала». Признанные годными—остаются продолжать свое земное существование, а причисленные к хламу уничтожаются в 24 часа. Комиссия весьма успешно исполняет задачу оздоровления человеческой породы, но внезапно исчезает ее энергичный, суровый, но справедливый председатель, а с его исчезновением прекращаются и работы «Высшей Решимости», замененной коллегией «Высшей деликатности»—к нескрываемому удовольствию человеческого хлама.

Это в рассказе «Об Аке и человечестве». А в другом—читаем о богаче Икае, неодушевленные предметы своего домашнего обихода—мебель, обои и даже книги—заменившем живыми людьми, за невысокую плату исполняющими обязанности кроватей, ножек от письменных столов, ручек гостиных кресел и крючков для платья... Рассказ так и называется: «Живая мебель».

В «Гибели главного города» повествуется об оригинальном способе мщения победителей по отношению к побежденным: над столицей покоренной страны завоеватели выстроили новый город, лишив таким образом солнечного света своих врагов. И мало этого: победители всячески измывались над жителями омраченного (в буквальном смысле слова) города: с помощью гигантских граммофонов они высмеивали все проблески оптимизма и идеализма у побежденных, которым ничего иного не оставалось делать, как избрать Правительство Покорности.

Вообще Ефим Зозуля любит граммофоны: они играют существеннейшую роль в его остроумных рассказах, в которых фантастичность сюжета незаметно и искусно сливается с тонким сарказмом. Так, в утопической новелле «Граммофон веков»—этот музыкальный аппарат становится как бы осью, вокруг которой развертывается сюжет. Рассказ—прекрасный образец и занимательный и,—что особенно редко для литературы этого рода,—умной утопии: место действия—одна из европейских столиц; время действия—50-й год эры «Всеобщего Социализма в Европе». Так вот в этой самой столице некий Кукс изобрел такой граммофон, который воспроизводит все звуки и все человеческие слова, столетиями лежавшие запечатленными «в виде особых невидимых бугорков на всех неодушевленных предметах». Это значит, что стены домов, камни мостовой, кирпичи построек сохранили все человеческие слова, некогда около них прозвучавшие. Аппарат Кукса мог их воспроизводить, и люди нового века слышали речи своих отдаленных предков.

Как видите из кратких схем этих четырех рассказов,—выдумка и остроумная занимательность фантастических новелл утопий Зозули—несколько необычного тона для нашей беллетристики, почти всегда отличающейся на редкость банальной фабулой. Таким образом, в той части книги, которая посвящена фантастике, Зозуля оправдывает основные требования, пред'являемые к повествованию—требования с ю ж е т н о с т и, ф а б у л и с т и ч н о с т и и д и н а м и ч н о с т и в самом развитии рассказа. И есть еще одна примечательная особенность: неожиданная развязка его фантастических произведений. В «Рассказе об Аке», как оказывается, вся суть не в том, что одна—

«Решительная» коллегия была заменена другой—«Деликатной», а в том, что исчезнувший Ак в конце концов нашелся: он сидел, спрятавшись в каком-то шкафу, и, невидимый, присутствовал при всех решениях «Деликатной коллегии», которая оставила наслаждаться жизнью весь человеческий хлам. Ак не выдержал: вылез из шкапа и дико закричал:

— Резать, резать, резать!

В этой неожиданной развязке и весь смысл рассказа: человеческий хлам надо уничтожать!..

И в «Живой мебели» и в «Гибели главного города» конец, поистине, венчает дело: в первом из этих рассказов «мебель» взбунтовалась и богачу Икаю крышка. Аналогичен и финал «Гибели главного города»: побежденные восстали и разрушили «Верхний город»—столицу их угнетателей. Но еще занимательнее (и, если хотите, символичнее!) окончание «Граммофона веков». Изобретатель Кукс не только не получил ожидаемого признания и похвал, но выслушал мудрый приговор о ненужности своего аппарата. В самом деле: что воспроизводил его граммофон? Слова старого мира, жестокие, грубые, пошлые слова, выражавшие весь ужас его социального строя. Новое человечество навсегда ушло от старого мира. А потому: «Нам не нужны его стоны, нам не нужны его ужасы!». Граммофон веков—уничтожен.

Думается, что выражение подлинной писательской сущности Зозули именно в этих вещах. Но не менее характерны для него «Недоношенные рассказы», сделанные в виде конспективных записей почти всегда неожиданно и остро найденного сюжета. Впрочем, не все эти наброски таят зерна будущих рассказов: некоторые («Тиф», «О сердитом меднике», «Рассказ о борьбе») не идут дальше анекдота.

Есть в книге Зозули вещи, по тону своему являющиеся как бы дальнейшим развитием записей-набросков его «недоношенных» или недописанных рассказов: «Жан Кармин», «Немой роман»—в них есть острота замысла, не нашедшего глубокого воплощения, и зоркая наблюдательность, отлично подмечающая проявления человеческой пошлости.

В этих двух плоскостях—фантастики нарочитой «недоношенности» сюжета Зозуля кажется наиболее выразительны

Первый его том включает также и ра сказы, написанные по всем, так сказат правилам обычной беллетристики. Но них есть некоторая блеклость тона и б нальность формы («Прислуга», «Ропорте и пророчица»). Лучший из этих мало х рактеризующих Зозулю рассказов «М лочь».

Не слишком новы по подходу к теме «библейские» повествования: «Каин Авель» и «Исход».

Есть в книге Зозули и досадная н брежность в языке. Нельзя писать, ч портреты Маркса, Ленина и Троцко выглядели торжественно. Ужасн звучит такая фраза: «раздался звонки голос, святой и наглый голос, какой в все времена имеется во всяко толпе». Не говорят, что «плачут п поводу»: «это моя Надя плачет п поводу смерти Мани». (Курсив всюд мой—Ю. С.).

А в общем—интересная, умная, зани мательная, а главное, необычная в бел летристике книга. И тон ее бодрый ясный, уверенный. Читая рассказы Зо зули, чувствуешь, что он действительн пламенно ненавидит жестокость, тупост мещанство и пошлость того старого мира чьи грубые и низкие слова ненужн передавал «Граммофон веков».

И знает еще этот лукавый рассказчи об «Аке и человечестве», что «сложны и многообразны пути гнета—нет предел в них человеческой фантазии, а путь свободе прост, но горек».

Издана книга превосходно.

Юрий Соболев.

«Южный Альманах». Кн. I. Крымиздат Симферополь. 1922 г., стр. 203.

Кроме вышедшей книги I-й, Крымиздат предполагает выпустить и II-ю. Альманахи—литературная мода, и Крымиздат безусловно хорошо делает, что дает п блике таких писателей, как Тренев (в I книге), как Шмелев (обещанный для II-й И в I-й книге идет и во II-й обещ Сергеев-Ценский.

Не знаю, что будет у него в II-м «Альманахе», но то, что дано в I-м («Чудо»), заставляет внимательно остановиться на себе. «Чудо»—из серии «Крымских рассказов». Вы читаете страницу за страницей. Вы следите за спорами священников и дьячка. Вам немного (всего только немного) страшно от взрыва «Мечты» подводной миной. Вы любопытствуете о спасшемся дьячке. Вы приближаетесь к концу длинного рассказа и как-то сначала не замечаете, а потом ясно чувствуете, что образы, отложившиеся в вашем представлении при начале чтения, начинают таять и превращаются в слова, в буквосочетания, которые ползут, ползут по бумаге... И вы вдруг спрашиваете себя:—А где же чудо?—И только что вы спросили себя, как автор поясняет вам в самых последних строках:

> «Так начал свою новую жизнь дьякон Никандр, испытавший два разных чуда, и от первого ставший веселым и беспечным на тридцать лет, а вторым опечаленный, быть может, тоже на очень долгие годы».

— Ага,—соображаете вы,—значит тут было целых два чуда!.. Экая оказия! А вы и одно едва не просмотрели. Но не кажется ли самому автору, что скопление двух таких значительных явлений, как чудо, в одном произведении производит некоторую интерференцию впечатлительности от одного и другого, в результате чего впечатления нейтрализуются? Не думает ли автор, что чудо—это такое индивидуальное животное, которое любит единственным оставаться в произведении? Позвольте, в чем дело? Сергеев-Ценский—старый писатель, мастер! Ему ли слушать о том, какое количество чуд вместимо на 120 страницах? А мне кажется, что вот в этом-то все и дело. Достоевский говорил, что для создания романа, повести, рассказа надо, чтобы автора крепко, всего охватила мысль. И в гармонии с этой, почти всегда туманной, неясной мыслью рождаются образы, как звезды из туманностей. Но мысль-то эта сама рождается из действительного, из того, что окружает. Что же происходит со старым мастером литературы Сергеевым-Ценским?—То, что со многими другими старыми писателями. Они воспринимают окружающее. А отрабатывается воспринятое неясно. Н е д о к а з а т е л ь н о. Недоказательно потому, что современная жизнь делает непонятный, непостижимый, а потому и неприемлемый для них поворот. Читает современный (особенно молодой) читатель Сергеева-Ценского и требует: докажи, докажи, докажи художественно. А Сергеев-Ценский, не понявший и не принявший сам того, что его окружает, не может доказать. Он просто просит поверить на слово. И, как всегда, когда просят верить на слово, аргументацию заменяют повторения. Сергеев-Ценский повторил чудо. Два чуда, два чуда для вящщего убеждения читателя. Читатель, для которого двойное утверждение не заменит доказательства, покрутив головой, скажет:—Для вас, Сергеев-Ценский, может быть—чудо то, что вы описали, а для меня там самый незамечательный случай. Или, если вы настаиваете на двух чудесах, д в а незамечательных случая. Старые художники не поняли окружающего, поэтому для них оно—чудо... Как жалко, что такое «Чудо» занимает едва ли не большую часть книги!

Остальное в книге отведено, собственно, только отрывкам. Короленко «История моего современника» гл. 18, т. IV—превосходная глава, как и вся «История моего современника». Потом отрывок из романа Вересаева «В тупике». Об этом романе уже, как будто, и говорилось и писалось не только у нас в России, но и за границей (см. «Новая Русская Книга» № 10). Тренев—«Пугачевщина», но опять это только пролог к народной трагедии. Пугачевщина—это очень интересная тема. Особенно данная в форме трагедии. Пролог этой трагедии возбуждает большой интерес. Язык и характеры действующих лиц свидетельствуют о том, что автор до последней степени проникся тою эпохою, теми нравами. Не знаю, во что это выльется у автора, но задумано большое дело, которое творит автор с большим вкусом и вдумчивостью. Затем идет Федорченко—«Народ на войне». Ну, разумеется, это тоже отрывки. Ведь это тоже интересное произведение. Это та замечательная книга, о которой так

много говорят и к которой, видимо, не раз и не раз обратят свои взоры русские литераторы. Вещь весьма интересная. Вот поэтому-то, читатель Крымиздатских изданий, ты и читай только отрывки, тогда как Сергеева-Ценского потрудись всего прочитать!

Заканчивается «Альманах» довольно внезапно статьей Львова-Рогачевского «Гамаюн—птица вещая»—памяти Блока. Я говорю «внезапно» не потому, разумеется, что несвоевременно или неуместно читать о Блоке, а потому, что, перечитав калейдоскоп отрывков, прикрепленных лоскутками на массиве двух чудес Сергеева-Ценского, не знаешь, чего можно после всего этого ожидать? Всего можно ожидать. И все будет внезапно. Содержание «Альманаха» можно графически изобразить ломаной линией, в которой, как известно, господствуют внезапные скачки.

Очень хороши в «Альманахе» стихи: Allegro «Шут», Волошина «Дикое поле», «Карадаг». Стихи Пастернака «Снег идет» и Несмелова—довольно слабы. Пастернак здесь особенно слаб, слаб вопреки самому себе. Не потому ли, что много в его стихотворении искусственной выпуклости.

А. А.

Новый сборник Ортодокса.

Л. Аксельрод (Ортодокс). Против идеализма. Сборник статей. Государственное Издательство. 1922, стр. 239.

Новый сборник Л. И. Аксельрод охватывает ряд статей, опубликованных в период с 1905 по 1914 г., и является как бы продолжением «Философских очерков», принадлежащих перу того же автора.

Ортодокс—закаленный боец за марксову философию и старый знаменосец воинствующего материализма. Многие его статьи принадлежат к лучшим местам в философской литературе марксизма—не только русской, но и международной. Огромная философская эрудиция, трезвый материалистический ум, непоколебимая стойкость в защите марксовой философии от всякого рода противоестественных сочетаний и противоматериалистических «исправлений», простая, ясная и че[...] канная формулировка мысли, время о[т] времени озаряемая язвительной, ирони[...]ческой насмешкой,—все это позволяе[т] поставить имя Ортодокса в ряду маркси[...]стов-философов непосредственно вслед за именем Г. В. Плеханова.

Вот почему следует приветствовать Государственное Издательство, собравшее статьи Ортодокса, разбросанные по раз[...]личным журналам, и об'единившее их в одном сборнике.

Сборник направлен своим критическим острием против идеализма—по преимуществу против его современных (1905—1914) течений, претенциозно крикливых и модернизирующих отрупевшую идеалистическую догму.

Выступая против эпигонов идеализма и вскрывая об'ективную реакционность их концепций, Ортодокс в то же время отдает должное творцам великих идеалистических систем, законных и прогрессивных в свое время, но заводящих в тупой переулок внутренних противоречий и логической несостоятельности тех, кто их пытается возродить в наши дни.

Чувством глубокого преклонения перед проникновенным мыслителем и страстным борцом за истину проникнута, например, статья, посвященная Иоанну Готлибу Фихте.

Ученик Канта, Фихте несравненно последовательнее своего гениального учителя, система которого была для него лишь «тремя четвертями» истины. Он прочно и уверенно стоит на почве критического идеализма, отождествляющего суб'ективное и об'ективное, мышление и бытие. Отправная точка Фихте—свобода и самостоятельность человеческой личности. Эта свобода достигается лишь признанием бытия зависящим от мышления, им определяемым, а мышления—определяемым самим собою. Только на этом пути—пути признания творцом мира абсолютного «я»—видит Фихте осуществление человеческой свободы.

При всем своем крайнем идеализме, пр[и] фетишизировании им абсолютного «я» Фихте никогда не бежал от реальной действительности, не трактовал ее с высо[ты] своего суб'ективизма, а, наоборот, неизмен-

но звал к практическому действию в недрах этой самой действительности.

Вдохновенный апологет свободы, Фихте был одним из немногих философов, в годы реставрационной реакции страстно и мужественно выступивших в защиту революции.

«Основное содержание системы Фихте,—говорит Ортодокс,—может считаться в наше время превзойденным совершенно и окончательно. Теория развития, проникая собою все решительно области человеческой мысли, положительная, точная наука, идущая вперед действительно гигантскими шагами и работающая следуя материалистическим методам, положила конец идеалистическим спекуляциям» (стр. 63). Вот почему обречены на неудачу современные попытки возродить фихтеанство. Материалистические методы современного исследования заранее парализуют всякую попытку реставрации суб'ективного идеализма.

Преемственная связь, существующая между немецкой классической философией и диалектическим материализмом, охарактеризована в статье, посвященной 25-летию смерти Маркса. В статье выявлено, как Кант—при всем изумительном величии его системы—не в состоянии был вырваться из плена окостеневшей христианской догмы, противоставляющей миру сущего мир должного, а Гегель своей всеразрушающей диалектикой изжил роковой кантов дуализм, но в свою очередь оказался не в состоянии освободиться из-под власти суб'ективного идеализма. Лишь гений Маркса дал конкретное разрешение вопроса об отношении сущего к должному, существующего к мыслимому, действительности к идеалу.

Ортодокс дает надлежащую отповедь всем толкующим о скудости и убогости диалектического материализма, об отсутствии у него «багажа», которым обладают солидные философские системы.

Содержание диалектического материализма таково, что оно по существу не может быть изложено в полном законченном виде... Книга, в которой исторический материализм представлен в полном виде—это вся история культуры во всем ее об'еме, и Маркс, открыв основу исторического движения, об'ективную двигательную силу, указал способ, как следует читать эту великую книгу для того, чтобы постичь ее мудрое и сложное содержание. Сущность диалектического материализма заключается не столько в определении и развитии его формальных принципов, сколько в учелом применении этих принципов к явлениям реальной жизни.

Всякому, кто твердит о сухости и мрачности марксистского миросозерцания, кто повторяет, что оно опустошает наш внутренний мир, уничтожая веру в идеалы и механически замыкая его в узкий круг материальных потребностей, можно с успехом рекомендовать прочтение статьи Ортодокса «Карл Маркс и религия». Он тогда увидит, насколько «тьма низких истин» марксизма способнее «возвышающего» мистического обмана вселить в человека гордое сознание своего достоинства, чувство вдохновляющего и освобождающего личность. «Диалектический материализм об'единяет в своем всеоб'емлющем учении природу и историю, свободу и необходимость, теорию и практику, науку и жизнь, этику и политику. Его исходная точка—единство мира, его конечная цель—освобождение личности». Но чем марксизм может обогатить наши суб'ективные переживания, что он дает и что он сулит нашему духовному миру? Ортодокс отвечает решительно и гордо: «Все, кроме обмана и призраков»!

Природа, история человечества, общественность, свободная наука, свободное искусство, разве же все это не достаточные источники для полной, интенсивной, всесторонней духовной жизни, для творческой фантазии, для широкой захватывающей деятельности, для внутреннего созерцания, для проявления и развития высших нравственных начал и, наконец, для роста и культивирования чувства прекрасного?! (стр. 78).

Марксизм, как цельное и стройное научное миросозерцание, связывающее законы природы с законами истории, вселяет в нас сознание нашего единства с мировым целым. Это чувство неразрывной связи со вселенной обусловливает способность человека работать, творить, создавать величественное и прекрасное.

Вот почему Ортодокс выступает, например, против Овсянико - Куликовского,

когда тот «отнимает у марксизма его суб'ективный элемент, превращая его тем самым в учебник по арифметике». Марксизм дает нам понимание единства действительности и таким образом внедряет в нас идеологию научного мировоззрения. Эта идеология ничего общего не имеет с идеологией религиозной, увлекающей нас в бездонную пропасть мистики. С этой идеологией марксизм ведет бой не на жизнь, а на смерть. Всякая попытка повенчать их—вредная и бессмысленная реакционная утопия.

Для Ортодокса диалектический материализм является целым миросозерцанием, обозначающим равным образом и материалистическое понимание природы и материалистическое понимание истории. Ортодокс всегда считал, что последовательный мыслитель свою идеалистическую или материалистическую концепцию обязан распространить и на область историческую и на сферу отношений между «я» и «не-я». На защите этого положения Ортодокс останавливается и в статье «Теория стоимости и диалектический материализм»:

...Вычеркнем действительность природы и согласимся с идеалистами, что человек не часть природы, а ее создатель, что бытие природы—не истинное бытие, а плод суб'ективного сознания или суб'ективных ощущений,—сделаем это и мы придем к непреложному, очевидному заключению, что от всей системы Маркса не останется ни одного атома (стр. 105).

Научный социализм вытекает из материалистического об'яснения истории и предполагает материалистическое об'яснение природы. Общее философское мировоззрение Маркса-Энгельса несравненно шире материалистического взгляда на историю, составляющего часть общего миросозерцания. По отношению к общим задачам познания исторический материализм играет методологическую роль.

Последняя мысль заслуживает быть особо подчеркнутой, ибо отрицание единого материалистического миросозерцания вплоть до наших дней является излюбленной тропинкой, по которой прогуливаются всякого рода «исправители» и «дополнители» Маркса, вырывающие пропасть между марксовой «натурфилософией» и социологией марксизма (Ма Адлер, Форлендер, Крапольд, Штауди гер и др.).

Как на ценную и интересную попытк следует указать на устанавливаему Ортодоксом связь между теорией стоим сти и диалектическим материализмом.

Открытие двойственного характер труда, ставшее для Маркса отправны пунктом при его политико-экономическо анализе, сделалось возможным лишь связи с его гносеологическими воззр ниями. Теория стоимости, взгляд на пр исхождение и развитие денег—результа диалектико-материалистического подход к этим проблемам, сущность которы осталась грамотой за семью печатями дл классической экономии.

Теория стоимости представляет блестя щий, классический образец диалектич ского мышления и неоспоримое подтвер ждение правильности и плодотворност этого метода. Теория стоимости и все е звенья, представленные в «Капитале», н логические абстракции, как это голослов но утверждают буржуазные «критики», на деле соответствуют действительно истории развития обмена и истории экви валента. Метод, выведенный Марксом и разума действительности, дал ему остро оружие к пониманию действительности проникновению во все ее скрытые формы (стр. 103).

Мы указали выше, с каким глубоким уважением говорит Ортодокс о творца великих идеалистических систем, подняв ших человеческую мысль на недосягаемы высоты. Но с тем большей беспощадностью она относится к выродившимся эпигонам идеализма, цепляющимся за превзойденные и отжившие истины, на которые они набрасывают мантию новизны:

...Идеалист никогда не был последователен: всемогущая, властная действительность, шутя и издеваясь над ним, заставляла его отступать от занятых им позиций. И если великие идеалисты, творцы классической философии были част вынуждены изменять идеализму и стан виться на конкретную материалистич скую почву, впадая, таким образом, в н последовательность и совершая самы страшный грех с точки зрения философ

ского мышления, то идеалисты нашего времени являются прямо таки жалкими игрушками об'ективного хода вещей, выступившего в нашу эпоху с такой силой и такой яркостью, как никогда (стр. 106).

Если системы Фихте и Гегеля были пропитаны прогрессивным, даже революционным содержанием, если творцов классической философии воодушевляло желание неустанно и мужественно двигаться вперед, то современная философия жалко, беспомощно и скучно топчется на одном месте.

Характеристика, данная Ортодоксом в 1914 году эпигонам идеализма, с полным правом применима и к философским течениям наших дней, уходящим в темные пропасти мистики и теософии и в то же время лишенным намека на какую-либо оригинальность. Об этих течениях можно вполне повторить злое слово Эдуарда Гартмана: «Это не самостоятельное мышление, а повторительный курс».

Помещенная в сборнике известная статья Ортодокса «О проблемах идеализма», вскрывающая реальное содержание идеальных устремлений бердяевско-булгаковской братии, на всех парах мчавшейся тогда (1905) от Маркса к богу, принадлежит к лучшим страницам полемической литературы русского марксизма.

Мастерски характеризует Ортодокс писателей, выступивших под знаменем «Проблемы идеализма»:

Наши «идеалисты»—писатели с «нагими» душами fin de siècle. Нервные и чрезвычайно восприимчивые, они всосали все декадентские, модные формы, усвоили несколько общеупотребительных философских терминов и, щеголяя тем и другим с бестактностью и назойливостью навязчивых parvenus, стараются всячески возбуждать нервы читателя... Порывистый, крикливый, истерический стиль; таинственный пророческий, исполненный фальшиво-религиозного пафоса тон,—все то как бы создано для того, чтобы расположить читателя к слепой вере, другими словами, чтобы ослабить и затуманить его рассудочную деятельность.

Ортодокс показывает, как этические принципы глашатаев идеализма неизбежно приводят их к признанию сверхопытного нравственного миропорядка, устанавливаемого божеством, к культу богочеловека, эмансипированного от власти коллектива. Взяв от классических систем идеализма их реакционные элементы, небесные представители земных русских либералов выступили с требованием ограничения народного суверенитета во имя свободы личности...

Зло и едко написана статья «Г. Бердяев и моя бабушка», отлично вскрывающая общественную ценность христианско-аскетических проповедей г.г. Булгаковых и Бердяевых, «лик которых обращен одной стороной к бирже, а другой к Голгофе».

Вторая часть сборника (статьи «Мещанский мистицизм», «Суб'ективный материализм», «Вещи в себе не пустяки») посвящена критике эмпириокритицизма. Она подвергает обстоятельному рассмотрению эмпириокритическую теорию познания, показывает как неустойчивы в ней материалистические элементы, и как сильны в ней элементы суб'ективно-идеалистические. Хорошо подчеркнуто в статье и то обстоятельство, что «несмотря на внешние утонченные формы эмпириокритицизма, несмотря на гибкую софистическую аргументацию его представителей, это учение отражает в себе с изумительной отчетливостью и полнотой конкретную жизнь, духовную природу и идеалы мещанина».

На-ряду с работами Плеханова и Ленина статьи Ортодокса образуют то лучшее, что имеется в международной марксистской литературе по вопросам эмпириокритицизма.

Размер настоящей заметки не позволяет исчерпывающим образом указать на все то ценное, что имеется в сборнике, который от первой до последней страницы овеян творческой мощью марксизма, проникнут его безупречной логикой, пронизан диалектической мыслью. Мы остановились лишь на том, что на наш взгляд является наиболее существенным.

С. Вольфсон.

М. Н. Рой. Новая Индия. Госиздат. 1923 г., стр. 200.

Несмотря на огромный интерес, который давно вызывает в России Индия, эта цитадель английского империализма, у нас почти совершенно отсутствует как оригинальная, так и переводная литература, посвященная ее политике и экономике. Солидный, но сильно устаревший двухтомный труд Шайэ — «Современная Индия» (1912 г.), интересная, но слишком специальная работа Баден Поуэлла «Происхождение и развитие деревенских общин в Индии» (1900 г.), наконец, несколько статей, главным образом, политического характера—вот в сущности все, чем располагает русский читатель. При таком «бескнижьи» буквально событием является появление в русском переводе книги Мабендра Нат Роя, одного из пионеров марксизма в Индии, дающая блестящий очерк экономики, социальных отношений и политической жизни последней.

Давать сколько-нибудь подробный разбор всей книги—задача совершенно невозможная: для этого пришлось бы написать не рецензию, а обширную статью. Как истый марксист, М. Рой дал глубочайший анализ решительно всех социально-экономических факторов Индии, притом не на протяжении последних десятилетий, а начиная с эпохи завоевания этой огромной страны англичанами.

Основу всей жизни Индии составляет до сего времени земледелие, которым занимается 72% населения. И вот М. Рой дает подробный анализ экономики индийской деревни, форм землевладения, истории аграрной политики англичан и, наконец, современного состояния земельного вопроса.

Если крестьянство является символом старой Индии, то двигателем новой Индии является пролетариат. Последний народился очень поздно, благодаря, ненормальности экономического развития Индии в течение всего XIX века. Английская буржуазия, завоевав страну, эксплоатировала ее чисто колониальными методами, сводящимися к торможению туземной промышленности и к превращению ее в поставщицу сырья и рынок для сбыта своих фабрикатов. «Собрав 67 населения Британских островов в г рода, тот же капитализм прикрепил 75 населения Индии к деревне». Однак несмотря на все препятствия в Инди постепенно нарождается сначала торг вый, а потом и промышленный капита Мировая война открыла буквально нову эру для индийской промышленност Благодаря мобилизации всей английско промышленности на военные цели—осл билась ее угнетающая конкуренция, и ту земному капитализму открылось свобо ное поле. Поворотным пунктом в это процессе было установление 3½% п шлины на ввозимые текстильные издели Эта протекционная привилегия вызва стремительный рост индийской промы ленности, сначала хлопчатобумажной, потом джутовой, шерстяной и т. д., в н стоящее время уже 75% промышленн сти страны (кроме ж. д., копей и планта ций) контролируется туземным капит лом.

Бурный рост промышленности вызва к жизни многомиллионный индийски пролетариат. Сейчас число рабочих зан тых в крупной индустрии уже не мене 9 миллионов (против 3 милл. до войны

Дороговизна жизни в результате во ны и непомерная эксплоатация, сво ственная эпохе нарождения капитали ма, вызвали стихийное рабочее движ ние. Начиная с 1917 года происходя огромные забастовки в пользу повыш ния заработной платы и сокращения р бочего дня, захватывающие миллион людей.

В течение 9 месяцев с июля 1910 год по март 1921 года в одной Бенгальско провинции произошло не менее 130 заб стовок. Сейчас рабочее движение вступи ло в стадию организации и ее главным задачами является признание союзов плановерная борьба за улучшение поло жения всего рабочего класса (требования обучения, фабричного законодательств устройства жилищ и т. д.). Конечно Индии лишь начинается борьба за ос бождение рабочего класса, но и сей она является огромным фактором всей политической жизни.

Третьей движущей силой является земная буржуазия и примыкающая к

интеллигенция—создавшая национальное движение. Почти половина всей книги и посвящена последнему.

Шаг за шагом прослеживает М. Рой, как изменяется программа и тактика индийской буржуазии в связи с изменениями общей экономики страны. От социал-реформизма и лойяльной оппозиции она постепенно переходит к требованию полной автономии Индии (Сварадж) и к тактике революционного действия (бойкот, террор). Экономические уступки, сделанные английским правительством во время войны, раскололи националистов на две группы. Одни—умеренные, представители крупной буржуазии сейчас настроены примирительно по отношению к Англии, видя в ней защиту против растущего рабоче-крестьянского движения. Другие—экстремисты, опираясь на стихийный протест масс, выдвигают крайние лозунги полного освобождения Индии. Однако, будучи революционерами в области политики, они являются в других отношениях социально - реакционными элементами. Их идеалом является вера в духовное превосходство Индии и стремление вернуться к докапиталистическим временам, когда не было «безбожной», «дьявольской» цивилизации и машинной индустрии. Именно такими настроениями проникнута программа вождя крайних националистов Генди, проповедывающего борьбу против англичан при помощи пассивного сопротивления и всеобщей стачки (Хартал).

Половинчатая и социально-реакционная программа экстремистов, эксплоатирующая невежество и отсталость широких масс, конечно, обречена на провал. Массовое движение под руководством пролетариата неизбежно должно освободиться от буржуазно-национального движения. Последнее с неизбежностью должно будет войти в союз с англичанами, задачу же освобождения Индии возьмут на себя крестьяне и рабочие, осознавшие свои классовые интересы и организовавшиеся для борьбы. Таково в общих чертах содержание замечательной книги М. Роя, которая, несомненно, составит эпоху в изучении современной Индии.

В. Кряжин.

В. Виленский (Сибиряков). Китай (политико-экономический очерк) с рисунками и картами. Изд. Всеросс. Научной Ассоциации Востоковедения. М. 1923 г., стр. 100.

Последние два года отмечены в русской научной литературе появлением целого ряда книг, посвященных Дальнему Востоку и характеризующих несомненно то крупное значение, которое приобрел последний для Р. С. Ф. С. Р. Книга и брошюры М. Павловича—«Советская Россия и империалистическая Япония», Ю. Смургиса—«Китай», Ходорова—«Мировой империализм и Китай» и ряд других достаточно характеризуют потребность русских читателей в ознакомлении с своими дальневосточными соседями.

Книга В. Виленского представляет из себя популярный очерк, знакомящий даже самого неподготовленного читателя с основами государственного устройства, экономики и политической жизни современного Китая. Написанная в значительной степени на основании личных наблюдений, сделанных самим автором во время его пребывания в Китае, книга живо знакомит с политико-экономической физиономией последнего. Две первые главы посвящены границам Китая, флоре, фауне и т. д. и также истории его, включительно до революции 1911 г. Специальная глава посвящена экономике Китая. Если основой последней до сих пор является сельское хозяйство, то, тем не менее за последние два десятилетия наблюдается сильный рост индустрии. Иностранный капитал учел, что для него чрезвычайно выгодно организовать крупную промышленность в Китае, благодаря дешевизне труда и обилию всевозможного сырья. Кроме того Китай в изобилии обладает двумя необходимыми предпосылками для создания промышленности, а именно углем и железом. В результате мы видим, как в Китае со сказочной быстротой развивается хлопчатобумажная индустрия, представленная в 1921 г. 63 фабриками с 1.749.000 веретенами, разработка угля (20.000.000 тонн) и железа (в 1916 г. 1.333.000 тонн, из которых 79% переплавлено в самом Китае). Одновременно развивается и банковский

капитал, финансирующий различные промышленные предприятия Китая. Иностранные банки, с целью полного экономического закабаления страны стремятся об'единиться в один мощный консорциум, который и возник в 1920 г. по инициативе Соединенных Штатов. Однако любопытно, что китайские туземные банки с целью самообороны также образовали крупный консорциум, в который вошли 27 банков с капиталом в 230—250 милл. кит. долларов.

Европейский капитал, устроившись вполне по-хозяйски в Китае, претендует на раздел его на сферы влияния, при чем Франция стремится к исключительному господству в Южном Китае, Англия—в среднем и, наконец, Япония—в Маньчжурии. Противоположной тенденции придерживаются Соединенные Штаты, чувствующие себя достаточно сильными, чтобы требовать применения системы «открытых дверей». В результате 5-летней борьбы американский капитал победил и на Вашингтонской конференции, навязал свою точку зрения другим конкурирующим державам и, главным образом, Японии.

На фоне этой международной борьбы, а также нарождения туземного китайского капитала необходимо рассматривать и политическую жизнь современного Китая. В этом отношении В. Виленский совершенно прав, когда говорит, что надо «раз-на-всегда отказаться от примитивного представления, что в Китае идет борьба между генералами и только». Значительная часть книги и посвящена попытке связать чисто политическую борьбу с факторами экономическими и социальными.

С этой точки зрения в Китае имеется три политико-экономических комплекса: юг—царство мелкой буржуазии, сравнительно мало зависящей от западного капитала; север (или Срединный Китай)—центр приложения иностранного капитала и крупно-фабричной индустрии и, наконец, Маньчжурия—страна бурно развивающегося земледельческого хозяйства, дающего крупный экспорт и обеспечивающего приток золота.

Этим трем экономическим зонам соответствуют три основные политические группировки.

Пекинское правительство, контролируемое партией Чжили (У-пей-фу и Цао Кун), маньчжурская милитаристическая группировка, возглавляемая Джан-Цзо Лином и патронируемая Японией, и, наконец, партия южан—Гоминдан (с Сун Ят-Сеном во главе), проповедующая национализацию крупного капитала и независимость от иностранцев. Борьба между тремя этими группировками и составляет содержание всей политической жизни Китая после мировой войны.

Новым фактором в политической жизни Китая является растущее рабочее движение, обязанное отмеченному выше промышленному прогрессу. Несмотря на свою молодость, это движение уже обнаруживает большие успехи в области профессионального об'единения. В одном Кантоне насчитывают 134 рабочих союза; в мае 1922 года был созван даже Китайский с'езд профсоюзов, на котором произошло первое открытое столкновение между мелко-буржуазными гоминдановцами и коммунистами. Последние обнаруживают большую жизненность и применяют в Китае организационные методы, почерпнутые из опыта Советской России.

Последние две главы посвящены задачам национально-освободительного движения и перспективам китайской революции, которая, по мнению автора, будет иметь своеобразный, трудно предрешимый сейчас характер. Пока несомненно лишь одно, это—что руководящее значение будет иметь здесь пролетариат.

Некоторым недостатком книги В. Виленского является недостаточная разработанность тех глав, которые посвящены экономическому состоянию Китая. Здесь приведено слишком мало цифр и опущен целый ряд отраслей китайской промышленности, которые прекрасно освещены в такого рода справочниках, как известной China Year Book.

Во всяком случае книга В. Виленского твердо намечающая на ста страницах основной стержень всей политической жизни Современного Китая и ставящая его в живую связь с империалистической борьбой мировых держав,—предста

вляют большой интерес для каждого читателя.

Чрезвычайно разнообразят чтение многочисленные карты, иллюстрации и десятки портретов современных политических деятелей Китая. Издана книга не только хорошо, но можно сказать, щеголевато, что, к сожалению, редко можно наблюдать в нашей специальной литературе.

В. Кряжин.

---

1) **С. Костычев**, профессор. «О появлении жизни на земле». а) Издание 2-е вновь просмотренное Гос. изд. Берлин 1921 г., стр. 78; b) то же изд. Гржебина 1921 г., 56 стр.

2) **Вернадский, В. И.**, академик. «Начало и вечность жизни». Изд. «Время», Петроград 1922 г., стр. 58.

Эти две книжки принадлежат бесспорно к числу наиболее талантливых и солидных популяризаций, посвященных этому вечно волнующему и животрепещущему вопросу. Оба автора крупные ученые, своими специальными интересами соприкоснувшиеся с этой проблемой, первый—как физиолог растений и микробиолог, второй—как минералог, специально разрабатывающий в последние годы вопросы о влиянии организмов на минеральную жизнь земной коры. Все это кладет на обе книжки печать оригинальной проработки и близкого знакомства с историей и фактическим содержанием затронутой проблемы.

К сожалению, высоко ценные в фактической части своего изложения обе книжки дают с нашей точки зрения неправильное решение вопроса в своей заключительной и неизбежно гипотетической части, гипотетической потому, что современная наука пока ничего не может предложить по этому вопросу, кроме более или менее обоснованных гипотез.

Центральное место в книжке Костычева занимает очень обстоятельное изложение истории вопроса о самопроизвольном зарождении микроорганизмов, начиная с момента открытия микроскопа и кончая классическими опытами Пастера и его полемикой с Буше и Бастианом. Предшествующая история средневековых представлений им затрогивается лишь вскользь. Но зато глава, посвященная работам Пастера, является чуть ли не наилучшим изложением вопроса в русской популярной литературе.

Такова ф а к т и ч е с к а я часть книги. Далее, переходя к гипотетической части положения вопроса, Костычев дает подробное обоснование гипотезы панспермии и вечности жизни, сторонником которой он является.

При этом Костычев пытается доказать, что такая точка зрения ничего не имеет общего с туманной и враждебной прогрессу теорией «витализма», не признающей полного применения законов физики и химии к живым существам. А в издании Гржебина он добавляет еще новый абзац, где пытается доказать, что виталистом являеся не он, а Пфлюгер.

Мы не можем согласиться с этими последними соображениями Костычева. Нам кажется, что в его лице мы имеем еще один пример человека, который оставаясь, как активный работник науки, стихийным реалистом и механистом, не довел до конца логическую нить своих рассуждений, чтобы признать, что принятие гипотезы вечности жизни есть первый шаг в сторону виталистических тенденций.

Именно с этой стороны нам представляется весьма интересной и знаменательной книжка академика Вернадского.

Как и Костычев, Вернадский также выступает сторонником идеи вечности жизни, но он умеет делать ясные и логические выводы из этого признания.

«Несомненно,—говорит он (стр. 54),— отказ от абиогенеза (архегенеза, т.-е. идеи первичного самозарождения Б. З.), и замена его представлением об извечности жизни и живого в той форме, какую мы изучаем в биологии, не является безразличным и для эволюционной теории и для авиталистического представления о живом организме».

Далее он говорит более определенно: «Признание извечности жизни как будто указывает на какое-то к о р е н н о е р а з л и ч и е (курсив автора) живого от мертвого» (стр. 56).

И, наконец, делая еще дальнейший шаг, логически подсказанный всем предыдущим, академик Вернадский выступает уже в качестве защитника виталистических тенденций: «Возрождение разных форм виталистических и энергетических гипотез жизни является здоровым проявлением научного критицизма».

Это последовательное доведение гипотезы панспермии до ее логического конца представляет для нас сугубый интерес.

Во-первых, оно является серьезным предостережением для защитников гипотезы панспермии типа Костычева, которые стремятся доказать недоказуемое. Во-вторых, оно позволит нам критически оценить тот круг аргументов, который почерпывают из этого своего последнего оплота сторонники виталистических воззрений.

Не соглашаясь с конечными выводами Вернадского и его тенденцией, проходящей через все изложение книги, мы не можем не признать, что его книга—очень умная книга. Умение автора ясно, отчетливо и выпукло ставить вопросы в их логической связи и столь же ясная и отчетливая формулировка своих ответов на эти вопросы подкупает всякого и доставляет истинное наслаждение.

В отличие от Костычева, для которого ценр тяжести проблемы лежит в плоскости изложения фактической истории вопроса о самозарождении, у Вернадского исторический материал играет подсобное значение для развития идеи необходимости признания вечности жизни. Это не значит, конечно, что вся эта подсобная часть не представляет самостоятельного значения. Нет, и здесь Вернадский обнаруживает большую эрудицию в истории вопроса и дает оригинальное освещение ее и много интересных справок, основанных, как видно, на личном знакомстве с первоисточниками.

Таким образом нельзя не признать большой талантливости и ценности этой книжки. Но именно эта ясность и отчетливость мысли, которою она проникнута и придающая всей книге бо́льшую силу и убедительность, обусловливает собою и слабые стороны в его конечных выводах: эта ясность позволяет легко обнаруживать и те прорехи в его рассуждениях и из'яны логики, которые подрывают к[онечное] значение отстаиваемой им точк[и] зрения.

Ввиду высокой важности вопроса [и] малой его освещенности в нашей научн[о-]популярной литературе мы позволим се[бе] остановиться вкратце на фактическо[м] анализе выводов Вернадского.

Чем аргументирует Вернадский в пол[ь]зу признания вечности жизни. «Факты,— говорит он,—не дают нам ни одно[го] указания на образование археогенезо[м] (т.-е. первичным зарождением, Б. З.) ил[и] гетерогенезом (т.-е. самозарождением [в] настоящее время) из мертвой или н[е]живой материи какого-нибудь организм[а] в наблюдаемых на земной поверхност[и] проявлениях жизни».—Мы не стане[м] отрицать, что, покуда конечным пункто[м] наших познаний по этому вопрос[у] являются классические работы Пастер[а] мы не имеем никаких п р я м ы х факто[в] образования живого организма из неорг[а]низованной материи—иначе и самой пр[о]блемы не существовало бы. Этим ко[н]чаются наши фактические знания п[о] этому вопросу, все, что идет дальше—эт[о] уже область гипотез, где мы на основ[а]нии имеющихся в нашем распоряжени[и] добытых наукою фактов э к с т р а п[о]л и р у е м тот или другой ряд косвенны[х] выводов и высказываем более или мене[е] вероятные и обоснованные предполож[е]ния.

Основным доводом в аргументации Вер[]надского является тот факт, что «истори[я] науки указывает, что представления о археогенезе (или гетерогенезе) существо[]вали лишь до тех пор, пока данна[я] группа организмов была плохо изучена»— отсюда, экстраполирует он, и впредь во[з]можность гетерогенеза всякий раз буде[т] терпеть крушение. Таким образом, опи[]раясь на одностороннее изложение исто[]рии вопроса, Вернадский считает во[з]можным сделать свой вывод, идущи[й] далеко вперед современных наших з[на]ний. Но он хорошо понимает, что эт[о] далеко не достаточно, чтобы обезоружи[ть] сторонников авиталистических воззрен[ий]. Поэтому он подкрепляет свою аргум[ен]тацию еще одним, якобы, установленн[ым] наукою, но фактически совершенно го[]словным утверждением: «Все до сих п[ор]

поставленные опыты такового синтеза живого неуклонно давали отрицательные результаты. Живое не получено из мертвого и нет ни малейшего успеха никакого достижения—в этих исканиях (курсив наш. Б. З.).

Это утверждение совершенно голословно и неожиданно, ибо на протяжении всей книжки Вернадский совершенно не останавливался на этой стороне лабораторного и химико-синтетического разрешения вопроса. Оно, наконец, ложно, ибо в корне противоречит исторически установленным достижениям науки. Но оно необходимо Вернадскому, ибо он очень хорошо понимает, что в противовес его ссылке на историю вопроса о самозарождении его противники выдвинут гораздо более мощную аргументацию истории того, как современная экспериментальная наука подчиняла методам физико-химического исследования все более и более сложные проявления жизни.

Эта история могла бы рассказать о том, как сто лет назад самая задача синтеза простейших органических тел считалась неподсудной точным наукам и приписывалась действию одной лишь «жизненной силы», и как Велер, синтезировав мочевину, пробил первую брешь в этой цитадели витализма; как благодаря последующим работам гениального Бертело витализм шаг за шагом оставлял свои позиции и, обратно, как проблема синтезов органических сложных тел завершилась в наши дни не менее гениальными работами Э. Фишера по синтезу белковых тел и т. д. и т. д.

Таким образом, если Вернадский свой косвенный вывод о невозможности первичного самопроизвольного зарождения и свое виталистическое мировоззрение основывает собственно лишь на одном установленном наукою факте, что такое самозарождение не обнаружено в наши дни, то обратная авиталистическая точка зрения опирается на всю необ'ятную сумму фактов науки, которые исторически же показывают как силою физико-химических методов исследования и мышления наука проникала в изучение и истолкование явлений жизни, только что перед тем провозглашаемых виталистами как тайны, недоступные об'ективному исследованию.

Вернадский упрекает отстаиваемую нами здесь авиталистическую или проще сказать материалистическую (horribile dictu!) точку зрения в гипотетичности.

Мы этого не отрицаем, но ведь не менее гипотетична и точка зрения Вернадского: ибо гипотезы всегда неизбежны там, где нет окончательно установленных и доказанных наукою фактов. Разница только в том, что если наша гипотеза опирается на всю сумму исторически установленных наукою фактов, кроме одного, то Вернадский опирается лишь на этот один установленный факт, что до сих пор науке не удалось доказать факта самозарождения или синтезировать живое существо лабораторным путем.

Но ведь это же в конце концов старый избитый прием доказательств, к которым всегда прибегали виталисты: они пред'являют к науке требования, чтобы она тотчас, немедля, как deus ex machina ответила им на тот или другой «проклятый» вопрос, а если та скромно указывала, что движение и развитие науки подчиняется определенным законам и последовательности, то они радостно кричали «ура» невежеству и провозглашали победу жизненной силы.

Мы отнюдь не упрекаем академика Вернадского в таком грубо примитивном понимании витализма, но в конечном итоге его аргументация сводится к тому, что если наука в чем-либо до сих пор не успела, то она и в будущем этого не достигнет. Но этому скептицизму, опирающемуся на один из фактов в истории науки, мы противопоставляем историю науки в ее целом, и я полагаю, что с полным правом мы можем сказать: «история за нас»!

В подкрепление к основным аргументам, базирующимся на фактах науки, Вернадский дает еще несколько косвенных подкреплений своей точке зрения. Он ясно сознает, что материалистическая точка зрения «имеет очень глубокие корни в нашем научном мировоззрении»: ясно для него и обратное, что отказ от абиогенеза не является безразличным для

эволюционной теории и для авиталистического представления о живом организме. «Но,—продолжает он,—в этом и его значение, ибо оно в связи с этим должно служить плодотворным источником к научной работе и углублению в понимании наших теоретических представлений». Но эта попытка заменить строго научные факты и методы мышления *обещаниями и надеждами* о будущих благах, которые, как полагает Вернадский, принесет допущение самодовлеющего значения жизни, нам также хорошо знакома, ибо она является постоянным, но ни разу еще не оправдавшимся припевом виталистов за все времена.

Столь же мало убедительно звучит для нас и ссылка автора,—требующая еще особого доказательства,—что сейчас научная мысль подходит вновь к критике авиталистических представлений из других соображений: «*испытанный метод работы—сведение всего, чего возможно в организме, на физику и химию мертвой среды остается*[1]), но толкование, что этим путем можно понять все составляющее живой организм, становится все более и более сомнительным. Возрождение разных форм виталистических и энергетических гипотез жизни является здоровым проявлением научного критицизма».

Против этой цитаты также можно возразить многое:

1) Мы уже привыкли слышать, как всякий раз вновь приобщающиеся к виталистическим тенденциям и разочаровавшиеся в силе научных методов представители науки заявляют о «здоровом», все усиливающемся течении виталистических, неовиталистических и т. д. мировоззрений, со ссылками на то, что этот взгляд проникает и даже уже проник в сознание всех представителей науки и т. д., и т. д. Тем не менее, эти повторяющиеся каждые 5—10 лет утверждения не препятствуют материалистиче-
ским тенденциям и течениям благопо
ю здравствовать и твердо держать в с
руках знамя науки. Что же каса
утверждения, что современная н
вновь подходит к критике авиталист
ских тенденций, то мы можем прот
поставить ему красноречивое свидет
ство одного из крупнейших предст
телей современной эксперименталь
биологической науки Рудольфа Гё
который в своем превосходном «Учебн
физиологии человека», изданном
1920 году[1]) пишет следующее в пер
методологической главе книги.

«Подобно тому, как нам представля
превратным, когда какой-либо ди
приписывает совершенно непонятн
для него чудесному сооружению техн
особую недоступную пониманию с
так же ошибочно и ложно было бы при
вать deus ex machina в самом нач
изучения сложнейших явлений прир
и в то самое время, когда лучшие гол
(науки) только лишь приступили к
ведению под все науки физико-хим
ского фундамента».

«И все же своими современными у
хами физиология обязана почти искл
тельно физике и химии. Напротив, я
ненные силы, о которых нам напомина
якобы для лучшего понимания жизни
сих пор нигде еще не были доказан

Наконец, нельзя не остановиться
заключительной части последней цит
из Вернадского, которая в сущнс
повторяет мысль, часто принимаему
более уступчивыми представителями
териалистического лагеря в следую
форме: «если витализм, как таковой,
чего не дал и не даст науке, то он
лезен тем, что создаст здоровую крит
крайностей материализма.

Нам кажется, что наивысшей фор
научного здорового критицизма являе
1) умение отличать научно-установл
ные факты от гипотез; 2) умение стро
свое мировоззрение, в котором неиз
но примешиваются элементы филосо
гипотетического характера, наиболее
ко держась предуказанных наукою
дов и направления мышления».

---

[1]) На это уже в настоящее время, конечно, не станет посягать ни один здравомыслящий человек. (В. З.).

[1]) Rudolphe Höber. Lehrbuch
Physiologie der Menschen. 2. Auflage

Что касается первого, то современный научный материализм умеет достаточно трезво оценивать границы известного и установленного наукою от проблем, еще требующих своего научного разрешения. Свидетельством тому является тот же Гебер, который в упомянутом учебнике без всяких двусмысленностей заявляет:

«Не подлежит никакому сомнению, что цель физиологического исследования еще бесконечно далека от нас, что мы, пожалуй, находимся лишь в начале наших познаний и что еще ни одна проблема физиологии не разрешена без остатка».

Нам представляется, что в такой скромной, но в то же время твердой и уверенной оценке достигнутых завоеваний науки—гораздо больше здорового научного критицизма, чем в малодушных и часто истерических возгласах о кризисе науки и крушении культуры и разума.

Думается также, что к этой здоровой самокритике ничего не прибавляют все попытки противопоставить признанным методам научного исследования посулы сомнительных будущих благ в случае отказа от последовательного материалистического взгляда в вопросе о зарождении жизни.

Что касается второго пункта, то и сам академик Вернадский не отрицает, что его представления противоречат нашему научному мировоззрению.

Таким образом я не вижу необходимости оправдывать виталистические тенденции тем, что якобы они именно и создают тон здорового научного критицизма.—Это мы сумеем сделать и без них. Нам представляется, что при своей несомненной талантливости и эрудиции, а равно и несомненно большом уме автора, который сквозит в каждой строчке книжки, эта одна из новейших попыток утвердить виталистические тенденции имеет не мало прорех и повторяет ошибки прошлого.

По долгу и обязанности инакомыслящего рецензента мы должны были оттенить слабые пункты книги, но это не означает того, что в ней и наш единомышленник не найдет много верных и ценных, ясно сформулированных мыслей и часто умелой постановки проблемы.

Что же касается книжки Костычева, то поскольку центр ее интереса лежит в весьма удачном и обстоятельном изложении фактической истории вопроса о самозарождении, а виталистическая тенденция, скрывающаяся за отстаиваемой автором гипотезой панспермии, не осознана и даже оспаривается им самим, я считаю полезным ее широкое распространение в самых широких кругах читателей, для которых книжка Вернадского не всегда доступна и не всегда, наконец, полезна, поскольку читатель еще не обладает выработанным мировоззрением.

Все же следует пожалеть, что Госиздат, задачи которого, как нам кажется, быть не только техническим аппаратом, но и руководителем чтением масс, не счел нужным приложить к своему изданию Костычева статьи, критически оценивающей гипотезу панспермии. Поскольку же это не было сделано, следует пожелать, чтобы в противовес и в параллель к ней Госиздат издал отдельной брошюрой превосходную статью проф. Немилова в V томе «Итоги Науки» («Аналогия между живым и мертвым и вопрос о происхождении жизни на земле»), освещающую ту же проблему с более приемлемой для нас точки зрения.

Еще несколько слов о внешних качествах изданий.

Все они производят очень приятное впечатление, что не часто случается на нашем книжном рынке.

Пальму первенства следует отдать Госиздатскому Костычеву, печатавшемуся в Берлине и выпущенному в форме весьма изящной и удобной для чтения книжки небольшого формата. Хорошая плотная обложка, хорошая бумага и четкий шрифт дополняют остальное. Даже в издании Гржебина, признанном образцовым, та же книга кажется нам менее удачной. Приятное впечатление производит и внешность книжки Вернадского, печатанной в Петрограде.

Б. Завадовский.

К. А. Тимирязев. Насущные задачи современного естествознания. 4-е (посмертное) издание со статьей Л. Цетлина «Климент Аркадьевич Тимирязев». «Книга», Москва, 1923 г., стр. 234.

В дни нашей жизни, когда дышащая на ладан буржуазия в смертельном страхе перед своей неизбежной гибелью как за якорь спасения судорожно цепляется за мистический идеализм, когда идеологи буржуазии всяческими неправдами пытаются притянуть и естествознание для подведения фундамента под этот идеализм,—появление сборника статей К. А. Тимирязева нельзя не признать весьма своевременным. Среди дружного хора голосов наших новых глашатаев идеализма—академика Вернадского, профессоров Хвольсона, Лифшица, Берга, Новгородцева и прочих,—которым вторят Николай Морозов, Павел Флоренский и множество других небольших и совсем малых «имен», заполняющих при Нэпе наш книжный рынок своими писаниями, голос К. Тимирязева прозвучит резким диссонансом, ибо насущными задачами естествознания он считает не прислуживание метафизике и теологии, не подчинение «какой-то сверх-научной, вне-научной, а попросту ненаучной философии», а «борьбу со всеми проявлениями реакции в науке», борьбу с витализмом, неовитализмом и антидарвинизмом, развитие в массах способности к трезвому логическому мышлению и истинную демократизацию науки. «Наука и демократия»—вот тот лозунг, который сквозит в каждой строчке сборника.

«Как на основании закона, по которому борьба бывает наиболее обостренной между формами наиболее близкими, науке приходится выдерживать натиск ближайшей своей предшественницы м е т а ф и з и к и, так и демократии приходится выдерживать натиск со стороны вырождающейся буржуазии. Как метафизика, желая удержать развитие человеческого разума рамками своей схоластической диалектики, невольно вынуждена бросать приветливые взгляды своему исконному врагу—клерикализму, так и та часть буржуазии, которая не желает подчиниться закону развития, вынуждена вступать в союз с теми силами, победительницею которых еще недавно себя считала. Наконец, и воздыхающая по прошлом метафизика, и пятящаяся назад буржуазия не прочь протянуть друг другу руку помощи.

В мировой борьбе, завязывающейся между той частью человечества, которая смотрит вперед, и той, которая, роковым образом, вынуждена обращать свои взоры назад, на знамени первой уже начертаны эти слова—наука и демократия.—In hoc signo vinces!»

Замените в этих строках, написанных еще в 1908 году, обанкротившееся теперь понятие «демократия» словом «пролетариат», и они явятся глубоко пророческим отображением нашей современной действительности.

В сборник входят статьи: «Праздник русской науки», «Значение популяризации науки», «Дарвин как тип ученого», «Факторы органической эволюции», «Основные задачи физиологии растений», «Витализм и наука», «Фотография и чувство природы», «Бертло о науке и нравственности», «Творчество природы и творчество человека», «От дела к слову от зверя к человеку», «Естествознание и ландшафт».

В первой из них автор затрагивает вопрос о «чистой» и прикладной науке и к этому вопросу он неоднократно возвращается и в последующих статьях. Признавая, что наука выросла из практических потребностей человека, что она зависит от уровня современной ей техники, он тем не менее резко восстает против попыток «направить положительную науку в узко-утилитарное ложе» и находит, что главное ее значение заключается в «широком философском синтезе», в выработке основы для правильного материалистического миросозерцания, практические же применения являются как бы сопутствующими победному шествию науки в области теории. Приводимые для доказательства этого положения примеры много дают для понимания диалектического развития науки в смысле взаимодействия практики и теории.

«Значение популяризации науки» автор видит в борьбе против вреда, приносимого широким разделением труда в со-

временном обществе, в поднятии общего уровня развития, в ограждении от неизбежного суживания кругозора и в прививке широким массам умственных аппетитов, «от которых, раз их усвоил, так же трудно отвыкнуть, как и от аппетитов материальных».

Статьи «Дарвин как тип ученого» и «Факторы органической эволюции» составляют вместе на редкость мастерское изложение основ дарвинизма и по яркости, простоте и сжатости изложения являются классическими образцами талантливой популяризации.

«Основными задачами физиологии растений» автор считает изучение тех физико-химических сил, которые обусловливают явления жизни, а в следующей статье «Витализм и наука» по заслугам расправляется с противниками этого взгляда—виталистами и неовиталистами, справедливо называя последних «непомнящими родства виталистами», а защищаемое ими учение «практически вредным и по существу противонаучным».

Из последующих крайне интересных статей следует особенно отметить статью «От дела к слову—от зверя к человеку», в которой говорится, что человечество постепенно стремится заменить защиту своих мнений и интересов с помощью кулаков, защитой посредством опускания записки в избирательную урну, «но,—тут же оговаривается автор,—я полагаю, всякому понятно, что пулемета словом не прошибешь. Можно убеждать только того, кто владеет пулеметом—солдата... А раз заговорили пулеметы, «слово» отходит на задний план». Прекрасное пояснение для всех тех, кто до сих пор еще сокрушенно воздыхает о попранных насильниками-большевиками правах «слова».

Сборнику предпослана содержательная статья Л. Цетлина, тепло и выпукло рисующая обаятельный облик «ученого-гражданина», всю жизнь боровшегося с мракобесием в науке и общественной жизни и на склоне дней своих сумевшего в коммунизме узнать ту силу, которая воплотит в жизнь одушевлявшие его идеалы.

Еще раз следует повторить, что появление сборника весьма своевременно. Он сыграет большую роль в деле очищения той атмосферы, которая создается вокруг естествознания новой «нэповской» литературой и поможет прояснению тех мозгов, которые эта литература уже успела, быть может, засорить.

Б. Андреев.

В. Л. Омелянский. Луи Пастер. Научно-Химико-техн. изд. Петроград. 1922 г., стр. 128.

Луи Пастер—это эпоха, а описание его жизни и научной деятельности равносильно истории важнейших этапов в развитии естествознания во второй половине XIX века. Биография Пастера даже из самых неумелых рук не может не увлечь, ибо дела Пастера принадлежат к числу тех, о которых «заговорят даже камни». И уж неизмеримо ценна для нас эта биография, когда она выходит из под пера такого мастера своего дела, как проф. Омелянский, являющегося крупнейшим представителем микробиологии в России.

Книжка Омелянского не является в собственном смысле слова биографией—внешние факты жизни Пастера сообщаются здесь попутно и лишь постольку, поскольку они необходимы для понимания условий научной работы и логического развития научной деятельности великого ученого. Именно в этом последнем отношении эта книжка заполняет огромный пробел в русской литературе. На протяжении сравнительно небольшого количества страниц автор восстановляет перед читателем яркую и выпуклую картину научных работ огромного значения, их предварительную историю и внутреннее содержание. Не гоняясь за скрупулезным соблюдением хронологии, проф. Омелянский отчетливо восстанавливает ту внутреннюю глубокую связь и преемственность, которая проходит через все работы Пастера и в своем логическом развитии сделала его из химика и кристаллографа основателем научной медицины, увлекши проблемами общей и медицинской микробиологии. В заключение автор дает краткую характеристику Пастера и знакомит с своеобразным обликом этого гениального ученого.

До сих пор мы имели в русской литературе две прекрасных работы, посвященные Луи Пастеру. Одна из них, принадлежащая перу Тимирязева, дает глубокий и богатый мыслями анализ научного творчества Пастера, взятого, как прекрасный по своей чистоте образец научного экспериментального метода. Классическая по форме и по глубине мысли статья Тимирязева не ставила своею целью дать полное описание и изложение фактического содержания работ Пастера. Другая книга, принадлежащая И. И. Мечникову («Основатели современной медицины—Пастер, Листер и Кох», изд. «Научное Слово»), дает живой очерк личности Пастера и много ценных черточек и характерных положений, подмеченных автором в его личных встречах с Пастером, но опять-таки не давала полной картины работ Пастера. Проф. Омелянский хорошо использовал материал, как Тимирязева, так и Мечникова, и прибавил к этому еще все то, что он мог по праву дать, как специалист микробиолог, документально изучивший все этапы деятельности великого основателя своей науки.

Русская читающая публика должна быть искренно благодарна Омелянскому за опубликование этой ценной книжки. Книжка написана весьма легко, просто и понятно, как и все составленное Омелянским. Но вместе с тем, по заключенному в ней материалу, она интересна и нужна не только широкому кругу читающей публики, но и специалисту, который на примерах из жизни Пастера, удачно подобранных Омелянским, найдет очень много полезного для себя в смысле оценки и направления своей научной деятельности и понимания сущности научного метода, столь блестяще обоснованного и оправданного в работах Пастера.

В конце книжки приложен подробный список (более восьми страниц) главнейших трудов Пастера. Нельзя не приветствовать это начинание, к сожалению, еще слишком мало привившееся у нас, давать списки научной и научно-популярной литературы при книгах, рассчитанных не только на узкий круг специалистов. В частности, представленный Омелянским «Перечень», как и вся книга в целом, заслуживает нашей глубокой благодарности.

Б. Заведовский.

Год работы. Издательство «Красная Новь».

•

«Развертывание работы марксистского просвещения совершенно невозможно без создания фонда литературы соответственного характера». Так в резолюции о печати и пропаганде XI-й сезд РКП формулировал задачи, встающие перед всяким коммунистическим издательством в связи с возрождением враждебных советской власти частных издательств.

Издательство Главполитпросвета, организовавшееся в конце 1921 г. в виде редакционно-издательской коллегии, об'единяющей соответственную деятельность всех отделов ГПП [1]), поставило перед собой именно эту задачу—создание фонда марксистской литературы.

В течение первого полугодия 1922 г. к разрешению этой задачи удалось только *приступить*, так как *небольшое* количество сил и средств, которыми располагало издательство, было потрачено на организацию самого дела, осложненную к концу полугодия переводом издательства на хозяйственный расчет. Поэтому-то в первом полугодии работа издательства ограничивается обслуживанием нужд различных отделов Главполитпросвета и, главным образом, агитационно-пропагандистского отдела ЦК РКП.

На этой работе издательство пробует свои силы и достигает значительных результатов. Достаточно указать на три кампании: 1) голод и из'ятие ценностей, 2) процесс эс-еров и 3) продналог. Все эти кампании заблаговременно были обеспечены большим количеством чисто изданных популярных книг и брошюр, почти полностью освещавших все агитационные темы, связанные с данным политическим моментом. В среднем, к каждой кампании было выпущено свыше

[1]) В июне 1922 г. одновременно с переходом на хозрасчет Издательство ГПП получило наименование: Издательство «Красная Новь» при Главполитпросвете.

10 названий брошюр различных авторов. Лучше всего об успехе этой работы свидетельствует тот факт, что на складе издательства не осталось ни одной из этих брошюр: все они были распроданы полностью.

Кроме этих кампаний, издательство быстро отзывалось на всякое событие общественной жизни соответствующей брошюрой. Например, Раковский—«Накануне Генуи», позже—Иоффе—«Генуэзская конференция», Зиновьев—«Единый рабочий фронт», Н. Мещеряков—«На переломе» (сменовехизм) и т. д.

В общем за год по агитационной серии выпущено 98 названий книг и брошюр, с общим тиражем свыше полутора миллионов экземпляров.

Но всеми этими работами задачи издательства исчерпывались лишь в малой мере. Создание фонда марксистской литературы, связанной не с нуждами сегодняшней агитации, а с постоянной пропагандой и просвещением широких читательских масс,—эта задача только ставилась в первом полугодии, разрешать же ее пришлось лишь во втором.

Приступая к изданию популярно-марксистской серии книг и брошюр, издательство поставило себе целью давать лучше небольшое количество названий классической марксистской литературы, обратив зато особое внимание на ее редакцию, перевод, комментарии, чтобы избежать таких грубых искажений, какие допускались при перепечатывании со старых подцензурных изданий, с плохих переводов и проч. Кроме того, было обращено внимание и на современную популярно-марксистскую литературу преимущественно иностранных авторов.

Всего за второе полугодие удалось выпустить в свет 13 названий книг популярно-марксистской серии: из них каждая была или заново переведена, или снабжена в некоторых случаях комментариями и предисловиями и т. д. Как на особо выделяющиеся следует обратить внимание на «Революцию и контр-революцию в Германии»—Энгельса, приписываемую до сих пор Марксу. Книга эта вышла с предисловием И. Степанова, в его же переводе. Разошлась она быстро и без остатка. Такая же работа, тем же переводчиком и редактором была проделана над «Наемным трудом и капиталом» Маркса. И эта книга, изданная в 12.000 экз., разошлась в течение двух-трех месяцев полностью. Д. Рязановым подобная работа проделана над книгой Каутского «Карл Маркс и его историческое значение». Из новых переводов следует отметить «Политическое завещание» Энгельса, составившееся из впервые опубликовываемых в России его писем. Книга эта вышла из печати уже вторым изданием. Из современной популярной литературы вышли 3 перевода: Корш—«Сущность марксизма», Горнер—«Социал-демократия и коммунизм» и Ауэрбах—«Маркс и профсоюзы». Все эти брошюры кратко излагают в популярной форме основные вопросы марксизма. Из работ тов. Ленина переизданы: биография Маркса, написанная Лениным для Граната, и брошюра «Государство и революция».

Кроме этих, уже вышедших книг, к концу полугодия в редакционном портфеле издательства и частью уже в печати находилось свыше 20 названий книг марксистской серии, часть из которых представляет выдающийся интерес, как, например, новая, еще не переведенная на русский язык, работа К. Цеткин—«Роза Люксембург и русская революция» и К. Либкнехта—«Борьба за молодежь»—сборник статей и речей, неопубликованных еще в России.

В общем, тираж книг и брошюр популярно-марксистской серии, выразившийся в количестве 137.000 экз., разошелся почти полностью. Издательство верно учло назревший спрос на небольшую, недорогую, доступную по изложению книгу.

Серия антирелигиозная, являющаяся одной из основных, так же, как и марксистская, поступила в работу в середине года. В этой работе издательство чувствовало за собой особую ответственность, так как антирелигиозная пропаганда посредством книги-брошюры пред'являет к последней сугубо сложные требования. Нужно было, чтобы каждое издание исчерпывало затрагиваемую тему до конца со всех сторон в выдержанно-марксистском и строго научном духе и в то же время—самое главное—в попу-

лярном изложении. Россия, можно с уверенностью сказать, такой литературы, в силу целого ряда причин, о которых здесь не место распространяться, такой литературы не имела и сейчас имеет очень немного. Русскую антирелигиозную литературу нужно заново создавать. Богатую иностранную литературу по этому вопросу, в связи с русскими условиями, приходится использовать очень осторожно, прибегая зачатую к некоторой, а иногда и очень солидной переработке.

Так, подходя к работе по антирелигиозной серии, издательство успело дать в течение полугода 10 названий популярных брошюр (в среднем по 2—3 печ. листа), с общим тиражем в 110.000 экз. Это народные книжки И. Степанова: «О правой и неправой вере» и проч., «О таинстве святого причащения», «Мысли о религии» и т. д. Последняя книжка уже разошлась в 2-х изданиях; подготовляется третье. Специально к юбилею Л. Фейербаха была издана оригинальная работа Ческиса «Л. Фейербах и его дело», стоящая в связи с задачами серии. Из иностранных авторов взят был прогремевший в Америке «епископ большевиков и атеистов» В. М. Браун. Его брошюра «Коммунизм и христианство» представляет собой заостренный протест «против бога и его слуг на земле—капиталистов», который особенно эффектно звучит в устах престарелого епископа, посвятившего остаток своей жизни всенародному сжиганию того, чему он всю жизнь поклонялся. Из иностранных марксистских авторов антирелигиозников был взят П. Лафарг. Его яркие памфлеты «Против бога и капитала», недавно вышедшие сводным изданием, в силу целого ряда условий мало доступны массовому читателю. Издательство приступило к выпуску этих памфлетов отдельными книжечками, самостоятельно исчерпывающими затронутую тему; например, «Миф о непорочном зачатии», «Обрезание и его значение» и т. д. Взятые вне связи со всеми остальными памфлетами, эти книжки представляли бы собой нечто незаконченное; обработанные и дополненные данными того же или других авторов, они представляют собой вполне законченное целое.

Успех нашей работы в этом направлении безусловно намечается как по отзывам общей и специальной прессы, так и по интересу читательской массы, которая эти книги охотно раскупает.

К концу года редакционная работа над серией дала основательные результаты. В портфеле редакции и в печати находилось уже свыше 10 названий новых антирелигиозных книг, из которых наибольший интерес представляют переводы из специального антирелигиозного издания германской соц.-демократии «Kulturbilder», впервые появляющегося на русском языке.

Совершенно новую задачу издательство поставило себе в серии «Капиталистический мир после войны», которая в законченном виде должна дать цикл оригинальных работ, исчерпывающих по отдельным странам мира современное политическое и экономическое его состояние. В этой серии вышло 9 названий книг (размер, в среднем, 4 печ. листа), с общим тиражем в 78.000 экз., из которых к концу года на складе издательства оставалось 23.000 экз., относящихся, главным образом, к декабрьским изданиям. Это показывает, что и здесь правильно учтен читательский интерес.

В серии «Капиталистический мир после войны» издательство поспешило прежде всего ответить на вопросы, к которым общественное внимание в последнее время было приковано с особой силой. Такими изданиями явились брошюра Арслана «Современная Турция» и работа члена ЦК болгарской коммунистической партии Иорданова «Балканы после войны», написанная по специальному заказу издательства. Кроме этих работ, в этой же серии вышла брошюра Павловича «Советская Россия и империалистическая Япония», тоже отвечающая на злобу дня. В процессе работы находится новая брошюра И. Майского «Современная Германия» и перевод с немецкого брошюры Павловского «Банкротство Германии», которые полностью освещают политическое и экономическое состояние этой страны, к трагедии которой особенно пристально приглядывается русский рабочий и крестьянин. В общем, в

процессе работ по этой серии к концу года находилось свыше десятка книг.

Только к концу года издательство смогло приступить к серии исторической, которая должна дать в небольших брошюрах популярно и научно изложенную историю России, русского революционного движения и особо историю Октябрьской революции. Не выпустив в свет по этой серии ни одной книги, издательство все же к концу года, из 44-х названий намеченных книг, имело 34 названия, частью уже в портфеле, большей же частью в процессе авторской работы.

Большая работа проделана по сериям «Вопросы труда и организации хозяйства» и «Советское строительство и законодательство». По первой— издано 19 названий, с общим тиражем 264.000 экз., по второй—7 названий, с тиражем в 185.000 экз. Как та, так и другая серия, находя менее быстро своего читателя, все же расходятся и раскупаются. Нужно, впрочем, сказать, что обе эти серии, больше всего выпускавшиеся в начале года, во второй его половине, в связи с устремлением издательства в сторону популярно-марксистской и антирелигиозной литературы, оказались в незаслуженном загоне. В новом году и на них должно быть обращено соответствующее внимание.

Серия литературно-художественная, находящаяся у издательства в подчиненном, по отношению к другим работам, положении, вышла в течение года в количестве 11 названий, с общим тиражем в 110.000 экз. Подходя к работам по этой серии издательство ставит своей задачей издавать только такие произведения, которые, хоть краем, затрагивают социальные вопросы современности в духе, согласном с идейной физиономией издательства. Таковы наши издания Вс. Иванова, П. Орешина, Синклера и т. д.; популярный роман последнего «Джимми Хиггинс» вышел в иллюстрированном виде и имел большой успех, несмотря на несколько изданий со стороны других издательств.

Особняком стоит работа, в начале возникновения издательства предполагавшаяся единственной. Эта серия по изданию книг о методах политпросветработы, учебников, пособий (наглядных в том числе) для совпартшкол, школ взрослых и проч. Благодаря работе различных отделов Главполитпросвета, а в некоторых частях и самостоятельной работе издательства, эту серию удалось развить до очень солидных размеров. Всего за год выпущено 40 названий книг и брошюр (в среднем по 4—5 печ. листов каждая), с общим тиражем в 1.314.550 экз. Вообще говоря, как по количеству названий, так и по тиражу эта серия стоит на втором месте после агитационной серии; по количеству же листов набора даже превосходит последнюю.

Из книги этой серии наибольший успех имели: брошюра Адоратского «Программа по основным вопросам марксизма», выдержавшая в течение 8-ми месяцев три издания, с общим тиражем в 50.000 экз.; книга П. Стучки «Учение о государстве и конституция РСФСР», изданная в количестве 10.000 экз. и разошедшаяся в течение 3—4 недель; «Политсловарь»— несмотря на все его недостатки разошедшийся столь же быстро и «Орфографический словарик» Устинова. Последние три книги в начале 1923 года выходят в заново переработанном и дополненном виде.

В плане на первый квартал 1923 г. по методической серии фигурируют 26 названий, из которых к концу 1922 г. в портфеле редакции уже было 6 названий книг, среди которых есть новые, не появлявшиеся на советском книжном рынке. Таковы, например, учебники: 1) по экономической политике РСФСР, 2) хрестоматия по истории Октябрьской революции, 3) политические партии и группы в русской революции. К этой же группе методической серии относится предпринятая программно-библиографическим отделом Главполитпросвета большая работа по изданию иллюстрированных пособий к составляемым этим отделом программам по различным курсам совпартшкол и школ для взрослых. Серия иллюстрированных пособий охватывает экономическую географию России, историю революционного движения в России и РКП, финансовый капита

лизм и империализм, политическую экономию и электрификацию.

В первую очередь выпускаются пособия по экономической географии. *Они будут* заключать в себе до 140 листов. Уже выпущено 56 листов, посвященных территории, населению России, сельскому хозяйству, скотоводству и рыболовству. Частью подготовляются, частью уже сданы в печать плакаты, посвященные топливу, промышленности, торговле и транспорту. Выпущенные плакаты были представлены на ряде выставок во время происходивших с'ездов Коминтерна, политпросветов и проч. и привлекали к себе всеобщее внимание, как содержанием, так и художественностью выполнения, не уступая подобным же работам довоенного периода.

К этой же серии может быть отнесена предпринятая издательством работа по составлению общего п о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к о г о о б з о р а С. С. С. Р., дающего картину экономики и политического состояния республики. К концу года часть карт отдельных районов была уже готова, а самый обзор, над которым работают лучшие научные силы и работники *НКВД, находился в процессе интенсивной* разработки.

Нельзя не упомянуть еще об одном самостоятельном предприятии, задуманном и уже осуществляемом издательством «Красная Новь». Это—создание «М а л о й Р у с с к о й Э н ц и к л о п е д и и».

Нужно было бы посвятить отдельную статью этому весьма ответственному и чрезвычайно тяжелому предприятию для того, чтобы представить какое историческое значение будет иметь оно в случае удачи. Здесь приходится только отметить, что по нашим расчетам издание энциклопедии займет у нас 1½—2 года (начато в ноябре 1922 г.). Она будет со*стоять из размещенных на ста печатных* листах 60.000 слов современного русского языка, сжато, удобопонятно (с 6.000 иллюстрац.) об'ясненных выдающимися специалистами тех отраслей знания, к которым данное слово относится.

Работа «М. Р. Э.» к концу года только начинала развертываться, но уже можно констатировать, что небольшой, но энергичной и любящей свое дело группе работников удалось привлечь к активному участию лучших представителей русского марксизма и науки. К концу года уже был составлен первый список слов, что в свою очередь поставило перед издательством задачу подыскания большого количества убористых шрифтов, специально сделанных для энциклопедии, а также специального сорта бумаги. К этой работе уже приступлено.

«Красная Новь» из столичных издательств было, пожалуй, единственным, которое дало к пролетарскому празднику большое количество юбилейной литературы, вышедшей, за малым исключением, заблаговременно до годовщины.

Ограничимся небольшой сводкой, иллюстрирующей эту работу.

Изданы были следующие книги:

НАЗВАНИЕ.	Колич. печ. л.	Тираж.
1. Худож. сборник под ред. Сосновского...	5	20.000
2. Сборник. Октябрьские торжества в клубе..	1	8.000
3. Волин. Декреты Октября...............	$1^1/_2$	6.000
4. Тимирязев. Наука за 5 лет...............	2	20.000
5. Яковлев. Об историч. смысле Октября....	$1^1/_8$	10.000
6. *Сборник ЦК РКП.* К Октябрю........	3	20.000
7. Сборник ЦК РКП. За пять лет..........	27	20.000
8. Луначарский. Пять лет революции.........	$1^1/_2$	5.000
9. Флеровский. Октябрьск. революция и НЭП..	$2^1/_2$	20.000
10. Майский. Внешняя политика за 5 лет....	12	20.000
11. Сборник. Октябрь на Пресне...........	7	5.000
12. Сборник. Октябрь в Сокольниках.......	8	5.000
Всего 12 названий.	$72^5/_8$	150.000

Несколько слов или, вернее, цифр о собственно издательской и торговой деятельности «Красной Нови» за 1922 год.

Всего за это время издано по месяцам:

	Названий.	Лист. набора.	Тираж.
Январь	7	$14^{1}/_{8}$	160.000
Февраль	16	$23^{1}/_{8}$	144.800
Март	35	$64^{7}/_{8}$	275.000
Апрель	19	29	291.000
Май	22	$61^{7}/_{12}$	264.000
Июнь	17	$56^{3}/_{4}$	219.200
Июль	7	$18^{1}/_{4}$	59.500
Август	11	$55^{3}/_{4}$	81.000
Сентябрь	18	$73^{1}/_{4}$	184.000
Октябрь	15	106	108.000
Ноябрь	28	$134^{1}/_{3}$	341.200
Декабрь	32	98	626.000
Всего за весь 1922 год.	227	[illegible]$10^{7}/_{12}$	2.753.200

Торговая деятельность издательства видна из следующих данных:

Всего за полгода (со времени перехода на хозяйственный расчет) продано: 722.022 экз. на сумму 92.038.492 руб.

Из этого общего количества непосредственно провинциальным контр-агентам отпущено (продано) 119.226 экз. Цифра, конечно, очень незначительная, если принять во внимание основное направление торговой деятельности издательства — продвинуть книгу в провинцию. Но, если принять во внимание, что такие крупные центральные учреждения, как ПУР, ЦК РКП, ВЦСПС и проч., закупают нашу литературу для распространения, главным образом, в провинции (а ими куплено 283.678 экз.), то можно будет констатировать, что тенденция нашей торговли имеет правильное направление. Больше того, если посчитать, что из тех 310.135 экз., которые проданы московским контрагентам и магазинам, часть книг (мелкими партиями) закупается также провинцией, то в общем можно с уверенностью сказать, что основная масса тиража издаваемых нами книг идет именно в провинцию.

В заключение можно установить, что обзор редакционной, издательской и торговой деятельности свидетельствует о непрерывном развитии издательства «Красная Новь». Вокруг издательства сгруппировалось крепкое идейное ядро работников, которые выполняют и добьются полного претворения в действительность директив XI с'езда РКП о превращении издательства ГИП «в прямое партийное издательство популярно-агитационной, анти-религиозной марксистской литературы».

Н. Николаев

Книга вторая.

Книга третья.

Книга четвертая.

тики.—*К. Радек*. Пути русской революции (по поводу новой экономической политики). — *Милютин*. На экономические темы.—*А. Луначарский*. Достоевский как художник и мыслитель.—*В. Вересаев*. Художник жизни (о Л. Н. Толстом).—*В. Плетнев*. Некрасов и современность.—*С. Бобров*. Кони о Некрасове и Достоевском. **Внутри советской России**. *Сарабьянов*. Кое-какие итоги нового курса.—*Демьян Бедный*. Курология. **Критика и библиография**. *П. Коган*. Литературные заметки (Об Андрее Белом.)—*Сергей Городецкий*. Обзор областной поэзии.—*Цег*. „Самое главное“.—*А. Тимирязев*. Обзор литературы о принципе относительности.—*Б. Арватов*. Общая эстетика.—*Ил. Вардин*. „Пролетарская Революция“ № 1.—*Ил. Вардин*. Я. Яковлев „Русский анархизм“. **Белая печать**. *С. Гусев*. О гражданской войне.—*И. Вардин*. Мелкое земледелие (о книге Чупрова).—*Орфик*. Мережковский. Царство антихриста.

Книга пятая.

Вячеслав Шишков. Вихрь (драма в 4-х действиях).—*Михаил Зощенко*. Лялька Пятьдесят (рассказ).—*Сергей Семенов*. Тиф (рассказ).—*Борис Пильняк*. Отрывки из романа „Голый Год“.—*Всеволод Иванов*. Бронепоезд № 14.69 (повесть).—*В. Вересаев*. К Афродите (из гомеровых гимнов). —*Стихи*: Ольги Криницкой, М. Герасимова, П. Радимова.—*Бернард Шоу*. Диктатура пролетариата (с английского). —*М. Покровский*. Наши спецы в их собственном изображении.—*Ш. Двойлайцкий*. Мировое хозяйство и кризис 1920—1921 г.г.—*В. Смирнов*. Наша экономическая политика.—*Н. Мещеряков*. Задачи современной кооперации.—*А. Воронский*. Советская Россия в освещении белого обозревателя.—*Н. Мещеряков*. Распад.—*П. С. Коган*. Памяти В. Г. Короленко.—*С. Бобров*. Символист Блок. **За рубежом**. *М. Павлович*. Вашингтонская конференция. **Внутри советской России**. *П. Месяцев*. Сельско-хозяйств. кризис.—*К*. В журнальном мире (хроника).—Проф. *Блажко*. Успехи астрономии.—Проф. *Пржеборовский*. Успехи химии в России.—*Демьян Бедный*. Басни.—*Сергей Городецкий*. Красномосковье (стихи).—**Критика и библиография**. *Статьи и рецензии:* Нурмина, Боброва, М. Рейснера, М. Ш., Б. Завадовского, З. Марковича, В. Смушкова, З. Марковича.—*А. Воронский*. Из человеческих документов.—*Объявления*.

Книга шестая.

А. Чапыгин. „На лебяжьих озерах“. Повесть.—*А. Аросев*. Недавние дни. Очерки.— *Анна Веснина*. Крест. Рассказ.—**Стихи**: *Сергей Есенин, Борис Пастернак, В. Казин, П. Радимов, Сергей Клычков, Д. Семеновский, П. Сухотин, Н. Полетаев, Мих. Герасимов, Г. Шенгели, Петр Орешин*.—*Ник. Суханов*. В июле 1917 года. —*С. Членов*. Германская революция и социал-демократия.—*А. Лозовский*. Мировое наступление капитала и единый пролетарский фронт. **Закат Европы**—I. *Карл Грасис*. Вехисты о Шпенглере.—II. *В. Базаров*. О. Шпенглер и его критики.—III. *Сергей Бобров*. Контуженный разум.—*Е. Преображенский*. Русский рубль за время войны и революции. —*А. Воронский*. Литературные отклики.—*М. Рейснер*. Старое и новое.—*Мих. Завадовский*. Аскания-Нова.—*П. Садыкер*. Войны будущего. **За рубежом**. *Мих. Павлович*. Генуэзская конференция. — *Клара Цеткин*. Железнодорожная забастовка в Германии. **Внутри сов. России**. *С. Ингулов*. Заметки о голоде. **Литературные края**. *С. Бобров*. „Я, Николай Ставрогин...“ *Н. Мещеряков*. Русские сменовеховцы. —*Нурмин*. В журнальном мире.—*О. Бик*. Литературные края.—*Объявления*.

Книга седьмая.

А. Неверов. Маленькие рассказы.—*Максимилиан Волошин*. Из поэмы „Путями Каина“. Стихи. — *Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман.—Стихи: *Василий Казин, Мих. Герасимов, С. Обрадович*.— *Александр Зуев*. Смута. Бытовые очерки.—Стихи: *С. Есенин, И. Ерошин, С. Клычков, П. Радимов*.—*А. Аросев*. Недавние дни (окончание).— *Г. Шенгели, В. Маяковский, Н. Асеев, С. Бобров*.—*Л. Троцкий*. „Дело было в Испании“ (по записной книжке).—*М. Н. Покровский*. Правда ли, что в России абсолютизм „существовал наперекор общественному развитию“?—*С. Членов*. Сумерки божков.—*Д. Рязанов*. Рикардо как человек и мыслитель.—*Г. Пятаков*. Философия современного империализма (этюд о Шпенглере).—*Фридеман*. О феномене Negell'я. С предисловием *Б. Завадовского*.—*А. К. Тимирязев*. Внутри-атомная энергия. **Внутри советской России**. *С. Ингулов*. На текущие темы.— *Н. Мещеряков*. Новое студенчество. **Литературные края**. *Ник. Асеев*. Письма о поэзии.—*П. С. Коган*. С. Есенин. **Критика и библиография**. Статьи и рецензии: *Н. Асеева, С. Боброва, А. Воронского, А. Неверова, А. Юрлова, А. Аросева, М. Н. Покровского, И. Степанова, С. Членова, К. Грасиса, Канторовича, Сапожникова и др*.—*Объявления*.

Книга восьмая.

Н. Тихонов. Сами. Стихи.—*Петр Орешин*. Квасок. Комиссарка. Стихи.—*В. Вересаев*. Из повести „В тупике“. —*Ник Асеев, Илья Эренбург, О. Мандельштам, В. Нарбут*. Стихи. —*Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман (продолжение).—*Елизавета Полонская, Василий Казин, Н. Полетаев*. Стихи.—*Ник. Никитин*. Из повести „Рвотный форт“. *Владислав Ходасевич, Сергей Клычков*. Стихи.—*А. Зуев*. „Смута“. Бытовые очерки (окон-

чание).—*С. Огурцов.* Частушки.—*С. Витте* „Покушение на мою жизнь" (из II тома „Воспоминаний").—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (из воспоминаний) —*Джон Гобсон.* Проблемы нового мира (с английского).—*М. Рубинштейн.* Борьба за нефть.—*А. Буцевич.* Высшая школа.—*В. Мотылев.* Об основных проблемах экономической теории социализма.—*В. В. Савич.* Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта.—*Н. Понятский.* Отповедь старого дарвиниста. **Литературные края** *Н. Асеев.* По морю бумажному (журнальный обзор).—*А. Воронский.* Литературные силуэты. I. Б. Пильняк.—**Внутри сов. России.** *Нуржин.* Процесс правых эс-эров. Критика и библиография. Рецензии *Н. С., А. Н-ва, Сергея Боброва, Марковича, Горева, Милютина, Канторовича, Б. Завадовского, Д. Хлебникова* и других авторов.—*В. Маяковский.*—Хлебников.—*Объявления.*

Книга девятая.

Георгий Шенгели. Поручик Мертвецов. Стихи.—*Николай Тихонов.* Песня об отпускном солдате, Колымага и др. Стихи.—*В. Вересаев.* Два отрывка из повести „В тупике". *Вера Инбер, Вера Ильина, Владимир Нарбут.* Стихи.—*Всеволод Иванов.* Голубые пески. Роман (продолжение).—*Василий Казин, Петр Орешин, Дм. Семеновский.* Стихи.—*Ганс Сакс.* Фюнзингенский конокрад и вороватые крестьяне. Перевод Бориса Пастернак.—*Ольга Форш.* Африканский брат. Рассказ.—*Сергей Бобров.* Глаза свободы. Стихи.—*Александр Дроздов.* Бес. Рассказ.—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—*Карл Радек.* Что дала октябрьская революция.—*Е. Преображенский.* Крах капитализма в Европе.—*Рубинштейн.* Стиннес.—*Яковлева.* Общее положение профессионального образования в Р.С.Ф.С.Р.—*Я. Шатуновский.* Коммунизм в борьбе с голодом.—*А. Пюттер.* Голодная смерть. Пер. с немецкого Г. Азимова, с предисловием Б. Завадовского.—*К. Радек.* Генуэзская и Гаагская конференции.—**За рубежом.** *Мих. Павлович.* Японский империализм.—*П. Китайгородский.* Современная Ирландия.—**Литературные края.** *А. Воронский.* Литературные силуэты.—**Внутри советской России.** *С. Ингулов.* Без помещиков.—**Критика и библиография.** Рецензии *А. А., А. Воронского, Б. Горева, А. К., В. Кряжина* и др.—*Объявления.*

Книга десятая.

И. Эренбург. Жизнь и гибель Николая Курбова (отрывок из романа).—*Мариэтта Шагинян.* Перемена. Быль.—*А. Чапыгин.* Чемер. Рассказ.—*Всеволод Иванов.* Голубые пески. Роман (продолжение).—*Н. Асеева, С. Колбасьева, Е. Полонской, Валентина Парнаха, А. Ширяевца, Петра Орешина, П. Незнамова, Сергея Клычкова, Г. Санникова* (стихи).—*Алексей Толстой.* Аэлита. Роман.—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—*П. Н. Дурново.* Записка Дурново со вступительной статьей Мих. Павловича.—*Л. И. Аксельрод (Ортодокс).* Курс лекций по историческому материализму. I. Возможны ли исторические законы.—*Н. Сретенский.* Людвиг Фейербах.—*В. Молотов.* На шестой год (к итогам и перспективам партийной работы).—*А. Немилов.* Успехи биологии в сов. России.—**Внутри советской России.** *Вяч. Шишков.* „С котомкой" (путевые заметки).—**Литературные края.** *А. Воронский.* Литературные силуэты. III. Е. Замятин.—*Н. Смирнов.* По журнальным страницам.—**Библиография.** Рецензии *А. А., А. Воронского, С. Боброва, Э. Бика, А. Юрлова, С. Зорина, Мих. Павловича, А. Андреева, Рубинштейна* и др.—Объявления.

Книга одиннадцатая.

М. Горький. Автобиографические рассказы. *Дм. Земляк, П. Незнамов, О. Мандельштам, Вера Инбер.* Стихи.—*Алексей Толстой.* „Аэлита". Роман (продолжение).—*С. Обрадович, А. Кузиков, П. Радимов, Сергей Клычков, В. Наседкин, Мих. Герасимов.* Стихи.—*Николай Огнев* „Евразия". Повесть.—*Всев. Иванов.* „Голубые пески". Роман (продолжение).—*А. С. Мартынов.* Мои украинские впечатления и размышления.—*Л. И. Аксельрод (Ортодокс).* Курс лекций по историческому материализму. Лекция 2-ая.—*В. Смирнов.* Наше денежное обращение и пути его оздоровления.—*С. Членов.* Современный Берлин (впечатления).—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—**Внутри Советской России.** *Вяч. Шишков.* „С котомкой" (окончание).—**За рубежом** *М. Павлович.* Русские события и угроза будущей войны.—*П. Китайгородский.* Власть нефти.—*Н. Бухарин.* По скучной дороге (ответ моим критикам).—**Литературные края** *А. Воронский.* Литературные заметки.—*М. Левидов.* Организованное упрощение культуры. *В. Кряжин.* История одного отречения.—**Библиография.** Рецензии *Юрия Соболева, А. А. Неверова, М. Щанина, Ник. Смирнова, П. Сапожникова, Мих. Завадовского, Б. Завадовского, А. К.,* и др.—*Объявления.*

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Сретенский 6., Милютинский пер., 5-й подъезд, 4-й этаж. Тел. 2-71-00.

Прием по понедельникам, средам и пятницам от 1 до 3 ч. дня.

Рукописи менее печатного листа не возвращаются

Ответств. редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издательство.

Члены Ред. Коллегии { *А. Бубнов. В. Смирнов.*

„КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ“.

Центральный руководящий орган Главного Политико-Просветительного Комитета Республики.

Журнал, посвященный вопросам теории и практики политико-просветительной работы.

Выходит 1 раз в два месяца, размером в 12—15 печатных листов.

ВЫШЛО 7 КНИЖЕК. В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ МАЯ ВЫХОДИТ 8 (2)-я КНИЖКА.

ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

Содержание № 1 (7).

Общая часть.

Аппараты коммунистического просвещения.

Политпросветработа за рубежом.